

В. А.
ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ



Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



—ИЗ НАСЛЕДИЯ—

В. А.
ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ

Большая барыня

Роман, повесть, рассказы

МОСКВА
«Современник»
1987

Р1
В73

Составление, подготовка текста,
вступительная статья и примечания
А. А. Ильина-Томича

Рецензент *канд. филол. наук С. А. Небольсин*

«Вот и всё, что остается...»

Авторскую судьбу Василия Александровича Вонлярлярского (1814 1852) смело можно назвать одной из самых причудливых в литературе прошлого столетия.

В начале 1850-х годов Вонлярлярский прочно занял место в числе наиболее популярных русских прозаиков: журналы соперничали за право печатать его повести и романы, на столичной сцене с успехом шли его пьесы, пресса с шумом обсуждала каждое его произведение. Вскоре после выхода изданного посмертно собрания сочинений[1] творчество Вонлярляр ского перестает быть предметом журнальных баталий, но не теряет интереса в глазах читателей. В последнем легко убедиться, если заглянуть в любопытный список авторов, сочинения которых «беспрестанно требова лись» в 1860 году абонентами прекрасно укомплектованной московской библиотеки, принадлежавшей А. Ф. Черенину[2]. Здесь имя В. А. Вонлярлярского соседствует с именами признанных классиков (Тургенев, Гонча ров, Гоголь, Белинский, Пушкин, Лермонтов, Писемский, Некрасов, Островский, Аксаков, Щедрин, Грибоедов, Жуковский), известных писа телей (Григорович, Панаева, Марко Вовчок, Загоскин, Лажечников, Полонский, Бестужев-Марлинский), писателей, впоследствии забытых, но переживших сравнительно недавно «второе рождение» (Н Д. Хвощинская, А. А. Потехин, А. Ф. Вельтман, И. И. Панаев, В В. Селиванов, В. А. Соллогуб), и писателей, о которых редкому читателю 1980-х доводилось слышать (М. В. Авдеев, М. И. Воскресенский, В. Р. Зотов, Г В. Кугушев). Такое соседство сегодня удивить не может — мы при выкли к мысли, что прадеды читали самых разных сочинителей, не осо бенно придерживаясь историко-литературной табели о рангах, и что не

---

[1] Все сочинения В. А. Вонлярлярского. Т. 1—7 Спб., 1853—1854

[2] См.: Библиографические записки, 1861, т. 3, № 9, стб. 281

которые их любимые книги нет-нет да и выныривают, вопреки всем законам, из хладных вод Леты, чтобы оказаться (к пользе и удовольствию) на нашем столе рядом с шедеврами, известными с детства. Знакомство с писателями «второго ряда», к которому страстно призывал С. П. Залыгин в своей замечательной статье 1975 года «Первые среди вторых»[1], постепенно превращается в постоянный, хотя и чрезвычайно неспешный, процесс.

Не может показаться удивительным и то обстоятельство, что Вонлярлярский был прочно забыт уже к концу прошлого века. («...В настоящее время,— писал один из литературоведов в 1893 году,— вряд ли отыщется грамотный человек, который был бы знаком хотя бы с одним романом Вонлярлярского»[2].) Тихое и спокойное (как будто и не было десятилетий летаргии) появление на сегодняшней литературной сцене Владимира Одоевского и Александра Вельтмана, Антония Погорельского и Владимира Даля, Ореста Сомова и Михаила Погодина заставило читателя последней четверти XX века отказаться от мысли о том, что литературное забвение непосредственно связано с эстетическими достоинствами произведения. («Обычное дело — сначала читали, потом забыли, сейчас, раз переиздали, снова начнем читать».)

И все же мы неспроста назвали авторскую судьбу Василия Вонлярлярского на редкость причудливой. Но обо всем по порядку.

* * *

Далекие предки Вонлярлярских были южногерманскими рыцарями (родовое гнездо — городок Ляр неподалеку от Баден-Бадена), находившимися на польской службе. Во второй половине XVII века представители рода становятся русскими дворянами — Алексей Михайлович жалует вотчинами смоленских шляхтичей Алексея и Константина Вонлярлярских. К началу XIX века род уже считается в России принадлежащим к ее древнему дворянству.

Отец писателя, Александр Васильевич Вонлярлярский (родился в 1776 году и, судя по ряду косвенных данных, здравствовал, пережив сына, в году 1853-м)[3], и дядюшка Петр Васильевич (1778 — ок. 1828) одновременно вступили в 1792 году в Смоленский пехотный полк, участвовали в

[1] См.: Залыгин С. П. Литературные заботы. 3-е изд., доп. М., 1982, с. 335—343.

[2] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы 1848—1892 гг. 2-е изд., испр. и доп. Спб., 1893, с. 17.

[3] ГАСО, ф. 55. оп. 1, д. 21. ненум. л. (список принятых в книге сокращений см. на с. 423). Скудость и противоречивость относящихся к В. А. Вонлярлярскому сведений, неразработанность его научной биографии заставляют нас в ряде случаев документировать сообщаемые данные (главным образом когда они расходятся с биографическим очерком писателя, принадлежащим перу Кс. Полевого, или уточняют его).

нескольких походах Суворова и одновременно вышли в отставку в 1797-м[1].

Отставные подпоручики Вонлярлярские, во владении каждого из которых находилось более тысячи крестьянских душ, были в числе наиболее состоятельных помещиков Смоленского уезда[2].

Если допустить возможность опечатки в авторитетном генеалогическом справочнике, то следует предположить, что мать писателя, Софья Ивановна, происходила из семьи Храповицких и родилась в 1782 году[3].

12 (24) апреля 1814 года в Смоленске было получено известие о взятии Парижа. Калужский губернатор Павел Никитич Каверин (отец воспетого в «Онегине» пушкинского приятеля), управлявший во время войны по совместительству и Смоленской губернией, тут же поскакал в дом Вонлярлярских[4] и без церемоний вбежал в гостиную с криком: «Ура! Париж взят!» По словам биографа писателя, «это произвело такое сильное ощущение в г-же Вонлярлярской, что она принуждена была удалиться во внутренние комнаты, и настала минута рождения маленького Василия...»[5]. Мы же отметим про себя факт интересной преемственности: в момент появления на свет будущего замечательного рассказчика над его колыбелью склоняется признанный мастер этого жанра («Умный, веселый, неистощимый говорун», «соловей речи и соловей неумолкаемый»,— вспоминал П. А. Вяземский о Каверине, всегда имевшем «что говорить и что рассказывать»[6]). Не в эту ли минуту происходит торжественная передача лиры?

О детстве писателя до нас не дошло никаких свидетельств. Известно только, что товарищи по играм (очевидно, во время проводимых в Петербурге зим) принадлежали семействам Карамзиных, Блудовых, Новосиль-

---

[1] См.: Максутов В. П. Приложения к Истории 25-го пехотного смоленского полка за два века его существования. Спб., 1901, 1-я паг., с. 190, 198—199; 2-я паг., с. 34.

[2] ГАСО, ф. 6, оп. 1, д. 3, л. 41 об., 42, 241, 288 об., 705 об., 1045, 1289.

[3] См.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Спб., 1887, т. 2, с. 603; ЦГИА, ф. 1343. оп. 18 д. 4777 б, л. 226.

[4] Нынешнее местонахождение этого дома определить затруднительно. В помощь краеведам укажем лишь, что в 1816 г. отец писателя владел домом № 87 в первой части города (ГАСО, ф. 1313, оп. 2, д. 2, л. 16), а за матерью в 1818 г. числились дома № 83 и 371 той же части (там же, л. 27 об.).

[5] К. П. ⟨Полевой Кс. А.⟩ О жизни и сочинениях Автора.— В кн.: Вонлярлярский В. А. Все сочинения. Спб., 1853, т. 1, с. II—III (далее цитаты из этого очерка ссылками не сопровождаются).

[6] Цит. по кн.: Щербачев Ю. Н. Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин, М., 1912, с. 37.

цевых, Гагариных[1]— таким образом, можно сказать, что Вонлярлярский вошел в высший свет, не выйдя из детской. Приведем также краткое воспоминание, случайно забежавшее в его повесть «Две сестры» (1852).

«Однажды тетушка,— рассказывает писатель,— сказала мне, двенадцатилетнему мальчику, отнимая роман:

— Читай все, кроме романов; я говорю это серьезно; а не хочешь, так я посажу тебя за философию.

— За какую это философию, тетушка?

— А уж там за какую бы то ни было,— отвечала она гневно...»

Итак, первое знакомство будущего романиста с романом имело, как видим, не только приятные стороны.

Получив домашнее воспитание, Василий Вонлярлярский 6 марта 1827 года поступил в Благородный пансион при Петербургском университете, а 12 июня 1828 года был уволен в отпуск «в дом родителей своих Смоленской губернии и уезда в деревню Рай»[2]. По-видимому, пансионский курс так и не был пройден (во всяком случае, никаких документов об его окончании обнаружить не удалось).

29 марта 1832 года «недоросль из дворян» Василий Вонлярлярский зачислен кандидатом в петербургскую Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, а 28 декабря переименован в юнкера[3]. Однокашникам новичок показался старше своих лет, произведя впечатление человека «пожившего». Не случайно на него обратил внимание другой учащийся, «опытом и воззрениями на людей» оставивший сверстников далеко позади,— Михаил Лермонтов. «Эти два человека,— вспоминает очевидец,— как и должно было ожидать, сблизились. В рекреационное время их всегда можно было застать вместе. Лярский, ленивейшее создание в целом мире (как герой «Женитьбы» у Гоголя), большую часть дня лежал с расстегнутой курткой на кровати. Он лежал бы и раздетый, но дисциплина этого не позволяла»[4]. Другой мемуарист — А. М. Меринский — дает несколько иное объяснение занимающей нас дружбе. По его словам, в школе Лермонтов «особенно дружен был с В. А. Вонлярлярским (известным беллетристом, автором «Большой барыни» и проч.), которого

---

[1] См.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.— Л., 1960, с. 252, 84.

[2] Ленинградский гос. ист. архив, ф. 67, оп. 1, д. 58, л. 24; д. 68, л. 2; д. 69, л. 3 (в ответ на наш запрос сообщено И. В. Владимировым и Е. А. Сунцовой).

[3] ЦГВИА, ф. 321, оп. 1, д. 7, л. 106, об., 211—211 об.

[4] Здесь и далее мемуарные свидетельства о пребытии Вонлярлярского в Школе юнкеров приводятся по кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 39, 131, 139—140, 144, 397—398. См. также: Анненков И. В. Воспоминания.— Наша старина, 1917, № 3, с. 43—44.

любил за его веселые шутки. Своими забавными рассказами Вонлярлярский привлекал к себе многих. Бывало, в школе, по вечерам, когда некоторые из нас соберутся, как мы тогда выражались, «поболтать», рассказы Вонлярлярского были неистощимы; разумеется, при этом Лермонтов никому не уступал в остротах и веселых шутках».

Говоря о дружбе писателей, биограф Вонлярлярского Ксенофонт Полевой восклицает: «Как жаль, что не сохранилась шутливая переписка, которую вели они между собой в это время (т. е. во время пребывания в школе.— *А. И.-Т.*)! Кто видел ее, те почитают забавные письма двух молодых друзей одним из остроумнейших произведений в своем роде...» Вот уже много десятилетий это известие об утраченной эпистолярии великого поэта лишает лермонтоведов покоя. Между тем, скорее всего, речь идет не столько о письмах (зачем переписываться соседям по койке?), сколько о шутливом обмене посланиями (вероятно, стихотворными) на страницах выходившего в 1834 году рукописного журнала юнкеров (есть указание, что Вонлярлярский был его редактором). Случайно дошедшие до нас произведения Лермонтова, помещавшиеся здесь (так называемые «юнкерские поэмы» — неизменный предмет издательских затруднений), позволяют предположить, что и эти послания вряд ли отличались претившей юнкерам чрезмерной скромностью. В школе, по свидетельству современника, «царствовал дух какого-то разгула, кутежа»; не случайно великий поэт подытожил пребывание в ней словами «deux années terribles»[1] — «два ужасных года». И нельзя не порадоваться, что ежедневная муштра, запрещение читать художественную литературу и довольно приземленные развлечения были для Лермонтова хоть отчасти скрашены соседством умного собеседника.

Пройдя курс по ряду военных и общеобразовательных (математика, история, словесность, судопроизводство, география, французский) дисциплин, Вонлярлярский 4 декабря 1834 года был выпущен прапорщиком в Лейб-гвардии Конно-пионерный эскадрон[2]. Служба в гвардии, приковывавшая к себе мечты многих сверстников, не показалась юноше слишком привлекательной. В этом нас убеждает страничка из письма Александра Карамзина (сына знаменитого историографа), которому летом 1836 года случилось повстречать Вонлярлярского (бывшего товарища по детским играм, ставшего «белокурым молодым человеком, бледным и довольно красивым собой»): «Время от времени он вздыхал, говоря при этом, что он одного со мной возраста, но что он преждевременно состарился физически и морально вследствие особых обстоятельств. Он говорил, что собирается

---

[1] Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6-ти т. М.-Л., 1957, т. 6, с. 428.

[2] ЦГВИА, ф. 321, оп. 1, д. 9, л. 90 об.—91. О системе обучения в школе см.: Назарова Л. Н. Лермонтов в школе юнкеров.— В кн.: М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979, с. 139—152.

выйти в отставку, потому что все вокруг слишком прозаично...»[1] Последнее свое намерение Вонлярлярский вскоре исполнил: будучи в отпуску, представил свидетельство о болезни и 14 марта 1837 года получил отставку вместе с чином подпоручика[2]. Сейчас уже трудно разглядеть, что стояло за «особыми обстоятельствами»: позерство, вызванное увлечением Байроном и южными поэмами Пушкина, или подлинные жизненные невзгоды? Наверняка известно лишь то, что впереди отставного гвардии подпоручика ожидали испытания, вполне свободные от подозрений в литературности.

Вскоре после выхода в отставку Вонлярлярский (по сообщению Ксенофонта Полевого) «женился по любви на красавице, дочери статского советника Фридебурга; к несчастию, она скончалась не прожив с ним и года». Речь здесь, по-видимому, идет о дочери директора и главного врача первой детской больницы в Петербурге Карла Ивановича Фридебурга Александре Карловне (родилась около 1819 года)[3]. Есть все основания полагать, что от этого брака появилась на свет дочь Софья, о существовании которой почему-то умалчивает Полевой.

Читатель, вероятно, уже успел заметить, что биографические сведения об авторе лежащей перед ним книги весьма случайны и отрывочны. Но и эти фрагментарные известия катастрофически исчезают при попытке взглянуть на жизнь Вонлярлярского в первую половину 1840-х годов. Можно предположить, что именно в это время им была написана стихотворная шутка «Моя биография», сохранившаяся вместе с несколькими другими его стихотворениями в одном рукописном альбоме:

Ах, друзья мои, уверен,
Что по милости своей
Биографии моей
После смерти не намерен
Написать никто из вас,
Может статься, близок час,
И нечайно вместо утки
Кто-нибудь в меня из будки[4].
Пустит дробью и тогда
Я — прощайте навсегда!..—
Тело бренное умоют,
В гроб положат и зароют,
А на гробе в года два
Верно, вырастет трава!
Вот и всё, что остается
От известнейших людей;

[1] Пушкин в письмах Карамзиных.., с. 252, 84.

[2] См.: Русский инвалид, 1837, № 65, 15 марта, с. 257; ЦГВИА, ф. 14664, оп. 5, д. 6, л. 6 об.

[3] ЦГИА, ф. 1299, оп. 18, д. 237. л. 4—9 (сообщено Д. И. Раскиным при любезном посредстве Б. Л. Бессонова).

[4] Будка — здесь: охотничий шалаш.

Прах забвенью предается,
А трава — для лошадей[1].

«Вот и всё, что остается...» — ироническое снижение торжественных строк из знаменитых «Последних стихов» Державина («А если что и остается// Чрез звуки лиры и трубы,// То вечности жерлом пожрется// И общей не уйдет судьбы»). Причисление себя к «известнейшим людям», конечно, тоже иронично — имеется в виду известность в узком дружеском кругу (до писательской славы еще несколько лет), и мы не будем придавать шутке серьезного значения, говоря о проявившемся в ней даре предвидения; спросим лишь: кто эти друзья, к которым обращается Вонлярлярский, с которыми он охотится и шутит (и которые так и не напишут его биографии, предоставив это почти не знавшему писателя Ксенофонту Полевому)? Ответа на этот вопрос пока нет.

В конце 1845 года Вонлярлярский выезжает «для лечения в Италию и Германию (к Карлсбадским водам)», но возвращается, серьезно заболев по дороге, и отправляется в путь лишь летом следующего года[2]. В ходе путешествия маршрут несколько усложняется. Скупые географические указания, встречающиеся в некоторых его произведениях, позволяют нам «заметить» писателя в следующих пунктах:

1846,	конец июля	Теплиц, Дрезден
	ноябрь—декабрь	г. Алжир
1847,	январь	г. Бона (Алжир)
	февраль	переезд в Барселону, оттуда дорога в Марсель
	март	Марсель, дорога в Неаполь
	середина года	Рим.

Особенно любопытно пребывание в столице Алжира в декабре 1846 года — именно в это время здесь находится Александр Дюма Через несколько лет Вонлярлярский заслужит у критиков прозвание «русского Дюма», но пока об этом, разумеется, не подозревает.

Во время путешествия (есть смутное указание, что поездка длилась более двух лет[3]), вероятно, ведется дневник — следы его будут заметны в первых рассказах писателя, замешенных на путевых впечатлениях.

Последние годы жизни Вонлярлярский проводит в Москве. Занятия? Музицирование («не учившись с малолетства музыке,— говорит Полевой,— он вдруг пристрастился к ней и наконец очаровательно играл на

---

[1] ОР ГБЛ, ф. 218, к. 1259, д. 2, л. 76 об.

[2] ЦГИА, ф. 1286, оп. 9, д. 1259; оп. 10, д. 321, л. 9—12 (сообщено С. И. Вареховой при любезном посредстве Б. Л. Бессонова)

[3] См.: <П а н а е в И. И.?> Некролог В. А. Вонлярлярского.— Современник, 1853, № 2, отд. 6, с. 291 (приписать эту заметку Панаеву позволяет дословное повторение в ней высказанной им ранее оценки, см. Современник, 1851, № 10, отд. 6, с. 15).

фортепиано и фантазировал»), лепка и рисование («каждый предмет, изображенный им, казался истинным во всех подробностях» — отметим это важное для беллетриста умение), уже знакомые нам стихи «для немногих», участие в домашних спектаклях и в театрализованных представлениях, устроенных губернаторшей Закревской[1]. И вот к этим занятиям прибавляется новое.

В начале 1850 года в редакцию петербургского журнала «Отечественные записки» поступают два рассказа, подписанных никому еще в литературном мире не известным именем Василия Вонлярлярского,— «Поездка на марсельском пароходе» и «Абдаллах-Бен-Атаб». Они немедленно приняты, и сочинитель получает приглашение трудиться для журнала далее. Между тем в Москве идут авторские чтения. Слушатели? Как и раньше, круг общения Вонлярлярского определить довольно трудно. Он посещает «субботы» своей дальней родственницы поэтессы Евдокии Ростопчиной, являясь туда в обществе молодого поклонника дам Владимира Петровича Бегичева (впоследствии драматурга и театрального деятеля). Завсегдатаи салона — склонные к серьезным беседам представители кружка журнала «Москвитянин» (Н. В. Берг, Л. А. Мей, А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, Е. Н. Эдельсон) — приятелей не жалуют («ягоды не нашего поля»)[2]. Сохранившаяся записочка Вонлярлярского к другому посетителю «суббот» — поэту Н. Ф. Щербине также не дает повода говорить об их близкой дружбе[3]. Близкие друзья, однако, несомненно были (один из них, например, не открывая своего имени, дает писателю следующую характеристику: «Он был благороден, добр без границ, может быть, слишком добр и доверчив»[4]). Тесные отношения (может статься, не только деловые, но и дружеские?) связывали начинающего автора с Григорием Филипповичем Головачевым (1818—1880), преподавателем истории и географии Московского николаевского сиротского института и постоянным сотрудником «Отечественных записок», осуществлявшим посредничество между Вонлярлярским и редакцией. Из письма Головачева к издателю этого журнала А. А. Краевскому мы узнаем, что другой петербургский журнал — «Современник» — «в образе одного из редакторов его» (И. И. Панаева, приезжавшего в Москву летом 1850 года) предлагал литературному дебютанту «разные выгодные условия», но Вонлярлярский предпочел лучшему русскому журналу той поры издание Краевского[5]. Что было отвечено Панаеву,

[1] См.: Москвитянин, 1849, ч. 1, № 4, с. 108; Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1896, кн. 10, с. 207, 246.

[2] Посмертные записки Н. В. Берга.— Русская старина, 1891, № 2, с. 257—258.

[3] ПД, № 7002.

[4] N. Некролог. Василий Александрович Вонлярлярский.— Московские ведомости, 1853, № 4, 8 янв., Лит. отдел, с. 42.

[5] ОР ГПБ, ф. 391, оп. 1, д. 287, л. 47 об.—48.

можно при желании расслышать, погрузившись в критические обзоры «Современника». (Ответ этот не лишен для нас интереса, ибо позволяет судить о том, в каком виде хотелось бы писателю представить свои взаимоотношения с литературой.) Рассуждая об одном из романов Вонлярлярского, Панаев делает вдруг следующее отступление:

«— Вы написали очень миленькую вещь,— сказали однажды при мне какому-то литературному дилетанту.

— В самом деле? — небрежно возразил дилетант, заложив палец за жилет и глядя в потолок,— вам нравится? Это я так.. Я ведь вовсе не имею никакой претензии на литературу. Это шалость, мне нечего было делать, я был не очень здоров, сидел дома, и взялся за перо от скуки».

В этих словах выражается следующая задняя мысль: «Сделайте милость, не принимайте меня за литератора, бога ради, не воображайте этого, я вовсе не желаю быть литератором; я не имею ничего общего с вашей литературой. Я только человек образованный, больше ничего, и если напечатал что-нибудь, так это для того только, чтобы показать, что я могу писать не хуже ваших литераторов»[1]. Сделанная критиком оговорка, что Вонлярлярский к «такого рода литературным дилетантам» не принадлежит и «не имеет с ними ничего общего», не способна ввести в заблуждение — через год Панаев нарисует тот же портрет, на этот раз вплотную связав его с именем писателя. Мотивировка литературных занятий теперь несколько изменена: «...я дилетант; я читаю мои произведения в салонах, а печатаю их в журналах, потому что ко мне пристают мои друзья: Отчего ты не печатаешь? печатай для нас: надобно же какое-нибудь чтение для порядочных людей... и вот почему я печатаюсь. Я, правда, беру деньги за свои сочинения, но отдаю их моему камердинеру...»[2] Фраза про заботу о камердинере — автоцитата из романа Панаева «Львы в провинции» (ч. III, гл. 21), призванная подчеркивать невероятную великосветскость произносящего ее лица. В остальных же выпадах критика нужно видеть отражение (пусть далекое от буквальной точности) каких-то изустных деклараций Вонлярлярского, истолкованных Панаевым в угоду постепенно складывающейся у него концепции о салонно-великосветском характере творчества писателя (такое прочтение находило некоторые основания в первых романах Вонлярлярского «Силуэт» и «Магистр», но, как мы увидим ниже, было все же весьма односторонним).

Совершенно иной смысл в сходной, очевидно, самохарактеристике увидел другой собеседник писателя (не уязвленный, кстати, отказом в

---

[1] Современник, 1851, № 10, отд. 6, с. 15—16.

[2] Там же, 1853, № 1, отд. 6, с. 120; ср. также: 1852, № 11, отд. 6, с. 120—121.

журнальном сотрудничестве). Мы имеем в виду Михаила Ларионовича Михайлова (писателя, критика, переводчика, а впоследствии и революционера), познакомившегося летом 1852 года с приехавшим ненадолго в Петербург Вонлярлярским. К этому времени последний — уже широко известный автор и тяжело больной человек. Вероятно, звучат те же слова: «да я и не писатель собственно...» Михайлов, находящийся во власти своих идей (связанных, между прочим, с размышлениями Белинского о понятиях «гений» и «талант», «писатель» и «беллетрист»[1]), выносит из беседы следующее заключение: «Собственный взгляд его на свою деятельность был как нельзя более верен: он сознавал в себе талант, но считал себя не иным чем, как простым рассказчиком, сказочником, беллетристом»[2]. Несмотря на явную и в этом случае подчиненность описания концепции, нам оно представляется более соответствующим духу произведений Вонлярлярского и, следовательно, более точным, чем усмотренное Панаевым аристократическое презрение к литературе.

В тот же приезд (май — июнь 1852 года) писатель становится «благосклонным знакомым» начинающего художника Михаила Осиповича Микешина[3] (впоследствии знаменитого скульптора, автора прославленного памятника «Тысячелетие России»). По-видимому, тогда же был написан портрет Вонлярлярского, открывающий эту книгу. В Петербург Микешина привез за свой счет старший брат Вонлярлярского Александр Александрович, обративший внимание на талант рославльского чертежника и рассудивший, что место этому таланту в Академии художеств.

А. А. Вонлярлярский (1802—1861) заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Автор прогрессивного дворянского проекта ликвидации крепостничества, он разорил при крушении одного из своих экономических предприятий тысячи крестьян. Убежденный сторонник европейских форм хозяйствования, он превратил свое Вонлярово (принадлежавшее, как и Рай, Смоленскому уезду) в уголок Швейцарии и, пропагандируя капиталистические отношения, практически лишился капитала. Получая миллионы по выгоднейшим правительственным контрактам (контракты эти на строительство шоссе заключались не без помощи императорской фаворитки В. А. Нелидовой), он не оставил детям сколько-нибудь значительного состояния. «Затеям этого господина,— говорит современник,— и роскоши в его жизни... не было пределов. Недаром он был прозван Монте-

---

[1] См.: Егоров Б. Ф. М. Л. Михайлов-критик.— Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 104, 1961, с. 85.

[2] Библиотека для чтения, 1855, № 1, отд. 5, с. 18.

[3] См.: Микешин М. О. Воспоминания художника.— Неман, 1969, № 11, с. 141

Кристо...»[1] (Создается впечатление, что над братьями тяготел рок — получать связанные со знаменитым французским романистом прозвища!) Жизнь Александра Вонлярлярского была предметом множества рассказов и слухов. Живо обсуждалось то, что в его петербургском доме была «проведена вода во все этажи», или, что «при его обедах и ужинах служили до 40 человек, одетых в самые роскошные ливреи», а «при его путешествиях курьеры заготовляли вперед лошадей на почтовых станциях» и «дорого платили смотрителям станций, чтобы они задерживали других проезжающих в ожидании проезда Вонлярлярского»[2].

Мы не без причины позволили себе столь подробно остановиться на личности А. А. Вонлярлярского: представляется, что слухи, порожденные его образом жизни, могли отразиться на литературной репутации его брата. Мало кто из литераторов знал их близко — одного по недосягаемой высоте его общественного положения, другого — по уединенности, в которой прошли его посвященные словесности годы («в последнее время он удалился от света»,— сообщает друг-некрологист[3]). Их путают и по сей день, но нам важно, что в 1850-х годах их путали точно так же. Откроем статью О. И. Сенковского с воспоминанием о кратком знакомстве с В. А. Вонлярлярским, сведенном в мае все того же 1852 года. «Он столько видел! Столько испытал! Столько мыслил, исследовал и перечувствовал! Он был везде, и так же хорошо знал жизнь в золоте и шелку, как и жизнь в рубище, так же легко обменивался с людьми гордостью, высокомерием, надменностью, как и кротостью, простосердечием, добротою, так же свободно водил хлеб-соль с богатством, как и с нищетою. Он ⟨...⟩ скитался в пустынях и веселился в городах, мерз на горах и мок в болотах, рылся в земле, книгах и в человеке, прокладывал шоссе, сочинял музыку, устраивал железные дороги, упражнялся в живописи и скульптуре, в деревне был опытным сельским хозяином, в городе — изящным светским человеком, в промышленном мире — промышленником, между друзьями — обожаемым другом. И везде, во всем, сопутствовали ему быстрота соображения, проницательность, глубокомыслие и дар хорошо видеть и ловко извлекать неожиданные заключения среди добродушия, простоты и примеча-

---

[1] Дельвиг А. И. Полвека русской жизни, М.—Л., 1930, т. 1, с. 559. Об А. А. Вонлярлярском см. также: Там же, с. 410, 431—435, 551—588; Записки Горыгорецкого земледельческого ин-та. Спб., 1853, кн. 2, отд. 1, с. 117—118; Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и в первой половине XIX века. Спб., 1888, т. 2, с. 170—175; Рябков Г. Т. За строкой письма В. Г. Белинского.— В кн.: Вопросы аграрной истории и крестьянства Северо-Запада РСФСР. Смоленск, 1977, с. 52—54.

[2] ЦГАЛИ, ф. 79, оп. 1, д. 15, л. 120 об.; Дельвиг А. И Цит. соч., с. 560.

[3] Московские ведомости, 1853, № 4, 8 янв., Лит. отд., с. 42

тельной скромности речи»[1]. В этой характеристике сведения из газетных некрологов (впрочем, правдивые — музыка, живопись, скульптура) перемешаны журналистом с собственными впечатлениями от личности Василия Вонлярлярского и городскими известиями об его брате (шоссе, железные дороги, «опытный сельский хозяин», промышленный мир, «рылся в земле») Кто знает, может быть, и Иван Панаев судил о писателе по смоленско-петербургскому Монте-Кристо и полагал, что показ большого света в некоторых романах — кстати, показ далекий от апологетики — для Вонлярлярского равнозначен утверждению своей жизненной позиции? Ведь не бичевал же Панаев себя за великосветские картины в собственных сочинениях[2], считая, по-видимому, что у него обращение к салонному материалу исполнено отстраненности, а у Вонлярлярского — причастности?

После полуфантастической характеристики, приведенной выше, читателя статьи Сенковского ожидает чрезвычайно ценное для нас продолжение. «Между тем это интересное существование подтачивалось неопределенным, но жестоким недугом ⟨...⟩ таинственным бедствием людей с сильным воображением, людей, одаренных способностью много и быстро мыслить,— одною из тех предательских и неуловимых болезней, к которым медицина ума не приложит и которые, чтобы отделаться от любопытства пациентов, называет она «нервными расстройствами». В мучительной борьбе с этой болезнью, когда уже меланхолия начинала пожирать жизненные силы, когда предчувствие близкой смерти становилось уже неотразимым, Лярский вздумал сделаться писателем. ⟨.. ⟩ Ему нужны были перо и бумага, чтобы дать исток этому излишеству мысли и чувства, которое угнетало и душило его». Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как обстояло дело в действительности, но нельзя не признать, что это рассуждение о тяжелой болезни, как одной из главных причин обращения Вонлярлярского к литературе, выглядит весьма правдоподобно. Прежде всего, оно мотивирует ту невероятную интенсивность труда, которая и доставила писателю славу «русского Дюма» (именно скорость работы казалась современникам самой удивительной и характерной чертой французского романиста[3]). Полевой говорит, о «почти импровизационной методе» писателя. Это свидетельство не следует понимать буквально — рукописи показывают, что многие страницы подолгу оттачивались в черновиках[4], тем не менее оно дает верное

[1] Библиотека для чтения, 1853, № 2, отд. 6, с. 30.

[2] Эта непоследовательность была подмечена С. С. Дудышкиным (см. Отечественные записки, 1853, № 1, отд. 4, с. 4—5).

[3] Ср., напр., запись от 24 октября 1853 г. в дневнике критика А. В. Дружинина, к которому в этот день вторично явился за статьей редакционный курьер: «Я отвечал, что я не Александр Дюмас» (ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, д. 108, л. 112 об.).

[4] См примечания, с. 422.

общее представление о стиле работы Вонлярлярского, писавшего «без оглядки в один присест, с лихорадочной поспешностью»[1]. За три года писательской деятельности (1850, 1851, 1852) из-под его пера вышло четыре романа, три повести, пять больших рассказов и семь пьес; написанное составило семь объемистых томов. («Вот и всё, что остается»? Что же, остается, как видим, не мало.) Конечно, на скорости письма не могло не отразиться счастливое свойство Вонлярлярского — редкое совпадение типов устной и письменной речи («он был столько же умный, веселый и бойкий говорун и на словах, как на бумаге», «в разговоре и на письме он был совершенно одинаков[2]»), но все же его производительность, пожалуй, беспримерна. Может быть, и впрямь скорость работы определилась боязнью перевести дух (кто знает, сколько осталось?) и отчетливыми шагами смерти за спиной?

Между тем болезнь не медлила. 31 октября 1852 года приехавший в Москву брат-«Монте-Кристо» сообщал своему шурину С. Д. Полторацкому (известному библиографу и библиофилу, через которого, очевидно, Вонлярлярские и пригласили Ксенофонта Полевого для подготовки собрания сочинений писателя): «Застал брата Василья в плохом положении...[3] 30 декабря (11 января 1853 года по новому стилю) В. А. Вонлярлярского не стало (Полевой, как и Сенковский, указывает в качестве диагноза «чрезвычайное раздражение нервов», в одном из некрологов говорится о «продолжительной болезни, окончившейся воспалением в мозгу»[4]). Писателю было 38 лет. Тело отвезли в родовое сельцо Рай, где, по выражению некрологиста, «колыбель назначалась ему могилой»[5].

* * *

«Мне особенно нравятся рассказы г. Вонлярлярского из его путешествий,— признавался в 1851 году уже знакомый нам Иван Панаев.— ...Фантазия сильно преобладает в этих рассказах над действительностью, и от этого они становятся еще заманчивее ⟨...⟩. К тому же Александр Дюма-отец фантазирует в своих «Путевых впечатлениях», г. Габриэль Ферри фантазирует в своих «Мексиканских эскизах»: почему же не фантазировать г. Вонлярлярскому в своих путевых заметках, особенно если умеешь фантазировать так мило?»[6] В путевой прозе — рассказах «Абдаллах-Бен-Атаб», «Поездка на марсельском пароходе» (1850), «Байя» (1851), «Турист»

[1] Библиотека для чтения, 1853, № 2, отд. 6, с. 31.

[2] Библиотека для чтения, 1855, № 1, отд. 5, с. 18; Отечественные записки, 1854, № 5, отд. 4, с. 9.

[3] ОР ГБЛ, ф. 233, к. 1, д. 25, л. 7.

[4] Сын отечества, 1852, № 12, отд. 2, с. 45.

[5] П. Ш. <Шестаков П. Д.> Некрологическое известие.— Смоленские губернские ведомости, 1853, № 4, часть неофиц., с. 27.

[6] Современник, 1851, № 10, отд. 6, с. 15.

(1852) — проявились и другие характерные черты творчества Вонлярлярского: наблюдательность, легкость и простота слога, определенная новеллистичность художественного мышления. Все эти качества с первых же литературных шагов доставили писателю славу замечательного рассказчика. Ее преумножению много способствовало появление рассказа «Воспоминание о Захаре Иваныче» (1851), обнаруживающего более высокую сторону дарования автора — умение показать в индивидуальном портрете типические черты национального характера, отображать смешное, не впадая в карикатуру, и пробуждать симпатию к весьма небезупречному герою (эти свойства таланта Вонлярлярского нам придется вспомнить, говоря о романе «Большая барыня»). Изображение главного действующего лица — путешествующего за границей помещика — далеко от односторонности: в Захаре Иваныче соединились широта натуры и странная мелочность, чудовищная необразованность и природный ум, удивительное добродушие и временами необдуманная жестокость (столь же неоднозначен, заметим, и Петр Авдеевич — главный герой «Большой барыни»). Коллизии «Воспоминания о Захаре Иваныче» и «Большой барыни» также во многом сходны, сюжеты этих произведений движет одна и та же сила — поэзия самообмана героев, неправильно истолковавших случайную недоговоренность,— разница лишь в финалах.

...В 1857 году Ивану Сергеевичу Тургеневу показалось, что он открыл нечто вроде новой болезни, которой дал название «заграничной скуки русских». «Скуке этой,— говорит великий писатель в специальной статье («Из-за границы. Письмо первое»),— следует, между прочим, приписать и жадную их готовность сблизиться с каждым встречным соотечественником; с ним можно по крайней мере Русь помянуть... а не то и в картишки перекинуть»[1]. Между тем за несколько лет до этого заинтересовавшее Тургенева явление было художественно воплощено в «Воспоминании о Захаре Иваныче» (внимание к ситуациям, может быть не очень значительным, но ранее подробно не описанным, будет характерно и для последующих произведений Вонлярлярского). По словам Аполлона Григорьева, «этот рассказ, очень небольшой, но полный ума, наблюдательности, жизни, обличавший в авторе даже способность к созданию типов,— один уже давал г. Вонлярлярскому право на довольно почетное место в ряду наших весьма немногочисленных беллетристов, и ⟨...⟩ обозначил с самого начала род и характер литературной деятельности автора». Но писатель «уклонился от того пути, который указывал ему его талант в «Воспоминании о Захаре Иваныче»[2].

«Уклонение» было совершено в сторону авантюрного романа, или так

---

[1] Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1956, т. 11, с. 316, 318.
[2] Москвитянин, 1852, № 20, отд. 6, с. 159, 162.

называемого «романа-фельетона» (от слова «feuilleton», обозначавшего «подвал» во французских газетах, где помещались печатавшиеся с продолжением произведения основоположников жанра — Э. Сю, П. Феваля, А. Дюма). Газетное происхождение этого вида романа определило его специфику — прерывистое действие, развивающееся по сложной и запутанной интриге, всевозможные (вернее, невозможные) злодейские козни, тайны рождения, мелодраматические герои, беспрерывно меняющие обличье, эффектные и неожиданные ситуации, «кинематографический» монтаж эпизодов. В России «романы-фельетоны» стали появляться с середины 1840-х годов. Белинский, снисходительно отзывавшийся о французских образцах жанра (например, о «Графе Монте-Кристо»: «...блестящее беллетристическое произведение, которое читается легко и скоро; но оно — не роман, а волшебная сказка»), порицал неудачные русские подражания (например, роман Е. П. Ковалевского «Петербург днем и ночью»)[1]. Следы знакомства с французским авантюрным романом заметны в некоторых произведениях Некрасова, Достоевского, Лескова, однако жанр «в чистом виде» не получил у нас широкого признания. Виной тому, конечно, несоответствие духа развлекательной словесности традициям русской литературы, неизменно требующим глубины и серьезности.

Два романа Вонлярлярского — «Силуэт» (1851) и «Магистр» (1852) — всецело принадлежат к описанному малопочтенному жанру В них мы найдем все необходимые элементы «романа-фельетона», главный из которых невероятное («сказочное», как сказал бы Белинский) содержание. «Невероятность» его, впрочем, особого рода и относится лишь к совершенно неправдоподобной интриге. Сцепленные же между собой на сказочный манер отдельные эпизоды выписаны правдиво и точно, с присущей писателю наблюдательностью. Именно по поводу этих двух романов один из критиков справедливо заметил, что «подробности у Вонлярлярского очень замечательны, отдельные сцены даже естественны, но в общем нет истины, и создания его неправдоподобны и натянуты»[2]. Достоверность быто- и нравоописания заметно выделяла «Магистра» и «Силуэт» в ряду других произведений жанра. «Есть между подобными романами такие, которые отличаются совершенным незнанием ни жизни, ни света, ни человека; про роман г. Вонлярлярского,— писал о «Силуэте» Е. Н. Эдельсон (критик, входивший в «молодую редакцию» «Москвитянина»),— этого нельзя сказать; слог хорош — видно, что роман написан человеком умным, много видавшим, одним словом, таким, которого записки (memoires), может быть, не лишены бы были интереса, особенно для потомства...»[3] Действи-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 9, с. 395.
[2] Пантеон, 1854, № 7, отд. Петерб. вестник, с. 18.
[3] Москвитянин, 1851, № 19-20, с. 638; см. также: № 23, с. 515—516.

тельно, «бывалость» писателя не вызывает сомнения. С одинаково глубоким знанием дела он рассказывает о механизме возникновения великосветских сплетен и рисует компанию карточных шулеров, описывает охоту под Петербургом и московское гулянье в Марьиной роще, перемежает картины салонных бесед с показом городского «дна». Некоторые герои имеют реальных прототипов. Так, действующий в «Магистре» Костя Благин несомненно списан с известного московского проказника и повесы К. А. Булгакова, учившегося в юнкерской школе одновременно с В. А. Вонлярлярским. Негативный герой также отчасти построенного по «фельетонным» законам романа «Сосед» (опубликован посмертно в 1853 году), барон Кронбруншпиц, своими агрономическими теориями напоминает дальнего родственника писателя барона Ф. Б. Унгерн-Штернберга, напечатавшего, между прочим, панегирическое описание импортированных А. А. Вонлярлярским из Европы методов ведения сельского хозяйства[1] (кстати, применение этих методов в России последовательно развенчивается на страницах романа).

Что же заставило одаренного писателя, способного, как показали уже первые опыты, многое сделать в литературе, обратиться вдруг к легковесному жанру, заимствованному у новейшей школы французских романистов? Причин здесь, как нам кажется, несколько. Необходимо учесть и фактор европейской литературной моды, и любовь автора к неожиданным сюжетным ходам, постоянно обманывающим читательские ожидания, и характер его дарования, вполне соответствующий этому типу романа («...талант г. Вонлярлярского,— писал С. С. Дудышкин,— можно сравнить с талантом импровизатора: какую ни задайте ему тему, он сейчас, не задумываясь о конце, о завязке, о характерах, начнет вам рассказывать историю и во время самого рассказа, одушевляясь собственными своими словами, говорить часто и впопад выражения бойкие, сравнения меткие, приводить случаи забавные, над которыми вы долго смеетесь»[2]). Более существенной причиной представляется то обстоятельство, что авантюрный герой, как никакой другой, позволяет автору на современном материале художественно моделировать изменчивость и постоянную многовариантность человеческой судьбы (по словам М. М. Бахтина, во французских социально-авантюрных романах середины прошлого века «быт оказался втянутым в карнавализованное сюжетное действие, обычное и постоянное сочетались с исключительным и изменчивым»[3]). Так, среди пестрого мно-

[1] См.: Северная пчела, 1851, № 230, 16 окт., с. 917; см. также печатное возражение: Соловьев Я. Смоленская губерния по наблюдениям барона Унгерн-Штернберга.— Журнал министерства государственных имуществ, 1851, № 12, отд. 4, с. 90—92.

[2] Отечественные записки, 1853, № 2, отд. 5, с. 100.

[3] Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979, с. 184; ср. также важное суждение об авантюрном герое на с. 117—121.

жества персонажей «Силуэта» несомненно действует и неназванное лицо «судьба глядит», как сказал бы Пушкин (при обращении к «роману фельетону» Вонлярлярский, конечно, имел в виду опыт А. Ф Вельтмана придавшего своему социально-авантюрному роману «Саломея» (1846 1848) многие черты романа философского) Тем не менее «Силуэт» «Магистр» и несколько тенденциозный «Сосед», хоть в каждом из них можно найти десятки блестящих страниц, не только не были способны спасти имя автора от забвения, но, наоборот, «перевесили» в читательском сознании остальные произведения Вонлярлярского, создав ему прочную репутацию поверхностного беллетриста французского образца (эти же ро маны заставили «работать» в новом ключе прозвание «русский Дюма» доставшееся писателю в награду за удивительную работоспособность,— теперь оно указывало не только на это внешнее сближение, но и на содержательное сходство с французским романистом).

Отсутствие документальных данных, на которое мы не раз уже сетовали здесь, не позволяет с точностью установить последовательность напи сания произведений Вонлярлярского (время их выхода в свет мало что может прояснить при чрезвычайной краткости пребывания писателя на сцене российской словесности). Поэтому трудно говорить о направлении его творческой эволюции (с уверенностью можно лишь заключить, что движение его таланта отнюдь не всегда было поступательным: так, испол ненный серьезных художественных просчетов «Сосед», судя по всему, был написан после лучшего произведения Вонлярлярского — романа «Большая барыня»). И мы не станем пытаться определить, что было создано раньше повесть «Ночь на 28-е сентября» или «Большая барыня», отметим лишь несомненную творческую связь между этими произведениями — оба напи саны вне поэтики авантюрного романа, на самом обыденном, провинциаль ном материале и в этом смысле, подобно путевой прозе, образуют некое самостоятельное направление в творчестве писателя (это обстоятельство кстати, и определило состав данного сборника).

«К моему искреннему сожалению,— говорит Вонлярлярский в романе «Магистр»,— в глубину сердец заглядываю я очень, очень редко, а рас пространяюсь о чувствах еще реже, по самой простой причине: боюсь ошибиться!» Провозглашенный здесь принцип наиболее последовательно проведен в жизнь в «Ночи на 28-е сентября». Сам избранный писателем жанр — повесть в письмах — исключал не только авторский анализ психологического состояния героев, но и авторскую речь вообще (лишь выстав ленные перед некоторыми письмами пометы вроде «пятнадцать дней спустя»,— пометы, которых не могло быть в настоящих письмах,— чуть чуть переводят повествование в косвенную речь и напоминают читателю что перед ним литературное произведение, а не документальная публи кация). Тем не менее оказалось, что Вонлярлярскому достаточно и «внеш

чих» средств, чтобы изобразить историю сложных душевных переживаний. Впрочем, разумеется, не обошлось и без издержек: писателю удался лишь один из двух центральных характеров (естественно, характер «автора» писем, составивших повесть,— богатой и знатной петербургской девушки, приехавшей по совету врачей в деревню). Некоторый схематизм второй центральной фигуры повести — Старославского — объясняется тем, что в нем, очевидно, не столько отразились жизненные наблюдения автора, сколько было воплощено желание во что бы то ни стало представить характер оригинального героя. Старославский постоянно обманывает ожидания рассказчицы, подобно тому как события авантюрных романов Вонлярлярского постоянно не совпадали с привычными сюжетными схемами. «...Не слыхала ли я уж сто раз всего, что скажет мне влюбленный Старославский? — восклицает весьма тут заблуждающаяся героиня «Ночи на 28-е сентября».— Не встречались ли его будущие взгляды с моими взглядами и не исчислены ли вперед все подобные случаи всеми романистами нашего времени?» Едва ли не каждое произведение Вонлярлярского проникнуто желанием, оттолкнувшись от традиционных решений, опровергнуть представленное здесь расхожее мнение об исчерпанности романных коллизий. Разумеется, это далеко не всегда идет на пользу: непривычный ход событий нередко оказывается заодно и неестественным (критик Владимир Зотов писал о «Ночи на 28-е сентября»: «...г. Вонлярлярский как будто с умыслом старается ⟨...⟩ уничтожить те приятные впечатления, которые производит начало его повести»[1].

В основе повести, о которой мы говорим, лежат проглядывающие и в других сочинениях писателя размышления о том, сколь часто люди неверно объясняют себе происходящее вокруг. Размышления эти воплощены в повествовании (местами довольно натянутом) о некоем мистическом происшествии и его рациональной мотивировке[2]. Но не этим интересна нынешнему читателю «Ночь на 28-е сентября». Говоря о пользе, которую может принести переиздание ряда забытых литераторов минувшего века, Сергей Залыгин так характеризует свидетельства «вторых» писателей о прошлом (о прошлом, разумеется, с нашей точки зрения, а с их — о самом что ни на есть настоящем): «Свидетельства эти бытоописательны, в какой-то мере даже фотографичны, но они же и художественны, а значит, создают образы людей и воссоздают их быт в обобщенном виде, минуя случайность мемуаров, их сосредоточенность на явлениях не рядовых и не общих»[3]. Именно такие свидетельства то и дело встречаются на страни-

[1] Пантеон, 1852, № 6, отд. 8, с. 2.

[2] Отметим более ранний и несравненно более глубокий интерес к подобного рода явлениям у В. Ф. Одоевского (см.: Турьян М. А. Эволюция романтических мотивов в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра».— В кн.: Русский романтизм. Л., 1978, с. 187—206).

[3] Залыгин С. П. Литературные заботы, с. 339.

цах повести. «В столице,— пишет ее героиня,— никто из нас не имеет никакого понятия о провинциальной жизни: этот мир так мало походит на наш обыкновенный, что, случайно увидев его, непростительно было бы не изучить нравов и обычаев неизвестного мира». Такая позиция позволяет рассказчице сообщить в своих письмах множество подробностей уездной жизни, прямо с ходом повествования не связанных, но для нее (и для нас!) чрезвычайно любопытных. О типичности и обобщенности их мы можем судить хотя бы по образу поэта Купера.

Год выхода в свет «Ночи на 28-е сентября» и «Большой барыни» — 1852-й — стал годом своего рода литературного паломничества в русскую провинцию. Разумеется, и раньше провинция привлекала внимание писателей, но этот год, кажется, стал рекордным по количеству посвященных губернской жизни печатных листов. Самыми монументальными произведениями были два романа, печатавшиеся на протяжении многих месяцев в «толстых» журналах («Отечественные записки», № 1—7; «Современник», № 1—9),— «Проселочные дороги» Д. В. Григоровича и «Львы в провинции» И. И. Панаева. Так вот в обоих этих романах (претендующих, кстати, на известный энциклопедизм охвата губернской действительности) выведены (разумеется, совершенно по-разному) провинциальные поэты. Григорович даже «теоретически» обосновал появление такого лица на страницах романа. «Не мешает здесь заметить,— говорит писатель,— что в мелком и провинциальном обществе сочувствие к печатной литературе, и особенно к стихам, ровно ничего не значит сравнительно с сочувствием к доморощенной, скорописной, словом, своей поэзии. Стишки разных двоюродных братцев, вдохновенных франтов в венгерке, возбуждают несравненно более восторга, чем стихи даже первоклассных поэтов. В провинциях каждый кружок пользуется преимуществом иметь своего любимого поэта...» (ч. VI, гл. XXXVII). Одновременность появления произведений Вонлярлярского, Григоровича и Панаева исключает возможность взаимовлияний: каждый из этих писателей самостоятельно пришел к необходимости изобразить явление, о котором говорится в приведенной цитате из «Проселочных дорог». Таким образом, уездный поэт Купер вошел в число действующих лиц «Ночи на 28-е сентября» не по велению прихотливой фантазии Вонлярлярского, а потому, что являл собою тип, настоятельно требующий художественного осмысления.

Действие романа «Большая барыня» также разворачивается в провинции. Но провинциальная жизнь изображена здесь уже несколько поиному: наряду с мягкой иронией, свойственной повествовательному строю «Ночи», в лучшей книге Вонлярлярского отчетливо звучат сатирические ноты. Представленная в романе галерея уездных портретов (городничий, штатный смотритель училища, частный пристав, судья, вдова судьи, барышни, учитель) написана в подчеркнуто гоголевской манере. Ориента-

ция на Гоголя столь отчетлива, что вызывают полное недоумение сделанные в пылу журнальной борьбы попытки Полевого и Булгарина противопоставить роман гоголевскому направлению.

Годы литературной деятельности Вонлярлярского совпали с одним из самых печальных периодов в истории русской литературы, получившим название «мрачного семилетия» (1848—1854). При этом писатель не дожил даже до крохотного цензурного послабления, которое не без труда можно разглядеть в 1853 году[1]. «Наше время — для автора, время скорби»[2],— писала в 1852 году Е. В. Салиас (Е. Тур), чей вполне благонамеренный роман «Племянница» вызвал тем не менее серьезные нарекания со стороны начальства. «Скажите мне: зачем они тратят время на литературу? — недоумевал по поводу писателей один из членов организованного в 1848 году негласного («бутурлинского») комитета по надзору за печатью.— Ведь мы положили ничего не пропускать, из чего же им биться?»[3] Сорвавшаяся с цепи цензура деформировала во время «мрачного семилетия» не одну творческую биографию[4]. Не допускалось представление чиновников и помещиков в смешном, а крестьян — в истинном виде, не допускались порицания («хотя бы и косвенные») никаких распоряжений властей... Не допускалось практически ничего. Тайный смысл постоянно обнаруживался в самых невинных строчках. Все это заставляет нас оценить сатирический элемент в «Большой барыне» по совершенно особым меркам.

Сюжет романа очень прост (кстати, сильное упрощение интриги много содействовало успеху произведения), не нов (отдаленный прообраз его можно обнаружить даже в карамзинской «Бедной Лизе») и, более того, тиражирован во множестве повестей и романов (последнее по времени воспроизведение находилось в уже упоминавшихся «Львах в провинции» Панаева). Тем не менее Вонлярлярскому удалось существенно обновить распространенную схему. Новизна заключалась вовсе не в том, что жертвой любовной истории стал представитель сильного пола, заменивший традиционную провинциальную барышню (отступления от этой традиции нет-нет да встречались). Открытием Вонлярлярского стало то, что в его романе к трагическому финалу приводят не реальные романические происшествия, а психологическая фикция одного из героев (припомним сказанное выше по поводу веселого «Воспоминания о Захаре Иваныче»).

---

[1] См.: Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982, с. 62.

[2] Новые Пропилеи. М.— Пг., 1923, т. 1, с. 26.

[3] Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 522.

[4] См., напр., переписку, опубликованную в статье: Кирилина Е. Я. Д. В. Григорович и царская цензура в 1848—1855 годах.— Уч. зап. Рязанского гос. пед. ин-та. М., 1967, т. 39, с. 69—87.

В «Большой барыне» отсутствует персонаж, облеченный сюжетным заданием воплощать активное зло,— завистник и интриган, разрушающий счастье героев. Его функции берет на себя сама жизнь. Подобный вариант светской повести был уже разработан. Например, герой «Аптекарши» В. А. Соллогуба (1841) делает свою возлюбленную несчастной не вследствие чьих-то злых козней, а потому, что не может переступить сословный барьер (автор «всем ходом своего повествования» показывает, что соблазнитель «не мог вести себя иначе, что все его действия были предопределены заранее»[1]). Эта социальная обусловленность, разумеется, не может повлиять на моральную оценку действий соллогубовского героя, вполне заслужившего ими звание негодяя. Счастливая находка Вонлярлярского позволяет ему пойти существенно далее и освободить губительницу действующего в «Большой барыне» отставного штаб-ротмистра от возможности каких-бы то ни было упреков (она ведь не совершает никаких действий, а любовная история разыгрывается лишь в воображении героя). Если в повести Соллогуба виноваты все действующие лица, то в романе Вонлярлярского виноватых нет. Тем страшнее его трагическая развязка, свершающаяся по «силе вещей». Сословное размежевание дворянства обретает в «Большой барыне» силу рока, оно, оказывается, достигло такого уровня, что для небогатого помещика гибельно даже и простое прикосновение к миру богатства (в более обнаженной форме эта идея присутствует и в посмертно опубликованной повести Вонлярлярского «Могло бы не случиться»).

Конечно, такой социальный конфликт страдает некоторой узостью, локальностью, но его нельзя обвинить в надуманности. Напротив, жизненность основных положений романа подтверждается современниками. Вспоминает уроженка Смоленской губернии (той самой, где Вонлярлярский собирал материал для «Большой барыни») Е. Н. Водовозова: «...в конце 40-х и в 50-х годах XIX столетия дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом: вели они совсем простой образ жизни, и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени. Может быть, вследствие этого мы, дети, с величайшим интересом слушали рассказы старших о том, с каким царским великолепием жили те или другие помещики, как роскошно были обставлены их громадные дома, походившие на дворцы, какие блестящие пиры задавали они ⟨...⟩. Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на двести кругом»[2]. Вот тот реальный фон, на котором разворачивается действие романа Вонлярлярского и который чрезвычайно важен для его понимания. «Большая барыня»

---

[1] Немзер А. С. Проза Владимира Соллогуба.— В кн.: Соллогуб В. А. Избранная проза. М., 1983, с. 13.

[2] Водовозова Е. Н. На заре жизни. М., 1964, т. 1, с. 122.

для штаб-ротмистра не просто красивая, умная и обаятельная женщина, она прежде всего существо мифологическое, сказочное и потому неизъяснимо притягательное. В еще более «чистом виде» магическое действие столичной титулованной особы на провинциала (пребывающего, кстати, в одном чине с героем произведения Вонлярлярского) представлено в одном из эпизодов «Львов в провинции» Панаева (ч. II, гл. 17):

«Кобеляков немного отшатнулся назад, долго искоса и значительно смотрел на Вихляева, облизывая губы и покачивая головою.

— Ты что такое? — произнес он наконец коснеющим языком.— Я штаб-ротмистр... понимаешь ты это?.. понимаешь? ⟨...⟩ А ты что?.. Вот его сиятельство... он — граф... понимаешь, граф!.. За его сиятельство я готов сейчас жисть положить, на плаху пойду за него... да, да!.. А ты что?»

Если представительница большого света лишена в романе Вонлярлярского отрицательных качеств, то противопоставленный ей «естественный» человек[1] — отставной штаб-ротмистр Петр Авдеевич Мюнабы-Полевелов, наоборот, поначалу не вызывает особых симпатий читателя (здесь снова, в который раз, отрицаются штампы светской повести) Петр Авдеевич мало похож на героя романа — он не образован, не возвышен и начисто лишен каких бы то ни было умственных интересов (единственный предмет его помыслов — лошади и охота). Тем сильнее впечатление от его преображения в конце книги, от благородства и величия души не-героя, для которого собственная честь и верность неразделенной любви оказались высшими жизненными ценностями. Между тем внимательный читатель не найдет в преображении Петра Авдеевича ничего чудесного. У него не прибавилось новых качеств, все было заложено в нем изначально. «Нет, уж извините, таких дел отродясь не делал, да и умру, надеюсь, не сделаю»,— отвечает он на предложение дорогого подарка в самом начале своего знакомства с богатой соседкой. Дальнейшая трагедия штаб-ротмистра связана, между прочим, с забвением собственных принципов, а его духовное возрождение — с возвращением к самому себе.

Критикам показалось весьма шатким и натянутым объяснение графини с штаб-ротмистром, породившее в нем столько безосновательных надежд и приведшее в конечном итоге к трагической развязке. Однако оно вовсе не являлось результатом торопливой необдуманности. Сцепление случайностей, переворачивающее судьбу человека,— весьма важный для Вонлярлярского элемент его ви́дения мира (в этом нас убеждает уже упоминавшаяся повесть «Могло бы не случиться»: построенная по тем же сюжетным принципам, но гораздо менее искусно, чем «Большая барыня»,

[1] О роли этого персонажа в светской повести см.: Немзер А. С. Повести В. А. Соллогуба на фоне романтической традиции.— Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология, 1982, № 6, с. 47

повесть эта приоткрывает и скрытые стороны авторского замысла романа). «То, что мы часто, в слепоте своей, называем случаем,— говорит одна из писательниц 1850-х годов,— есть не что иное, как необходимое следствие поступков наших»[1]. Вонлярлярский вполне мог бы подписаться под этим суждением. В его романе судьба, как волшебница, предложила Петру Авдеевичу две дороги на выбор. Штаб-ротмистр выбрал гибельную для себя, но при этом не мог выбрать другую («Графиня соединяла в своей особе слишком много совершенств, чтобы не поработить в одно время как нравственных, так и чувственных способностей своего бедного соседа») Графиня появилась в жизни Петра Авдеевича совершенно случайно. Но случайность эту создал он собственными руками... В каждом эпизоде «Большой барыни» пульсирует диалектика случайного и закономерного (важное условие точности воспроизведения действительности). Композиция романа исправно потакает и идее изменчивости человеческих судеб (события от первой встречи героя с графиней до его смерти укладываются в промежуток от святок до святок — природа совершает лишь один круг, а мы видим, сколь многое за этот год переменилось), и идее детерминированности бытия (положение Петра Авдеевича заставляет его постоянно против своей воли опровергать поступками собственные программные высказывания).

В чем же все-таки смысл «Большой барыни»? Вонлярлярский оставляет роман без декларированного в тексте поучения. Читатель волен самостоятельно выбрать себе по вкусу (и по плечу) любой вывод в широком диапазоне от «не в свои сани не садись!» до «и от судеб защиты нет!».

Если ко всему сказанному мы добавим «озвученность» помещенных в романе диалогов, последовательно индивидуализированную речь персонажей, которая, в свою очередь, много способствует раскрытию ярко и рельефно очерченных характеров, то станет ясно, что «Большая барыня» была весьма незаурядным явлением в беллетристике своего времени.

Тем не менее ни в одной из множества журнальных рецензий мы не обнаружим попытки сколько-нибудь глубокого разбора этого романа. И дело здесь не только в том, что во время литературной деятельности Вонлярлярского (1850—1852) русская критика переживала не самые светлые дни. Главная причина поверхностного отношения к его прозе — это инерция восприятия писателя в качестве автора развлекательных авантюрных романов, далекого от серьезных размышлений о действительности. Критики не успевали уследить за разнообразием направлений творчества Вонлярлярского (напомним о его во многом уникальной судьбе литератур-

[1] Тур Е. Племянница. М., 1851, ч. 4. с. 271

ного метеора)[1] и принимали отсутствие деклараций за отсутствие идей.

Мнение критиков предопределило оценку историков литературы, для которых имя Вонлярлярского оказалось связано только с жанром великосветского романа[2]. С. А. Венгеров, наткнувшийся в старой газете на хвалебный отзыв Булгарина о «Большой барыне», тут же именует роман посредственным[3], исходя, очевидно, из презумпции, что Булгарин хорошую книгу не похвалит (нельзя не вспомнить справедливое замечание одного из современников Вонлярлярского: «Хуже всего, что крайние похвалы ведут за собою крайние порицания, и от всей этой путаницы мнений теряет только один разбираемый писатель, который, между прочим, ни в чем не виноват»[4]. Попытки трезво взглянуть на наследие Вонлярлярского затерялись в журналах[5], и арена целиком осталась за авторами обобщающих монографий. Благодаря последним создалось представление о писателе как о сочинителе, не достойном внимания не только публики, но и истории литературы. Эта репутация оказалась столь устойчивой, что мы не найдем имени Вонлярлярского даже в таких капитальных коллективных трудах, как «История русского романа» (т. 1—2, М.— Л., 1962—1964), «Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра» (Л., 1973), «История русской литературы» (т. 1—4, Л., 1980—1983). На таком фоне уже не так удивляет удивительный абзац, посвященный писателю в вузовском учебнике: «Следуя за Булгариным, подражая ему, В. А. Вонлярлярский в начале 50-х годов выпускает вереницу «светских» романов. Его сугубо авантюрные («Большая барыня», 1852), даже авантюрно-уголовные («Силуэты»

---

[1] Напр., совершенно очевидно, что знакомство братьев Аксаковых с его прозой не простиралось далее «Силуэта» и «Магистра» (см.: Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу. М., 1894, с. 30; Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981, с. 231; Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов. Л., 1984, с. 182).

[2] См.: Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы 1848—1892 гг. 3-е изд., испр. и доп. Спб., 1897, с. 16—17; Весин С. Былое: Из русской жизни и литературы 40—60-х годов. Житомир, 1899, с. 107; Морозов П. Минувший век. Спб., 1902, с. 165; Ч. Ветринский (Чешихин Вас. Е.). Сороковые годы XIX века.— В кн.: История русской литературы XIX в./Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. М., 1911, т. 2, с. 177—178.

[3] Венгеров С. А. История русской литературы. (От смерти Белинского до наших дней). Спб., 1885, ч. 1, с. 129.

[4] Отечественные записки, 1854, № 5, отд. 4, с. 11.

[5] См. статьи П. В. Быкова (Нива, 1887, № 41, с. 1015—1017, подп.: П. Б-в; Всемирная иллюстрация, 1889, № 21, с. 356—357; Звезда, 1903, № 3, с. 36—38) и Д. Д. Языкова (Север, 1889, № 21, с. 415—416, подп.: Дим.). Нельзя серьезно говорить о статье В. Исакова «Смоленский Дюма» (Литературная Россия, 1985, № 15, 5 апр., с. 24), основное содержание которой (вместе с ошибками и опечатками) заимствовано из справочника И. Т. Трофимова «Писатели Смоленщины» (М., 1973, с. 51—54).

⟨так! — *А. И.-Т.*⟩, 1851) романы идеализируют дворянство, старательно затушевывают социальные противоречия и пропагандируют абстрактно-религиозную мораль православной церкви»[1]. Читатель, давший себе труд познакомиться с открывающим эту книгу произведением, легко убедится, что приведенные сведения, собранные в дореволюционных историко-литературных курсах и основательно сдобренные фантазией, имеют весьма далекое отношение к автору «Большой барыни».

Мы бы не стали столь подробно останавливаться на истории забвения Вонлярлярского и искажения сути его творчества, если бы история эта имела отношение лишь к нему одному. Но невольно напрашивается вопрос: сколько еще добротной русской прозы пылится в дальних кладовых нашей литературы под покровом некогда впопыхах наброшенных и давно выцветших ярлыков — «салонная», «лубочная», «натуралистическая», «охранительная», «подражательная»?..

* * *

Составитель лежащей перед вами книги приехал в село Рай в один из сентябрьских дней 1984 года. Теперь село принадлежит совхозу «Миловидово» Смоленского района. Господский дом был уничтожен во время Великой Отечественной войны или (по другим сведениям) вскоре после нее[2]. К месту, где он стоял, безошибочно приводит аллея великолепного парка, расположившегося на берегу пруда. Вероятно, «почтенный замок был построен, как замки строиться должны». Неподалеку высится церковь Казанской Божьей Матери. Губернский архитектор Михаил Никифорович Слепнев начал возводить ее в 1814 году — в год рождения Василия Вонлярлярского. По словам специалиста, «ее иконостас является чрезвычайно интересным художественным творением в стиле классицизма XVIII века, еще не отрешившегося от пышности барокко. Особенно интересен грандиозный купол с люкарнами у основания, через которые лился в помещение церкви верхний свет»[3]. Но и неспециалист может заметить, что даже и на Смоленщине, где работы реставраторам — непочатый край, этот удивительный архитектурный памятник следовало бы реставрировать в первую очередь[4]. К задней стене церкви чья-то назидательная рука прикрепила

---

[1] Ревякин А. И. История русской литературы XIX века. Первая половина. М., 1977, с. 443.

[2] См.: Памятники архитектуры Смоленской области. Смоленск, 1956, с. 46; ср.: Белогорцев И. Архитектурные сокровища Смоленщины.— Смоленский альманах, 1950, кн. 7, с. 217.

[3] Белогорцев И. Указ. соч., с. 217.

[4] Ср. мнение, изложенное в статье о М. О. Микешине: Смирнова А. Певец российской славы.— Политическая агитация (Смоленск), 1978, № 14, с. 29.

несколько мертвых ворон — кругом сады. Здесь же, за церковью, было когда-то господское кладбище. Под густым кустарником теперь невозможно разобрать его границ. Старожилы рассказали, что в войну кладбищенский склеп, который «делали для себя богатеи», был разобран на кирпичи. Других известий о могиле писателя не отыскалось. («Прах забвенью предается,// А трава — для лошадей».) Пруд и парк были столь же живописны, что и полтора столетия назад. Видавшее виды небо выглядело вполне молодо. Было в тот день и осеннее солнце. «Вот и всё, что остается»? — Что ж, остается не мало.

Александр Ильин-Томич

Большая барыня

Часть первая

В отдаленном уезде одной из западных губерний, на весьма неживописном берегу речки Коморца и поднесь красуется усадьба, принадлежавшая некогда Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову. Усадьбу эту получил Петр Авдеевич в наследство от отца своего, умершего в 18... году. Петр Авдеевич служил тогда в одном из армейских уланских полков штаб-ротмистром и считался ездоком. Не имея ни матери, ни братьев, ни сестер, штаб-ротмистр как единственный наследник родителя почел за лучшее выйти в отставку. Он был широкоплечий малый, лет двадцати осьми, роста среднего, с красными руками и лицом довольно обыкновенным. Волосы его были черны и жестки, лоб мал, глаза без выражения, зубы белы и ус длиннее всех усов бригады, в которой служил Петр Авдеевич; ус этот начинался под носом, не останавливаясь проходил мимо углов рта и терялся под самым подбородком.

Неожиданная весть о кончине родителя огорчила штаб-ротмистра; он не плакал — это правда; но не проходил мимо его ни один офицер, ни один лекарь, ни один аудитор, которому бы Петр Авдеевич не сказал: «А знаете ли? ведь батюшка-то умер! вообразите себе». И, высказав это, он в задумчивости брался за ус, тянул его вниз, клал его в рот и проходил далее.

Первую ночь сиротства своего провел штаб-ротмистр

тревожно; но следующие менее тревожно, а чрез неделю засыпал скоро, спал крепко и просыпался в обычный час. Несправедливо было бы упрекать в нечувствительности сердце Петра Авдеевича. Сердце его с девятилетнего возраста отдано было, вместе с ним, в одно из учебных заведений и в продолжение очень долгого времени билось это сердце на родительской груди один только раз. Обязанности службы и далекое расстояние уничтожали всякую возможность частых свиданий сына с отцом, а потому и смерть родителя умеренно поразила детище.

В один из майских, ясных дней 18... года перекладная почтовая телега остановилась у деревянного домика сельца Костюкова, Колодезь тож (так звали поместье штаб-ротмистра); с телеги соскочили покрытый грязью, небритый Петр Авдеевич и камердинер его, желтовласый детина лет тридцати. Целых пять лет не видал усадьбы отца своего штаб-ротмистр, целых пять лет не билось сердце его при встрече с знакомыми местами, с полуразвалившейся часовнею, с толстым развесистым дубом, с деревушкою, служившею предместьем Костюкову, с обрывистою дорожкою, пролегавшею по берегу Коморца, и, наконец, с самым двором усадьбы, отгороженным еловыми кольями от фруктового сада и хозяйственных строений. В этот приезд Петр Авдеевич не шептал про себя: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», не бросался с невольным трепетом к руке строгого и сурового отца; он без страха вылез из телеги; но тем не менее в глазах его изобразилась глубокая печаль, и он не раз отворачивался от приказчика, прежде чем вошел в прихожую опустелого родительского дома.

— Здорово, Кондратий, здорово, Егорыч,— проговорил молодой помещик дрожащим голосом и целуя в седую голову шестидесятилетнего приказчика пошлой наружности; приказчик, не успевший удержать пойманную им невзначай барскую руку, поцеловал барина куда попало и бросился отворять дверь в залу.

В так называемой зале, то есть небольшой комнате с пятью окнами, кривым полом и плетеными стульями, висел в зеленых рамках отцовский портрет: на нем изображен был Авдей Петрович в охотничьем наряде, с рогом, пороховницею, дробовиком, ягдташем, ножом и арапником через плечо; лицо покойника и глаза смотрели прямо перед собою; ноги, обутые в длинные сапоги, выворочены были на-

ружу; левою рукою держал он двуствольное ружье, а правою указывал собаке на сидевшего в кусте бекаса, почти одинаковой с собакою величины. Позади охотника виднелся дом и строение Костюкова, а позади строений художник изобразил нечто среднее между небом и землею. Штаб-ротмистр приостановился у портрета, пристально посмотрел на него и, вздохнув глубоко, прошел в гостиную, из гостиной в диванную, из диванной в комнату, служившую недавно спальнею Авдею Петровичу.

— Я буду спать здесь,— сказал Петр Авдеевич приказчику, следовавшему молча за барином.

— Слушаю, слушаю, сударь,— отвечал старик,— но покой этот...

— Батюшкин,— прибавил штаб-ротмистр,— знаю!

— Ловко ли будет, сударь?

— Как ловко ли? отчего ловко ли?

— Так, батюшка Петр Авдеевич, все думается, что скончаться изволили...

— Неужто же ты боишься, Кондратий Егорович! — заметил, улыбаясь, штаб-ротмистр.

— Бояться? чего бояться, сударь? жизнь кончили христиански, бояться грех, а все думается...

— Полно, брат, мертвые не встают; вели-ка постлать мне на этой кровати, вот и все. Видел ли ты сына, Егорыч? — прибавил штаб-ротмистр, садясь в кресла,— посмотри, какой молодец!

— Много доволен вашими милостями, батюшка Петр Авдеевич! — воскликнул приказчик, снова бросаясь к барской руке,— кому же и беречь слугу, как не господину; я ваш слуга.

— И лихой малый, надобно правду сказать, Егорыч, проворный такой, хват, доволен очень.

— А довольна ваша милость, и я спасибо скажу, сударь. Что, пьет он, Петр Авдеич?

— То есть как тебе сказать? пить пьет; кто же не пьет? и я пью.

— Ну, слава же тебе, господи,— повторил старик с умилением.

— Разумеется, случится, выпьет,— продолжал, потягиваясь, штаб-ротмистр,— да у меня, знаешь, Егорыч, пить пей себе — слова не скажу, и пьян будь — ничего, ну, а уж дело какое случится, понимаешь?

— Как же не понимать, сударь, известно, дело случится!..

— Вот то-то же; впрочем, грешно сказать, малый на все взять; послать ли куда, купить ли что, у полковника вечер какой, обед... принарядиться... одно — на руку не чист; положишь оплошно, не прогневайся!

— Что вы, батюшка, упаси же, господи!

— Небось думаешь у меня? нет, брат, за этакое, брат, дело, он знает... ни-ни! а вот у другого кого — мое почтение!..

— Ну, коли не у вас, батюшка, Петр Авдеич, так дело другое, а господского не тронь, не то не посмотрю, и вы, сударь, не прогневайтесь, такую трепку задам!

— Нет, нет, грешить не хочу, Кондратий Егорыч, за моим добром блюдет, как следует; нечего пустого и говорить!.. Ну, скажите же, Кондратий Егорыч, вспоминал ли батюшка обо мне, когда умирал?

— Как же не вспоминать, Петр Авдеич, ведь родное дитя и одни изволили быть у покойного барина.

— Как же он вспоминал?

— А вот говорили, бывало: «Где-то теперь Петруша? чай, по фронту или ученьем каким заниматься изволит!» А в другой раз, под вечер, спросят карты и гадают все об вас, батюшка, и скоро ли женитесь, и какой там чин получите; а кончаться стали-с сердечные: «Воды»,— говорят, воды просили, мучились жаждою и чего не делали; нет, видно, срок пришел, сударь, от смерти не уйдешь, не спрячешься.

— Посылали ли вы за лекарем, Егорыч?

— За лекарем, батюшка? за лекарем-то, правда, не посылали; священник же, отец Аникандр, был и при самом издыхании все находился при барине!.. завидная кончина! — приказчик вздохнул, окончив свое повествование, а Петр Авдеевич предался хотя не продолжительному, но грустному размышлению.

Пока барин разговаривал с приказчиком, камердинер вытащил из перекладной телеги рыжеватый чемодан, кожаную сумку, погребец, обитый телячьей шкуркой, кулек с колодками, саблю, завернутую вместе с чубуком, и пару чудовищных пистолетов; все это разложил Ульян (так звали камердинера) на дощатом крыльце, окруженном толпою дворовых женщин и детей обоего пола. Когда же,

перешарив сено, камердинер отыскал остаток стамбулки, то вынул из кармана шаровар гарусный кошелек, достал оттуда медный пятак, бросил его ямщику, потом снял фуражку и принялся обнимать поочередно предстоявшую публику, наделяя каждого тремя полновесными поцелуями. Все это происходило в Костюкове, Колодезь тож, часов около двух пополудни. Более получаса употребил Петр Авдеевич на грустные и тяжкие размышления и воспоминания, но желудок штаб-ротмистра, не принимавший, по-видимому, ни малейшего участия в скорби сердца, шепнул наконец, что час обеденный наступил давно.

— А что, брат Егорыч, ведь поесть бы надобно,— сказал барин, обращаясь к приказчику.

— Как же, батюшка, надобно, особенно после дороги.

— То-то, Кондратий, да есть ли у вас что-нибудь?..

— Что вы, сударь, в господском доме да не найти?.. все есть; прикажете позвать Прокофьича?

— Жив разве?

— Что нам, старикам, делается?

— Так позови Прокофьича, или... постой; вот что, Егорыч, потрудись, любезный, приказать ему состряпать так, что-нибудь; супу не нужно, прах ли в нем, а гуся или уточку.

— Слушаю-с, слушаю-с.

— Потом ветчинки провесной нарезать этак ломтиков с пяток, да чтобы сальца не отрезывал прочь.

— Понимаю-с, понимаю-с.

— Или почек, когда бы достать можно было, так селянку на сковороде с луком.

— Слушаю-с, слушаю-с, батюшка Петр Авдеич, извольте быть благонадежны, все прикажем мигом

— Пожалуйста, братцы, поторопитесь.

— Слушаю-с, слушаю-с,— повторил приказчик, пускаясь бегом вон из комнаты, в которой остался полуутешенный Петр Авдеевич. Он потер себе руки, потом пожевал ус и, встав с кресел, принялся осматривать окружавшие его предметы. Первое, что попалось ему на глаза, был шкап с книгами. Штаб-ротмистр поспешил отвести взор свой от этого слишком живого воспоминания чего-то весьма неприятного: Петр Авдеевич никогда не мог забыть слез, пролитых им некогда над «Кратким изложением всех пяти

частей света»; сколько раз, бывало, в детстве своем, штаб-ротмистр стаивал за них на коленях, сколько раз, чрез посредство покойного родителя, представлялся юному Петру Авдеевичу случай приходить в соприкосновение с этими драгоценными творениями, и тогда черты сыновнего лица мгновенно переменяли выражение, а желудок лишался одного или двух блюд. В настоящую минуту штаб-ротмистр удовольствовался тем, что окинул давнишних врагов своих презрительным взглядом и, обойдя шкап, углубился в рассматривание нескольких картин, симметрически развешенных между изразцовою печью и дверьми.

Петр Авдеевич очень хорошо помнил, что одна из этих картинок изображала прехорошеньких детей, перепуганных внезапным появлением волка; ему, то есть Петру Авдеевичу, казалось даже, что у волка этого были красные глаза и темно-лиловая шерсть; что лапами зверь упирался на одного малютку, в то время как морда его обращена была к другому зверю, прехладнокровно выглядывавшему из окна, и что второй зверь впоследствии должен был спасти несчастных и оказался доброю и верною собакою; все это помнил штаб-ротмистр, но рассмотреть не мог, потому что стекло, покрывавшее картинку, значительно потускнело. Петр Авдеевич поднес палец ко рту, потом потер им стекло, и действительно: глаза у волка оказались красного цвета; тот же палец поднес снова Петр Авдеевич ко рту и снова потер им стекло, и темно-лиловый цвет волчьей шерсти вышел наружу довольно явственно. Ободренный успехом, новый владелец Костюкова продолжал труд свой, и вскоре вся картинка представилась его взорам со всеми подробностями и даже с надписью. Насмотревшись на добрую и верную собаку, Петр Авдеевич взглянул украдкою на палец, поморщился, потер его об рейтузы, плюнул несколько раз на пол и, тронув мимоходом все, что ни попадалось ему под руку, прошел из спальни в залу, захватил фуражку, надел ее себе на голову и вышел на крыльцо.

Убедившись, что в последнее пятилетие на костюковском дворе не произошло ни малейшей перемены и старый бревенчатый амбар находился, как и прежде, против кухни, а молочник против ледника, штаб-ротмистр сошел с крыльца, повернул направо и направил стопы свои к калитке, ведшей в сад; тут пристала к Петру Авдеевичу худощавая гончая собака с отвислым животом. Петр Авдеевич погла-

дил собаку, прошел с нею весь сад, остановился на минуту у небольшого четвероугольного пруда, поглазел на уток, бросил в них щепкой, за которой посылал было собаку, но собака не повиновалась; треснув ее за то ногою, штаб-ротмистр принял направление к скотному двору и прочим хозяйственным строениям. Скромную костюковскую конюшню, а равно и коровники, нашел новый хозяин пустыми: скот и лошади паслись в поле. Оставалось заглянуть на псарню и мельницу; в первой встречен был барин лаем дюжины дрянных собачонок каких-то неведомых пород; во второй колеса и крылья были поломаны, а паутина, покрывавшая шестерни, свидетельствовала о давнишнем ее бездействии.

Не очень довольный порядком, найденным по хозяйственной части костюковского управления, Петр Авдеевич возвратился домой в полной надежде, что его встретит Кондратий Егоров с тарелкой под мышкой; так, по крайней мере, водилось при покойном родителе, который не мог проглотить куска, не убедившись предварительно в том, что вся костюковская дворня присутствовала при барском обеде.

Но ошибся штаб-ротмистр: в зале не заметил он и признаков приготовлений к обеду. Петр Авдеевич свистнул — никто не являлся; свист повторился громче, и по прошествии нескольких минут послышались отдаленные шаги в сенях, потом в передней, наконец дверь из прихожей отворилась и на пороге показался нечесаный образ человеческий в казакине из толстого сукна, в холстинных панталонах и в сапогах с окнами. По наружности существо это принадлежало к числу заштатных служителей помещичьих домов низшего сорта.

— Прокофьич, это ты? — воскликнул барин, узнав в пришлеце старого отцовского повара.

— Я, батюшка Петр Авдеич! — И повар, дрягнув ногами, отвесил поклон одною только головою.

— Постарел же ты, брат! насилу узнал, ей-богу, насилу узнал.

— Без господ жизнь плохая, барин; дело наше таковское, ребятишек много; умыть, одеть некому — месячина самим вам известно какая! Была коровенка — в прошлую осень волк зарезал.

— Изготовил ли ты мне что-нибудь поесть, Прокофьич? — перебил штаб-ротмистр, знавший наизусть все про-

шедшие и предчувствовавший все последующие бедствия Прокофьича.

— Вот за этим-то я и изволил прийти, барин,— отвечал повар, понизив голос и вытянув шею,— ведь дело-то плоховато.

— Как плоховато?

— Как же, батюшка барин, сами рассудить изволите, приказывали изжарить то есть гуся; да ведь гуси-то, барин, какие теперь гуси? есть гуси семенные, ведь только слава, что гуси.

— Мне все равно, Прокофьич, пожалуй, я утку есть стану.

— Эх, батюшка барин! ну, а утки теперь какие? ведь утки семенные остались, дело осеннее, не то чтобы подать господину, а и наш брат есть не станет. Ну, сами рассудить изволите! ощиплешь перья, останется там нос какой-нибудь да лапы; приличное ли же дело? вот осенью, на заморозках, так подкормить житцей, выйдет штука!

— Так черт же побери; давай хоть селянки!

— Селянки? — повторил, ухмыляясь, Прокофьич,— селянки? да из чего же, барин, сделать-то селянку? Из почек, сказывал приказчик; а откуда возьмешь почек? вы бы, батюшка барин, взглянуть изволили на скотинку; ведь только слава, что бараны!.. а, прости господи, другой тулуп жирнее господских баранов-то. Мужичок-то несет что ни есть у него отменного, да не доходит оно до милости вашей; оттого-то и на приказчице фрезы всякие, и в церкви стоит, думаешь, барыня какая; истину вам докладываю.

— Стало, есть нечего? — воскликнул выведенный из себя Петр Авдеевич.

— Отчего нечего, барин? найдется что покушать, и я милости вашей докладываю, как верный слуга, что гуси, примерно, или утки остались только семенные; не стали бы гневаться, как подашь штуку, да штука-то выйдет неподходящая.

— Дьявол вас побери совсем! этак просто с голоду умрешь,— проговорил с сердцем штаб-ротмистр,— ну, дай хоть щей каких-нибудь, а там увидим.

— Капустки-то хватило на полпоста, батюшка, а коли приказать изволите, так можно собрать ребят да затянуть карасиков; дело-то будет сподручнее; сметанки добудем у мельника, маслица же найдется и у приказчика.

— Неужто и масла-то нет господского? — спросил удивленный помещик.

— Что и докладывать! просто не наше дело, барин! осмотреться изволите, не утаится ничего от милости вашей... а карасиков приказать нешто?

— Давай хоть карасей, да живо!

— Духом, батюшка, духом; только бы захватить старосту, не уехал бы куда,— последние слова договорил Прокофьич, затворяя за собою дверь из прихожей.

Краткий разговор с Прокофьичем усилил неблагоприятное впечатление, произведенное на ум Петра Авдеевича беспорядком, найденным им по хозяйственной части, и заронил в душу нового помещика первую искру досады.

«Как! — говорил он сам себе.— Оставить службу, оставить третий эскадрон, мундир, эполеты, товарищей! И для чего же? чтоб голодать в этой трущобе? Черт надоумил меня сделать такую глупость!»

Штаб-ротмистр засунул ус в рот, а руки в карманы рейтуз и, приподняв плеча, отправился снова в опочивальню, где, как ему было известно, хранились в конторке хозяйственные книги покойного родителя. «Ежели и в них подобное творится, так дьявол же побери!» — подумал костюковский владелец и с сердцем повытаскал из конторки все бумаги, какие попались ему под руку.

Схватив первую тетрадь, Петр Авдеевич наудачу развернул ее и, опершись обоими локтями в стол, стал разбирать следующее: «не полон, чтобы... можно было после в него... влить... две бутылки воды... сахару десять фунтов покласть... в кастрюлю и вылить из бочонка, ставить кипятить... пену счищать, потом снять с огня, взять тридцать штук бергамотов... счистить кожу, зерно изрезать и вскипятить и завязать пузырем и...»

Штаб-ротмистр гневно швырнул тетрадь под стол и взял другую,— на другой, очень узенького формата, прочел Петр Авдеевич слово *шот*. На первой странице рядом с *ОЗ*, стояли какие-то каракули; некоторые из них напоминали цифры, другие ижицу.

Вторая тетрадь последовала за первой, а остальные за второй. Оставалось положиться на честность приказчика, на которую, впрочем, как казалось, не очень полагался Прокофьич.

В седьмом часу вечера костюковский помещик уничто-

жил довольно большое количество карасей, запил их чаем и в девятом часу лег спать.

По прошествии недели Петр Авдеевич свыкся с мыслию, что за ним по ревизии значится сто двадцать пять душ мужеского пола, что заложены эти души в Московский опекунский совет, что добавочные взяты и по подушным находится недоимка, что хлеб родился плохо, а на скотине, кто ее знает отчего, и шерсть не растет; что Кондратий Егоров мошенник, а Прокофьич и рад бы состряпать для барина суп *пире,* да для этого надобно «взять, сварить и как готово остудить, мелкое мясо обобрать и изрубить помельче и сварить восемь яичек, и взять хлеба, и корочки прочь срезать, и положить чумички полторы бульону и ставить на плиту и мешать, не давать кипеть, и отпускать с гренками» и проч. и проч., но ничего этого не было у Прокофьича, а была у него только книга, с которою познакомился барин в первый день своего приезда в Костюково, Колодезь тож, а хранилась книга эта в отцовской конторке.

Благодаря умеренности родителя частных долгов на имении не было, а потому, следуя мудрому примеру Авдея Петровича, и Петр Авдеевич мог продолжать жить, как жил родитель; на это и решился Петр Авдеевич, который, впрочем, и не был избалован роскошью. Конечно, в полку, бывало, задумай штаб-ротмистр проехаться в штаб или в другое какое место, Ульян впрягал в легонькую, как перышко, тележку, тройку таких лошадей, каких не было и у самого казначея, а хомуты-то на них надевал Ульян обшитые алым сукном, и на уздечках бубенчики, и не простые, а валдайские, чисто валдайские... Однажды полковник спросил у Петра Авдеевича: не продаст ли он тройку свою?

— Я? продам? — воскликнул штаб-ротмистр.— Я? да ни за какие блага в мире! Да вот как, и за полтораста целковых не продам!

Вот каких лошадей держал Петр Авдеевич в полку, в то время как Авдей Петрович, то есть родитель его, довольствовался только парочкою разношерстных, а езжал обыкновенно в таких четвероместных дрожках, с рыжими фартуками, что, приснись эта дрянь иному брезгливому, стошнит, пожалуй.

— Неужто у батюшки ничего не было, кроме этого коландраса? — спросил у приказчика костюковский поме-

щик, осматривая с прискорбным вниманием четвероместные дрожки.

— Были, сударь, и беговые,— отвечал Кондратий,— да покойный барин изволил их на бричку променять.

— Стало, есть бричка?

— Есть-то есть она, сударь, да плоховата!

— Покажи, братец, починим; по крайней мере, на худой конец проехать можно; а в этой штуке,— прибавил штаб-ротмистр, указывая все-таки на дрожки,— сам посуди, да что тут говорить? на ином толчке язык откусишь, пожалуй; и как-таки мог покойный батюшка трястись на них? чай, жизнь сокращать должны.

— И бричка-то, сударь, правду доложить вам, не больно взрачна.— Говоря это, приказчик бросался шарить по всем углам сарая, он заглядывал и на потолок, и за ворота, и только что не под четвероместные дрожки.

— Чего же ты ищешь, Кондратий? — спросил наконец штаб-ротмистр.

— Не знаю, куда девали!

— Кого?

— Бричку, сударь,— отвечал Кондратий Егоров, продолжая поиски свои.

— Кой прах, неужто пропала?

— Что вы, батюшка, статочное ли это дело? господская вещь не пропадает, а може, наругом кто-нибудь?

— Как наругом?

— Все Тимошкины штуки, Петр Авдеевич, такой уж разбойник, что ему бричка, не его! Да, так и есть,— прибавил приказчик, выглянув из щели задней стены сарая,— вот она!

И взорам господина представился не экипаж, а нечто вроде остова большой рыбы, у которой как бы отрублены были и голова, и хвост. За сараем, на груде разных нечистот, лежал темного цвета скелет; на круглых ребрах его местами болтались куски кожи, торчали заржавленные гвозди, а о колесах и помину не было.

— Неужто ты эту нечисть называешь бричкой? — воскликнул штаб-ротмистр, грозно занося ус свой в рот,— так-то бережется барское добро?

— Тимошка, сударь, все он, головорез, батюшка, Петр Авдеич,— отвечал оторопевший Кондратий,— сколько раз

говорил я ему: «Прибери, не то барин гневаться будет», и в ус не дует, сударь.

— Не дует? так подавай же его сюда, мошенника! — закричал Петр Авдеевич, рассердясь не на шутку,— я его проучу по-своему, я его...

Приказчик бросился со всех ног за Тимошкою, а штаб-ротмистр продолжал строгий осмотр брички, приговаривая: «Уж я его, уж я его!» — и повторял разгневанный костюковский помещик «уж я его...», пока к тылу помещика не подошел детина лет пятидесяти с таким богатырским затылком, пред которым самые плечи Петра Авдеевича казались дрянью.

На пришедшем было пунцовое лицо с усами и не чисто выбритым подбородком; волосы его подстрижены были в кружок и прикрывали плоское темя, а на каждой из рук недоставало по нескольку пальцев.

Он молча выждал, пока барин повернулся в его сторону, и, поклонившись ему, тряхнул головой.

— Поди-ка сюда, любезный! — сказал штаб-ротмистр.

Тот сделал два шага и снова остановился.

— Нет, брат, сюда, сюда поближе!

Детина сделал еще два шага.

— Ну, теперь расскажи-ка мне, что это такое? — спросил Петр Авдеевич и указал пальцем на остов брички.

— Эвто?

— Да, это, вот это!

— А прах его знает,— отвечал спокойно тот.

— Как же прах его знает?

— Да так, прах его знает!

— И ты, кучер, смеешь мне так отвечать?

— Какой я кучер, сударь!

— Да ведь ты Тимошка?

— Так что же что Тимошка? и Тимошка, да не кучер, а коли есть у кого кучер, так есть и лошади, и всякой снаряд; а то и был кучер, хороший кучер, сударь, да на эвтом не наездишься,— прибавил Тимошка, нанося ногою жестокий удар несчастному остову.

Выходка Тимошки не только не разгневала господина, а, напротив того, страх понравилась ему. Окинув взглядом формы бывшего отцовского кучера, штаб-ротмистр нашел его по себе.

Петр Авдеевич не любил мямлей, и будь хоть пьян, хоть

груб, да лихой, так спасибо говаривал он подчиненным своим уланам; и тут, смягчив голос, он ограничился легким выговором за неисправность в сарае и небрежность Тимофея в сбережении брички.

— Да чего тут беречь? да какая ж тут бричка? да эвто же, с позволения сказать, не бричка,— возразил Тимофей, нанося вторичный удар жалким остаткам родительского экипажа.— Да ведь вольно же было покойному барину! Не докладывал я разве, что сельской как раз проведет. Дрожки были не бричке чета, сударь, дрожки добрые; ведь эвто только название что бричка; «Нет, променяю,— говорит,— а ты молчи, не люблю, чтоб рассуждали со мною». Вот и променяли, а что наездили? двух годов не наездили, сыпаться стал; и какая езда была у покойника, ведь только слава, что езда; проедутся в церковь, бывало, вот и вся езда!

— А давно ли ты здесь? — спросил Петр Авдеевич,— и как я тебя не знаю?

— Да, я, сударь, правду сказать, не то чтобы давно как сыскался,— отвечал Тимошка, значительно понизив голос.

— Откуда же это?

— Да был грех такой, сударь.

— Грех?

— Сманили соседние ребята, так отлучился маленько.

— То есть бежал?

— Был грех, сударь, был, что уж тут, не утаишь,— повторял Тимошка, поглаживая свои волосы и переминаясь. Он видимо смутился.

Петр Авдеевич, заметивший перемену в лице Тимофея, завел речь о другом.

— Надобно добыть лошадок, братец,— сказал штабротмистр, обращаясь уже с веселым лицом к кучеру, которого глаза при этом слове заблистали радостию.

— Как бы не нужно,— отвечал Тимофей.

— А где бы, например? знаешь разве?

— Еще бы не знать, барин! кому же и знать-то, сударь, как не мне, слава тебе, господи!

— И хорошие есть?

— Лошадки-то-с?

— Да!

— Да, есть и хорошие; вот об вознесенье проехаться в

город, не дальнее место! и ярмарка будет важнейшая, и лошадок наведут вдоволь, так и выбирать можно!

— А когда ярмарка?

— В четверг, сударь.

— Да в чем же ехать?

— Ехать в чем-то? да в чем же, как не в дрожках?

— Вот в тех, что тут вот?

— Больше не в чем!

— Нет уж, брат, спасибо за дрожки; была бы телега, в телеге скорее.

— А в телеге, так телегу соберем к четвергу,— отвечал Тимофей; и, продолжая дружески разговаривать между собою, барин и кучер направили шаги свои к дому, где ожидал первого скромный ужин, приготовленный Прокофьичем, а второго неприязненный взгляд Кондратия Егорова, самого значительного лица в Костюкове, Колодезь тож.

Кто, подобно Петру Авдеевичу, никогда мысленно не возносился к облакам, не строил воздушных замков и даже не считал себя существом, созданным для чего бы то ни было исключительного, тот легко поймет, что в сельской простой и материальной жизни всякая новинка производит на ум и сердце самое благоприятное впечатление; и одно ожидание вознесенской ярмарки сделало уже Петра Авдеевича благосклоннее к Кондратию и снисходительнее ко всему, что его окружало. Наговорившись вдоволь с Тимофеем-кучером, Петр Авдеевич поднес ему собственноручно большую рюмку настойки и отпустил тогда только от себя, когда сам лег в постель.

— Но где бы достать деньжонок? — думал штаб-ротмистр, засыпая,— у Кондратья есть, да не даст, мошенник. Будь еврей, а может, и есть еврей здесь где-нибудь? чтоб не забыть завтра спросить; коли же есть, так и хлопотать не о чем. Ну, а как нет? да не может быть, чтоб не было, уж такая вещь; а ведь бестия этот еврей, ну кого же не продаст? ведь всякого продаст... сущий каналья!..— то была последняя здравая мысль, промелькнувшая в воображении Петра Авдеевича, после которой он и заснул крепчайшим сном.

Как ни ограниченно было состояние Петра Авдеевича, тем не менее появление его в уезде не прошло незамеченным, и имя штаб-ротмистра уже неоднократно произносилось на вечерних сборищах у городничего того города, к

уезду которого принадлежало Костюково и в котором в праздник вознесенья бывала большая ярмарка. Многие дивились даже, что новый костюковский помещик не взял на себя труда засвидетельствовать им лично своего почтения, и приписывали подобное несоблюдение приличий спеси молодого помещика. Истинная же причина домоседства Петра Авдеевича была, как нам известно, пара разношерстных, оставленная сыну покойным родителем, и четвероместные дрожки, на которые не хотел садиться штаб-ротмистр ни под каким видом.

Но, благодаря судьбе, в окрестностях Костюкова, на спорной земле, у пересохшей речки, в полуистлевших остатках развалившейся мельницы, отыскался жид. Жид этот явился к Петру Авдеевичу, поглазел на поля, строение, луга, на остов брички, с которою кучер Тимошка обращался так неделикатно, и уже потом, неизвестно почему, рыжий сын Израиля ссудил костюковскому помещику преизрядный мешочек разной звонкой монеты, с которым и отправился штаб-ротмистр на городскую вознесенскую ярмарку.

Редко бывает, чтобы в этот праздник солнце не восходило светло и весело, чтобы небо не было ясно и воздух не палил зноем; и на этот раз, как и всегда, день был прекрасный.

По большим и проселочным дорогам, ведшим к городу, тянулись с ранней поры вереницы телег, нагруженных всякою всячиною. Рядом с ними шли большими толпами разряженные окрестные мужики в белых холстинных зипунах и в высоких черных шляпах, обшитых золотым позументом. На крестьянках пестрелись цветные юбки, парчовые шнуровки и белые, как снег, наметки. Ко всеобщему говору и крику шедших и ехавших присоединялось громкое ржание диких лошадей, табуны которых гнались по обочинам дорог, а всему этому вторил отдаленный колокольный звон, продолжавшийся обыкновенно до самого полудня; и редкий из ехавших или шедших не побывает предварительно в святом храме, прежде чем позволить себе предаться от всей души наслаждениям ярмарки, до которых так лаком наш русский народ. Как ни велики успехи, сделанные на Руси европейским просвещением, но не заметны они в простом народном быту и едва ли вознесенская ярмарка девятнадцатого столетия отличалась чем-нибудь от таковой же, на которой предки наши два столетия назад торговали лихих коней под

доезжачих своих у смуглых предков современных табунщиков.

В час пополудни на обширном поле, прилегавшем одним концом к городскому валу, а другим к длинной каменной ограде городского же кладбища, соединилось все, что шло и ехало недавно на ярмарку по всем окрестным большим и малым дорогам. В центре поля помещался главный товар ярмарки, то есть большое количество лошадей, согнанных и приведенных на нее со всех концов России. Рядом с целым фронтом приводных жеребцов, откормленных всеми неправдами, как-то: отрубями, рубленою соломою и нередко известью, стоял степной косяк и на тесной площадке, огражденной плетнем, суетилась, визжа и огрызаясь, сотня разношерстных коней не знакомых ни с уздою, ни с оглоблями. Но приглянись один из дикарей кому бы то ни было, в тот же миг смуглый татарин бесстрашно бросается в стадо, ударами ременной плетки пролагает себе дорогу, и чрез минуту сарканенный конь, дрожа всем телом, предстанет смиренно пред покупателем. Вкруг косяков разбросаны были кое-где поезжанные помещичьи экипажи допотопных фасонов, крестьянские тележки с разною разностию, палатки с медовыми пряниками и с прочими товарами низшего сорта, составляющими необходимую потребность скромных деревенских жителей. Поодаль от всего этого, в шалаше, построенном из ельника, помещался кабак, а в нескольких шагах от него безносая баба пекла на чугунной сковороде оладьи, и пекла она их на зеленом конопляном масле. В промежутках молодые парни играли в орлянку, а крестьянские девки водили хоровод. Кругом игравших и плясавших толпился народ; лица одних начинали уже покрываться ярким румянцем, ноги других переставали уже повиноваться, но все еще говорили, смеялись, махали руками и веселились от души.

Впрочем, поприще вознесенской ярмарки не ограничивалось одним загородным полем, предоставленным единственно черному народу и лошадям.

Высшее сословие, хотя и мешалось изредка с низшим, но местом, собственно ему принадлежавшим, был самый вал; на нем в магазинах, наскоро сколоченных из досок, заезжие купцы прельщали горожанок и помещиков роскошными батист-декосами, муслин-ленами и заграничными пуде-суа; на том же валу трактир «Берлин» заманивал блес-

тящею вывескою своею в офицерскую палатку, где наскоро сколоченный из досок узкий стол уставлен был рябыми тарелками с бутербротом, паюсною икрою, кильками и известковыми конфектами в цветных бумажках, а в графинчиках виднелись разных цветов водки и ликеры.

Прибывший из Австрии на вал отец семейства пред входом в «Берлин» разостлал на землю довольно грязный ковер и под звуки шарманки выкидывал такие штуки, что вся публика приходила в восторг и удивление. Родитель в испанском костюме из гробового полубархата ложился на спину, подымал тонкие ноги свои вверх и подбрасывал ими младшего сына так искусно, что малютка какою бы частью тела ни падал вниз, а все-таки задерживался на родительских ступнях; в то же самое время две взрослые девицы в коротких розовых с блестками платьях становились родителю на ладони, переходили с ладоней на лицо, даже на нос и в свою очередь подымали вверх по одной ноге, обутой хотя и не совершенно опрятно, но изысканно.

После каждой штуки австрийское семейство обходило зрителей с колокольчиком и металлическим блюдцем в руках, и зрители частию бросали на блюдце мелкую монету, а частию махали руками, отворачивались в противоположную сторону и заговаривали с соседом о вещах посторонних.

В числе лиц, составлявших публику, были и такие, к которым австрийское семейство подходило только для того, чтобы поблагодарить за честь, им сделанную своим присутствием; к избранным этим принадлежала, собственно, одна только особа; окружавшие же ее составляли нечто вроде свиты.

Особа эта была высокая, толстая, с кривыми ногами, с короткою шеею, одетая в зеленый сюртук с красным воротником и с глянцевитым клеенчатым картузом на коротко обстриженной голове. Лицо особы, обтянутое точно такою же кожею, какою обтягивают обыкновенно английские седла, дышало спесью и ежеминутно наводнялось потом; пухлые губы ее одним углом ущемляли крошечный кончик сигары, а другим то выпускали по временам тонкую струйку синеватого дыма, то выплевывали или кусочек шелухи, или другие тому подобные вещи, добытые, вероятно, в «Берлине», а может быть, и в каком-либо другом месте. Веки означенной особы, осененные беловатыми ресницами, сжима-

лись, подобно губам, а из ноздрей небольшого носа выглядывали клочки шерсти, цветом схожей с ресницами.

Несколько позади толстой особы стояло другое лицо с выражением менее спесивым, с носом более продолговатым, с щеками, выбритыми до самых глаз, и с багровою шишкою на правом виске. Это лицо облечено было в мундир с красным же воротником, но панталоны его так лоснились, что мудрено было бы определить с первого взгляда, из чего именно сшиты были эти панталоны, из сукна или камлота. По левую сторону последней особы, по направлению ноги болталась длинная шпага с покрасневшею от времени рукояткою, а на темени красовалась треугольная шляпа кокардою назад.

Каждый раз, когда особа, стоявшая впереди, делала какое бы то ни было движение, особа, стоявшая позади, вздрагивала и наклонялась вперед, но, убедясь, что движение особы, стоявшей впереди, не относилось к ней, она принимала первобытное положение и замирала вновь.

Третье существо, дополнявшее избранную группу, составляло как бы нечто среднее по значению своему между толстою особою и лицом, стоявшим позади ее. Это существо осенено было подержанным суконным плащом с полами, подбитыми черным бархатом, и с длинными полинялыми кистями, пришитыми к отложному равно бархатному воротнику; картуз существа был соломенный, из-под него выглядывали два довольно длинные виска, несколько взъерошенные. На этом существе надет был вицмундир, триковые светлые панталоны и желтые полуботинки с черными костяными пуговицами; рост его был мал, руки костлявы, а стан вообще погнут вперед и суховат. В подсохшем рту своем держал он черешневый чубук, из которого с трудом вытягивал табачный дым, затягивался им и выпускал его ноздрями; под носом у существа торчали трехдневные усы и подбородок был выбрит тщательно.

Господин этот стоял рядом с толстою особою и беспрестанно вступал с нею в разговор, что толстой особе, по-видимому, не причиняло большого удовольствия.

Толстяк был городничий, барин в соломенном картузе числился в должности штатного смотрителя училища, а треугольная шляпа принадлежала частному. Поодаль от группы стояли разного рода и значения лица, отчасти городские, отчасти приезжие из окрестностей.

— Тихон Парфеныч, а Тихон Парфеныч! — воскликнул штатный смотритель,— ведь вот вы опять спорите, а как мне вам это доказать?

— Да хоть приведите целый уезд в свидетели, не поверю! — отвечал городничий, отворачиваясь.

— Что уезд! хорош уезд, мне уезд не указ!

— Небось в столице все проживать изволили!..

— Бывали и в столицах? что ж?

— Так, заметил...

— Столица — посторонняя статья, а спор идет не о столицах, Тихон Парфеныч, вы, может быть, и очень сведущи по вашей части, а не знаете, между прочим, того, что касается...

— Небось до вашей части? — перебил насмешливо Тихон Парфеньевич.

— Смейтесь, пожалуй, ведь от этого меня не убудет; вашим добром вам же челом; вы всегда так! что не по вас, так только что не рогатиной.

— Зачем же рогатиной? рогатина в лесу — так; а при большом обществе неприлично и упоминать о ней.

— В рогатине ничего нет такого неприличного, Тихон Парфеныч, придираться нечего; я говорю правду, вы всегда так... намедни у Андрея Андреича не то ли же самое произошло, только попался вам слабенький, так вы его за челку, да и скок верхом... а меня извините... да вот, кстати, сам Андрей Андреич... Андрей Андреич! — воскликнул штатный смотритель, выходя навстречу седовласому старичку в синем фраке и в нанковых белых панталонах.— А у нас с Тихон Парфенычем спор завязался, решите, пожалуйста!

В это время седовласый старичок с улыбкою на устах подошел к городничему, протянул ему обе руки, из которых в одну только Тихон Парфеньевич сунул два толстые пальца; тогда старичок все-таки обеими руками пожал с чувством эти два пальца и потом уже поклонился штатному смотрителю.

— А у нас здесь спор,— повторил последний,— и спор кровавый,— прибавил он шуточным голосом.

— Избави господи! — заметил, смеясь, старичок.

— Истинно кровавый; ни тот, ни другой уступить не хочет, а каково? да, нечего отворачиваться, ваше высокоблагородие, нечего отворачиваться, пожалуйте-ка на суд.— И, ободренный посредничеством третьего лица, штатный

смотритель принялся было тормошить городничего, который побагровел от негодования.

— Мы не в пожарном каком-нибудь депе, чтобы так обращаться,— проговорил сквозь зубы Тихон Парфеньевич,— говорить можно просто между собою; надеюсь!

— Знаем, знаем, в претензию вошли оттого, что не по-нашему, знаем, старая штука!

— Прошу вас оставить меня в покое, Дмитрий Лукьяныч, или вынужденным сочту себя...

— Что, что, ну что, скажите,— уже не приказать ли меня того... Полноте, стыдитесь, ведь стыдно, ей-богу, стыдно! Андрей Андреич,— продолжал смотритель, обращаясь к старику,— рассудите нас, бога ради, но только беспристрастно; каким способом достигают эти фигляры, чтобы все члены были перемешаны, вы видели?

— Видел.

— Оттого-то, Андрей Андреич, я у вас и спрашиваю, как, по мнению вашему, доходят они до того, чтобы голова...

— Он ложится на землю, поднимает руки, а на руки становится человек — вот так; сила могучая — правда, а все же неприлично при публике,— заметил Андрей Андреевич, думая, конечно, подделаться тем под мнение городничего.

— Тьфу ты, пропасть какая, опять неприлично, да кто же спорит с вами об этом? Я спрашиваю, по какой методе, думаете вы, доходят люди до такой гибкости членов; ну примерно сказать, возьмем хоть вас, попробуйте-ка, стоя на ногах, перегнуться так, чтобы голова очутилась между ног сзади.

— Не дворянское дело, Дмитрий Лукьяныч, не дворянское дело, вот что-с!

— Да могли ли бы вы?

— Не дворянское дело, и предлагать-то подобные вещи неблагородно, Дмитрий Лукьяныч; тридцать два года служил по выборам в разных должностях, и никто из начальства не только такого предложения не делал, а и косо не взглянул.

— Да поймите же, ради бога, в чем дело, Андрей Андреич!

— Кажется, не выстарелся, рассудок не помрачен, а уж кувыркаться потрудитесь сами...

— Я говорю Тихону Парфеньичу, что гибкость тела приобретается постепенностью.

— Фигляром-с не был, так и не знаю,— отвечал все-таки с гневом старичок.

— Хороша постепенность, когда, с позволения сказать, затылок касается пяток,— проворчал городничий, пожимая плечами,— хороша постепенность?

— Ну, а по-вашему, что же это такое! — спросил перебежавший от Андрея Андреевича смотритель,— небось кости повынуты — а? нет, батинька, без постепенности ноги выше головы не поднимешь; постепенность до всего доведет, и быка поднимешь, и миллион наживешь.

— Вот научите, так спасибо скажем,— сказал насмешливо городничий.

— И впрямь, научите-ка,— прибавил также иронически Андрей Андреевич,— и он взглянул на городничего, который в свою очередь мигнул глазом и бросил взгляд на частного,— частный зашевелился, вытер рот рукавом и улыбнулся так значительно, что штатный смотритель чуть не плюнул.

— Смеяться и ухмыляться нечего,— продолжал смотритель,— а отложи сегодня грош да завтра грош, когда же нибудь придет тот день, что перечтешь гроши, и выйдет миллион.

— Да сколько же лет нужно служить для этого, Дмитрий Лукьяныч? — пропищал вполголоса частный, закрывая рот свой сальною перчаткою, как бы стараясь удержать порыв смеха.

Острое замечание частного так понравилось Тихону Парфеньевичу и Андрею Андреевичу, что они оба померли со смеху и, насмеявшись досыта, отправились каждый в свою сторону рассказывать знакомым о пуле, слитой всезнающим Дмитрием Лукьяновичем, который, пожав плечами, выколотил трубку свою о носок собственного сапога и набив ее свежим табаком, сошел с вала и пустился вдоль коновязей, заговаривая с барышниками.

В то самое время, когда, пораженный острым замечанием пристава, штатный смотритель уездного училища бежал с глаз торжествующих его противников,— в двух верстах от городского вала костюковский помещик в сопровождении кучера Тимошки въезжал с проселка на городскую дорогу.

Бог знает, каким способом Тимошка в несколько дней

успел совершенно преобразовать наследственную парочку, оставленную родителем Петру Авдеевичу и сделать из нее только что не ухарскую. Пристяжная, круто согнутая в кольцо, вряд ли даже уступала в гибкости своей австрийскому отцу семейства, так близко несла она голову от задних ног; пристяжною управлял сам Петр Авдеевич.

Едва передние колеса тележки его перескочили с разбега чрез гнилой мостик, соединявший проселочную дорогу с большою, как с противоположного проселка, чрез точно такой же мостик, вползла на ту же большую дорогу четвероместная оранжевая коляска, запряженная четверкою гнедых, не совершенно ровных, но толстоватых лошадей. Кузов коляски этой весьма походил на померанец с вынутою из него четвертою частью. Впереди померанца на чем-то очень высоком сидел, сгорбившись, худощавый кучер в голубом китайчатом армяке, а рядом с ним грязновато одетый дворовый мальчик в теплой шапке, надетой на самые глаза. Что же и кого заключал в недрах своих померанец, того ни Петр Авдеевич, ни Тимошка рассмотреть не могли, потому что отверстие, находившееся в слишком близком расстоянии от спин сидевших спереди, завешено было чрезмерно ветхим кожаным фартуком. Желая дать вздохнуть бегунам своим, Петр Авдеевич приказал Тимошке осадить коренную и шажком следовал за коляскою померанцевого цвета; долго молча и внимательно рассматривали господин с кучером замысловатый экипаж, наконец Петр Авдеевич первый прервал молчание вопросом: на что так пристально смотрит Тимошка и знакома ли ему коляска?

— Знакома-то знакома, как не знакома,— отвечал кучер,— да идет-то она как-то чудно!

— А что?

— Да вот изволите, сударь, сами взглянуть! — Тимошка собрал вожжи в левую руку и правою указал на переднюю ось.

— Ну что же? я ничего такого не вижу, ось как ось,— заметил штаб-ротмистр.

— И сам я вижу, что ось как ось, а вот дышло-то, полно, здорово ли, чего бы, кажется, вилять ему во все стороны,— ишь как бросает!

И действительно, померанцевый экипаж, знакомый Тимошке, на каждом шагу выскакивал из колей и заднею частью своей делал такие странные движения, что, будь

он совершенно без дышла, ход его не мог быть неправильнее.

Убедясь наконец в истинной причине, заставлявшей коляску кататься во все стороны, наблюдатели наши не сочли нужным предупредить сидевших в нем и приступили — барин к расспросам об ехавших, а кучер к подробному описанию их житья-бытья.

По словам всеведущего Тимошки, *лекипаж* принадлежал вдове уездного судьи Лизавете Парфеньевне Кочкиной, родной сестре городничего, купившей верстах в пятнадцати от Костюкова именьишко душ в сорок; покойник, молвят оставил ей препорядочную кубышку с ассигнациями, которую она запрятала так далеко, что и самому городничему не отыскать; далее он сообщил, что у вдовы был сын, да ономнясь помер, говорят, где-то за Херсонью. Да сынка-то барыня не очень жалела, из того, что мотоват был покойник; впрочем, мужики на старую барыню не жалятся и работу господскую справляют исправно.

Вот приблизительно те сведения, которые успел почерпнуть Петр Авдеевич из уст кучера своего, трясясь с ним в узкой тележке по сухой и выбитой дороге, как вдруг дорога эта, свернув вправо, стала спускаться в ров, а с тем вместе и впереди катившаяся коляска начала покачиваться в обе стороны так сильно, что вальки ее били пристяжных по ногам.

— Так и есть, что дышло-то треснуло! э! вовсе переломилось! — воскликнул Тимошка, приостанавливая коренную.

— Что ж тут делать? — спросил барин.

— А что делать? делать нечего,— равнодушно отвечал кучер,— на этой круче хоть черта положи под колеса, не остановить; оно бы еще ничего, как-нибудь спустились бы, да под горой мостишка еле держится, перила словно гриб какой,— сгнили вовсе, так, чтобы с мосту им не слететь,— вот что! — И, кончив повествование свое, Тимошка указал барину своему то, что он называл мостишкой. Глазам же Петра Авдеевича предстала картина, не совершенно схожая с описанием, и прежде замеченный им сквозь частный кустарник ров был только первою ступенью той пропасти, с которой надлежало снестись померанцевому экипажу; по самой средине дороги змеилась извилиною глубокая рытвина, а в конце ее, над другою бездонною пропастью, гнездилось

то сцепление гнилости, которое на земских картах обозначается громким названием моста,— а в жизни практической только что не memento mori![1]

По-видимому, воззрение на вышеописанный ландшафт одинаково подействовало как на штаб-ротмистра, так и на сидевших внутри померанца. Первый крикнул от ужаса, а вторые стали кричать благим матом — дышло коляски их в самом начале ската, выскочив из гнезда своего, уничтожило расстояние, обыкновенно находящееся между вагою экипажа и лошадьми, отчего вся четверня принялась бить с ожесточением.

— Пошел мимо! — крикнул повелительным голосом Петр Авдеевич, и, не дав Тимошке опомниться, отважный штаб-ротмистр, забыв всю опасность, троекратным ударом плети поднял коней своих в карьер и, направя их по крутому скату горы, очутился в один миг во главе несшейся четверни.

— Держи под них,— воскликнул Петр Авдеевич, намереваясь выхватить вожжи из рук своего спутника, но сметливый, как и большая часть русской братии, Тимошка схватил барскую мысль на лету и, оттолкнув легонько плечом своим его руку, проворчал: «Знаем!» — и богатырским поворотом на всем скаку положил коренную под ноги всей четверни.

Кому случалось участвовать в подобных столкновениях, тот вряд ли определит в точности, какое место занимал он в группе; то же самое случилось и с Петром Авдеевичем, и с бесстрашным Тимошкою, и с безответною парочкою его маленьких коней; все они цеплялись за что-то и освобождались из-под чего-то, тащились несколько мгновений с какою-то чудовищною массою, но наконец масса остановилась, и тысячи голосов раздались где-то вдали.

Услышав их, штаб-ротмистр, очутившийся в самой середине живописной группы и чувствовавший на теле своем какую-то неопределенную тяжесть, решился пошевелить ногою, нога подалась, боли не было,— он вздохнул свободнее и двинул другою ногою, и другая цела... «Слава богу»,— прошептал Петр Авдеевич и раскрыл глаза,— над самым лицом его явственно обрисовалась передняя ось коляски со всеми принадлежностями, к плечу прислонялось колесо,

[1] Напоминание о неотвратимой гибели *(лат.)*.

лошадиная нога покоилась на желудке, а правым боком касался он четырех копыт правой коренной, которая равно лежала и из-под которой торчали Тимошкины ноги.

Неизвестность об участи кучера возвратила штаб-ротмистру всю его бодрость, он приподнял голову, уперся правым локтем в землю и, освободив желудок свой из-под лошади, стал на колени.

— Жив ли ты, Тимошка? — проговорил нетвердым голосом Петр Авдеевич, не смея взглянуть за спину правой коренной.

— Кажись, жив,— отвечал тот,— да прижала больно скотина, дохнуть не могу.

— А жив, так ладно,— воскликнул радостно барин и, вскочив на ноги, усердно принялся тащить с Тимофея давившую его коренную, рвать на ней сбрую и растягивать зубами те узлы, которых руками одолеть не мог. Углубленный в занятие свое, штаб-ротмистр не замечал происходившего вокруг него; он даже не подозревал, что глубоким оврагом, в который неслась померанцевая коляска, отделялся городской вал от того места, где ценою жизни своей готов был Петр Авдеевич искупить жизнь людей, ему совершенно незнакомых, наконец Петр Авдеевич не подозревал и того, что свидетельницею его самоотвержения была целая ярмарка и что тысячи людей окружали его в эту минуту; но штаб-ротмистру было не до них, и, пока Тимошка не оттер себе боков, не почесал головы и с помощью барина не поднялся, кряхтя, на ноги, костюковский помещик не замечал никого и ничего.

Но Тимошка вспомнил о шапке и принялся искать шапки, а штаб-ротмистр повернул голову назад и остолбенел.

Вокруг него толпился народ, а рядом с ним, поддерживаемая каким-то толстым господином в мундирном сюртуке, стояла бледная, но красивая женская фигура с такою улыбкою на устах, что штаб-ротмистр невольно улыбнулся сам и принялся застегивать сюртук, у которого, однако же, не оказалось правого лацкана.

— Ну, батюшка, славное вы дело сделали, сударь, да вознаградит вас бог за такое мужество,— проговорил толстый господин, протягивая руку свою штаб-ротмистру,— позвольте теперь узнать, кому я обязан спасением сестры и

племянницы,— прибавил тот же господин, указывая на бледную девушку, говорившую также что-то не совсем понятное.

— Помилуйте, стоит ли? — отвечал Петр Авдеевич, продолжая искать своего лацкана.— Кучер свинья, его дело было заметить, что дышло надломано, ему поддать хорошенько...

— Но ваш поступок так благороден...

— Я случайно съехался с ними и давно постичь не мог, отчего коляска шныряет то вправо, то влево, а вышло на поверку, что дышло действительно переломлено,— поддать бы кучеру не мешало-с, право...

Но тут речь штаб-ротмистра перебита была пронзительным голосом барыни пожилой и тощей, как смоква; она и пространно, и велеречиво выразила благодарность свою, называя Петра Авдеевича благодетелем, благородною душою и дюжиною подобных названий, на которые оглушенный штаб-ротмистр не успевал и не находился отвечать. Но толстый господин в свою очередь перебил речь тощей барыни и объяснил Петру Авдеевичу, что тощая барыня была сестра его, а бледная девица племянница, а сам он городничий, а заключилось объяснение приглашением откушать.

Штаб-ротмистр взглянул на свой изорванный сюртук, покрытый пылью, хотел было отговориться, но городничий без церемонии схватил его под руку и только что не потащил насильно по направлению к мосту; за ними последовали: вдова уездного судьи, дочь ее, пристав с шишкою на виске, Андрей Андреевич в синем фраке и, наконец, народ, сбежавшийся с ярмарки.

Забытый всеми, Тимошка, отыскав шапку, принялся с помощию барыниного кучера и нескольких зевак распутывать лошадей, ставить их на ноги, которую бить, которую гладить, приговаривая то крупное словцо, то ласку еще крупнее крупного словца,— и по прошествии двух-трех часов, померанцевый *лекипаж* и скромная штаб-ротмистрская тележка чинно въехали в шлагбаум уездного города, в котором весть о чудном спасении вдовы и ее дочери разнеслась со всеми бывалыми и небывалыми подробностями. Остается прибавить, что Тимошка, неизвестно с какою целью, но пользуясь, вероятно, благоприятными для него обстоятельствами, поручил тележку свою кучеру вдовы

уездного судьи, а сам торжественно воссел на козлы померанцевой коляски.

Кому хотя раз случалось проезжать по западным губерниям, тот не мог не заметить родственного сходства большой части уездных городов. Положим, что, по дешевизне леса, количество находящихся в них каменных строений одинаково ничтожно в сравнении с деревянными; допустим, что и главные городские здания, как-то: тюрьмы, присутственные места и почтовые станции — схожи во всех городах, потому что строятся по одним и тем же планам и что для зданий этих выбираются места одинаковые,— для тюрем городские выезды, для присутственных и почтовых домов площади и так далее. Но почему же частные обывательские дома подчинились общему закону сходства? почему же сходство это не только не ограничивается постройками, но распространяется в городах западных губерний и на жителей, на лошадей, на рогатый скот и на все животное царство, не исключая птиц?

Возьмем на выдержку любой предмет, жида например: во-первых, жид во всех этих городах неопределенного цвета; он тощ, веки глаз его без ресниц, камзол его без фалд, на пальцах вместо ногтей растет древесная кора, а темя покрыто такими вещами, которых не определит ни один естествоиспытатель. В городах западных губерний тропинки, проложенные сынами Израиля по улицам и переулкам, идут обыкновенно у самой подошвы заборов и исчезают на поворотах, потому что жид, подходя к углу дома, повертывается к нему лицом, обхватывает угол обеими руками и тогда уже переносит ногу на другую сторону. Ткани, употребляемые тамошними жидами на одежду, не ткутся нигде и никогда не бывают новы; их как бы ловят они в тех океанах грязи, которыми окружены жидовские жилища, в которых гнездятся их дети и которых, наконец, не высушивает никакое солнце в мире; без этой грязи не прожил бы ни один жид ни двадцати четырех часов.

Перейдем к лошадям; конь западных городов принадлежит более к произведению зодчества, чем природы, потому что последняя влагает в него только жизнь, но формы отделываются уже впоследствии палкою; создание это редко перерастает полтора аршина, ноги его коротки, а копыта заменяются какими-то нековаными ногтями; палка и плеть, неразлучные с кожею этих лошадей, дозволяют шерсти рас-

ти только в тех местах, которые недоступны для этих орудий, а именно на глазах и внутри ушей; все же остальные части тела похожи на голенища ямских сапог, вымазанных дегтем. Кони западных губерний имеют свойство бежать только с горы, и в этом случае нередко привязанные к ним сани без подрезов, принимая косвенное направление, сначала перегоняют их, а потом завлекают за собою в глубокие рвы, реки или боковые канавы. Корм этих лошадей не ограничивается овсом и сеном, с которыми они встречаются редко; их же корм служит предварительно кровом домов, а потом уже, мелко изрезанный, поступает в конский желудок. Рогатый скот походит на лошадей ровно столько же, сколько городские мещане на евреев; нечистота и неопрятность господствуют повсюду, и горе тому, кого судьба забросит в такой городок в холодное зимнее время и на долгое жительство!

Впрочем, оставим покуда рогатый скот и перейдем к герою рассказа нашего Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову, которого с триумфом сопровождала многочисленная толпа от заставы до дома городничего.

На пути узнал наконец градоначальник, что спаситель родственниц его был не кто другой, как сын покойного Авдея Петровича, и на пути же передана была эта весть Андрею Андреевичу, Дмитрию Лукьяновичу и новым лицам, прибывавшим со всех закоулков и умножавшим собою свиту штаб-ротмистра; сам же штаб-ротмистр находился в самом неловком положении; шедши рядом с городничим, он высмотрел беспорядок, происшедший в одежде его во время падения померанцевой коляски, и беспорядок этот был такого рода, что, не будь оторван лацкан у сюртука, а вместе с ним и значительная часть полы, его никто бы не заметил. Но полы не стало, и напрасно старался он соединением оставшейся полы с изорванным краем одежды скрыть происшедшее с ним несчастие, напрасно прибавлял он шагу и избегал поворотов; сопутствовавшие ему лица, как нарочно, забегали вперед, и Петра Авдеевича бросало то в жар, то в холод; но вот площадь, дощатое крыльцо городнического дома, несколько кривых ступень, и он спасен! Нет! в дверях прихожей неумолимый рок готовил нашему герою новое страшное испытание: предупрежденная кем-то супруга городничего и две дочери, очень взрослые, почли долгом приветствовать гостя, первая длинною речью, а вторые

книксеном и сладчайшею из улыбок. Петр Авдеевич вспомнил о картузе своем и прикрыл им беспорядок, но городничий, подошедший с тылу, взял Петра Авдеевича за ту самую руку, которая держала картуз, и потащил в залу. Положение штаб-ротмистра становилось так затруднительно, что, не высмотри он большого кожаного кресла в темном углу первой комнаты, он выскочил бы, может быть, в первое окно, но кресло и темнота угла представились глазам его как последнее и единственное средство к спасению, и, подобно утопающему, бросающемуся на случайно плывущую доску, он бросился в угол в кресло и внутренно поклялся не двигаться, пока не представится случай бежать. И так, сидя неподвижно, принял костюковский помещик как новые поздравления гостей, так и вторичные уверения семейства городничего в вечной признательности за оказанную им услугу.

Все это выслушал Петр Авдеевич с достоинством и сидя; когда же в свой черед подошла к нему бледная племянница городничего и с румянцем стыдливости на лице протянула ему свою хотя и не миниатюрную, но очень пухленькую и довольно беленькую ручку, Петр Авдеевич вскочил на ноги, уронил картуз, поцеловал протянутую руку красавицы и, опомнившись, опрометью бросился в первую попавшуюся ему дверь; по счастью, вела дверь эта в канцелярию городничего, куда немедленно явился и он сам.

— Что с вами, почтеннейший Петр Авдеевич? — спросил городничий, осматривая с удивлением гостя своего,— мы уже вообразили себе, что вы занемогли, боже упаси?

— Не то чтобы занемог,— отвечал с застенчивостию штаб-ротмистр,— но находиться в дамском обществе в таком наряде, как мой, неловко как-то.

— Полноте, сударь, общество это с сегодняшнего дня вам более не чуждо, и кто же взыщет с человека, который готов был жертвовать...

— Все так, Тихон Парфеньич, а все-таки...

— И! ровно ничего, поверьте слову.

— Но...

— Что же но?

— Но,— повторил штаб-ротмистр, оглядываясь во все стороны,— вы взгляните сюда; я и не заметил сначала.

— Да, так вот что,— проговорил городничий, взявшись

за бока,— ну, это обстоятельство иное, конечно, не то чтобы ловко при дамах; впрочем, мы делу поможем.— Анисим! Анисим! — закричал Тихон Парфеньевич, выглянув из двери, принеси-ка, братец, мой стеганый архалук.

— Как архалук? — спросил штаб-ротмистр,— для кого же это архалук?

— Не тревожьтесь, почтеннейший, архалучек-то с иголочки, жена намеднись подарила.

— Сила не в новизне, а как же мне его надеть? разве просидеть здесь?

— Как бы не так.

— Так неужели я решусь показаться в нем при дамах?

— А вы думали?

— Нет уж, Тихон Парфеньич, вы меня извините.

— И дамы извинят, ручаюсь,— перебил, смеясь, городничий.

— Ну уж нет, Тихон Парфеньич.

— Не нет, а да!

— Ну уж нет!

— Посмотрим! Дарья Васильевна, Александра Осиповна, Маланья Андреевна, пожалуйте-ка сюда на часок,— закричал городничий так громко, что на зов его тотчас же отозвались три женские голоса.

— Что вы это, Тихон Парфеньич,— жалобно завопил штаб-ротмистр, бросаясь запирать дверь,— ведь этак вы меня губите совершенно, ведь этак я пропаду совершенно со стыда.

— Дарья Васильевна, пожалуйте-ка сюда, матушка,— продолжал кричать городничий,— вот в чем сила, тут вы?

— Тут, тут,— пропищали за дверью те же три женские голоса.

— Тихон Парфеньич! Тихон Парфеньич! — прошептал еще жалостнее штаб-ротмистр,— ради самого бога!

— Нет, сударь, ни за что,— продолжал городничий,— вы не хотите сделать нам чести откушать с нами, потому что...

— Тихон Парфеньич!..

— Потому что, спасая наших же, разорвали себе платье, так это, сударь, не причина, потому что я предлагал вам архалук, и дамы, верно...

— Тихон Парфеньич, согласен! но только именем создателя...

— Я говорю, что дамы, верно, присоединятся ко мне, чтобы просить вас.

— Надеюсь, уверены; да как же иначе, Петр Авдеевич, все мы просим, требуем, умоляем,— раздалось за дверьми несколько пискливых голосов, и так звонко, что штаб-ротмистр пытался было отвечать им что-то, но перекричать не мог; когда же голоса замолкли, несчастный Петр Авдеевич вынужден был дать честное слово явиться в гостиную в наряде Тихона Парфеньевича.

Наряд этот немедленно принесен был Анисимом, а состоял он из штуки цветной термаламы, приведенной руками Дарьи Васильевны, то есть супруги городничего, в форму стеганого архалука для плеч супруга и халата для стана Петра Авдеевича. Как ни жеманился, как ни вертелся бедный костюковский помещик, подобно полипу впился в него Тихон Парфеньевич, и помощью мощных рук его штаб-ротмистр не вошел, а вдвинут был насильно в среду многочисленного общества, значительно увеличившегося во время кратковременного отсутствия хозяина и гостя.

— Мне так конфузно, что вы представить себе не можете, я бы то есть предпочел бы в преисподнюю,— говорил, обращаясь во все стороны, Петр Авдеевич, и на это кто отвечал, что платье не делает человеком, кто уверял штаб-ротмистра, что душевные качества составляют главное убранство человека, остальное же вздор, мечта... Но эти утешения могли бы принести гостю некоторую отраду, будь только архалук Тихона Парфеньевича поуже, да не заходи талия его слишком низко на спине; на беду же штаб-ротмистра, в гостиной, как нарочно, повешены были зеркала одно против другого, и, куда бы ни направился взор его, всюду встречал он себя в самом неавантажном, в самом забавном виде.

«И когда подумаешь, что всему причиной проклятый лацкан,— говорил сам себе Петр Авдеевич и приговаривал: — Вот так бы кажется!..» Но спасительные для штаб-ротмистра три часа перевели всеобщее внимание с архалука его на круглый стол, уставленный закускою, и все члены общества стали переходить от гостя к кулебяке с визигою, к поджаренным печенкам, к сельдям, фаршированным ситным хлебом, к копченой любской колбасе и к водкам алого и зеленого цвета.

Многих из гостей хозяевам нужно было упрашивать от-

кушать, а многих не мешало бы приостановить; к числу последних принадлежал Дмитрий Лукьянович в желтых ботинках, который между прочим не переставал бросать на Петра Авдеевича не совсем дружелюбные взгляды. Причина нерасположения штатного смотрителя к герою нашему объяснилась впоследствии.

— Однако четвертый час, господа! — воскликнул хозяин и, вытащив изо рта завязнувший меж зубов хвостик селедки, он подвел бледную племянницу к Петру Авдеевичу, прося его занять с нею почетные места за столом.

Снова все взоры обратились на штаб-ротмистра, и снова смешался штаб-ротмистр, но все встали с своих мест, и делать было нечего; он взял девушку за руку и пошел в столовую.

Не стану описывать ни числа, ни качества блюд — скучно; обед был сытен, вина подкрашены, прислуга неопрятна, Андрей Андреевич приторен, штатный смотритель весел, а бледная красавица неговорлива.

Несколько раз принимался было Петр Авдеевич заговаривать с соседкою своею; но один мгновенный румянец был единственным ответом на вопросы гостя.

— Что же ты, Полинька, так молчалива? — заметила наконец тощая вдова уездного судьи.— Ты не красней, а отвечай на то, что Петр Авдеевич у тебя спрашивает.

— Помилуйте, Елизавета Парфеньевна! это ничего-с; зачем же беспокоиться Пелагее Власьевне; я так спрашивал, чтобы поговорить что-нибудь просто,— отвечал штаб-ротмистр, которого три рюмки хереса примирили с длинною талиею архалука.

— Как ничего-с, Петр Авдеич,— возразила вдова,— учтивость требует, чтобы девица отвечала кавалеру, тем более что вы избавитель наш.

— Помилуйте-с, Елизавета Парфеньевна!

— Как помилуйте-с, я от сердца говорю, я чувствую, что говорю, и Полинька должна чувствовать.

— Но сто́ит ли того-с, помилуйте-с.

— Надеюсь, что сто́ит, Петр Авдеевич.

— Право, не сто́ит, Елизавета Парфеньевна, да я могу вам сказать,— продолжал штаб-ротмистр,— что у меня обыкновение такое; раз вижу-с опасность какая-нибудь и кто бы то ни был подвергается,— уж мое почтение, чтоб выдал, с риском живота готов на опасность.

— Прекрасное свойство! — заметил соборный священник, сидевший против штаб-ротмистра.

— Какое прекрасное-с? — перебил Петр Авдеевич,— напротив, могу сказать вам, большое дурачество; право, иногда сам себе говорю и дивлюсь потом, ну, как, например, года четыре назад привели ремонт-с — вот-с, выводят поодиночке, а между манежем и денником такая скользкая тропинка, кобыла зашалила и ну лягаться — верите ли, приступу нет. У нас же известно... вот вы не служили в кавалерии,— с этим вопросом обратился было Петр Авдеевич к соборному священнику, но, опомнясь, перенес взгляд на другие лица; не заметив, как видно, ни одного, который бы, по его мнению, мог служить в кавалерии, штаб-ротмистр прибавил: — Все равно-с,— и продолжал: — Известно у нас, что как лошадь залягает, так уловчись только схватить ее ловко за хвост, мигом подожмется, и кончено-с; я подумал, да и хватил!

— Что же она? — спросили несколько голосов.

— Она присела, голубушка, и ни-ни!

— Неужели? какая отвага!

— Отвага? пусть себе отвага! однако же оборвись рука! или случись другое что! так бы свистнула, что чудо! То же самое-с и сегодняшний случай, ну, будь гнедой ваш попрытче, размозжил бы лоб, и больше ничего-с!

— Ох! — едва крикнула бледная красавица.

— Да упаси же бог! — проговорила вдова, и большая часть гостей значительно перемигнулась, смотря попеременно то на спасителя, то на спасенных.

После жаркого подали шампанское, разлили его по бокалам и городничий провозгласил тост Петра Авдеевича, сестры своей вдовы и племянницы.

— Зачем мое, братец? — громко заметила вдова,— мне пора умирать, а пить здоровье тех, кто помоложе. Петр Авдеич, позвольте вам пожелать всякого благополучия,— прибавила она, вставая.

— Уж не одного-с, а ежели позволите, то Пелагеи Власьевны,— отвечал, вставая в свою очередь, штаб-ротмистр.

— А так, так, так! быть по сему! — завопил городничий, и все с шумом поднесли бокалы к губам.

Дмитрий Лукьянович заметил было, что тост этот похож на свадебный, за что и ущипнул его пребольно сидевший рядом городничий... Тем и кончился обед, с которого в скором времени отуманенные гости расползлись по домам своим,

предоставив гостиную градоначальника родственному кружку его, Петру Авдеевичу и неотвязчивому смотрителю училища.

Промежуток между обедом и вечером посвящен был мужчинами висту с болваном, а под вечер собралась городская молодежь, состоявшая из так называемых приказных и женского чиновничьего пола.

Городничий предложил было повторить утреннюю прогулку по ярмарке, но штаб-ротмистр объявил решительно, что хотя и просидел в доме его целый день в архалуке, но в таком неблагопристойном виде, конечно, в народ не покажется и не сделает такого неучтивства, а ежели хотят, то готов он, Петр Авдеевич, повеселить всех играми и предлагает себя в коршуны.

— Ах, как это весело! — закричали дочери городничего, и в тот же миг, отодвинув столы и стулья, вся компания как девиц, так и молодых людей построилась в одну линию, перепоясала друг друга носовыми платками и, подпрыгивая, приготовилась ко всем возможным эволюциям.

Защитником стада избран был Дмитрий Лукьянович. Штатный смотритель растопырил руки, расставил ноги и подал знак к началу. Противники оказались равными по силе; с ожесточением нападал на крикливое стадо Петр Авдеевич; с ловкостию, свойственною роли, им разыгрываемой, неоднократно вцеплялся он то в белые платья девиц, то в полы чиновничьих сюртуков, но каждый раз между им и белым платьем появлялось влажное лицо штатного смотрителя, и коршун находился вынужденным направлять атаки свои в другую сторону. «Постой же,— подумал штаб-ротмистр,— уж ты у меня чубурахнешься, мокрая образина»,— и действительно, еще одно всеобщее движение, и штатный смотритель всем телом грянулся об пол.

Торжествующий Петр Авдеевич выхватил из рассыпавшегося стада бледную племянницу городничего; все расхохотались, но Дмитрий Лукьянович не разделял всеобщей радости и, поднявшись, пресерьезно подошел к победителю.

— Вы, государь мой...

— Что? — спросил штаб-ротмистр.

— Вы, государь мой,— повторил штатный смотритель, бледнея.

— Что же, продолжайте.

— Я бы сказал вам, но..

— Но форсу не хватает, верно,— прибавил, смеясь, Петр Авдеевич, и, бросив на противника презрительный взгляд, он подошел к перепуганной Пелагее Власьевне, которая умоляющим голосом и в весьма трогательных выражениях заклинала его не вызывать на дуэль Дмитрия Лукьяновича, возненавидевшего Петра Авдеевича, по словам ее, за то... тут красавица снова покраснела и потупила глаза.

— Как возненавидел, за что возненавидел? — спросил, не понимая недоконченной речи, штаб-ротмистр.

— Я, может быть, не так выразилась, Петр Авдеевич,— пролепетала девица,— а то мне показалось, что они сердятся на вас за то, что вы, Петр Авдеевич... со мною говорите.

— Так вот что,— воскликнул штаб-ротмистр, и с этим восклицанием он покатился со смеху. Игра в коршуны заменена была шнурком со вздетым в него колечком. Те лица, в руках которых находилось колечко, обязаны были класть фант; игра эта так понравилась всему обществу, что сам городничий, Андрей Андреевич и даже частный приняли в ней участие. Дмитрий Лукьянович, по причине сильного ушиба, отдалился от всех и из угла соседственной комнаты неприязненно посматривал на счастливого соперника, который не удостоивал его и взглядом.

Время летело, как птица, и розыгрыш фантов заключил удовольствие вечера. Назначение наказаний предоставил себе сам хозяин дома, и, заключив фанты в свой клеенчатый картуз, Тихон Парфеньевич расположился с ним в кресло на самой середине залы.

— Ну, смирно! — заревел он повелительным тоном,— теперь прошу садиться по местам и слушать, что я буду назначать; первый фант должен... должен проплясать трепака; да только знайте, кому достанется, не отговариваться, и в присядку, не то во время ужина засадим под стол и отпустим голодного.

— Ах, да это ужасно! да этак умереть можно от страха! — раздалось отовсюду.

— Не умрет никто, не беспокойтесь,— возразил городничий,— а что сказано, то будет сделано, и первый фант... он вытащил мраморного цвета замшевую перчатку.

— Петра Елисеича, Петра Елисеича,— закричали, прыгая, девицы.— Петр Елисеич, пожалуйте, пожалуйте!

— Как, братец, перчатка-то твоя? — заметил лукаво го-

родничий, будто удивленный нечаянностию случая.— Делать нечего, братец! — И Тихон Парфеньевич бросил фант знакомому нам частному приставу.

— Что же мне делать прикажете? — спросил с ужимкою пристав.

— Как, братец, что? не слыхал разве? пляши трепака.

— Да помилуйте, где же мне! да как же я буду плясать? — пропищал, ухмыляясь, Петр Елисеевич.

— А уж как знаешь, только пляши.

— Ей-ей, забыл!

— Врешь, братец, врешь! давно ли я видел своими глазами чрез окно, как на крестинах у поверенного?.. не надуешь, брат!

— Да ведь то случай такой вышел, Тихон Парфеныч, воля ваша.

— И теперь случай, да не отговаривайся; ведь не простим!

— Право, не знаю, как же это!

— Просто, братец. Дениска, скрипку! готова небось, ну кислятничать нечего! подбери-ка фалды, да и марш! — прибавил городничий.

И старый пристав, подобрав фалды, присел на пол и под звук Денискиной скрипки и громкого хохота предстоявших, проехал три раза по полу комнаты, выкидывая из-под себя ноги с неимоверною быстротою.

— Ай да Елисеич, ай да молодец,— кричал городничий,— что лихо, то лихо! вот так и поддал бы тебя плеткой, словно волчок.— И сравнение городничего заслужило поощрение, выраженное всеобщими рукоплесканиями.

Отплясав свой фант, частный, шатаясь и очень довольный собою, вышел из комнаты, а Тихон Парфеньевич провозгласил обязанность второго фанта; состояла она в правдах, которые должен был сказать каждому тот, чья вещь попадается на очередь.

— Двугривенный,— воскликнул городничий, вынимая из кармана своего монету.— Чей двугривенный?..

— Мой, Тихон Парфеньич,— застенчиво отвечал юноша, выступая вперед.

— Твой, брат Гаврюша, что же? валяй!

— Как же мне говорить правду?

— Как знаешь, твое дело.

— Да мне совестно-с!

— Чего совестно, говорить-то правду, разве уж все дурное такое?

— Да нет-с, я не то хотел сказать, Тихон Парфеныч.

— Что же?

— Я, ей-богу, не знаю.

— Экой же, братец, ты какой мямля, Гаврила, ну подойди просто к кому-нибудь да и вавакни: вы, мол, такой, а вы сякой — трудно небось?

Застенчивый юноша, медленно перебирая пальцами, отправился ходить около сидевших и, остановясь противу старшей дочери городничего, шепнул ей что-то вполголоса.

— Что ты там говоришь? — спросил городничий.

— Я говорю, Тихон Парфеныч, что Катерина Тихоновна очень хороша лицом.

— Довольно, братец Гаврила, остальные пусть сами отгадывают, чем бы ты их подарил,— сказал городничий,— возьми-ка, брат, свой двугривенный да садись на место; теперь очередь за третьим. Третьему,— повторил он,— быть зеркалом.

— Чудесно, чудесно,— крикнули несколько женских голосов.

— Золотая печать с сердоликом, Андрей Андреич, твоя, милости просим,— сказал городничий,— садись-ка против меня да слушай, что бы я ни делал, ты делай то же.

— Постараюсь, Тихон Парфеныч, постараюсь, только уж вы, пожалуйста, не очень,— отвечал седовласый старичок в синем фраке.

— Небось плясать не стану как Елисеич! — И градоначальник, придвинув кресло свое к усевшемуся Андрею Андреевичу, начал строить такие гримасы, от которых вся публика пришла просто в восторг. Тихон Парфеньевич вывертывал веки глаз, вытягивал уши, сплющивал нос, подносил носок ноги к подбородку и, натешившись досыта, уступил место свое другим лицам. Другие делали то же; девицы грациозно приседали, кавалеры шаркали; Петр Авдеевич, взяв палку, делал военный артикул, брал на плечо, на караул, и все, к удивлению зрителей, выделывал за ним Андрей Андреевич. За фантом Андрея Андреевича последовали другие фанты, другие фарсы и, наконец, фант Петра Авдеевича: ему приказано было выбрать из всех красавиц ту, которую сердце его избрало из среды всех, и вести ее за стол...

Штаб-ротмистр выбрал Пелагею Власьевну и при оглуши-

тельном рукоплескании повел ее в столовую, где ожидал все общество жирный ужин и повторение тостов. За столом щечки Пелагеи Власьевны покрылись ярким румянцем, а штатный смотритель промолчал все время, отказался от шампанского и по окончании стола скрылся, никем не замеченный.

Гости разъехались и разошлись; сестра городничего с дочерью поместились на женской половине дома Тихона Парфеньевича, а Петра Авдеевича не пустили в Костюково, и сам городничий отвел его в гостиную, где на диване уже приготовлена была мягкая постель и все необходимое для ночлега.

— Вы, почтеннейший Петр Авдеевич, отбросьте, пожалуйста, всякие фасоны,— сказал штаб-ротмистру городничий,— и считайте отныне и навек дом мой своим собственным, семью мою своею собственною; что же касается до дочек и племянницы,— прибавил Тихон Парфеньевич, двусмысленно улыбаясь,— так уж это атанде-с! — После чего, крепко пожав руки гостя и поцеловав его два раза, хозяин пожелал ему покойной ночи, наиприятнейшего сна, осмотрел, все ли нужное приготовлено, и, убедясь, что все, вышел из комнаты и прислал к гостю Дениску.

Как ни был умственно развлечен Петр Авдеевич, а оставаясь с глазу на глаз с Денискою, он вспомнил о Тимошке и потом об несчастном сюртуке, единственном остатке своего военного гардероба. На первый вопрос отвечал Дениска штаб-ротмистру, что кучер его закусил вплотную, выпил за барское здоровье стакан-другой пенного и залег на сеновал; на второй вопрос Дениска отвечать не сумел, потому что сюртук Петра Авдеевича передан был самим Тихоном Парфеньевичем квартальному надзирателю, а для какой причины, уж этого Дениска не ведал, и сам штаб-ротмистр догадаться не мог. Отпустив Дениску с сапогами своими, Петр Авдеевич закурил трубку, выпил стакана два воды, стал сначала думать, потом дремать, а потом и спать крепким сном.

Неодинаковых, видно, свойств с Петром Авдеевичем была Пелагея Власьевна Кочкина, и хотя так же скоро разделась, как он, так же поспешно улеглась в постель, как он, однако не дремала и не смыкала глаз до утренней зари.

Пелагея Власьевна провела жизнь свою в городе у дядюшки, протанцевала, это правда, большую часть зим в доме дядюшкином же, но до настоящего двадцатитрехлетнего возраста еще не любила никого и с внутренним, тревожным,

как то водится у девиц, волнением не помышляла о замужестве: брак казался ей тою прозаическою необходимостию, которой должна подчиниться большая часть девиц, которой в свою очередь подчинилась и мать ее, тощая Елизавета Парфеньевна, и тетушка-городничиха; брак, по понятиям Пелагеи Власьевны, значил, во-первых, девичник, потом сбор приданого: две дюжины ткацкого белья, тафтяное одеяло, венчальное белое платье, цветочный венок, потом венчальный обряд, обед с шампанским, танцы, а там уже и муж, все равно какой бы ни был; впрочем, муж мог и не быть.

Пелагея Власьевна, как ни была несведуща о прямых обязанностях супругов, а положительно знала и слышала, что самою неприятною для жен принадлежностию брака бывают мужья; не они ли всегда заставляют женщин проливать слезы, и не они ли бранятся громко, пьют много водки и не дают денег; следовательно, не тверди часто дочери Елизавета Парфеньевна, что замуж пора настала давно, что засидеться в девках стыд большой, что над старыми девками смеются, дочь и не помышляла бы о замужестве.

За Пелагеею Власьевною приволакивался давно уже Дмитрий Лукьянович и частенько наезжал к ним в деревню; Пелагее Власьевне даже казалось, что Елизавета Парфеньевна ласкает его и нередко заводит с ним речь о счастье быть искренно любимым, о неизъяснимом наслаждении для мужчины иметь близ себя всегда хорошенькую жену с томным и выразительным взором, жаждущим ласки, и что блаженство иметь от такой супруги малюток еще выше, еще благороднее; на что отвечал обыкновенно штатный смотритель маслеными глазами, которые, впрочем, он направлял не на Елизавету Парфеньевну, а на нее, Пелагею Власьевну. Но глаза эти, как ни старалась переломить себя Пелагея Власьевна, всегда наводили ей тошноту, о малютках же и о высоком благородном блаженстве иметь их от штатного смотрителя Пелагея Власьевна и подумать не могла без того неприятного чувства, от которого как будто что-нибудь налегает на самое сердце и давит его до тех пор, пока хоть вон из комнаты беги.

То ли же самое ощущала она теперь, приводя себе на память хотя и не совершенно чистый цветом, а несколько смугловатый образ Петра Авдеевича, и развязную его поступь, и движение кистей рук, и черные усы длины безмерной, но чудесной... нет, не то, совсем не то! А как к движению тела и цвету усов присоединить геройский поступок Петра Авдее-

вича и опасность, которой подвергался Петр Авдеевич для нее с маменькой...

— Нет,— шептала Пелагея Власьевна в подушку свою,— этого человека я должна, я обязана любить не так, как кавалера, не так, как знакомца, а как свыше ниспосланное существо, без которого я в этот момент была бы мертвое, оцепеневшее тело, бездыханный цветок, срезанный злым роком и брошенный на большой дороге; без него сердце мое перестало бы биться, а душа отлетела бы туда! — И при этой мысли Пелагея Власьевна, невзирая на совершенную темноту ночи, поднимала взор к потолку и испускала глубокий-преглубокий вздох. Этот вздох долетал до слуха спавшей с нею рядом Екатерины Тихоновны, и Екатерина Тихоновна преравнодушно спрашивала у кузины, о чем она вздыхает и не кусает ли ее что-нибудь; на что, созванная на землю Пелагея Власьевна, еще раз вздохнув, отвечала, что ее не кусает ничто; и новая тишина водворилась в девственном покое, и новые мечты, одна другой отраднее, снова забродили в взволнованном воображении племянницы Тихона Парфеньевича.

По прошествии часа в воображении этом обрисовались уже картины появственнее, поотчетливее, и Петр Авдеевич принимал уже в них образ довольно близкого человека, то есть жениха, а там и очень,очень близкого человека, то есть мужа; тогда встревоженная Пелагея Власьевна приходила в тревожное, но приятное состояние, сердце ее начинало не биться, а трепетать, за трепетанием следовали такие новые ощущения, которых, конечно, не произвел бы в ней во сто лет почтенный Дмитрий Лукьянович; напротив того, едва касалась мысль девушки и не самого штатного смотрителя, а хотя желтых ботинок его, тотчас же сердце Пелагеи Власьевны переставало трепетать, а на новые ощущения будто наливали целую кадку холодной воды,— так неприятен был этот поворот воображения, это грубое отступление мысли от любимого предмета к ненавистному, и уже не вздох, а стон выражал мгновенное состояние души... и на этот звук отзывалась Екатерина Тихоновна вопросом, не кусает ли что-нибудь, и хотя получала отрицательный ответ, однако ответ Пелагеи Власьевны не произносился более заунывным, раздирающим голосом, а резким, отрывистым.

Едва первый солнечный луч заглянул в неплотно завешанные шейными платками окна Пелагеи Власьевны, послышал-

ся отдаленный стук колес, и в то же время в воображении ее промелькнула страшная, убийственная мысль.

Что, если стук этот — стук колес тележки Петра Авдеевича? — очень может быть. Не желая, вероятно, нарядиться снова в дядюшкин архалук, гость воспользуется всеобщим сном и уедет к себе; он не знает, что спят не все в доме, он не знает, что есть существо, которое не смыкало глаз до утра, мечтая о нем! И, мысленно выговорив последнюю фразу, Пелагея Власьевна поспешно соскочила с кровати, подбежала к окну, сорвала платок и, отворив окно, заглянула на улицу. Но нет, слава богу, то была не она, не телега Петра Авдеевича, а несколько телег, нагруженных чем-то; Пелагея Власьевна вздохнула свободнее, прикрепила вилками платок к притолке, возвратилась на цыпочках в постель и улеглась на ней, дрожа всем телом.

Менее чувствительный и более усталый Петр Авдеевич проспал всю эту ночь богатырским сном и только с первым ударом соборного колокола, призывавшего к ранней обедне, раскрыл глаза. В этот час обыкновенно вставал штаб-ротмистр, находясь еще на службе; в этот час отправлялся он, бывало, в манеж, но манежа не стало для отставного эскадронного командира, и потому заменил он его конюшнею, а сотню лихих строевых коней своих парою лошадок шерсти неопределенной.

Петр Авдеевич протер себе глаза, надел сапоги, набил трубку, высек огня, закурил, затянулся как должно и, прижав большим пальцем приподнявшуюся табачную золу, осторожно вышел из своей опочивальни.

В столовой царствовал еще беспорядок, причиненный вчерашним ужином, а в прихожей на ларе покоился беззаботным сном Дениска. Из-под головы Дениски вытащил штаб-ротмистр свою полувоенную шинель, которую, стряхнув с видимым неудовольствием, набросил себе на плеча, и вышел молча на двор.

Двор городнического дома был обширен и поместителен; на нем сосредоточивались все условия жизни, а именно: отдельная кухня, прачечная, ледник, курник, коровник, конюшня, два сарая, колодезь и отдельное деревянное здание, очень невысокое,довольно тесное, без окон, но с двумя дверками, повешенными на кожаных петлях.

Стопы свои направил Петр Авдеевич в конюшню; тут попался ему вчерашний знакомец кучер Елизаветы Парфень-

евны. Штаб-ротмистр дал ему препорядочный нагоняй и осведомился о Тимошке.

— Тимофей, батюшка, недомогает,— отвечал кучер.

— А что у него?

— Бока нешто побаливают.

— А не пьян? — спросил барин.

— Как можно, батюшка, да словом доложить вам то есть, будьте на евтот счет благонадежны.

— Отведи же ты меня к нему, может быть, кровь не мешало бы отворить,— проговорил штаб-ротмистр, собираясь выйти из конюшни; но идти далеко было не нужно: Тимошка отыскался в одном из пустых стойлов; прикрытое циновкою лицо Тимошки было так красно, а атмосфера, его окружавшая, так спиртуозна, что при одном взгляде на своего Тимошку сведущий в этом деле Петр Авдеевич мигом успокоился и, обратившись к провожавшему его кучеру в голубом кафтане, назвал его лгуном и мошенником.

— А из чего ты лжешь, из чего? — прибавил Петр Авдеевич, приостановясь,— ведь повадка у вас, братец, такая, дай, говорит, совру... а из чего? эх!

Тут штаб-ротмистр завел речь о лошадях, расспрашивал у того же кучера, которого бранил за минуту, не знает ли он продажной тройки, на что ободренный кучер отвечал, понизив голос, что у городничего не одна, а две тройки, что коренник буланый бежит рысью, словно птица, что будь в ней маслак, лучшего коня и желать нельзя, да жаль, что городничий не продает своих лошадей ни за какие деньги. Между тем и сам городничий в халате явился в конюшню и, поздоровавшись с гостем, пригласил его откушать чайку.

Возвращаясь в дом, Петр Авдеевич заметил мимоходом, что на кухонном крыльце между стоявшими и смотревшими на него дворовыми женщинами и девками одна пресмазливенькая, а из окна заднего фасада городнического дома выглядывал из-за пестрого платка карий женский глаз,— штаб-ротмистр самодовольно улыбнулся, потянул книзу длинный ус свой и, оглянувшись несколько раз назад, вошел в прихожую.

Употребив целый час на уничтожение целого самовара горячей воды с чаем, ромом и проч., хозяин с гостем приступили к туалету. Последнему подал Дениска глиняную лохань и белый фаянсовый кувшин с водою; штаб-ротмистр умылся как следует и, вытребовав с хозяйской половины

старую зубную щетку, вычистил себе ею зубы; Петр Авдеевич был чистоплотен и ежедневным привычкам своим не изменял; когда же, одевши до половины гостя, Дениска вышел из комнаты, гость впал в недоумение: он вспомнил о несчастном сюртуке своем без лацкана, о низкой талии городнического архалука; первого надеть ему было невозможно, второй хотя и сделан из термаламы, однако широк чересчур: он наводил на штаб-ротмистра еще более тоски, чем первый, а как было делу помочь? чем заменить его? в чем показаться дамам? Но, видно, судьба, начинавшая со вчерашнего дня улыбаться Петру Авдеевичу, не привела еще уст своих в нормальное положение и продолжала благоприятствовать своему избраннику. Дениска возвратился в опочивальню Петра Авдеевича с сюртуком на правой руке; сюртук этот, помолодев годами тремя, предстал владельческим глазам с двумя новыми лацканами, с подкладкою, белою, как сметана; даже выпушка воротника поалела, и самый воротник, дотоле мягкий, стал колом.

Позабыв свои двадцать восемь лет и чин и звание, Петр Авдеевич при виде сюртука предался такой радости, какой не ощущал давно: он смеялся, называл Дениску Денисочкою, городничего почтенным городничим и, надев обновку свою, вертелся в ней с полчаса пред зеркалом.

— Да кто же у вас, брат Дениска, такой мастер? скажи, пожалуй,— спрашивал у слуги Петр Авдеевич.

— Жид, сударь!

— Ай да жид!

— Он обшивает барина нашего.

— Ну уж барин,— проговорил штаб-ротмистр,— подлинно сказать, что барин; ведь ты любишь барина своего, Денис?

— Любить-то любим, только иногда достается мне...

— Уж, верно, за дело, Денис, ты малой молодой...— Но Петр Авдеевич услышал в столовой женские голоса и притих.

В столовой находились уже Пелагея Власьевна, Екатерина Тихоновна и меньшая сестра ее Варвара Тихоновна, когда вошел Петр Авдеевич в помолодевшем сюртуке.

Не считаю излишним предварительно познакомить читателя с двумя дочерьми городничего, хотя, впрочем, судьбою не назначено им играть значительной роли как в свете, так и в моем повествовании.

Девицам этим природа дала сердце теплое, стан средний, но без всякой талии, и лица, имевшие одно только достоинство: свидетельствовать пред родителем в верности к нему супруги; наружность двух дочерей Тихона Парфеньевича была верным слепком наружности Тихона Парфеньевича со всеми принадлежностями, как родовыми, так и благоприобретенными. Еще Екатерине Тихоновне не минуло двух лет, как сходство это начало сильно тревожить родителя. «Отчего бы ей быть такой красной? — говаривал часто супруге своей Тихон Парфеньевич, смотря на первую дщерь свою,— ты бы, душенька, макала ее во что-нибудь, не то, черт возьми, останется такою на всю жизнь, а там сбывай ее, как знаешь!»

Нежная родительница макала малютку в вино, настоянное на бересте, смазывала деревянным маслицем, курила ее гвоздикою и теми вещами, которые находят весною в вороньих гнездах; но ничто не помогало, и цвет тела дитяти продолжал пребывать красным, губки толстеть, а веки опухать и слипаться каждое утро.

С рождением другой дочери, последовавшим три года спустя, родитель убедился, что хоть лопни, а делу помочь нельзя, и, посмотрев пристально на Варвару Тихоновну, шепнул жене, поморщившись: «Баста, матушка!» — и вышел из дому прогуляться.

С той поры и до совершеннолетнего возраста провели жизнь свою Екатерина и Варвара Тихоновны в четырех стенах родительского дома, кушая от пяти до шести раз в сутки, ходя по праздникам к обедне, а по канунам ко всенощной, раскладывая гранпасьянс; нередко гадая в карты и оставаясь большею частию при своих мыслях, переходили оне от карт то к белевым, то к шерстяным чулкам, смотря по времени года, а корсетов не употребляли вовсе. Туалет девиц ограничивался несколькими ситцевыми платьями, на которых иногда появлялись мысы, ежели таковые заводились в уезде. Волосы девиц белесоватого цвета смачивались постоянно какою-то жидкостию и закалывались роговыми гребнями, тусклыми, как студень. Говорили девицы очень мало, но улыбались по временам, а случалось, и вздыхали, но о чем — неизвестно.

Городничий взирал на дочерей своих, как взирает купец на залежалый товар, попорченный сыростию, и не только не строил насчет их никаких планов, но даже поговаривал о

прелестях отшельнической жизни, о благах небесных и тому подобном. Вот почему и пришелся не по сердцу Тихону Парфеньевичу комплимент, сделанный Гаврюшею Екатерине Тихоновне при раздаче фантов, и сердце городничего нимало не оскорбилось, видя явное предпочтение, оказанное накануне Петром Авдеевичем не Екатерине и Варваре Тихоновнам, а Пелагее Власьевне. В это же утро племянница была так авантажна, что, при сравнении с нею дочерей городничего, последние, казалось, приобретали еще большее сходство с родителем, чем накануне.

На Пелагее Власьевне было в это утро флорансовое вердепешевое платье с экосезовым кушаком, плотно стянутым бронзовою пряжкою рококо. Платье это не совсем доходило до плеч и, сверх того, сползало немножко, отчего самые плечики и шейка полненькой Пелагеи Власьевны казались даже сквозь кисейное канзу «снежными глыбами, зарумяненными первым лучом любви»,— так выражался, по крайней мере, штатный смотритель каждый раз, когда при важной оказии появлялась Пелагея Власьевна в своем вердепешевом платье.

Петр Авдеевич не обладал даром поэтических сравнений; но не менее того при первом взгляде на ту часть, которую прикрывала канзу, забыл обновленный сюртук и почувствовал усугубление чувств к племяннице городничего.

— Как провели вы ночь? — спросила едва внятно Пелагея Власьевна у гостя, отвесившего как ей, так и двум дочерям городничего по ловкому поклону.

— Как никогда-с; словно убитый какой-нибудь-с,— отвечал Петр Авдеевич.

— А я напротив,— заметила еще тише и потупив взор Пелагея Власьевна.

— Это отчего-с?

— Не знаю, право.

— Верно, испуг вчерашний?

— О, нет! напротив, не испуг, но меня мучила мысль, что я так мало благодарила вас за вашу жертву.

— Какую-с жертву?

— Вы жертвовали жизнию для спасения нашего.

— Помилуйте, Пелагея Власьевна, и в мыслях не было; неужели вы думаете, что в подобных обстоятельствах думаешь умереть?

— Я полагаю, Петр Авдеевич.

— Ничуть, верьте.

— Следовательно,— заметила девица,— вы, Петр Авдеевич, для всякого готовы были бы сделать то же?

— Без всякого сомнения,— простодушно отвечал штаб-ротмистр,— уж такая натура, и должен доложить вам, к стыду моему, что наш брат не щадит жизни, где надобно; для нас все равно, кто бы ни был в опасности...

— Следовательно, Петр Авдеевич, будь на месте нашем, то есть маменькином,— поспешила прибавить, краснея, Пелагея Власьевна,— кто-нибудь другой, посторонний, вы вчера поступили бы так же?

— Помилуйте-с, да я не знал вовсе никаких маменек, я даже сзади не видал, кто там сидит в коляске; ну а как дышло, знаете, заболталось, эге! говорю кучеру, дело-то плохо, и — марш!

Красавица глубоко вздохнула, укоризненно взглянула на Петра Авдеевича и подошла к окну; две дочери городничего, стоявшие до того неподвижно посреди комнаты с улыбками на устах, подошли в свою очередь к Пелагее Власьевне, а штаб-ротмистр, заметив в дверях прихожей Тихона Парфеньевича, вспомнил о сюртуке и бросился к нему навстречу.

Изъявления благодарности со стороны Петра Авдеевича были сильны и искренни; Тихон Парфеньевич приписал большую часть сделанного штаб-ротмистру одолжения мошеннику жиду, искуснейшему портному в городе, которому и советовал заказывать все партикулярное платье, с одним, однако же, условием, чтобы Петр Авдеевич купил сам материи и даже шелку; иначе жид его надует; скрепил же городничий основательность недоверчивости своей к портному жиду таким анекдотом, который хотя и рассказан был городничим в присутствии племянницы и дочерей своих, но первая высунулась до половины из окна, а последние закрыли лица свои платками; когда же анекдотец кончился и городничий, смеясь, назвал девиц по имени, то племянница бросилась со всех ног из комнаты, а дочери, все-таки не отнимая платков от лиц своих, хотя и шагом, но в свою очередь последовали за племянницею.

— Дуры! — заметил Тихон Парфеньевич, смотря им вслед и оставшись с гостем вдвоем; похохотав еще несколько минут, они наконец успокоились, спросили трубки и уселись у растворенного окна столовой.

До одиннадцати часов — час завтрака — Тихон Парфеньевич с Петром Авдеевичем проглазели на соборную церковь и на площадь; первый останавливал проходивших по улице разного рода людей, над иными подшучивал, других бранил довольно серьезно, третьих посылал за четвертыми и ровно никому не говорил *вы*; о каждом останавливаемом лице рассказывал Тихон Парфеньевич Петру Авдеевичу все занимательное и наконец нечувствительно свел речь на свою службу, на свои годы и беспокойства.

— Нередко думается мне, почтеннейший Петр Авдеевич,— говорил с чувством городничий,— что годы мои уходят, жена стара, на дочек надежды полагать не могу, умрут в девках, на кого же опереться будет в дряхлости? кто закроет глаза? с другой стороны, именьишко, какое есть, ну кому я оставлю? Ведь тридцать с лишком лет служу отечеству, и за службу мою бог послал кое-какое достояние; и этот дом собственный, его перетряс я в прошлом году, не случится какого несчастья — меня переживет, а для кого? а кому придется передать? вот, сударь, как подумаешь, так и тяжко станет.

Переведя дух, Тихон Парфеньевич наблюдал за впечатлениями, произведенными рассказом его на Петра Авдеевича; но лицо Петра Авдеевича не изменилось ни на волос, и городничий, помолчав, продолжал:

— И тяжко станет, так тяжко, что и сказать нельзя; будь сын, дело иное; нет, сударь! бог обидел дочерьми, добро бы благовидными, выдал бы замуж, не посмотрел бы на состояние, будь только честные, добрые люди, состояние бог даст. И тут неудача — родились-то дочки ни то ни се, ведь, сударь, глаз не замажешь никому, и отец, да вижу ясно, не красивы; куда не красивы; что и говорить, иной пожарный лицом-то будет деликатнее; откуда что берется: что весна, повыступят прыщи, нальются, словно бусы, а там как начнут, сударь, лопать, даже родительскому сердцу противно делается; у Вариньки же и из уха течет — беда совершенная! Уж Дарья Васильевна моя чего не делала: и калиной поила, и кору приставляла к икрам, нет, кора-то тянет себе, спору нет, а лицо все-таки мокнет да мокнет.

— Попробовать легонькую заволочку где-нибудь на мягком месте,— заметил Петр Авдеевич,— или употребить прижиганьице — во многих болезнях помогает.

— Нет уж, сударь, к таким средствам родителям прибегать не идет; так я, впрочем, и рукой махнул,— сказал городничий, подтвердив слово жестом,— и всю надежду мою полагаю на сироту, сестрину дочь Полиньку.

— То есть Пелагею Власьевну?

— Да, племянницу,— повторил городничий,— девка умная, добрая, воспитанная и недурна лицом.

— Уж это точно можно сказать,— заметил штаб-ротмистр.

— Не правда ли?

— Уж точно можно сказать,— повторил Петр Авдеевич, потягивая усы свои книзу.

— Так вот, сударь,— продолжал Тихон Парфеньевич,— благослови ее бог хорошим женишком; сиротку не обижу и я; она же и своего имеет малую толику; покойный зять был работяга, жить любил с расчетцем, деньгами не сорил, а прятал копеечку на черный день. От стариков-то своих получил он, сударь, шиш, а уж собственным умом добился и чинишек, и местечка тепленького; выбрало его сначала дворянство депутатом, служба-то, знаете, более почетная; однако выдержал-таки в ней целое трехлетие, смотришь, из депутатов попал в непременные и непременным отслужил непорочно; исправник, правда, был человек бойкий, во все входил сам; члена у него как бы не было вовсе, ну тяжко, знаете, показалось, а выдержал Влас Кузьмич и на этом месте. Обидно было, правда, а вышло-то на поверку, что на третьи выборы исправника по шее, а Влас Кузьмич волей-неволей, а как остался честным в глазах дворянства, так и махнул в судьи. Вот те и анекдот! Прошел год, прошел другой, смотрим, завелись и лошадки, и колясочка, и то и се; ай да Влас Кузьмич, говорю ему, бывало, молодец, а он кивнет глазом да вытащит бумажник, покажет пачку серых, да опять в карман; умная был голова, и, не умри, не тем бы кончилось.

— Отчего же он умер? — перебил Петр Авдеевич.

— Отчего? — повторил городничий,— а умер он, сударь, как бы то есть вам сказать? он как-то странно умер, даже очень то есть странно: был у меня накануне, играл в пикет, поужинал вплотную, выпил рюмки с две вина и пошел домой, а ночью-то и будит меня Дениска; Влас Кузьмич, говорит, приказали долго жить! Как долго жить? так-с, говорит, долго жить; я набросил шинель, да к нему на квартиру, а

там уже, сударь, и катавасия; спрашиваю: как, что? — скончался, говорят, словно кто обухом пришиб...

— Верно, паралич,— заметил штаб-ротмистр.

— Верно, паралич,— повторил городничий очень хладнокровно,— тем и кончился разговор, прерванный закускою и появлением хозяйки и трех девиц.

В полдень явились Андрей Андреевич с Дмитрием Лукьяновичем; на обоих были вчерашние костюмы; штатный смотритель поклонился всему обществу, подошел к городничему и насмешливо спросил у него, откуда добыл он двух выдр, замеченных штатным смотрителем на дворе.

— Каких выдр? — спросил городничий.

— Выдр,— повторил язвительно Дмитрий Лукьянович.

— Не понимаю.

— Ну не выдр собственно, так животных, которые очень на них походят с виду, и рост такой же, и шерсть мышиная, и хвост метелкою, словом, выдры, совершенные выдры.

— Верно, речь идет о моей паре,— заметил, смеясь, Петр Авдеевич, которому и в голову не пришло, что речь эта клонится к его оскорблению: Петр Авдеевич был слишком доволен судьбою своею, чтобы помнить оказанное к нему накануне нерасположение штатного смотрителя, а потому и стал первый смеяться над бедными клячонками, доставшимися ему от родителя.— Что похожи они на выдр, так действительно похожи,— прибавил он, смеясь громче с толку сбитого Дмитрия Лукьяновича,— и езжу-то я на них потому, что покуда нет других лошадей у меня.

— Стало, нужны вам лошади? — спросил городничий.

— Нужны? да так нужны, что смерть.

— А нужны, так есть.

— Как есть?

— Так! есть.

— Где же это?

— У меня на конюшне,— сказал, улыбаясь, городничий.

— Неужто буланый рысак?

— И за буланого не постою.

— Что вы это, Тихон Парфеньич?

— Да уж делать, так делать по-русски, а не чакрыжничать, и вот вам рука моя, сударь, что подобной тройки, какую дам я вам, не найдете в целой губернии, Петр Авдеич.

— Да что же вы за нее возьмете, Тихон Парфень-

ич? — спросил с внутренним волнением штаб-ротмистр.

— Что возьму? да что дашь, можно сказать, что дашь,— спросил городничий.

— Черт меня возьми, если я что-нибудь понимаю,— проговорил Петр Авдеевич, не слушая городничего.

— Это значит, дорогой мой,— продолжал торжественно Тихон Парфеньевич,— что ты пришелся мне, старику, по сердцу, а придись Тихону кто по сердцу, так Тихон отдаст ему не только тройку лошадей, а старуху свою отдал бы, да никто не возьмет,— прибавил хозяин, и все общество, за исключением штатного смотрителя, покатилось со смеха. После чего городничий взял Петра Авдеевича за руку и повел в конюшню. Андрей Андреевич последовал за ним, а позеленевший Дмитрий Лукьянович почесал себе нос, кашлянул несколько раз и, стараясь принять спокойное выражение, подошел к сидевшей в углу Пелагее Власьевне и попросил, злобно улыбаясь, позволения сесть возле нее.

— Стулья не мои,— отвечала не совсем благосклонно Пелагея Власьевна.

— Вы, кажется, не в приятном для меня расположении сегодня?

— Как всегда, я думаю!

— А я думаю иначе.

— Как вам угодно!

— Мне угодно думать иначе.

— Думайте себе, никто не мешает,— отвечала Пелагея Власьевна, отворачиваясь.

Посидев с минуту, Дмитрий Лукьянович заметил ей, что она очень авантажна сегодня и особенно принарядилась.

— Для вас, разумеется,— отвечала презрительно девушка.

— Может быть, наряжались прежде,— повторил смотритель,— а сегодня...

— Что же сегодня?

— А сегодня нарядились, да не для меня; знаем-с мы-с.

— Что вы знаете?

— Уж знаем-с.

— А знаете, так тем лучше для вас.

— Да для вас-то хорошо ли, Пелагея Власьевна? — спросил, покачивая головою, штатный смотритель.

— Это еще что такое? — воскликнула с гордостию Пелагея Власьевна.

— То, сударыня, что, будь я на вашем месте, я бы просто сгорел, я бы умер от стыда, не только поднимал бы голову; ну что же я? мое суждение для вас совершенный плевок; но весь город и говорит, и судит, и рядит и...

— Городу нечего видеть!

— Нечего видеть? — протяжно повторил Дмитрий Лукьянович,— нечего видеть, когда вчера при всем народе он идет вперед, а вы сзади; еще бы пускай шел бы, прах с ним; а то идет, с позволения сказать, растерзанный, словно подрался где-нибудь на ярмарке с ямщиками, сюртук разорван, разорвано везде, стыдно, сударыня, стыдно! и было бы с кем идти,— продолжал Дмитрий Лукьянович,— а то невесть откуда взялся, и кто он такой, и что он? бродяга, выгнанный вон из службы за неприличное поведение, за буйство какое-нибудь; в долгу, как в шелку, ездит на выдрах с мошенником, которого я знаю давно; да только сделай меня становым, так я его, фирса этого, так обласкаю, что...

— Вы, вы? — проговорила едва внятно от гнева Пелагея Власьевна,— осмелитесь так поступить с Петром Авдеевичем?..

— А что же он такое? уж не пашá ли какой?

— Вам быть становым? — продолжала, усилив голос, раздраженная девушка,— да разве дядюшка с ума сойдет, что даст вам это место; да я ему скажу, какой вы человек! да это просто стыд и срам дядюшкиному дому, что вы позволяете себе говорить «бродяга, растерзанный», да Петр Авдеевич не в пример лучше вас, и сравнения никакого нет, и мизинчика вы его не стоите, а взглянуть, так куда же, просто как небо от земли...

— Небось он как небо? — спросил презрительно штатный смотритель.

— Уж не вы ли?

— И не он, будьте спокойны.

— Уж конечно, он скорей!

— Ну уж нет.

— Ну уж да.

— Ну уж нет.

— Я вам говорю да, да, да; а вы — больше ничего, как...

— Кто же?

— Так, ничего,— сказала Пелагея Власьевна, отвернувшись от своего собеседника.

— Нет-с этого нельзя, сударыня, начали, так извольте кончить!

— Не хочу кончать.

— Не хотите, так не прогневайтесь!

— Боюсь я ваших угроз!

— Увидим-с.

— И увидим, что не боюсь!

— Пусть только дядюшка ваш возвратится...

— Что же вы дядюшке скажете? вот дядюшка; ну, говорите, что вы скажете, а я так скажу! — И последние слова проговорила племянница с намерением так громко, что вошедший в сопровождении штаб-ротмистра и Андрея Андреевича городничий прямо подошел к ней и, посмотрев с недоумением сперва на племянницу, а потом на штатного смотрителя, спросил, о чем идет у них речь и что она скажет ему?

— Мы-с, Тихон Парфеньич, промеж собой так немножко спорили,— перебил Дмитрий Лукьянович.

— Нет, уж конечно, не немножко, дядюшка, и очень много,— сказала Пелагея Власьевна,— и Дмитрий Лукьянович назвал Петра Авдеича *фирсом*!

— Фирсом? — повторили в один голос и городничий, и Андрей Андреевич, и Петр Авдеевич, и даже Дарья Васильевна, вязавшая преусердно сетку и не обращавшая, как и дочери ее, на разговор племянницы с штатным смотрителем никакого внимания.

— Да что же значит фирс? — спросил штаб-ротмистр,— я век не слыхал!

— И я! — сказал городничий.

— Да помилуйте-с, да помилуйте-с! — завопил, заикаясь, штатный смотритель,— да что же может значить это слово?

— Однако ты сказал его; так, сударь, хочешь не хочешь, а объяснить должен, воля твоя! — заметил городничий.

— Вот извольте видеть, Тихон Парфеньич, Пелагея Власьевна изволили подшутить надо мною, а я над нею, вот я и скажи *фирс,*— лгать не стану.

— Полно, так ли?

— Ей-богу, так сказал!

— Что-то не ясно, ведь не ясно, Петр Авдеич?

— Да, не ясно, Тихон Парфеньич, и чудится мне, что фирс не то чтобы простое слово, а чуть ли не бранное

какое,— сказал штаб-ротмистр, хмурясь и подходя поближе к Дмитрию Лукьяновичу, который видимо менялся в лице.

— То ли еще говорил Дмитрий Лукьянович,— прибавила, внутренно торжествуя, Пелагея Власьевна,— он говорил, что, получи он только место станового, тотчас же приласкает!..

— Кого приласкает? — воскликнул гневно городничий, взявшись за бока.— Уж не тебя ли, Полинька?..

— О нет, дяденька, не меня!..

— А не тебя, так пусть его, нам дела нет.

— Как, дяденька, дела нет?..

— Неприлично и вмешиваться тебе, Поля, в такие дрязги; ласки в сторону, а фирса подавай сюда, уж я, сударь, не отстану.

— Да помилуйте, Тихон Парфеньич,— проговорил, вставая, штатный смотритель, которого слишком близкое соседство Петра Авдеевича начинало сильно беспокоить,— вот вам Христос, что и в помышлении не было ничего обидного, напротив того, слово фирс — прекрасное слово, как честный человек. Да что же такое фирс? да называй меня хоть в самом присутствии кто хочет этим словом, я то есть за особенное удовольствие почту, ей-богу-с!

— А коли так,— перебил, смеясь, городничий,— так давайте же, господа, называть его Фирсом Лукьянычем и посмотрим, будет ли имя это ему по нутру.

— И... извольте-с, извольте-с!

— Да нет, сударь, этого мало, и людям всем, и частному, и пожарной команде всей прикажу называть тебя так.

— Я с пожарною командою-с знакомства не вожу, Тихон Парфеньич,— заметил обиженный смотритель.

— Да ведь вы же говорите, что фирс так себе, ничего!

— Промеж собою, конечно, ничего, в благородном обществе, ну а пожарная команда,— вы меня извините.

— Эге, братец! вы, мне кажется, сбиваться изволите?..

— И мне кажется,— заметил штаб-ротмистр.

— Ничуть-с, ничуть-с,— подхватил Дмитрий Лукьянович,— и ежели вы, почтеннейший Тихон Парфеньич, непременно этого желаете...

— И желаю, сударь, не хочу скрывать, Фирс Лукьяныч.

Новый хохот раздался в столовой городничего; хохотал и сам Дмитрий Лукьянович, хохотали даже дочери Тихона

Парфеньевича; но смотритель смеялся желчно, а девицы — прикрыв лица платками.

За обедом все, исключая, однако же, Елизаветы Парфеньевны, которая не выходила из своей спальни по причине зубной боли, Пелагеи Власьевны, которая лукаво и молча поглядывала на смотрителя, Дарьи Васильевны и двух дочерей ее, относясь беспрерывно к Дмитрию Лукьяновичу, честили его Фирсом, и даже Дениска, из послушания к барскому приказу, подражал господам, но в этих случаях закрывал он себе рот прегрязным обшлагом.

Едва кончился обед, как штатный смотритель, проклиная внутренно и хозяина, и гостей его, взялся за желтый картуз свой и бежал, не оглядываясь, из дому. Отойдя шагов двадцать, он остановился, оглянулся назад и, увидев в окне головку Пелагеи Власьевны, приподнял было голову, может быть, с намерением не совершенно для нее благим, но в то же время и в том же окне показался длинный ус штаб-ротмистра; рассмотрев этот ус, голова Дмитрия Лукьяновича мигом отвернулась назад, а сам он прибавил шагу и скоро скрылся за аптекою, стоявшею на углу переулка, ведшего в ров.

В тот же вечер часу в седьмом под крыльцом городнического дома стояла уже тележка штаб-ротмистра, запряженная, но не парочкою знакомых нам кляч, а лихою тройкою, из которых коренная была тот самый буланый рысак, которым в это же утро так любовался Петр Авдеевич.

Общество городничего, преувеличенное присутствием Елизаветы Парфеньевны (отчего в комнате запахло камфорою), собралось в гостиной и на всех лицах изображалось то чувство, которое нераздельно бывает с лицами, провожающими в путь близкого человека. Вдова покойного Власа Кузьмича, поблагодарив в одиннадцатый раз штаб-ротмистра за спасение ее и дочери от неминуемого увечья, приглашала его к себе в деревню, уверяла, что посещение Петра Авдеевича будет для них истинным праздником, что знакомство его, начатое таким чудом, верно, есть предназначение и что Полинька согрешит пред богом, ежели наяву или во сне хотя на один миг позабудет своего избавителя; на что Петр Авдеевич нагородил кучу всяких непонятных вещей, наплел целый короб допотопных комплиментов и, поцеловав все женские руки, принялся обнимать городни-

чего. Когда же штаб-ротмистр сбежал с крыльца и молодецки вскочил в тележку, Тихон Парфеньевич еще раз крепко пожал ему руку и воскликнул с чувством: «Эх, брат, Петр Авдеевич, сказал бы я тебе сокровеннейшую из моих мыслей, пламеннейшее из желаний, да нет, не скажу, поезжай с богом!» И, махнув рукою, он вошел обратно на крыльцо, а Тимошка снял шапку, поклонился сидевшим у окон господам, потом надел ее себе набекрень, подобрал вожжи и свистнул так, что даже Варваре Тихоновне было слышно, потом помчал Петра Авдеевича во всю конскую прыть.

— Тише, бешеный,— крикнул ему вслед городничий; но голос его не долетел уже до Тимошки, и все затихло, как на площади, так и в самом доме Тихона Парфеньевича.

Долго и в грустном молчании просидела у окна Пелагея Власьевна, вперив взор свой по направлению заставы, в которую давно уже выехал милый сердцу ее; и сколько дум, одна другой неопределеннее, одна другой замысловатее, теснилось в воображении девушки, пока Елизавета Парфеньевна не напомнила ей, что сидеть нечего и давно пора снять вердепешевое платье.

Вечер в доме городничего прошел без игр, без фантов, без смеха и радостей, и все они заменены были разнообразными гаданиями в карты и бесконечными гранпасьянсами. В гаданиях Пелагеи Власьевны играли главную роль трефовый король и червонная дама. Если ложились они рядом, восторг девушки не имел границ; она краснела, целовала Вариньку и мешала карты, когда Андрей Андреевич или городничий спрашивали о причине восторга. Зато замешайся в гадании дама треф или бубен и ляг она между первыми, гадавшая сдвигала брови, ротик ее кривился и гневно швыряла она посторонних дам под стол, называя их мерзкими и прочими именами, крайне обидными для прекрасного пола.

Жребий, казалось, был брошен, и в сердцах наших героев с минуты первой встречи затеплилось то чувство, которое на всех наречиях мира имеет по крайней мере сотню подразделений; и как искусно чувство это люди умеют приноровить к обстоятельствам; например, если западет оно в сердца молодых людей различного пола, но равных по состоянию и положению в свете, никто не помешает им увенчать его узами брака, и люди во всеуслышание называют его любовью. Если это же самое чувство мужчина будет

питать к девушке, низшей по положению своему в свете, то оно называется капризом, к замужней женщине — преступною страстью; в тех же случаях, где супружеские обязанности делают полное сознание невозможным, супруг или супруга облекают чувства свои к посторонним лицам невинным названием симпатии, дружбы бескорыстной, душевной наклонности, доступной всем возрастам даже одинакового пола.

Пелагея Власьевна не трудилась над изысканием приличного названия своему чувству к Петру Авдеевичу, а гадала просто: выйдет ли она за него замуж, и скоро ли брак их совершится, и не помешает ли соединению их злая женщина, вдова, то есть пиковая дама, и не предстоит ли трефовому королю какой дороги или интересу? и получит ли червонная дама исполнение своих желаний, и исполнение это будет ли полное, или помешает ему быть полным восьмерка пик. Но восьмерка пик хотя и ложилась у ног червонной дамы, но разделяла ее от дамы девятка бубен и десятка червей, что значило большой интерес для дамы; но в чем именно состоит этот интерес, то могла определить только супруга Петра Елисеевича, но она находилась в отсутствии и гостила в имении богатой графини Белорецкой у управляющего, верстах в тридцати от города

Три раза сряду ложилась восьмерка пик к ногам червонной дамы, и столько же раз то девятка бубен, то десятка червей мешала ей делаться горючими слезами. Заинтересованная до крайности обстоятельством этим, Пелагея Власьевна, которая, разумеется, не могла же приписать его случайности, напрасно обращалась то к Екатерине, то к Варваре Тихоновнам; получая далеко не удовлетворительные объяснения, она решилась наконец тихонько подозвать к себе Андрея Андреевича и шепотом спросить у него: что бы это значило?

— Позвольте,— отвечал протяжно и призадумавшись Андрей Андреевич,— точно так, припоминаю, это было до французов, покойница моя загадала однажды, о чем бишь? да! проболела она тогда месяцев с четырнадцать странною болезнию, толстела как-то, и так толстела, что лекаря и теща покойница говаривали, бывало, каждый раз, как приедут: послать бы за бабкою, скоро, должно быть... какое же скоро, посудите сами, четырнадцать месяцев; впрочем, Пелагея Власьевна,— прибавил, подумав хорошенько, Андрей

Андреевич,— не могу вам утвердительно сказать, точно ли под ногами у жены моей была восьмерка пик, ведь сколько времени прошло с тех пор! — И, глубоко вздохнув, Андрей Андреевич возвратился к своему месту, а Пелагея Власьевна начинала новое гаданье, кладя ребром попеременно то трефого короля, то червонную даму.

Выскакав вихрем на столбовую дорогу, миновав мост и поднявшись на знакомую нам крутую гору, Тимошка осадил лошадей, соскочил на землю и, погладив коренную, поправил на ней хомут, подтянул шлеи и, налюбовавшись досыта новыми бегунами своими, обратился к барину с вопросом, сколько взял с него за тройку городничий.

— А тебе на что знать? — не совсем ласково отвечал штаб-ротмистр.

— Я так спросил.

— Твое дело смотреть за лошадьми да не напиваться, как стелька, в чужом доме.

— Выпил с ушиба, беда невелика,— проворчал сквозь зубы Тимошка, подкидывая под себя верхний армяк свой,— и теперь еще руки порядком поднять не могу.

— Не разговаривать у меня! — воскликнул полугневно штаб-ротмистр.

— Чего мне разговаривать?

— Ну!

— С ушибу всякий выпьет.

— Пошел! — крикнул Петр Авдеевич, и тройка снова помчалась по столбовой дороге, обсаженной с обеих сторон ветвистыми березами.

В глазах Петра Авдеевича мелькнул сначала первый верстовой столб, потом немного погодя мелькнул второй, за ним показался вдали знакомый мостик; смотря на него, штаб-ротмистр вспомнил о померанцевой коляске, о вчерашнем дне и кое о чем другом; ему чудны́м казалось странное сцепление всего, случившегося с ним в такое короткое время, и не постигал Петр Авдеевич, отчего ему стало как-то неловко; печали не было никакой, на небе туч густых не собиралось, жар не палил, не теснил груди; напротив, веяло в затишье перелеска прохладою, пахло березкою, и лист не колыхался на деревьях; все было тихо, и на каждом шагу в соседних кустах то свистал соловей, то кричал коростель, и вся природа как будто смеялась.

Всего этого и не заметил штаб-ротмистр, не заметил он и того, что пристяжные его вытягивались и едва не касались брюхом земли, а коренная бежала рысью и не сбивалась; о чем же думал костюковский помещик, о чем мечтал отставной и беспечный до того штаб-ротмистр?

По приезде в Костюково, Петр Авдеевич приказал было позвать Прокофьича; но потом, раздумав, отменил приказание и, не дождавшись ночи, разделся и лег в постель; в постели вместо одной трубки выкурил он три и заснул часами двумя позже обыкновенного; мысли его, волнуясь, так перемешались, что если бы вдруг кто спросил у него: «О чем вы думаете в эту минуту, Петр Авдеевич?» — он бы отвечал: «Ей-богу, и сам не знаю; чушь какая-то; то мне чудится городничий, то Пелагея Власьевна, то фанты, то Петр Елисеич и гнилозубая вдова судьи, даже дочки городничего,— что бы, кажется, мне думать об них? нет, и те лезут в голову с своими рожами, и голова моя болит; заснул бы, кажется; нет, закроешь глаза, опять чушь, выпил бы водки, боюсь, приключится болезнь, горячка какая-нибудь». Вот что отвечал бы штаб-ротмистр, пока глаза его не закрылись, чубук не выскользнул из рук и ровные вздохи не заменились продолжительными, равномерными же звуками, напоминавшими кузнечный мех или медленные повороты немазаного колеса нагруженной телеги.

Тут освобожденное от городничего, сестры и дочерей его воображение штаб-ротмистра деятельно принялось за обрисовку главного предмета, и предмет этот в канзу и верде-пешевом платье ясно выступал вперед со всеми прелестями зрелого возраста, со всеми пышными формами молодости и свежести.

Дивная, чудная вещь — сон! но зачем же человек лишен способности сохранить во время сна разумную волю свою? При виде несметных сокровищ, брошенных сном во власть бедняка, почему не предоставлено ему право расточить их и выкупить роскошью сна свою всегдашнюю нищету? тогда и Петр Авдеевич, пользуясь внезапным появлением канзу и вердепешевого платья Пелагеи Власьевны, конечно, не ограничился бы немым созерцанием ее прелестей, а подобно восьмерке пик бросился бы к ногам ее и отстранил бы все препятствия, разделявшие его с нею, хотя бы препятствия эти состояли из девятки бубен и десятки червей.

Но неизменны законы природы,— и в семь часов следую-

щего утра Ульян приходом своим пробудил штаб-ротмистра, поднес ему раскуренную трубку, а на пододвинутый к кровати стул поставил зеленоватого стекла стакан с коричневым чаем; а вследствие той же неизменности законов природы и штаб-ротмистр протер глаза и, приняв из рук Ульяна трубку, затянулся раза три и стал прихлебывать чай.

Три дня провел Петр Авдеевич довольно скучно; он мало ходил, ел и спал меньше обыкновенного, на четвертый...

Но мы увлеклись подробностями, касающимися одного только лица рассказа нашего, в то время как другое, по совести, заслуживает гораздо большего участия. Новое чувство, пробужденное в груди Пелагеи Власьевны, изменило не только некоторые привычки, но все существо ее; возвратясь из города обратно в Сорочки́ (так называлось село Елизаветы Парфеньевны), на другой день по выезде Петра Авдеевича, Пелагея Власьевна вбежала в свою комнату, бросилась на постель и зарыдала горько; она сделала бы это прежде, но мешали ей Екатерина и Варвара Тихоновны. Любовь к Петру Авдеевичу возгорелась в сердце двадцатитрехлетней и полненькой Пелагеи Власьевны точно так, как возгорается в жаркий день соломенная деревенская крыша. Сердечного пожара девушки не пытался затушить никто, а собственных средств недоставало у Пелагеи Власьевны, вскормленной сливками в недрах простого и полудикого семейства, в глуши лесов, далеко от просвещенного мира, где к постепенному развитию женского сердца не прививается холодный расчет, правильная оценка всего на свете и та способность управлять собою, которая называется тактом или esprit de conduit. Пелагея Власьевна не знала, что существует для светских девушек нечто выше счастливой любви, что даже замужество с дряхлым стариком предпочитается всякому другому, если этим замужеством девушка приобретает une position brillante[1].

Ни о чем подобном не намекала ей никогда Елизавета Парфеньевна; напротив, мать твердила дочери, что очень кобениться нечего и выбирать женихов не из кого, а за Дмитрием Лукьяновичем жить можно припеваючи, что, покуда девица бела да румяна, надо спешить, а покажутся

[1] блестящее положение *(франц.)*.

складки на висках да, упаси господи, полезут волосы, тогда и рада бы выйти, да никто и посмотреть не захочет.

В таких рассуждениях проходили длинные вечера в селе Сорочка́х; к ним и привыкла Пелагея Власьевна, а все-таки за Дмитрия Лукьяновича выйти не решалась, потому что Дмитрий Лукьянович был ей решительно противен.

Когда же останавливался в уездном городе полк, то в благородном собрании встречались Пелагее Власьевне офицеры; были между ними и молодые, были и хорошенькие, даже один майор прогостил у них в деревне целое лето и делал часто разные намеки; но, объяснившись раз с Елизаветою Парфеньевною, приказал заложить лошадей и уехал очень сердитый. Пелагея Власьевна не любила майора, а потому и долгое пребывание его в деревне не оставило в ней никакого воспоминания; встреча же с Петром Авдеевичем была дело совсем другое: во-первых, отважный поступок его; во-вторых, скромность, с которою отстранял он всякую благодарность; в-третьих, явное внимание к ней одной во время игр, взгляды штаб-ротмистра и мужественный вид его, глаза, усы,— да все, да просто все!

К вечернему чаю явилась Пелагея Власьевна с красными и опухшими глазами.

— Ты плакала, матушка? — спросила мать,— вижу, что плакала.

— Это так, маменька, ничего,— отвечала Пелагея Власьевна, утираясь платком.

— Так ничего, что и нос распух; взгляни-ка в зеркало,— страшно, сударыня.

— Право, ничего, маменька.

— Ты, пожалуй, выйдешь так при гостях, чего доброго? разодолжишь просто!

— Это пройдет.

— Пройдет, пройдет, а слезы-то так и текут. По каким причинам, сударыня? скажите, пожалуйста, уж не влюбились ли?

— Ах, маменька! — проговорила Пелагея Власьевна, напрасно стараясь удержать новый слезный поток, который, струясь вдоль носа, распространялся по всей нижней части лица.— Ах, маменька, зачем вы это говорите?

— Затем, моя милая, чтобы ты не наделала глупостей; а влюбилась, плакать нечего и выделывать из лица своего

бог знает что не нужно; старайся понравиться, будь весела, любезна; во время прогулок не молчи, как давича, не отнекивайся, а разговаривай, шути; быть судьбе и будет; девка ты в поре, засиживаться нечего; захочешь — понравишься.

— Да захочет ли он, маменька?

— Несомненно; мужчина всегда хочет, милая, а ты недурна, сама знаешь,— прибавила ласково Елизавета Парфеньевна.— Вот как приедет, верно, приедет, принарядись хорошенько, вели Анютке приготовить голубенькое; оно тебе к лицу, да не завертывайся в платок, а просто на плечи накинь что-нибудь легонькое; теперь погода теплая, можешь пригласить гостя в рощу, никто не мешает, будто грибов ищешь, да и тарара, тарара!

— Не знаю, сумею ли,— заметила со вздохом Пелагея Власьевна.

— Сумеешь, матушка, не география какая, ломать голову не нужно, и я была молода, да как затеяла замуж, покойник-то отец твой, не тем будь помянут, не чета был Петру Авдеевичу, и годами не ровен, и складом так себе! а захотелось, говорю, понравиться; месяца не прошло, свах заслал к нам в дом.

— Неужели, маменька, и со мною то же может случиться? — спросила, улыбаясь, Пелагея Власьевна.

— И так-таки может случиться, как нельзя лучше,— отвечала мать,— выждем денька четыре; не приедет, напишу брату, чтобы он к нему съездил да привез. Впрочем,— прибавила, подумав, Елизавета Парфеньевна,— быть не может, чтобы не приехал сам; я звала его, и, помнится, он сказал: «С удовольствием», стало, приедет.

Последние слова матери несколько успокоили тревожное волнение Пелагеи Власьевны, и она с нежностию поцеловала материнскую руку и в угождение ей выпила нехотя две чашки чаю и скушала половинку домашнего кренделя, потом прошлась по саду, сорвала нарцисс, приколола себе к лифу, сорвала другой беленький цветок, на котором погадала о Петре Авдеевиче, и, поцеловав цветок, прошла в рощу, окружавшую со всех сторон усадьбу вдовы покойного Власа Кузьмича. И вторую ночь, подобно первой, промечтала и проплакала Пелагея Власьевна, а наутро не могла отделить от подушки головы своей: так тяжела она была и так страшно болела.

Но всем человеческим страданиям есть предел. На четвертые сутки по приезде своем в Костюково Петр Авдеевич приказал Ульяну уложить в чемодан чистое белье, головную и зубную щетки, кусок мыла, пару сапог, халат, полфунта табаку, бритвенный прибор, состоявший из двух бритв и кисточки, и приказал Тимошке запрягать лошадей.

Пообедав наскоро, штаб-ротмистр закурил свою коротенькую трубочку, подвязал алый сафьянный кисет к верхней пуговице сюртука и, вскочив в телегу, велел везти себя по городской дороге; доехав до мостика, соединяющего костюковский проселок с большою дорогою, Петр Авдеевич спросил у Тимошки, куда ведет противоположная дорожка, с которой, ежели помнит читатель, выехала в одно время с штаб-ротмистром померанцевая коляска.

— Да мало ли куда она ведет,— грубо отвечал Тимошка.

— Однако же.

— Да как тут сказать? по ней и в Киев доедешь.

— Я у тебя спрашиваю не про Киев, а про соседей, дубина!

— Соседей? мало ли соседей; тут вот в верстах в двух живет купец Сыромятников,— заметил лукавый Тимошка, который очень хорошо знал, о каких соседях спрашивал барин; да досадно было Тимошке, что барин-то его что-то не ласков стал с ним.

— А дальше кто живет?

— Дальше живет Чинкина барыня, старуха с сыном, что в приказе секлетарем, что ли, служит.

— Не одни же они,— перебил штаб-ротмистр с нетерпением.

— Кто говорит, что одни,— продолжал Тимошка,— и за Чинкиной живет народ, вот верст с десять отъехать, будут Выселки.

— Чье это?

— Однодворческое, сударь, а за Выселками с версту конец до Пригоре́ц, с Пригорцов переедешь Коморе́ц; еще верст с пяток до Графского, барское село, важное, можно сказать...

— А принадлежит оно?

— Принадлежит оно графине Белорецкой; барыня та сама не живет, а управляет приказчик.

— Неужто же до Графского и нет больше никаких

усадеб? — спросил с возрастающим нетерпением штаб-ротмистр.

— Да кого же вам это нужно?

— Ну, Кочкиных знаешь?

— Кочкиных? — повторил Тимошка,— давно бы изволили сказать, что Кочкиных; Кочкины точно живут в этой стороне; так к ним прикажете, что ли?

— Стало, ты знаешь?

— Как не знать, что вы, барин, не знал бы я Кочкиных; Кочкины господа ближние; сколько раз возил я туда покойника, и барышня кочкинская такая прекрасная и добрая, а намеднись из своих ручек изволила пожаловать мне целковый.

— А ты небось обрадовался, подлец,— сказал, смягчив голос, Петр Авдеевич.

— Ведь не деньги дороги, барин,— отвечал Тимошка,— а дорога нашему брату честь, вот что-с!

— Пошел же поскорее!

— Поеду, барин, честь-то дороже всего,— продолжал кучер, пользуясь благоприятною переменою к нему штаб-ротмистра,— деньгу украдет другой, а чести, барин, никто не украдет.

— И горелки не купишь небось?

— Что горелка, не видали мы разве горелки; не будь она, проклятая, хмельна, и в рот бы не взял... Ну уж барышня хорошая кочкинская; вот бы вам, барин, подъехать к ней...

— Что ты там врешь?

— Чего врешь; я не вру, я докладываю, то есть резонт; ей-богу, Петр Авдеевич, коли барышня понравится, женитесь; у старухи бумажек сам черт не вытащит, да все вам же достанется.

— А богата старуха?

— Что и говорить, барин, спросите у всего околотка, всяк знает, как покойник жил и много ли клал в сундук; да, бывало, в городе справлял судейскую должность, на двор так и везут, чего не везут? и провьянтом брал, и холстами брал... а куда тратил? никуда; помер, и осталось все у старухи.

Слушая Тимошку и сравнивая слова его с рассказами Тихона Парфеньевича об уездном судье, Петр Авдеевич задумался не на шутку. Ну, а как впрямь Пелагея Власьев-

на невеста с приданым? уж не последовать ли благому совету Тимошки? говорил сам себе штаб-ротмистр, да не завязать ли дело серьезное? и откажут — беда небольшая, а как не откажут? Сверх же того, Пелагея Власьевна такая пригожая, что, не будь у Петра Авдеевича казенного долга, да костюковских недоимок, да наклонности жить не скряжнически, он и не подумал бы о приданом.

Странное, диковинное дело, а нельзя не убедиться в той неоспоримой истине, что алчность и жажда к приобретению, эти два унизительные и порочные свойства человека, развиты преимущественно в богатых людях, а не в бедных; к каким средствам не прибегает большая часть первых, чтобы увеличить цифру собственности, и каким лишениям не подвергают они сами себя и свои семейства? Примером может служить один богач, употреблявший постоянно для собственного своего стола только то масло, которое по горечи своей оказывалось совершенно негодным в продажу...

— Однако, брат Тимошка, Кочкины-то, видно, живут не то чтобы очень близко? — спросил наконец у кучера штаб-ротмистр, когда и дом купца Сыромятникова, и Выселки, и Пригорец остались позади их.

— Не близко, барин,— отвечал Тимошка,— верст с двадцать с лишком считаем от Костюкова, а может, и будет больше; вот зимником лощиной пойдет дорога, так верст пяток выбросим вон, летом же болото топкое, не проберешься и верхом. Вот, батюшка Петр Авдеевич, дождемся снежку да доживем, бог даст до святок; на евтих-то местах зверья бывает такое множество, что отбоя нет суседним деревням; коли милости вашей да захочется поохотиться, уж я вам доложу, барин, охота будет отменная.

— Небось с поросенком?

— Вестимо, с поросенком, Петр Авдеевич, а без поросенка какая же охота; у Матрены-скотницы свинья поросная, как раз поспеет; приказать бы только парочку приберечь да подкормить.

— А ты разве стреляешь? — спросил штаб-ротмистр.

— Я, барин?

— Да.

— По волкам, что ли?

— Ну да, по волкам или по другому чему.

— По волкам как не стрелять, барин! он же, бестия, лезет на кулек, так его хоть руками бери, ведь близехонько;

в запрошлую зиму мы с кузнецом Федором поехали вот в евто самое место, и ружьишки были у нас, вам самим известно какие, только обогнули залесье и стали спускаться в овраг, я и говорю ему: потисни-ка маленько поросенка-то, он и тись! матушки мои, как посыпали, откелева что бралось и справа, и слева...

— Постой-ка, братец,— перебил Петр Авдеевич,— уж не это ли усадьба Кочкиных?

— Евта самая, барин.

— Вот этот домишко старенький в березовой роще?

— Самый евтот,— отвечал Тимошка,— объехать только вот тот конец, что за кустом, и поворотка.

— Постой же, я слезу да поправлюсь,— сказал Петр Авдеевич, и кучер остановил лошадей.

Штаб-ротмистр соскочил с телеги, стряхнул с шинели и фуражки пыль, поправил галстух, вытер платком лицо, смочил слюною усы свои и потянул их вниз, рукою почистил рейтузы и, застегнув сюртук на две нижние пуговицы, расправил лацканы так, чтобы белая подкладка была видна, потом, осмотревшись хорошенько, снова прыгнул в телегу и снова закричал кучеру: «Пошел да подбери пристяжных!»

Тройка свернула с торной дороги на полузаросшую травою тропинку, пролегавшую между зеленых полей, и, быстро помчавшись мимо ветхой кузницы, березовой рощи, гумна, амбара и какой-то клети, подскакала к крылечку маленького домика или, лучше сказать, нескольких изб, соединенных в кучку и покрытых почерневшим тесом; штаб-ротмистр, сбросив шинель свою в телеге, ловко сошел наземь, перешагнул одним махом все ступеньки крыльца и, войдя в сени, стал осматриваться; пред ним было двое дверей, но правая показалась Петру Авдеевичу чище левой и, приняв ее за вход в чистую половину, он отворил ее и вошел.

В передней ни души; гость положил кисет свой на ларь и продолжал идти далее. Второй покой, довольно темный, был вроде его костюковской залы — и в нем ни души; в третьей комнате, напоминавшей гостиную, на овальном столе, сделанном из волнистой березы, нашел штаб-ротмистр толстый недовязанный чулок и очень грязные карты, симметрически разложенные; самую средину занимал трефовый король. За столом у стены находился березовый диван, на нем две шитые гарусом подушки, из которых одна

изображала пуделя, а другая турка с четыреугольными глазами; турок скакал на коричневой лошади с бисерным золотым мундштуком во рту; над самым же диваном висели три портрета: первый изображал, вероятно, покойного Власа Кузьмича в мундире судьи с медалью на широкой ленте и с часами в руках; второй представлял супругу его в розовом платье с талиею у самого подбородка; голова Елизаветы Парфеньевны была похожа на самый замысловатый кулич; третий портрет завитой девочки, сидящей на подушке, должен был, по всем соображениям Петра Авдеевича, принадлежать Пелагее Власьевне, когда еще Пелагея Власьевна была ребенком; на коленях она держала пребезобразную белую собаку.

Гость не удовольствовался наружным убранством гостиной и, пользуясь продолжительным одиночеством своим, выдвинул ящик овального стола и заглянул в него. В ящике нашел он закрасневшийся от времени огрызок яблока, клубочек бели, неопределенного цвета восчечек и тщательно завернутый в маслянистую бумажку гумозный пластырь; рядом с ним лежали женские ножницы с отломленным концом и сахарная арфа, попорченная временем.

И все эти вещи успел внимательно пересмотреть Петр Авдеевич, пока наконец в соседней комнате со стороны, противоположной зале, послышались женские шаги и в дверь вошла Елизавета Парфеньевна.

— Ах, батюшки мои, как же я виновата перед вами, Петр Авдеич! — воскликнула хозяйка,— захлопоталась и не знала совсем, что пожаловал к нам такой дорогой гость, и люди скверные,— чай, никого не нашли в передней?..

— Мы люди военные-с, без церемонии, Елизавета Парфеновна,— отвечал штаб-ротмистр, подходя к руке хозяйки,— не извольте беспокоиться.

— Как же мы рады видеть вас, Петр Авдеич, и Полинька спрашивала все: что это Петр Авдеич, верно, позабыл нас, что не хочет и взглянуть; он, благодетель наш, он...

— Вы, воля ваша, обижаете меня, Елизавета Парфеновна!

— Как обижаю, чем это? упаси господи.

— Да так, что обижаете, ей-богу.

— Скажите, пожалуйста, чем же это? да я умру с горя.

— Да тем, что называете благодетелем, Елизавета Пар-

феновна,— продолжал штаб-ротмистр,— ведь благодетели бывают обыкновенно люди старые, а я еще не старик.

— Так вот что, почтеннейший наш, вот чем обидела, ну не буду впредь,— отвечала Елизавета Парфеньевна, смеясь и усаживаясь на диван,— а ведь я перепугалась серьезно: думала себе, чем же это могла обидеть человека, которого полюбила, как близкого сердцу родного; уж что я, старуха, а то и Полинька.

— Может ли быть?

— Ей-ей! а вы не верите небось?

— Клянусь честью моею, Елизавета Парфеновна, не смею то есть верить!..

— Полноте, полноте, Петр Авдеич,— заметила лукаво вдова,— это просто скромность, больше ничего, а вы очень хорошо замечаете; да может ли и быть иначе после той услуги, которую вы нам оказали?

— Опять-с!..

— Ну, ну, не буду, дорогой наш, не буду никогда.— И, говоря это, Елизавета Парфеньевна поднесла руку свою гостю, которую тот снова поцеловал.— У нас же такая идет суета, почтеннейший Петр Авдеич,— продолжала вдова,— все строения начинаю перестраивать вновь; посудите, каково-то мне на старости заниматься всем этим, и женское ли это дело? а к кому прибегнуть, кем заменить себя? муж умер, сын мой также скончался, остались мы вдвоем с Полинькою. Грешить не хочу: награди бог всякую мать такою дочерью, как моя, да что же толку-то в этом? не послать же мне ее на мужскую работу, когда вам самим известно, Петр Авдеич, каковы у нас крестьяне-то,— ведь просто необразованные, без всякого обращения; иной, прости господи, и не посмотрит, что барышня тут; прилично ли же?

— Подлинно, Елизавета Парфеновна, отвечать за них нельзя; вот-с у меня дело совсем другое; живу-с я один совершенно, и не слаб, могу сказать, а сколько раз строго приказывал и грозил; нет, никаким способом не устережешь. Добро бы-с работа, ну, лень крестьянину идти далеко, а то ведь-с сад и огорожен кольями, чтобы, кажется, повынуть-с и того-с,— непросвещение!

— Ах, не говорите, Петр Авдеич,— продолжала старуха, вздыхая,— и мысли не приложу, к каким мерам обратиться; пуще всего дворовые — пагуба! вот пример, так избало-

ваны, так избалованы!.. У вас же, Петр Авдеич, я слышала, мужички в хорошем положении?

— Как вам то есть доложить-с? — живут, благодаря бога.

— И богаты?

— Богаты? нет-с, а есть достаточные.

— А много их у вас?

— Сотни-с полторы.

— Что же, недурно,— заметила вдова.

— Недурно-с, недурно-с, точно; но земля-с не очень, чтобы того...

— Как, не хороша разве?

— Не то чтобы не хороша, а запущенна: мало кладут удобрения.

— Вот уж этого допускать не должно, Петр Авдеич: это большое зло в хозяйстве.

— Как не зло-с?.. я сам знаю, что зло большое, но должен доложить вам, что в последнее время батюшка вовсе не занимался хозяйством и распоряжался в имении дворовый человек.

— Теперь же, по крайней мере, почтеннейший, вы сами займетесь?

— Надеюсь, Елизавета Парфеновна, по этому поводу-с и оставил службу.

— И прекрасно!

— Все усилия употребим, лишь бы благословил то есть бог.

— Молитесь ему почаще, Петр Авдеич; он и подругу пошлет вам добрую.

— Я не прочь.

— И хорошенькую,— прибавила вдова.

— И от этого не прочь.

— И разумную.

— А без разума на что же она? помилуйте-с.

— То-то я и говорю, что пошлет и разумную; разумеется, очень богатых невест у нас в околотке не отыщется, разве соседка моя,— прибавила с ироническою улыбкою Елизавета Парфеньевна.

— Соседка, какая соседка? не слыхал.

— Я говорю,— продолжала вдова тем же насмешливым тоном,— про графиню Наталью Александровну Белорецкую.

— Девица разве?

— Нет, не девица, а вдова, впрочем, не старая, лет ей двадцать четыре, и красавица, говорят... была выдана за старого знатного человека; он умер месяца три назад в Петербурге, а жене оставил тысяч десять душ да домов несколько. Так вот, Петр Авдеич, подцепить бы вам такую невесту недурно.

— Вы смеяться изволите, Елизавета Парфеновна?

— Почему же?

— Не нашего поля ягода, не по нас зверек; отыщутся и кроме нас на него охотники; а уж мы похлопочем около себя, вернее будет-с, Елизавета Парфеновна; и за приданым большим не погонимся, была бы только, как вы изволили сказать, хорошенькая, добрая-с да умная, а главное притом не хворая.

— Согласна, совершенно согласна с вами, дорогой мой. Эта статья чуть ли не самая важная,— перебила с жаром вдова,— в хворой жене счастья не ищите, и сама измучится, и мужа истиранит. А правду, надобно сказать, Петр Авдеич, много ли то у нас по всей губернии найдется здоровых девиц,— с фонарем поискать, не сыщешь; а всему причиною воспитание, присмотр гувернантки, которой взять бы деньги, а там и провались сквозь землю. Много ли то матерей, пекущихся о дочках, да так, чтобы дочка не легла без материнского присмотра в постель, да не напилась в жар. Много ли, спрашиваю? оттого-то девицы у нас не на что взглянуть, с лица желты, а фигура-то, Петр Авдеич, только и есть, что наватят все под горло; а выйдет замуж, глядь, ничего и нет.

— Справедливо, Елизавета Парфеньевна-с.

— Как, батюшка, не справедливо, мне ли не знать? ведь мать сама, сама вскормила дочь, слава богу, не другим прочим чета. Нет, Петр Авдеич, в чем другом, а в этом пред богом отвечать не буду, пусть и люди судят... до пятнадцатого года, могу сказать, с глаз моих не спускала; пойдет ли гулять, бывало, воротится домой: «Покажи-ка ножки»,— говорю. «Да нет, маменька».— «Не нет, сударыня, покажи», и, усадивши на стул, сама разую; мокры ножки — натру вином, согрею да надену шерстяные карпеточки, и здоровехонька... Вот что называется ухаживать за девицами, а не то чтобы мамзель какая — *парле франсе* да *бонжур,* и больше ничего.

— Справедливо рассуждать изволите, Елизавета Пар-

феньевна,— повторил штаб-ротмистр,— сущая и совершенная правда-с; пятнадцать лет — для девицы важная вещь-с.

— Как же не важная; да еще и какая важная, Петр Авдеич; а вот и Полинька,— воскликнула вдова, приподнимаясь с дивана. Улыбаясь и краснея, вошла в гостиную Пелагея Власьевна, улыбаясь и краснея, присела она Петру Авдеевичу и, жеманно подобрав голубенькое платье свое, поместилась рядом с матерью на березовом диване.

Гость, не нашедши, вероятно, в памяти ничего приличного к приветствию, ограничился ловким поклоном и, отодвинув кресло свое несколько далее от дам, уселся на него, не вымолвив ни одного слова.

Мать первая возобновила разговор; она обратилась к дочери.

— Видишь ли, Полинька, что Петр Авдеич не совершенно позабыл нас и приехал.

Пелагея Власьевна опустила глазки и кашлянула в платок вместо ответа.

— Я говорила тебе, что приедет.

— Да, маменька,— прошептала дочь.

— Вот видишь: мать никогда не обманет; в другой раз надобно верить, когда мать говорит.

— Я давно бы за счастие почел,— перебил, вставая с своего места, Петр Авдеевич,— но... полагал... обеспокою...

— Вы, вы, Петр Авдеич? — спросила мать.

— Право, в этом только и заключал сомнение, Елизавета Парфеньевна; думал также, что удержит вас Тихон Парфеньич, и все этакое думал.

— Знайте же, почтеннейший соседушка, что с сегодняшнего дня мы безвыездно будем дома и станем ожидать вас с утра до вечера,— прибавила, приветливо улыбаясь и вставая, Елизавета Парфеньевна,— а теперь не взыщите, Петр Авдеич, в деревне с короткими не церемонятся, а ведь вы короткий знакомый наш, не правда ли? и потому оставляю вас скучать с Полинькою, а сáма отправляюсь по хозяйству... Полинька, надеюсь, что ты, мой друг, сумеешь занять гостя, не то он, пожалуй, никогда больше не приедет к нам.— Выговорив последнюю фразу со всевозможными ужимками, вдова вышла вон, оставив Петра Авдеевича и Пелагею Власьевну в самом неловком положении. В продолжение нескольких минут оба они не знали, что им де-

лать друг с другом и с чего начать разговор, который поддерживала одна Елизавета Парфеньевна. Штаб-ротмистр, поглядывая на Пелагею Власьевну, переставлял ноги свои и тянул книзу ус; в свою же очередь Пелагея Власьевна, приподнимая глаза на Петра Авдеевича, тотчас же опускала их и кашляла для приличия... Но оба понимали очень хорошо, что подобное препровождение времени должно же было кончиться наконец чем-нибудь, и потому в одно и то же время оба заговорили.

— Вы не можете...— начала было Пелагея Власьевна, но, услышав голос Петра Авдеевича, замолчала, замолчал и тот; потом они взглянули с недоумением друг на друга, и уже Пелагея Власьевна решилась первая сделать вопрос.

— Вы, кажется, хотели сказать что-то, Петр Авдеич?

— И вы тоже, Пелагея Власьевна,— отвечал штаб-ротмистр.

— О нет, я уж не помню.

— Какая дурная память, Пелагея Власьевна.

— О нет,— повторила девушка,— но мне хотелось знать, что хотели вы сказать, Петр Авдеич.

— Я, Пелагея Власьевна?

— Вы, Петр Авдеич.

— Я хотел сказать, Пелагея Власьевна, что все эти дни мне было очень скучно.

— А мне? — проговорила, вздыхая, девушка.

— Как, и вам тоже?

— О да, Петр Авдеич!

— Почему, скажите, сделайте одолжение.

— Сама, право, не знаю, но очень скучно; уж маменька за это бранила меня.

— Маменька ваша очень добрая, кажется, Пелагея Власьевна.

— Как ангел добра.

— За что же она бранила?

— За то, что я ужасно скучала и даже плакала.

— Вот еще как,— заметил штаб-ротмистр.

— Это глупость, я и сама знаю, Петр Авдеич; но мне так показалась несносна деревня после города: в городе было так весело.

— Это справедливо, что деревня скучна после города.

— Не правда ли, Петр Авдеич?

— Совершенно, но плакать, кажется, я бы не стал.

— Вы дело другое, вы мужчина, вы счастливы, Петр Авдеич!

— Почему же вы это думаете?

— Потому что мужчины все обыкновенно бывают счастливы, их ничто не тревожит... они не способны так чувствовать, как девица.

— Вот уж это несправедливо замечать изволите, Пелагея Власьевна, мужчины так же чувствительны бывают.

— Не думаю, чтобы так...

— И сравнения нет, можно сказать больше, доказать могу.

— Я любопытна слышать.

— Да вот, например, у нас в бригаде один офицер влюбился в такую, что пляшет на канате с шестом, и поверите ли, чуть не посадил себе пулю в лоб; так вот как мужчины любят, Пелагея Власьевна...

— А вы, Петр Авдеич,— спросила Пелагея Власьевна, бросая на штаб-ротмистра томный взгляд,— могли бы испытать подобное чувство, как товарищ ваш?

— Как? к плясунье на канате?

— Не к плясунье, а все равно к другой?

— Не все равно, Пелагея Власьевна.

— Положим, если бы, например, вам встретилась девица дворянского сословия; хотя бы, например, такая, как...

— Как кто? — спросил штаб-ротмистр.

— Не знаю, с кем сравнить-с, право.

— Однако же-с?

— Право, не знаю, Петр Авдеич!

— Подумайте-с хорошенько.

— Ну, такая, как...

— Как? — повторил Петр Авдеевич.

— Как я...— едва внятно и краснея выговорила девушка.

— Как вы, Пелагея Власьевна, да встреться только такая и не совсем даже схожая-с, потому что где же-с такая может встретиться, я бы, кажется, доложу вам, просто... того...

— Вы насмешник, Петр Авдеич!

— Ей-богу, говорю от полноты то есть от сердечной или, лучше скажу, как солдат, без всяких этаких комплиментов, и где же мне-с, посудите сами, научиться всяким

этаким оборотам, которые приобретаются, собственно, в обширных столицах?

— Мужчины так фальшивы бывают, Петр Авдеич,— заметила Пелагея Власьевна, жеманясь.

— Мужчины, статься может, но я-с под присягу пойти готов-с.

— Ах, не клянитесь.

— Хоть сейчас, верьте, Пелагея Власьевна!

— Я верю вам, о я верю вам, Петр Авдеич, и ежели бы... но не жарко ли вам в комнатах? вечер такой прекрасный, в роще прохладно, хотите прогуляться, Петр Авдеич?

— Сделайте ваше одолжение, Пелагея Власьевна, я с моим удовольствием.

Штаб-ротмистр бросился за своею фуражкою в соседнюю комнату, а Пелагея Власьевна частенькими шагами побежала за шляпкою и зонтиком.

— Вы позволите-с мне взять трубку, Пелагея Власьевна? — закричал ей вслед Петр Авдеич.

— Ах, пожалуйста,— отвечала из третьей комнаты девушка, прыгая перед зеркалом и делая глазами и головою разные знаки стоявшей пред нею пожилой дворовой девке в затрапезном платье и с босыми ногами; девка отвечала на барышнины немые объяснения глупым полусмехом и, поправив ей некоторые части туалета, проводила барышню из дверей; сама же, приставя глаз к замочной щелке, принялась осматривать приезжего барина, о котором с самого приезда барынь из города уже поговаривала сорочковская дворня как о барышнином женихе.

Полтора часа спустя герои наши возвратились из рощи, по-видимому, очень довольные собою; Пелагея Власьевна, вертя в руках своих незабудку, смеялась, разговаривала и, даже отвечая на вопросы Петра Авдеевича, смотрела прямо ему в глаза.

Петр же Авдеевич, идучи рядом с Пелагеею Власьевною, пускал на воздух клубы табачного дыма.

Наблюдавшая за дочерью и гостем Елизавета Парфеньевна утверждалась в той мысли, что ежели женщина захочет понравиться, то уж конечно понравится, и сделай в этот вечер предложение штаб-ротмистр, на другой же день Пелагея Власьевна могла бы снова облечься в свое вердепешевое платье и кисейное канзу; и сколько завистниц возро-

дила бы в уезде весть о внезапной помолвке Пелагеи Власьевны!

Но штаб-ротмистр думал иначе. Опыт товарищей доказал ему, что хорошенькие девушки очень часто нравятся молодым людям, особенно военным, что девушки эти обыкновенно бывают до крайности любезны, пока замужество не увенчает этой любезности чепцом и титлом жены; тогда все-таки очень часто из любезных и хорошеньких девушек делаются фурии, и этих фурий бедные люди, превратившиеся в супругов, обязаны таскать за собою всю жизнь.

Вторая причина нерешительности Петра Авдеевича возникла от невольного недоверия к сладкозвучным словам Елизаветы Парфеньевны, так громко провозглашавшей нежность свою к единственной дочери, от которой, может быть, чувствительная мать желала только скорее отделаться; и подобные примеры видал в продолжение жизни своей штаб-ротмистр.

«Ну, а как, отдавая дочь свою за меня,— говорил сам себе Петр Авдеевич,— да наградит она нас благословением, и только, что же я буду делать тогда с Пелагеею Власьевною? амуриться долго — нельзя; на это полагаю я года четыре, что же потом? опять на службу, трудненько, и товарищи обгонят; жить на ста двадцати душах, заложенных и перезаложенных, еще труднее; понадобятся и чепцы, и башмаки, и платья; а я и себе-то партикулярного справить не в силах. А дети? не говоря уже про двойни; да куда же мне с ними? Нет, дудки; торопиться не для чего. Прежде чем Тихон Парфеньевич не объяснится сам лично, пожалуй, Елизавета Парфеньевна, то есть объяснится со мною как следует, ездить буду, пожалуй, и в рощу пойду, лясы всякие точить стану, а жениться... шалишь — не проведут».

С таким-то положительным и непоколебимым намерением сел за ужин рядом с Пелагеею Власьевною Петр Авдеевич, выпил большую рюмку настойки на центифолии, улегся, поужинав, на две перины, положенные, в свою очередь, на березовом диване гостиной, и пресладко и прекрепко проспал до утра.

С той минуты, как разум шепнул штаб-ротмистру, что от его единственного слова зависит участь Пелагеи Власьевны и достаточно воли его, чтобы из Пелагеи Власьевны Кочкиной сделать Пелагею Власьевну Мюнабы-Полевелову, штаб-ротмистр наш, как говорится, только что не перестал

и думать о ней. Благодаря польским местечкам, двадцативосьмилетний Петр Авдеевич давным-давно смотрел на хорошеньких женщин как на существа обыкновенные; голубые, черные, карие и миндальнообразные глазки находили его постоянно готовым принести им в жертву клятвы, уверения, часть наличных денег,— но вечную независимость? нет! за нее держался штаб-ротмистр обеими руками и не променял бы ее на глазки без удовлетворительного к ним *мазу,* как он выражался сам.

Трое суток прогостил Петр Авдеевич в Сорочка́х, гулял с барышнею по роще, собирал с нею грибы и отпускал всякие обиняки, и трое суток эти промчались для всех жителей Сорочко́в быстрее одного дня, а на четвертые та же лихая тройка отвезла штаб-ротмистра в Костюково, Колодезь тож, к великому огорчению Пелагеи Власьевны.

Оставшись глаз на глаз с матерью, она на вопросы последней отвечала с откровенностью, свойственной послушной дочери, впрочем, скрывать было нечего, ибо штаб-ротмистр, верный своей системе — быть осторожным и не спешить,— не позволил себе в обращении с девушкой ни малейшей вольности, он даже целовал руку ее только в присутствии Елизаветы Парфеньевны; до любви же своей касался косвенно. Из слов дочери мать заключила, что хотя Петр Авдеевич и влюблен по уши в Пелагею Власьевну, но врожденная застенчивость его, а может быть, и непривычка обращаться с женщинами делают из Петра Авдеевича любовника слишком скромного, робкого и нерешительного; к тому же излишняя поспешность могла быть перетолкована соседями и уездом не в пользу Полиньки, а следовательно, благодаря всевышнего, все шло к лучшему, и стоило только поддерживать пламя любви в сердце штаб-ротмистра, пламя это само по себе в самом непродолжительном времени превратит в пепел все препятствия, и любовники соединятся узами вечными. Тогда же какое счастье для Елизаветы Парфеньевны! Наградив дочь всяким тряпьем и бесчисленным множеством обещаний, которые так не дороги, не оставалась ли она, бедная вдова покойного судьи, полною обладательницею села Сорочки́, а главное — тех крох, про которые говорил Петру Авдеевичу и Тихон Парфеньевич, и кучер Тимошка. Из крох могла Елизавета Парфеньевна слепить себе домишко в пять окон и обратить окна эти на одну из улиц уездного города, по вечерам

играть в бостон с Андреем Андреевичем, носить сатинтюрковые капоты, вышитые бисером ридикюли, серебряную табакерку с вышитым на ней изображением монумента Петра Великого, и не полоскать для приличия рта своего камфарным спиртом, когда зубы не болят, а просто откушивать то тминной, то инбирной, то анисовой, по собственному уже усмотрению и во все часы дня и даже ночи.

В таких-то сладких мыслях пребывала Елизавета Парфеньевна от первого приезда штаб-ротмистра в село Сорочки́ вплоть до заморозков и даже до зимнего Николы. Не проходило недели, чтобы знакомая тройка Петра Авдеевича не сворачивала с проселка на полузаросшую тропинку, ведшую к дому Кочкиных, и полчаса спустя Елизавета Парфеньевна не оставляла дочери своей с ним глаз на глаз. В праздники навещал сестру свою городничий, или сестра в сопровождении дочери отправлялась в город к брату, и тогда, вместо Сорочков, посещал штаб-ротмистр уездный город, останавливался в доме Тихона Парфеньевича, прогуливался по площади рядом с Пелагеею Власьевною и внушал тем такую ревность Дмитрию Лукьяновичу, что Дмитрий Лукьянович снимал белый картуз свой и клялся собором отомстить Петру Авдеевичу, если только получит место станового.

Случалось ли украдкой Андрею Андреевичу спрашивать у Тихона Парфеньевича, скоро ли свадьба его племянницы, городничий отвечал: «Видишь сам, кажись, скоро; впрочем, да будет воля божья!» И удовлетворенный Андрей Андреевич разносил по городу достоверную весть о скорой помолвке Пелагеи Власьевны с Петром Авдеевичем. Пелагея же Власьевна до того привыкла к будущему жениху своему, что, не видав его самое короткое время, принималась за слезы, как за законную собственность, и, не скрывая их ни от кого, столь же открыто упрекала штаб-ротмистра в долгой отлучке, невнимании к ней и в непростительной холодности. Девушке, предоставленной собственному произволу, казалось нимало не предосудительным обращаться с посторонним ей человеком так же коротко, как с братом, потому что мать только что не требовала короткости этой к штаб-ротмистру, а дядя подражал матери, чего же более? Остается заглянуть во внутренность Петра Авдеевича; в ней жизненный процесс шел наиисправнейшим образом; намерение не торопиться укреплялось с

каждым днем более и более, а счастие полного обладания Пелагеею Власьевною заменялось покамест в штаб-ротмистре уверенностию не выпускать ее вперед из-под власти своей и вынудить упорным молчанием своим мать девушки на выгодное для него окончательное объяснение.

Вот в каких отношениях застал двадцатиградусный декабрьский мороз все действующие лица моего рассказа.

Часть вторая

В один из морозных вечеров декабря того же года прохаживался по зале костюковского дома своего Петр Авдеевич, не зная, за что приняться и чем рассеять тоску, которая преследовала его немилосердно каждый раз, когда Петр Авдеевич был один. Не привыкнув ни к каким умственным занятиям, штаб-ротмистр убивал дни свои, охотясь за зайцами, прогуливаясь пешком, верхом и в телеге; не говорю о времени, которое проводил он у будущей невесты; но вечера в Костюкове были для него истинным наказанием. И что делать ему? перечитывать отцовскую библиотеку, то есть: «Краткое изложение пяти частей света», «Путешествие капитана Кука», «Краткую историю древних народов» и проч.,— Петр Авдеевич решиться не мог; он находил, что учиться ему было поздно, и экзаменов, благодаря бога, не предстояло более; следовательно, книги в сторону; что же делать? толковать с Тимошкою? не о чем; с Кондратием Егоровым разве, подумал штаб-ротмистр и свистнул. «Позови, братец, мне приказчика»,— сказал Петр Авдеевич прибежавшему на свист растрепанному мальчишке в предлинном казакине из домашнего черного сукна.

Мальчишка вышел, и штаб-ротмистр прошелся еще раза два по зале, потом, сняв со свечи, взял ее и перенес в гостиную, в которой и расположился в ожидании приказчика. Минут с десять спустя вошел и Кондратий Егоров, тот самый, с которым я познакомил уже читателей моих в начале рассказа.

— Ну что скажешь, Егорыч? — спросил помещик, усаживаясь с ногами на диван,— морозит порядочно, и чуть ли не будет к утру метели.

— А уж время такое, батюшка Петр Авдеич,— отвечал приказчик,— минул Никола с гвоздем, быть морозу.

— Дорога установилась хорошая?

— Чего желать лучше? лучшей дороги не будет, Петр Авдеич.

— У мужиков же все исправно?

— Все исправно, благодаря бога, иных отпустил по приказанию вашему в извоз, другие на молотьбе; всех отпустить нельзя.

— Знаю.

— И леску подвезти надобно бы, на весну перебрать придется житник и загородку на скотном дворе...

— А ведь скучно, Егорыч, в деревне-то делается!

— Нашему брату скучать некогда, батюшка; вашей же милости, конечно, того-с; без привычки же вам...

— Не то, братец, что без привычки,— заметил штаб-ротмистр,— сколько раз случалось с эскадроном целую зиму простаивать напролет в деревнях, да не одному же: офицеры были; тут же, сам посуди, тоска смертельная.

— Как не тоска, батюшка, Петр Авдеич; да вашей милости проехаться бы хоть на волчков.

— Ездил, братец.

— Что же, не посчастливилось, видно?

— Вздор выходит; волки и есть, да дьявол их знает, или пора не пришла, или напугал их кто: высунутся, бестии, из опушки, да только заметят нас — и верть назад, а пробовал выходить из саней и садиться под куст; нет, канальи, нейдут как нейдут.

— А ведь, батюшка, и впрямь, что пора-то не настала на них, Петр Авдеич; погода, самим вам известно, стояла теплая, ему и горюшка мало, пока землю не скрепило, кормится падалинкою; а вот как прихватит покрепче, уж зверь станет придерживаться селений, к людям поближе, мерзлой-то земли не доймет.

— Когда же еще это?

— Что это, батюшка?

— Да покрепче прихватит?

— Долго ли же, Петр Авдеич? подержит мороз день-другой, и готово; да сегодня доложу вам, по-нашему, замерзания градусов будет около двадцати пяти; не было бы больше, противу ветра дышать нельзя, дух захватывает, батюшка.

— Уж не проехаться ли мне сегодня? — спросил, подумав, штаб-ротмистр.

— Сегодня бы раненько, Петр Авдеич, сегодня навряд ли...

— Что же делать?

— А что же бы такое, батюшка? погадать разве?

— Как погадать?

— Различные есть гаданья,— заметил, ухмыляясь, приказчик,— и в зеркало смотрят, ходят и на овин, и на перекресток иные выходят.

— Расскажи, братец, я, правда, и слышал не раз про гаданья, да сам не испытал.

— Как же, батюшка Петр Авдеич, чуть святки настанут, у нас по деревне обычай такой, и господа, и дворовые, и мужики сейчас за гаданье... Покойный батюшка ваш, дай господи царство небесное, молод был, всегда гадывать изволил.

— Что же, выходило ему что-нибудь? — спросил штаб-ротмистр.

— Еще как вышло-то раз, Петр Авдеич,— таинственно отвечал приказчик.

— Неужто?

— Ей-богу-с.

— Расскажи же, братец, расскажи.

— А вот изволите слушать,— продолжал Кондратий Егоров, подходя поближе к дивану.— Доложу вам, что в то время покойный барин еще и не задумывал то есть жениться, и не видали то есть ни разу покойницы маменьки вашей. Вот барин, покойный-то барин, и изволит говорить мне: «Кондрашка! — я то есть исправлял при барине камардинскую должность; барин-то и говорит мне: — Кондрашка, не загадать ли мне так, из проказы?» — «Почему же, мол, и не загадать»,— докладываю; мы и вышли на околицу; ночь-то была, батюшка, светлая о святках, и видим: едет кибитка прямехонько на нас, барин-то покойный и толк меня: «Видишь»,— говорит. «Вижу»,— говорю; хорошо, а как поровнялась-то кибитка с покойным барином, барин-то стал поперек дороги, да и говорит: «Позвольте, мол, спросить имя и отечество?» — «На что, мол, тебе?» — говорит из кибитки тоненьким голоском, знать, барыня или барышня какая; «Имя, мол, хотим знать»,— отвечал барин. «Имя,— повторила барыня,— имя мое Авдотья...» Что же бы вы думали,

батюшка Петр Авдеич, и году не прошло, как покойник женился на маменьке вашей, а ведь маменьку-то звали Авдотьей Никифоровной, как раз так...

— Забавно,— заметил штаб-ротмистр.

— Истину докладываю милости вашей, хоть сейчас умереть!

— Верю, верю, Егорыч, а забавно, ей-ей забавно, так, что хоть самому загадать.

— И загадать бы, Петр Авдеич.

— Как же это? выйти прямо на околицу и больше ничего?

— И больше ничего, батюшка, оденьтесь потеплее да перекреститесь.

— Взять с собою ружье или другое какое оружие про запас?

— Помилуйте, на что ружье? место близкое,— возразил приказчик,— приказать сторожу пройтись вперед да досмотреть насчет зверья.

— Не нужно, волков я не боюсь, Егорыч, не съедят небось; и впрямь ружья не нужно; а прикажи-ка, брат, Ульяшке подать мне валенки и тулуп; от нечего делать пройдусь по дороге; что, в самом деле, сидеть, тоска смертная.

— Сейчас прикажете, батюшка?

— А который час?

— Час одиннадцатый будет.

— Покуда соберусь да дойду до перекрестка, пройдет с полчаса, самая пора,— сказал штаб-ротмистр, вставая,— вели-ка, братец Егорыч, поторопиться.

— Слушаю-с, слушаю-с,— отвечал приказчик, и скорыми шагами вышел из гостиной, оставив Петра Авдеевича в полном удовольствии от неожиданного развлечения.

— Вот бы лихо было, если бы да мне, как батюшке, да назвал бы кто-нибудь мою суженую; я, правду сказать, и плохо верю чертовщине, а в сомнение придешь, когда случится над самим собою подобная оказия. Ну да прах возьми, все же лучше, чем оставаться в этом пустыре.

Пройдясь еще несколько раз вдоль и поперек темной залы, штаб-ротмистр принялся облекать себя в валенки, принесенные Ульяном, вязаную шерстяную фуфайку, ничем не покрытый овчинный дубленый тулуп, и, подпоясавшись ремнем, Петр Авдеевич напялил на голову баранью шапку, на руки теплые рукавицы и в таком наряде вышел из дому

в сопровождении Ульяна, которому, впрочем, приказал возвратиться назад.

— Ого, как мороз-то пожимает,— проговорил штаб-ротмистр, проходя скорыми шагами мимо надворных строений своих, в окнах которых мелькал еще тусклый огонек; но мороз был действительно так чувствителен, что, взявши себя за нос, костюковский помещик предался глубокому размышлению.

Прекрасна морозная декабрьская ночь! любил я тебя, бывало, с твоим ясным небом, с твоими яркими звездами, с твоим таинственным безмолвием; сколько чудных воспоминаний пробуждаешь ты в памяти моей, когда на прытких бегунах случается мне в глухую полночь нестись по родным, давно покинутым полям, прислушиваться к знакомому сторожевому звону родных сел, всматриваться в чащу дремлющих лесов, наводивших на меня некогда страх неизъяснимый! И что может быть роскошнее тебя, декабрьская ночь? не твоею ли рукою сыплются на землю груды алмазов и не ты ли, как нежная мать, румянишь красавиц, дочерей своих, ярким пурпуром, завертывая их в шелковистые волны черных лисиц и пересыпая жемчугом?

Петр Авдеевич, миновав знакомый дуб, остановился, подумал и направил путь свой по битой дорожке, ведшей к городской дороге. На поле стужа делалась чувствительнее, и от поры до времени поднимавшаяся вьюга обсыпала его пушистым снегом; тогда, приостанавливаясь, он подставлял ветру свою спину, обеими руками закрывал уши и, переждав с минуту, продолжал идти далее. Он знал, что в полуверсте от околицы скрещались две дороги; вероятность встречи с кем-нибудь удвоивалась, а потому и твердо решился штаб-ротмистр достичь перекрестка. У опушки перелеска дорога сделалась глаже, ветер менее суров, и полночный путник наш прибавил шагу; вот знакомая ель, вот вправо пошла тропинка в Архипеньково, а вот перекресток,— слава богу! Но что же это кажется? так точно! колокольчик; и два даже, точно два, сказал сам себе Петр Авдеевич, прикрыв правое ухо свое обшлагом тулупа, и слух штаб-ротмистра не обманывал его, потому что отдаленный звон двух почтовых колокольчиков, заглушенный на время порывом ветра, послышался снова и довольно явственно.

— Вот тебе и гаданье в руку,— подумал костюковский помещик, переводя дыхание,— но кому бы ехать в эту сто-

рону с двумя колокольчиками? Исправник? не может быть; а становому двух много; разве проезжий какой-нибудь? странно, черт возьми!

Припоминая подробности гаданья покойного родителя и намереваясь последовать в точности его примеру, Петр Авдеевич решительно стал посреди самой дороги и вперил взор свой в ту сторону, откуда долетали звонки. Вдали не замедлило показаться темное пятно, довольно обширное в объеме, за первым показалось второе, несколько меньшего объема. Привычный глаз штаб-ротмистра определил приблизительно число лошадей, впряженных в первый экипаж; число это ограничил сначала Петр Авдеевич цифрою четыре, потом оказалось шесть, а наконец, и семь; самый же экипаж, казалось ему, похож более на карету, чем на кибитку, а действительно то был четвероместный возок, навьюченный кожаными ящиками различной величины.

— Стой! — закричал громогласно форейтору Петр Авдеевич, поднимая руку кверху,— кто едет? — Оробевший форейтор повернул было лошадей своих с дороги в сторону, но, осмотревшись и заметив, что в руках штаб-ротмистра не было даже дубины, направил лошадей прямо на него.— Стой, говорят тебе! — повторил повелительно штаб-ротмистр, ухватившись в то же время за поводья подседельной.

— Вестимо, проезжие! — отвечал ямщик.

— Барин или барыня?

— Ну барыня, что тебе?

— А барыня, так погоди немного! — сказал Петр Авдеевич, отпуская поводья и подходя к замерзшим дверкам возка; в это время сидевший рядом с кучером слуга, по-видимому только что разбуженный голосом штаб-ротмистра, откинул меховой воротник шубы своей и принялся было расстегивать фартук, но Петр Авдеевич успел уже постучаться в стекло и громко спросил: — Позвольте узнать имя ваше и отечество!

На вопрос штаб-ротмистра стекло возка опустилось, и раздался женский голосок, но так неявственно, что Петр Авдеевич нашел нужным повторить вопрос.

— Clément, Clément! — раздалось в возке.— Que me veut cet homme?[1]

[1] Клеман, Клеман! Что хочет от меня этот человек? *(франц.)*.

— Имя ваше и отечество? — проговорил в третий раз штаб-ротмистр, не обращая никакого внимания на французскую, непонятную для него фразу.

— Имя мое Наталья,— робко отвечал тот же голос,— но зачем вам оно?

«Странно,— думал Петр Авдеевич,— а делать нечего».

— Очень обязан,— сказал он наконец,— мне только того и нужно было.

— Но кто же вы?

— Я-с? я-с здешний, живу поблизости, сударыня!

— И знаете окрестности?

— Надеюсь, что знаю, сударыня.

— В таком случае,— продолжала дама,— скажите мне, пожалуйста, далеко ли до села Графского?

— До села Графского? — повторил штаб-ротмистр.

— Да!

— До села Графского отсюда будет верст этак с сорок с небольшим.

— Может ли быть? — воскликнула дама.

— Будьте-с уверены, сударыня, что не ошибаюсь, да не было бы больше, вот что-с! по той причине, что село Графское за Выселками от большой дороги считается верстах в двадцати пяти; потом, сударыня, в село Графское нужно было вам повернуть с большака влево, а вы повернули вправо; видно, ямщик-то ваш то есть олух, как же ему-то не знать села Графского?

— Бог мой! как досадно,— сказала дама, высовывая окутанную голову свою из дверок возка.— Clément, Clément, vous entendez? Nous nous sommes égarés; il y a de quoi devenir folle... Où sont mes gens?[1]

— Ils sont à cent pasen arriere, madame la comtesse[2],— отвечал почтительно тот, которого называла барыня Clément и который уже успел сползти с козел на землю и подойти к дверкам возка.

— Que faire, mon Dieu?[3]— проговорил с отчаянием тот же женский голос,— мы никогда не доедем на этих несчастных лошадях,— прибавила дама по-русски.

[1] Клеман, Клеман, вы слышите? Мы сбились с дороги, с ума можно сойти... Где мои люди? *(франц.)*

[2] Они в ста шагах за нами, госпожа графиня *(франц.)*

[3] Боже, что же делать? *(франц.)*.

— Куда доехать, сударыня? да они не надышатся,— заметил Петр Авдеевич, осматривая со вниманием тощий почтовый семерик.— На этих клячах вам не дотащиться не только до Графского, об этом и думать нечего, а они не довезут и до Выселков, ни за что не довезут.

Замечание штаб-ротмистра привело проезжую даму в совершенное отчаяние; она передала замечание штаб-ротмистра французу, который в ужасе отвечал барыне, что не ручается за собственную жизнь, ежели поблизости не отыщется ночлега.

— Послушай, голубчик,— сказала наконец дама, обращаясь к штаб-ротмистру,— скажи, пожалуйста, нет ли поблизости какой-нибудь усадьбы или даже простой, но чистой избы.

— Усадьба? есть, сударыня! да по вас ли будет? — отвечал, улыбаясь, Петр Авдеевич, которому голос дамы показался очень сладкозвучным.

— Ах, я буду всем довольна и поблагодарю тебя, мой друг, только сделай одолжение, расскажи ямщику, куда ехать.

— Не очень далеко, сударыня.

— О, тем лучше, тем лучше!

— И версты не будет,— продолжал штаб-ротмистр,— было бы где присесть, я, пожалуй, проводил бы вас сам!

— Ах, какое счастие! — весело воскликнула проезжая дама.— Clément! Cédez votre place à ce brave homme et placez vous ailleurs[1].

Француз знаками указал Петру Авдеевичу козлы, а сам побежал ко второму экипажу, огромного размера кибитке, в которой и поместился с прочею полузамерзшею прислугою.

Штаб-ротмистр, внутренно посмеиваясь над дамою, принимавшею его, помещика, за голубчика, и приготовляя ей в уме своем сюрприз, подсел к ямщику, ударил его дружески по плечу и, указав пальцем на белевшееся впереди поле, приказал форейтору подгонять лошадей.

Возок двинулся скрыпя, за ним кибитка и не ожиданные костюковскими жителями гости со звоном и криком ямщиков стали подъезжать к узким воротам, подпертым с обеих сторон высокими сугробами.

---

[1] Клеман! Пересядьте и уступите ваше место этому молодцу *(франц.)*.

Когда же передовые лошади возка, миновав кухню, направились к дому, вся дворня переполошилась и выбежала из избы. Кондратий Егоров принялся расталкивать сына своего, спавшего крепким сном на отцовской койке; Прокофьич спросонья же, надевая казакин, попадал руками в карманы вместо рукавов, и из всех служителей штаб-ротмистра один грязный мальчик в долгополой одежде встретил приезжих на крыльце дома, держа в одной руке сальный огарок в медном подсвечнике, а другою рукою прикрывая огонь со стороны ветра.

Ловко соскочил с козел Петр Авдеевич, отворил дверку возка и подал руку свою барыне, не зная еще, кого имел честь принимать и никак не догадываясь, что приезжая была не кто другая, как владелица богатого поместья Графского графиня Наталья Александровна Белорецкая.

Войдя в так называемую залу костюковского дома, приезжая дама сделала маленькую гримаску; но тотчас же, улыбнувшись, заметила, что тут ей будет очень хорошо, и, все-таки называя Петра Авдеевича голубчиком, спросила, кому принадлежит дом и кому обязана она гостеприимством?

— Мне-с,— отвечал, смеясь и самодовольно, штаб-ротмистр.

— Как вам? — воскликнула не без удивления дама, осматривая с любопытством проводника своего.

— Точно так, что мне,— повторил Петр Авдеевич, наслаждаясь удивлением прекрасной незнакомки,— я помещик и дома этого, и усадьбы, отставной штаб-ротмистр Петр Авдеев Мюнабы-Полевелов.

— И я могла так ошибиться?

— Будьте-с, сударыня, на этот счет совершенно покойны-с; мы люди простые, доложу вам, и без всякой то есть церемонии; правду сказать, вышел на перекресток по забавному делу, но умолчу-с и за честь почту знать, с кем имею счастие-с...

— Я соседка ваша,— отвечала, премило улыбаясь, дама.

— Может ли быть-с?

— Имение мое,— продолжала дама,— как вы сами сказали, верстах в сорока отсюда.

— Как,— воскликнул штаб-ротмистр,— вы, сударыня, графиня Наталья Александровна?

— Именно.

— Ваше сиятельство! но такой чести мог ли же я то есть ожидать?

— Полноте, сосед, без фраз и титлов, пожалуйста; мы начали знакомство наше в вашем доме, и потому остаетесь покуда у меня в долгу; а чтобы подать вам пример добрых и коротких отношений, располагаюсь у вас, как у себя, без церемонии и прошу чаю.

— Ваше сиятельство, какая милость.

— Петр Авдеевич, я рассержусь.

— Но!

Графиня сбросила с себя капор, салоп и, дружески протянув руку штаб-ротмистру, запретила ему раз навсегда употреблять в разговорах с нею «ваше сиятельство» и просила позвать кого-нибудь из прислуги ее.

Изумленный и ошеломленный Петр Авдеевич не коснулся, разумеется, руками своими до беленькой ручки прелестной графини; но, поцеловав ручку эту на лету, бросился вон из залы.

Менее чем чрез полчаса, домик костюковский преобразовался совершенно; дощатый пол его покрылся толстыми персидскими коврами, окна и стены гостиной завесились шелковою зеленою тканью; по столам разостлались снежной белизны скатерти, на них заблистали серебро и хрусталь; медные подсвечники Петра Авдеевича заменились складными серебряными канделябрами, а вместо сального огарка запылало в комнатах множество восковых свеч. Самая атмосфера жилища штаб-ротмистра мгновенно изменилась, и незнакомый ноздрям его аромат распространился по всему дому.

По троекратному приглашению откушать с графинею чай, Петр Авдеевич, трепеща всем телом, решился наконец облачиться в сюртук свой, примочил волосы водою и, застегнувшись на все пуговицы, явился в гости в собственную гостиную.

Перед графинею кипел уже самовар, и monsier Clément с почтительною торопливостию суетился у чайного прибора, ослепившего роскошью своею непривычные глаза штаб-ротмистра. Костюковский помещик робко поднял глаза сначала на прибор, потом на француза, весьма неучтивого, потому что француз этот не отвечал на поклон Петра Авдеевича, а потом уже на саму графиню. Графиня была

учтивее: она приветствовала штаб-ротмистра такою улыбкою, таким благосклонным взглядом, пред которым все прелести Пелагеи Власьевны теряли цену.

Бедный Петр Авдеевич не подозревал существования женщин, подобных Наталье Александровне, не мог представить себе, что на одной с ним планете водятся такие создания, которые одним взглядом любого богатыря и унизят ниже травы, и возвысят выше колосса родосского, у которых и не пунцовые щечки и не полные ручки, а как взглянешь на них, так и перевернется все около сердца; о глазах же графини штаб-ротмистр не в состоянии еще был сделать никакого заключения: глаза эти принимали все цвета и все выражения, а когда останавливались на нем, тогда его собственные опускались к земле.

На графине была надета широкая черная бархатная мантилья, опушенная сереньким мехом, не знакомым штаб-ротмистру. Волосы ее, блестящие и черные, спускались двумя роскошными косами по обеим сторонам ее миниатюрного личика, прикрывая собою пару белых, как каррарский мрамор, детских ушей; из-под черного же платья выглядывала детская ножка, обутая в стеганую атласную ботинку.

С робостию вступив в гостиную и поклоняся французу, которого штаб-ротмистр принял за родственника приезжей, он остановился у дверей, не смея ступить далее.

— Вы видите, любезный сосед, что я распорядилась в доме вашем, как старая знакомая, и вполне воспользовалась гостеприимством,— сказала графиня, обращаясь к штаб-ротмистру.— Прошу теперь вас сесть возле меня и пить со мною чай; я устала ужасно.

— Не угодно ли будет вашему сиятельству отдохнуть? — спросил Петр Авдеевич, медленно подходя к графине.

— О нет, нет еще; но позже, гораздо позже; напротив, мы должны поговорить с вами о многом.

— Со мною, ваше сиятельство? — спросил удивленный штаб-ротмистр.

— С вами, сосед.

— Что же прикажете-с, ваше сиятельство?

— Во-первых, сесть возле меня, вот так; во-вторых, не называть меня никогда сиятельством; в-третьих, пить со мною чай, потому что мы оба озябли, а в-четвертых, познакомить меня покороче со всем вашим краем, и в особеннос-

ти с тем местом, в котором я намерена поселиться, то есть с моею усадьбою.

— Неужели, ваше сиятельство, осчастливите уезд наш своим присутствием?

— И надеюсь прожить у вас довольно долго. А курите ли вы, сосед? Clément, mes cigarettes![1]

Француз, вынув из кармана портсигар и положив его на серебряную тарелку, поднес было графине, но она знаком указала на штаб-ротмистра, и monsier Clément обратился к нему.

Петр Авдеевич вскочил на ноги и принялся раскланиваться, но графиня остановила его, объяснив, что monsier Clément не кто другой, как камердинер покойного ее мужа и преданный ей слуга. Петр Авдеевич покраснел от излишней учтивости своей к французу и, взяв одну папироску, стал мять ее в руках, присев на кончик стула.

Когда же графиня начала курить, Петр Авдеевич зажег папироску свою пустым концом, а табачный положил в рот. Графиня, заметив гримасы, которые выделывал Петр Авдеевич, сама зажгла другую папироску и предложила ее штаб-ротмистру.

По прошествии часа времени любезность и простота в обращении знатной барыни успокоили совершенно внутреннее волнение костюковского помещика и сделали его разговорчивее. Куря папиросы и глотая чай, он стал громко смеяться, перемешивать речь разными шутками и называл графиню уже не «ваше сиятельство», а Натальей Александровною и почтенной соседушкою.

— Признаюсь вам-с,— сказал он наконец,— сначала мне так страшно было-с показаться пред вами; я даже, должен доложить вам, просто трясся всем телом; думаю себе-с: ну как мне предстать пред лицом такой высокой особы? А теперь, верите ли, Наталья Александровна, точно-с будто видел вас всякий день, точно-с вы давнишняя знакомая, просто чувствую некоторую симпатию, право-с, смею уверить вас откровенно...

— Очень, очень рада,— отвечала смеясь графиня,— так и быть должно.

— Вы, может быть, смеетесь надо мною, ваше сиятельство? — заметил штаб-ротмистр, вздохнув.

---

[1] Клеман, мои папиросы! *(франц.)*.

— Вы этого не думайте, сосед.

— Не знаю, что и думать, Наталья Александровна; по правде сказать, и думать не смею.

— Полноте, полноте, Петр Авдеевич, недоверчивость к друзьям — предурная вещь.

— Разве вы можете, графиня, быть моим другом?

— Надеюсь, что могу.

— Нет, уж это, сделайте милость, этого вы не извольте и говорить; я и не воспитанный человек, не ученый, не чета вам, а все-таки понимаю, какая разница между нами; вы богаты, вы знатны, а я маленький человечек, и в друзья мне к вам лезть не под стать.

— Следовательно, вы отказываетесь от моей дружбы?

— Нечего отказываться, Наталья Александровна, речь не о дружбе, а чувствую, что, уж и сам не знаю почему, а прикажите в огонь, прикажите в воду — пойду в огонь и в воду, ваше сиятельство, и пойду, то есть за счастье сочту; а отчего это? не знаю-с.

Последнюю фразу штаб-ротмистр сказал с таким странным выражением в лице и голосе, что графиня, пристально взглянув на Петра Авдеевича, почла за лучшее переменить разговор и расспросила преподробно о соседях, о их быте, удовольствиях и занятиях, короче, обо всем, кроме дружбы.

Не могу утвердительно сказать, так ли внимателен был слух графини к ответам Петра Авдеевича, как глаза ее, которые не сводились с собеседника; как бы то ни было, но до двух часов пополуночи просидел костюковский помещик с графинею; он просидел бы до утра, ежели бы графиня не уверила его, что она не позволит себе употреблять долее во зло любезность хозяина и, несмотря на удовольствие беседовать с ним, решительно приказывает ему идти отдохнуть.

Петр Авдеевич пожал плечами, шаркнул и на цыпочках вышел вон из гостиной, унося с собою довольно новое для него чувство. Чувство это хотя и походило на то, которое увез он из уездного города после первой встречи с Пелагеею Власьевною, но в эту минуту было оно как-то глубже и еще неопределеннее.

Проходя мимо залы, штаб-ротмистр заметил в ней сидевшего француза, который при появлении помещика приподнялся было лениво на ноги, но Петр Авдеевич махнул рукою и прибавил шагу.

«Счастливец, бестия, мусье этот»,— сказал сам себе штаб-ротмистр, и глубокий вздох вырвался из груди его; только на крыльце заметил он, что вышел из дому, но вспомнить никак не мог зачем. Проглотив с жадностию холодный воздух, штаб-ротмистр с полчаса поглазел на стоявшие у крыльца экипажи графини и, прозябнув до костей, побежал в свою спальню; у порога остановил его Ульян.

— Что ты? — спросил Петр Авдеевич.

— Пожалуйте во флигель, барин, а в спальне вашей легла барыня,— прошептал слуга.

Весть эта привела костюковского помещика в такой восторг, что он уже не улыбнулся, а рассмеялся с детскою радостию и, зажав рукою рот Ульяну в знак молчания, повел его за собою, осторожно переступая ногами. Забыв шинель и фуражку, прошел Петр Авдеевич двор, осведомился у Кондратья Егорова, накормили ли людей, ямщиков, даже почтовых лошадей, и получил в ответ, что француз и горничная графини отказались от предложенного им ужина, а покушал только повар да еще какой-то человек русский, и то с барского стола; костюковский помещик отдал все нужные приказания и, раздевшись, лег на постель, приготовленную Ульяном в так называемой семейной. По прошествии часа залаяла на дворе цепная собака, и штаб-ротмистр, разбудив камердинера своего, приказал отвести ее на псарню. Несколько минут спустя запел петух; штаб-ротмистр сам отыскал петуха на соседнем чердаке и обошелся с ним так неделикатно, что петух не пел больше никогда. На рассвете послышался на дворе какой-то скрип: ямщики, привезшие графиню, качали из колодца воду для лошадей своих; штаб-ротмистр отогнал ямщиков от колодца и указал им пруд; короче, прогости Наталья Александровна в Костюкове еще недели с две, гостеприимный хозяин умер бы от бессонницы.

По мнению Петра Авдеевича, гостья его не могла пуститься в дорогу, не закусив чего-нибудь; так, по крайней мере, делалось всюду; вследствие чего и разосланы были мужички костюковские по окрестным помещикам скупить наличную дичь, рыбу, ежели таковая найдется, вино всех цветов и варенья.

Все это явилось в Костюково часам к восьми, и Прокофьич, разложив перед собою знакомую нам поварскую

тетрадку, преважно приступил к созиданию *саламе* из дичи и *кокилов а ля финансьер.*

«Ну, ежели да не поспеешь? — говорил со страхом Петр Авдеевич, помогая Прокофьичу разбирать иероглифы кухонного наставника,— ведь просто полезай в петлю от стыда, братец».

И на это отвечал ему Прокофьич: «Будьте-с благонадежны, батюшка, нам не впервые готовить», а между тем вытирал Прокофьич рукою своею катившийся с чела его пот и тою же рукою собирал из-под ножа прыгавшие кусочки мяса и пододвигал их снова под нож. В полдень саламе и кокилы а ла финансьер достигли полной своей зрелости и графиня проснулась. Штаб-ротмистр приказал подать ей к чаю только что испеченные супругою Егорыча бабу и крендельки; графиня, с своей стороны, послала пригласить Петра Авдеевича откушать с нею кофе; разумеется, штаб-ротмистр не заставил ждать себя, и в той же гостиной, и в том же кресле, даже точно в таком же наряде, как накануне, застал он гостью свою, хотя и бледную, но встретившую его с восхитительною улыбкою.

— Как изволили ночь провести, ваше сиятельство? — спросил ее штаб-ротмистр.

— Прекрасно,— отвечала графиня, указывая ему на стул и не сделав на этот раз никакого замечания насчет «вашего сиятельства».

— И ничто не обеспокоило вас? — продолжал Петр Авдеевич.

— Благодарю вас, мне было очень покойно.

— А я боялся, чтобы собаки как-нибудь или домашняя птица...

— Сон мой так крепок, Петр Авдеевич, что я никогда ничего не слышу.

— Тем лучше, ваше сиятельство.

В это время подал француз кофе графине и Петру Авдеевичу; потом взялся за большой серебряный поднос, на котором лежало множество разного рода печений, очень напоминавших знаменитого Рязанова, и рядом с ними огромная желтая мучная масса.

— Qu'est ce que cela?[1] — спросила графиня, смотря на эти незнакомые ей вещи.

---

[1] Что это? *(франц.).*

Не поняв, но догадавшись, что вопрос касался костюковского произведения, штаб-ротмистр поспешил предупредить гостью свою, что поразивший ее огромностию своею предмет была баба.

— Как вы говорите?

— Баба, ваше сиятельство.

— Что же это значит? — спросила наивно графиня.

— Бабою называют у нас, ваше сиятельство, вот это; печется она из пшеничной муки с разными специями; превкусная вещь; прикажете отрезать?

— Пожалуйста.

Штаб-ротмистр, засучив обшлага рукавов своих, взял бабу одною рукою, а другою нож и отхватил от нее кусок, весом с полфунта, который и подал своей гостье.

— Но отчего же она такая желтая? — спросила графиня.

— Оттого, ваше сиятельство, что у нас для цвета подмешивают некоторое количество шафрана.

При этом объяснении личико Натальи Александровны едва заметно поморщилось; двумя пальцами отломила она кусочек от поднесенного ей Петром Авдеевичем полуфунтового куска оранжевой бабы и поднесла пальцы к губам.

— Это очень вкусно,— заметила графиня,— и, право, очень жаль, что я ничего не могу есть утром,— поспешила прибавить она, закуривая папироску.

— Неужели вы не завтракаете? — спросил испуганный штаб-ротмистр.

— Никогда.

— Даже в деревне?

— Нигде, Петр Авдеевич.

— А я, ваше сиятельство, льстил себя надеждою предложить вам кое-что, по возможности.

— Право, не могу, извините меня.

— Хоть безделицу.

— Не в силах, Петр Авдеевич, а ежели вы уже хотите быть любезны до конца, то...

— Прикажите, ваше сиятельство!

— Мне бы хотелось,— продолжала графиня,— доехать засветло до дому, и потому...

— Неужели сегодня? — воскликнул с отчаянием Петр Авдеевич.

— Не сегодня, а сейчас, сию минуту,— сказала графиня

тоном, который переменою своею поразил бедного костюковского помещика, так отозвался этот тон чем-то непохожим на прежний.

Петр Авдеевич молча встал и направил шаги свои к дверям, но в свою очередь не ускользнуло и от графини впечатление, произведенное переменою тона ее на штаб-ротмистра, а потому, не допустив его до дверей, она назвала его.

Петр Авдеевич остановился.

— Вы на меня не сердитесь, сосед? — спросила графиня со вчерашнею улыбкою на устах.

— Я-с, ваше сиятельство?

— Да, вы, Петр Авдеевич.

— Смею ли я, помилуйте-с.

— Нет, скажите откровенно, вы рассердились?

— Да за что же, ваше сиятельство?

— За то, что я спешу уехать.

— Мне грустно, ваше сиятельство, но это вздор, я понимаю, я то есть сам понимаю...

— Послушайте, сосед,— продолжала графиня таким сладким голосом, от которого в груди штаб-ротмистра перевернулось что-то,— я, право, устала и спешу; меня дома не ждут и, приехав поздно, я рискую провести ночь в холодной комнате. Потом, милый сосед, не должны ли мы поступать друг с другом как короткие знакомые, как соседи, и потому, ежели бы вы захотели видеть меня, неужели сорок верст остановят вас?..

— Меня, ваше сиятельство?

— Ну да, вас!

— Сорок верст! — повторил с увлечением Петр Авдеевич,— да я, ваше сиятельство, пройду эти сорок верст без фуражки, на коленях... сорок верст!..

— Зачем же на коленях, сосед? — перебила, смеясь, графиня.— А вы просто дня через два садитесь в сани и приезжайте ко мне погостить подолее; вы приедете, не правда ли?..

— Нет, нет, ваше сиятельство, вы опять шутите, вы смеетесь надо мною, ей-богу, смеетесь.

— Я не только не смеюсь и не шучу, Петр Авдеевич, а беру с вас честное слово быть у меня послезавтра,— сказала графиня, протягивая штаб-ротмистру свою руку.

— Если же так,— воскликнул не помня себя, Петр Авдеевич,— то, была не была, ваше сиятельство, вот вам рука

моя, что буду...— и, хлопнув красною рукою своею по беленькой ручке графини, штаб-ротмистр выбежал из дому на двор и приказал запрягать лошадей.

Чрез час, проводив знатную барыню до околицы, Петр Авдеевич возвратился к дому; на крыльце собрал он руками довольно большое количество снега, обложил им себе голову и, войдя в свою комнату, лег на диван.

Он пролежал долго с закрытыми глазами, он пролежал бы до завтра в таком положении, но вскоре послышалось ему, что кто-то потихоньку отворяет дверь.

— Что тебе, Прокофьич? — спросил штаб-ротмистр, узнав своего повара...

— Кушанье-то осталось, батюшка, так не изволите ли сами откушать? — спросил повар.

— Убирайся с кушаньем,— было ответом Прокофьичу, и та же дверь потихоньку притворилась.

Пролежав еще несколько времени, Петр Авдеевич услышал отдаленный звон колокольчика; сначала штаб-ротмистр открыл глаза, потом вдруг вскочил с дивана и стремглав выбежал на крыльцо... Что думал в ту минуту Петр Авдеевич — не знаю, но члены его тряслись, как в лихорадке.

На двор влетела ухарская, саврасая тройка; из саней выполз укутанный в енотовую шубу городничий, а лицо штаб-ротмистра покрылось лиловым отливом...

— Здорово, брат, здорово, сударь,— кричал Тихон Парфеньевич, обнимая крепко и целуя нежно Петра Авдеевича.— Ну, морозец, истинно святочный морозец; веришь ли — того и смотрю, что нос отвалится; тер всю дорогу. А я от сестры Лизаветы. Здоров ли же ты, мой почтеннейший? что же мы стоим на крыльце?

— Голова болит,— отвечал штаб-ротмистр, следуя за городничим.

— Приложи компресс из пенного, пройдет мигом,— заметил гость, входя в переднюю; потом, сняв с себя шубу, он стал принюхиваться.— Что это, брат, уж не пролили ль у тебя чего пахучего? такой аромат,— сказал Тихон Парфеньевич, продолжая шевелить ноздрями.

— Хорошо разве?

— Очень хорошо, чем же это накурено?

— И сам не знаю,— отвечал с улыбкою штаб-ротмистр.

— Как не знаешь?

— Ей-богу, не знаю!
— Стало, накурил не ты?
— Не я.
— Кто же бы такой?
— Не отгадаете, бьюсь об заклад.
— Подлинно не отгадаю; есть разве кто?
— Никого нет.
— Морочишь?
— Ей-богу, нет никого.
— Так был,— заметил проницательный городничий.
— Вот это дело другое,— отвечал штаб-ротмистр.
— Кто же бы такой?
— Не скажу.
— Ну, полно, говори.
— Ей-ей, не скажу.
— Секрет разве?

— Нет, шучу, Тихон Парфеньич; останавливалась у меня проезжая барыня: погреться просила, с дороги сбилась, я и пустил.

— Проезжая барыня? — повторил городничий,— уж не та ли, что в возке насилу тащат семь лошадей?

— А вы почем знаете?

— Ее встретил я на большой дороге: едва-едва двигается; экипаж такой грузный.

— Она, она.

— И кибитка позади?

— Она, она,— повторил штаб-ротмистр.

— Батюшки мои,— воскликнул вдруг городничий, как бы опомнясь,— избави боже, уж не графиня ли это?

— А что?

— Да говори, она ли это?

— Она.

— Так пропал, пропал же я, окаянный, пропал с головою, с ослиными ушами, вот как пропал, сударь! — кричал, взявшись за голову, городничий.

— Отчего же это? растолкуйте, пожалуйста.

— Оттого, сударь, что на прошлой неделе получил из губернского города предписание починить мост на Коморце; мост-то, сударь, просто капкан: кто бы ни поехал по нем, чубурах в реку; я-то и позабудь, прах меня возьми! и узелок завязал на память, да узелок-то вижу, а зачем завязал — из головы вон.

— Мост этот объехать можно, Тихон Парфеньич,— заметил штаб-ротмистр.

— Знаю, что можно, да придет ли им-то, ямщикам, в голову свернуть за версту на луга?

— Хотите, я пошлю в погоню?

— Кого?

— Тимошку.

— Батюшки, ради самого создателя! — завопил городничий.

— Ей-богу, пошлю.

— Голубчик, пошли, да сейчас пошли! — кричал городничий.

Забыв головную боль свою, Петр Авдеевич, как сумасшедший, бросился со всех ног вон из комнаты, и, прежде чем встревоженный Тихон Парфеньевич успел опомниться, Тимошка скакал уже сломя голову на одной из пристяжных штаб-ротмистра по городской дороге.

Петр Авдеевич возвратился, запыхавшись, но с радостным лицом.

— Ну, видно, брат, тебе уж суждено всех нас выручать из беды,— сказал городничий, выходя к нему навстречу,— намедни спас сестру и племянницу, сегодня меня.

«Не тебя, а ее, графиню, может быть»,— подумал штаб-ротмистр, подставляя щеки свои губам Тихона Парфеньевича, и оба они перешли в гостиную.

— Обедали ли вы? — спросил гостя хозяин, усаживаясь с ним на диван.

— И аппетит пропал,— отвечал городничий.

— Полноте, Тихон Парфеньевич, и не догони Тимошка, я ручаюсь вам головою, что графиня не взыщет с вас.

— Знаешь ты больших барынь! — заметил городничий с некоторою иронией.

— Не знаю других, а эту знаю, поверьте.

— Небось оттого, что отогрелась у тебя?

— Нет, Тихон Парфеньевич, не отогрелась, а переночевала, и обошлась со мною так милостиво, так ласково, что я пересказать то есть не могу.

— Шутишь?

— Ей-богу, правду говорю, Тихон Парфеньевич, и долго ли, кажется, довелось мне пробыть с нею: вчера пил чай, сегодня кофе, а так ее знаю теперь, как свои пять пальцев.

— Что же, сама она тебя позвала?

— Разумеется, не сам влез в комнату.

— И разговаривала? — спросил городничий.

— Словно с своим братом, Тихон Парфеньевич,— отвечал с жаром штаб-ротмистр,— ну, просто будто бы век были знакомы; и что за простота, и что за добродушие! Прелесть, с ума сойти надобно!

— Ты уж и то, мне кажется, сударь, того,— заметил, смеясь, Тихон Парфеньевич.

— Что же вы думаете?

— Нет, ничего, я говорю так, ради шутки.

— Скажите, что вы думаете?

— Ей-же-ей ничего!

— Вы хотели сказать, что я с ума спятил?

— Какой вздор! что ты, брат Петр Авдеич?

— Да нет, скажите просто.

— Ну, вот тебе Христос, ничего не хотел сказать такого...

— И не думайте, Тихон Парфеньевич, потому что я, ей-богу, и в мыслях своих не позволю себе, я, то есть, помню пословицу «знай, сверчок, свой шесток», а не могу не сказать, что очень добрая дама графиня Наталья Александровна, и между нашими дамами вряд ли сыщется такая добрая.

— Что же, приглашала она тебя? — спросил городничий.

— Приглашать приглашала, из учтивости, разумеется.

— А поедешь ты к ней?

— Не думаю, не полагаю ехать, зачем? не для чего.

— А не поедешь к графине, поедем к сестре Лизавете.

— Когда это? — спросил штаб-ротмистр поспешно.

— Да, пожалуй, хоть завтра, хоть послезавтра.

— Не могу, Тихон Парфеньич.

— Это почему?

— Вот видите ли почему,— продолжал Петр Авдеевич, краснея и заикаясь,— мне, как бы вам сказать, очень совестно так часто бывать у сестрицы вашей.

— Право? это новость!

— Вы выслушайте меня; я, то есть, всегда с особенным удовольствием моим готов был, и в эту минуту, но, право, завтра и послезавтра...

— Странно, Петр Авдеич, а сестра моя, кажется, не подавала вам поводу думать, что посещения ваши слишком

часты, и принимала вас она не как чужого, а близкого, чересчур близкого человека.

— Но вы меня не выслушали, Тихон Парфеньевич.

— И слушать не хочу! садитесь со мною в сани, и едем.

— Чтоб завтра быть назад, готов,— заметил штаб-ротмистр.

— Сегодня поздно, а завтра.

— Нельзя, Тихон Парфеньевич.

— Так как хотите, сударь, мое дело сторона.

— Едемте сегодня! — воскликнул штаб-ротмистр.

— Поздно, говорю; мои кони устали, а на вашей пристяжной уехал Тимошка; да и спешить не к чему,— прибавил городничий, и лицо его нахмурилось.

К счастью Петра Авдеевича, разговор собеседников прерван был торжественным докладом Егорыча «кушать поставили», и гость с хозяином перешли в столовую, или так называемый зал.

Перловый суп проглотил Тихон Парфеньевич молча; когда же подали на кастрюльной медной крышке саламе, городничий искоса посмотрел на Петра Авдеевича, но тем не менее не пренебрег изящным произведением Прокофьевича; за саламе Ульян подал кокилы а ля финансьер; Тихон Парфеньевич не выдержал и спросил штаб-ротмистра, давно ли он стал так роскошничать?

— Признаюсь вам, почтеннейший Тихон Парфеньевич, я сдуру-то думал, что графиня останется у меня завтракать,— отвечал Петр Авдеевич смиренно.

— То-то и есть, братец, что знаешь ты хорошо этих гордячек,— подхватил городничий,— ценят они небось гостеприимство нашего брата, простака; хотя себя искроши да зажарь, и спасибо не скажут.

— Отчего же ей быть такою ласковою, Тихон Парфеньевич?

— А в чем ты заметил, сударь, необыкновенную ласковость графини? Не в том ли, что осчастливила дом твой своим присутствием? Уж не думаешь ли ты, брат, что ее сиятельство рыскала целую ночь по лесам, чтобы отыскать именно тебя? Как же, сударь! Не попадись ей под ноги Костюково, рада-радешенька была бы остановиться на постоялом, не то в избе.

— К чему говорите вы мне это все, Тихон Парфеньевич?

— Для того, сударь, чтобы вы не забирали себе в голову

всякой черемятицы, да не попали в шуты какой-нибудь графини, которая и не думает об вас.

— Тихон Парфеньевич, вы не знаете Натальи Александровны.

— А знаю тебя, вот, брат, что!

— И меня не знаете,— заметил, понизив голос, штаб-ротмистр, которого слова городничего кололи, как острые ножи; и сознался внутренно Петр Авдеевич, что Тихон Парфеньевич говорит правду, но вдруг переломить себя никак не мог.

Прения о графине продолжались до конца обеда, и кончились они тем, что городничий, очень недовольный будущим роденькою своим, распрощался с ним довольно холодно и уехал в город ранее сумерек.

Ровно через двое суток по отъезде графини из Костюкова, Петр Авдеевич уже мчался в санях по дороге, ведшей мимо села Сорочки́ в село Графское.

Поместье графини Натальи Александровны Белорецкой принадлежало к числу тех, которыми некогда награждали русские цари заслуженных вельмож своих. В поместьях этих итальянские зодчие осуществляли гигантские планы Возрождения; Каррара снабжала их своими мраморными массами, Урал — золотом, а Венеция — зеркалами.

Пока чертог поднимался горделиво, как бы послушный волшебному жезлу художника, из окрестных лесов сбегались толпою вековые дубы, столетние сосны, ветвистые ивы и клены; группируясь вокруг чертога, они образовывали собою бесконечные зверинцы и парки, а их опоясывали каменными стенами, перерезывали глубокими рвами и засыпали тысячью клумб из ароматических цветов. К подобному диву вкуса, величия и роскоши принадлежало настоящее жилище прекрасной графини Натальи Александровны; но в декабре трескучий мороз набросил на парки, цветники и зверинцы села Графского свои серебряные покровы.

Когда перед глазами штаб-ротмистра стали показываться, одно за одним, здания графининой усадьбы, он невольно вспомнил слова Тихона Парфеньевича.

«Куда принесла меня нелегкая? — подумал Петр Авдеевич.— За каким прахом? Уж не вернуться ли, полно? Нет, поздно, вот и дом, какой дом? не дом, а дворец! и конца ему нет! ей-богу, вернусь».

— Петр Авдеевич! — крикнул в это время кто-то, но та-

ким голосом, от которого у Петра Авдеевича занялось дыхание.— Петр Авдеевич! — повторил тот же голос, но несколько далее.

— Графиня! — воскликнул штаб-ротмистр, оглядываясь и сбрасывая с себя шинель.— Как! в санках, одиночкой и одни с кучером?

— А вас это удивляет, сосед?

— Глазам не верю, ваше сиятельство.

— Не верите, так наденьте шинель и прошу пересесть ко мне, в сани; вы умеете править?

— Лучше всякого кучера, ваше сиятельство.

— Очень рада, пожалуйте поскорее.

С проворством юноши перескочил штаб-ротмистр из своих пошевней в санки графини, принял вожжи из рук кучера, которого графиня отослала домой, и приготовился везти ее хотя на край света.

— Поедем в лес, вы не боитесь? — сказала Наталья Александровна, обращаясь к Петру Авдеевичу.

— Жаль мне, ваше сиятельство, что в лесах-то наших бояться нечего, а то я доказал бы вам,— отвечал штаб-ротмистр, ударяя вожжами темно-серого бегуна.

Гордое животное, не привыкшее к подобному обращению, взвилось было на дыбы, фыркнуло и, закусив удила, помчалось стрелою по гладко укатанной дороге; но Петр Авдеевич знаком был с этим делом и, подобрав вожжи, неожиданно передернул их и поставил коня по-своему, то есть поставил его на рысь по версте на минуту и пятьдесят шесть секунд.

— По вашему сиятельству и лошадь,— заметил он, как бы говоря сам с собою.

— Не правда ли, что не дурна? — отвечала графиня, прикрывая личико свое черным соболем муфты.

— Не не дурна, а призовый должен быть!

— Как это призовый?

— То есть, ваше сиятельство, конь этот должен был брать призы, деньги то есть.

— Этого я, право, не знаю; кажется, иногда муж мой посылал лошадей куда-то.

— Верно, так, быть не может иначе, ваше сиятельство; кому же и брать, как не такому! Взгляните на грудь, на мышцы, на мах, а круп-то, круп — печь печью.

— Вы страстны к лошадям, сосед?

— Умер бы с ними, ваше сиятельство!

— А есть у вас хорошие лошади?

— У меня? Да откуда они будут у меня? Разве продать жиду именьишко да купить одну, и то купишь ли, полно?

— Хотите я продам вам?

— Что это, ваше сиятельство?

— Лошадь,— отвечала графиня.

— Какую лошадь?

— Точно такую, как эта.

— А Костюково мое возьмете себе?

— Какой вздор!

— Как вздор? да чем же я заплачу?

— Я подожду, сколько хотите,— сказала графиня смеясь.

— Нет, уж извините, таких дел отродясь не делал, да и умру, надеюсь, не сделаю.

— Вы поступаете со мною не так, как добрый сосед, и не дружески, Петр Авдеевич.

— А вы, ваше сиятельство, и сам не знаю за что, обижаете меня.

— Чем это?

— Об этом после, ваше сиятельство,— сказал затронутый за живое штаб-ротмистр.

— Я хочу теперь, сию минуту!

— Вот лес, графиня, и две дороги, куда прикажете?

— Мне все равно, а все-таки прошу сказать, чем я обидела вас?

— Вы сами знаете, ваше сиятельство! За что бы, кажется, обижать меня? Я ведь, ваше сиятельство, от души то есть предложил вам мою бедную хату, ваше сиятельство, не из видов каких-нибудь, и умер бы, ваше сиятельство, с радостию за вас, а за смерть заплатить нельзя...

Последние слова произнес Петр Авдеевич так нетвердо, так несвязно и так как-то грустно, что графиня, выслушав их, схватила его за руки и крепко пожала их...

Думая, что надо остановиться, штаб-ротмистр осадил коня и посмотрел на графиню... Он перепугался: глаза графини казались ему страшны.

— Не сказал ли я чего глупого, ваше сиятельство? — робко проговорил штаб-ротмистр.

— Не вы, а я сказала глупость и виновата пред вами,—

воскликнула графиня,— но успокойте меня, Петр Авдеевич, и скажите, что вы забудете ее со временем.

— Эх, ваше сиятельство, охота же вам, право, говорить так со мною! Велика важность! Ну, сказали так сказали, и сказали бы больше подобному мне, ничего...

— Петр Авдеевич, вы не добры!

— Куда ехать, ваше сиятельство?

— Домой! — отвечала графиня и всю дорогу молчала.

Подъехав к великолепному дворцу своему, графиня не вышла из саней, пока выбежавший слуга не принял вожжей из рук штаб-ротмистра; тогда только с легкостию сильфиды выпрыгнула она на землю и в сопровождении Петра Авдеевича вошла в светлую и обширную прихожую, отделявшую подъезд от главной лестницы.

— Ежели вам угодно прежде всего познакомиться с комнатами, для вас приготовленными, Петр Авдеевич,— сказала графиня, обращаясь к штаб-ротмистру,— то я провожу вас в них сама...

— Для меня приготовленными? — повторил изумленный костюковский помещик.

— Надеюсь, что вы для меня сделали бы то же.

— Но вы и я, графиня?

— Не все равно, Петр Авдеевич, только потому, что я добрее вас.

— В ум не взберу, ваше сиятельство!

— Вам угодно, чтобы я объяснилась?

— Смею умолять об этом, ваше сиятельство,— сказал штаб-ротмистр, все еще не понимая графиню.

— Извольте; предлагая вам купить у меня лошадь, я нимало не думала о средствах ваших, Петр Авдеевич, и действовала, собственно, по желанию сделать себе удовольствие; но вы приняли иначе предложение мое, и я поспешила сознаться в вине и просила прощения. Что же сделали вы, я вас спрашиваю?

— Что же сделал я, ваше сиятельство? разве я сделал что-нибудь?

— Еще бы! наговорить мне кучу неприятностей, наморщить лоб и не простить!..

— Графиня! — проговорил Петр Авдеевич жалобным голосом.

— Что графиня? ну, что вы придумали к своему оправданию?

— Где же мне? и не докладывал ли я вашему сиятельству, что милости ваши лишили меня последнего умишка; придумайте уж вы что-нибудь.

— Согласна, но с условием.

— Все выполню, все, графиня!

— Честное и благородное слово, Петр Авдеевич?

— Мало слова, клятву даю.

— Прекрасно,— сказала графиня, улыбаясь,— Петр Авдеевич! лошадь, на которой мы с вами ездили сегодня, я не продам никому и никогда.

— И прекрасно сделаете, ваше сиятельство!

— Петр Авдеевич! — повторила графиня с комическою важностию.— Лошадь эту я дарю вам; теперь посмотрим, осмелитесь ли вы не принять ее в знак дружбы моей.

— Графиня, графиня! — проговорил штаб-ротмистр, всплеснув руками.

— Поцелуйте эту руку, и ни слова больше. Я проголодалась, и обед ожидает нас.

Петр Авдеевич, у которого на глазах невольно навернулись слезы, с жаром поцеловал протянутую ему ручку и не последовал за графинею, а вошел в свои комнаты, дверь которых указала ему утешенная, как дитя, Наталья Александровна.

Кто найдет неестественным характер графини Белорецкой, кому покажется несбыточным описанный мною образ действий ее, тот, конечно, не встречался во всю жизнь свою с теми существами, которых в провинции называют «большими барынями», а в большом свете «grandes dames»; привилегированные существа эти не должны и не могут быть сравниваемы с теми женщинами, о рождении которых не говорит седьмая часть мира, юность которых не нежит и не лелеет все высшее общество и брак которых не считается эпохой. Огражденные от всех лишений, от всего того, что возрождает зависть и злобу, создания эти не могут не иметь благородных чувств и доброго сердца; добро для них забава, щедрость — привычка, а твердая, непоколебимая воля — неотъемлемое, неоспоримое право!

Графиня Наталья Александровна, дожив в столице до двадцатичетырехлетнего возраста, не знала еще, что значит любить, и не знала потому, что вечно окружавшая ее толпа вздыхателей мешала графине встретиться с человеком, которого бы могло избрать ее сердце. Все мужчины казались

ей одинаковы; но, не желая выезжать долее восьмнадцатилетнего возраста без головного дамского убора, Наталья Александровна пристально взглянула в толпу, и тот, кто стоял выше прочих, сделался мужем ее. Муж этот умер; графиня надела черное платье; оно шло к ней, но столица без балов, без праздников, без оперы и раутов — прескучная вещь; она вспомнила о поместье своем, в котором не была ни разу; о деревне графиня не имела никакого понятия; слышала от многих, что есть там сады, не имеющие границ, и что называют их лесами; есть поля необозримые, есть реки, несущие волны свои произвольно, наконец есть люди, не говорящие по-французски, не танцующие польку, полудикие, смешные может быть, не знакомые ей и не похожие ничем на столичных. Подумав немного, графиня приказала готовить все к отъезду, и с первым полудикарем, ни в чем не похожим на столичного жителя, познакомилась в костюковском деревянном домике.

В первую минуту Петр Авдеевич показался ей очень забавным, во вторую честным и бескорыстным человеком, а в третью... но остановимся пока на второй.

Комнаты, назначенные графинею Петру Авдеевичу, конечно, никогда не были приготовлены собственно для него, а принадлежали к разряду второстепенных комнат, назначенных для помещения гостей. Не менее того штаб-ротмистр поражен был их роскошным убранством, и чего недоставало в них? Голландское белье на постеле, стол с полным письменным прибором, даже писчая бумага и все нужное для письма, как-то: ножичек, чернильница, всякого роду металлические перья, сургуч различных цветов и прочее.

«Неужели все это для меня, для меня, бедного Петра? — повторял сам себе штаб-ротмистр, рассматривая всякую вещь порознь.— А лошадь, тысячная лошадь! Снилось ли мне когда такое сокровище? В знак дружбы, говорит этот ангел, а, кто ее знает, может быть, и бес-искуситель. Что заговорят в уезде, когда я покажусь на этом коне? что скажет городничий, Лизавета Парфеновна, Полинька? А я, дурачина, думал, что уже лучше ее и на свете нет; вот тебе и лучше,— можно ли же сравнить не то чтобы со всею графинею, а с мизинцем ее, так и мизинца не стоят все Пелагеи Власьевны вместе; подумать то есть невозможно».

Вот как рассуждал штаб-ротмистр, и какими глазами

смотрел он на ту женщину, которая еще за три дня казалась ему верхом совершенства.

Какое счастие, что любящие нас не одарены способностию проникать в сокровеннейшие думы наши, заглядывать в изгибы вероломного сердца нашего, как искренно возненавидели бы они весь род мужской!

К счастию Пелагеи Власьевны, она и не подозревала постигшего ее удара; весть о приезде графини в поместье достигла до Сорочко́в, но могло ли прийти в голову бедной девушке, что избранный сердцем ее человек не только проезжает уже украдкою мимо самых ворот их села, но даже и не сравнивает ее, свеженькую, розовую, с бледною, худощавою графинею, и не сравнивает потому, что, по мнению Петра Авдеевича, невозможно никакое сравнение.

Переходя из комнат своих в аванзалы и залы графининых палат, штаб-ротмистр переходил от удивления к удивлению. Каждое украшение потолков и стен, каждая мебель обращали на себя его жадное внимание; он не смотрел, а впивался взглядом в прелестные формы олимпийских богинь, в рельефные прелести наяд, разбросанных по карнизам, в позолоченных амуров и в фантастические узоры стен; все видимое казалось штаб-ротмистру игрою сна, грезами разгоряченного воображения; он неоднократно дотрогивался до стен и мебели, чтобы убедиться, что предметы эти не призраки.

Обед графини довершил очарование. Петр Авдеевич ел и не понимал, что ел, пил и не знал, что пил; когда же свежие плоды предстали пред ним точно в таком виде, в каком видал их костюковский помещик во время жаркого лета, он грустно улыбнулся и отвел рукою вазу, поднесенную французом.

— Отчего же вы не хотите сделать чести оранжереям моим, Петр Авдеевич? — спросила графиня.

— Я сыт, ваше сиятельство.

— Но плоды эти очень вкусны, уверяю вас.

— Именно от этого я и отказался от них... Они слишком вкусны для меня; отведав их раз, захочется и в другой.

— Ну, что же за беда; вы будете чаще приезжать ко мне, сосед.

— А долго ли придется приезжать?

— Надеюсь, что долго.

— Все-таки не всегда, не вечно.

— Вечность на земле не существует, Петр Авдеевич.

— Правда,— заметил штаб-ротмистр,— но зато существует тоска, которая, кажется, длиннее вечности, ваше сиятельство.

— Браво! вы философ.

— Прежде я был покоен и доволен судьбою, но, насмотревшись на все это, боюсь, графиня, чтобы изба моя не показалась мне острогом, а щи и каша... да что тут рассуждать, ваше сиятельство! Вот, извольте видеть, на вашем бы месте, доложу вам, я бы не пускал к себе бедных людей; от бедности не далеко, того... и до дурного чего-нибудь...

— Вам за себя бояться нечего,— заметила графиня.

— Знает бог об этом!

— И не поверю я,— продолжала графиня,— чтобы вся эта мишура могла серьезно пленить вас, и может ли быть, чтобы вы не видали ничего лучше?

— Стены случалось видеть, хоть и не совершенно такие, а приблизительно, столы и стулья также, серебра много видел!..

— Что же остается, Петр Авдеевич?

— Что, что! — повторил штаб-ротмистр, воспламеняясь,— не случалось мне, графиня, слышать голоса своего посреди таких стен, и не случалось мне сидеть на такой мебели. Вот чего не случалось! — прибавил штаб-ротмистр, вставая прежде хозяйки.

Это простое выражение мысли, эти немногие безыскусственные слова глубоко врезались в душу знатной барыни. Не жалость и не простое участие к положению гостя, но что-то похожее на то и на другое пробудилось в сердце Натальи Александровны; она не смотрела более на костюковского помещика как на une bête curieuse[1], не улыбалась его кудреватым, степным изречениям, не забавлялась им более.

После обеда графиня просила гостя не женироваться с нею и идти отдохнуть, прибавив, что и она имеет эту привычку.

Петр Авдеевич предпочел посетить конюшню, а главное полюбоваться поближе драгоценным залогом дружбы к нему ее сиятельства.

На пути к длинным каменным строениям, где помещался

[1] занятного зверя *(франц.)*.

конный завод, штаб-ротмистру повстречался низенький, но свежий старичок, в меховой коричневой бекеше с куньим воротником и шапке из бобровых выпорков; старик вежливо поклонился Петру Авдеевичу и отрекомендовал себя управляющим села Графского.

— А позвольте узнать имя и отечество ваше,— спросил штаб-ротмистр, сняв фуражку.

— В Курляндии,— отвечал старик смеясь,— звали меня Готфрид-Иоган Гертман, а здесь трудно показалось мужичкам запомнить настоящее имя, и меня привыкли просто звать Федором Ивановичем.

— Позвольте же и мне называть вас так же.

— Сделайте одолжение.

— Я, Федор Иваныч, иду взглянуть на лошадей ваших, ежели позволите то есть.

— Пожалуйста, лошади хорошие у нас.

— Не то что хорошие, а я и сам служил всю жизнь в кавалерии, а таких встречать не случалось.

— Крови чистой, самой чистой!

— Чего чище? — прибавил штаб-ротмистр,— а слышали ли вы, Федор Иваныч, что ее сиятельству угодно было подарить мне того серого коня...

— Что был давеча в запряжке? — сказал, улыбаясь, немец.

— Да, да.

— Жеребец Горностай.

— А! зовут его Горностаем, Федор Иваныч? — спросил штаб-ротмистр.

— Да-да; родился он у нас от Умного и мистрисс Лемвод три весны назад; покойный граф назначал его к бегу,— конь чудный.

— Скажите мне, пожалуйста, Федор Иваныч, можно ли дарить таких лошадей?

— На то воля графини,— заметил управляющий.

— Положим, воля ее; можно всех раздарить; но первому встречному...

— Разве прежде вы не были знакомы с ее сиятельством?

— Никогда, Федор Иваныч.

— И не встречались?

— И не встречался.

— Странно, очень странно! — заметил управляющий, качая головою,— значит, вы ей особенно понравились.

— И сам не понимаю, за что столько милостей, ума не приложу.

— Между нами сказать,— продолжал Федор Иванович, понизив голос,— у богатых и молодых барынь бывают иногда свои капризы; иному выпадет жребий такой, и не приснится ему, и пойдет и пойдет валить счастие; кто знает, может, и вы... сегодня лошадь, завтра деревушка-другая...

— Что вы там говорите? — спросил штаб-ротмистр, нахмурив брови.

— Я говорю, что кому счастие улыбнется раз, может улыбнуться и десять.

— Уж будьте уверены, что только не мне, Федор Иваныч; поймала графиня раз, говорит: возьми в знак дружбы; отказаться то есть было нельзя; а деревушек дарить не станет, будьте-с покойны на этот счет, Федор Иваныч.

— Тут ничего нет дурного.

— По-вашему, может быть, а по-нашему, извините.

— Графиня так богаты, что ей и тысячи нипочем.

— Пусть при ней остаются ее тысячи; Горностая я взял, правда; буду холить его, кормить, но давай мне за него, кто хочет, тысячу душ, не будь я дворянин, коли подумаю продать. Подарок, так пусть умрет со мною; по крайней мере, в корысти никто не осудит.

Разговаривая между собою, новые знакомцы наши дошли до завода, пересмотрели всех лошадей поодиночке; лучшим приказал Федор Иванович сделать выводку.

Вооружась длинным бичом, штаб-ротмистр распоряжался в конюшнях графини, как бывало у себя в эскадроне; заметив что-нибудь, он гонял конюхов, берейторов, давал им наставления, поверял им разные тайны ветеринарного искусства, и глубоким знанием своим удивил всех конюхов без исключения.

Все наперерыв старались заслужить по своей части одобрение Петра Авдеевича и потому не только не уклонялись от исполнения его желаний, но старались их предупредить.

Когда же очередь дошла до Горностая, штаб-ротмистр, несмотря на предостережение трусливого Федора Ивановича, смело вошел в стойло; конь захрапел и, приложив уши, стал суетиться.

— Он съест вас, берегитесь! — закричало несколько голосов.

— Кого? меня? а вот увидим! — отвечал, смеясь, Петр Авдеевич.

Крикнув на жеребца, он стал оглаживать его сначала по спине, потом по шее, наконец по морде, потом отвязал повод от кольца, и, как старый знакомый Горностая, вывел его преспокойно из стойла, к великому удивлению зрителей.

— Ну, что же ты не ешь меня, зверь ты этакой, разбойник? — проговорил Петр Авдеевич, держа на длинном поводу жеребца, который, как бы понимая ласки своего нового повелителя, плясал и заигрывал с ним, оскаливая зубы и расширяя ноздри.— Ну, что же ты? ешь! пора бы, кажется. То-то, ребята,— продолжал штаб-ротмистр, обращаясь к конюхам,— не так умен человек, как чуток конь; покажись ему трусом, нос откусит, как пить даст; подойди же к нему молодцом да задай острастку на первый случай, небось поймет, бестия!

— Как не понять, поймет поневоле, живот не глупый,— отвечали в толпе, окружавшей отважного штаб-ротмистра.

— Вашей милости и владеть конем таким,— заметил один из старших наездников, плечистый и рослый малый с окладистою, черною, как смоль, бородою,— и с конем расстаться не жаль нашему брату.

— Спасибо, брат, за доброе слово! — отвечал штаб-ротмистр,— а как между людьми хорошего дела не делается без спрыску, так отведи ты мне коня в Костюково, а за уздечкою не постою, братец, и ребят всех попотчуешь.

— Много довольны милостию вашею, Петр Авдеич,— закричали конюхи в один голос,— подобру да поздорову ездить вам на Горностае-то нашем и не изъездить его во веки веков.

— Да будет по-вашему, ребята!.. теперь же поставьте коня! на дворе-то смеркается, и нам пора, Федор Иваныч; вы не зайдете к ее сиятельству?

— Зачем же мне беспокоить их? — отвечал управляющий.— За приказанием являюсь я поутру.

— А вечерок посидеть бы вместе.

— Как это посидеть?

— Ну, просто, Федор Иваныч, как сидят вечера; чай, графине одной скучно; посторонний человек и скажет что-нибудь, и все такое.

— У нас этого не водится,— прошептал, улыбаясь,

старик,— вы гости, другое дело, а нашему брату нейдет проводить вечера с графинею; прикажут они позвать, явлюсь; без приказания, зачем нам? беспокоить всякому не приходится.

— Стало, вы налево, а я направо, почтенный Федор Иваныч?

— А уж так, что я налево,— отвечал управляющий, снимая шапку и низко кланяясь.

— Прощайте же, прощайте!

— Доброго вечера желаю...— повторил немец, отходя с наклоненною головою от костюковского помещика, который, внутренно гордясь преимуществами своими в доме ее сиятельства, направил стопы к главному подъезду дворца.

Слуга доложил Петру Авдеевичу, что ее сиятельство приглашает его на малую половину.

— А где же эта малая половина? — спросил штаб-ротмистр.

— С другого подъезда,— отвечал слуга,— угодно, я провожу вас?

— Сделай, братец, одолжение!

Слуга обвел гостя кругом главного корпуса и, отворив небольшую дверь решетки сада, указал Петру Авдеевичу на ряд ярко освещенных окон нижнего этажа и на небольшое каменное крылечко, примыкавшее к окнам.

Малая половина графини состояла из нескольких комнат, устроенных под сводами, отделанных и убранных в последнем вкусе. По гладким стенам, обтянутым обоями, висело множество картин современных школ; все они дышали свежестью и легкостью колоритов; в промежутках картин пестрелись гипсовые группы; по углам горки с цветами. В самой отдаленной от входа комнате, в большом мраморном камине пылал огонь, а против огня, у круглого рабочего столика, сидела Наталья Александровна и читала, когда вошел штаб-ротмистр.

— Как у вас и здесь хорошо,— сказал Петр Авдеевич, оглядываясь во все стороны.

— Я очень люблю этот уголок,— отвечала графиня, откладывая книгу.

— Кто же бы не полюбил?

— А знаете ли, Петр Авдеевич, что эта самая часть дома два года назад занята была кладовыми и погребами. Кто же бы поверил этому теперь...

— Зная коротко ваше сиятельство, почему же бы и не поверить,— заметил Петр Авдеевич.

— Но превращение это сделала совсем не я.

— Кто же-с?

— Покойный муж мой; усадьба принадлежала ему, но, я, право, не знаю почему, он не любил ее.

— Вот это уж странно, ваше сиятельство.

— Вероятно, отдаленность от Петербурга пугала его. К тому же в его годы не любят, обыкновенно, ни дурных дорог, ни одиночества.

— Каких же лет был покойный граф?

— Мужу моему было более шестидесяти пяти.

— Может ли быть-с?

— Ежели не семьдесят,— прибавила, улыбаясь, графиня.

— И ваше сиятельство решились выйти за такого старика?

— Я была с ним очень счастлива, Петр Авдеевич.

— Не смею не верить, а странно!

— Граф был умен, добр и любил меня очень; для супружеского счастия больше ничего не нужно, полагаю. Вы же почему не женитесь, сосед?

— Ах, ваше сиятельство, в нашем быту вещь эта куда мудреная; сам беден, да возьмешь бедную жену, пойдут маленькие, жизнь проклянешь.

— Поищите богатую невесту.

— А где ее найдешь? И найдешь, ваше сиятельство, неволя ей идти за такого, как я, например.

— Вы слишком скромны, сосед; и в столицах очень часто бедные люди делают блестящие партии, сколько примеров знаю я!

— Бедные, согласен, да бедные эти будут пообразованнее, то есть повоспитаннее меня, ваше сиятельство... и по-французски говорят, и кое-что читали, так, если приоденется да приедет в дом, никому и невдогад, что молодцу дома и перекусить нечего; а мы, ваше сиятельство, только взглянуть на нас, так и виден медведь, если не хуже.

— Никто не мешает вам, Петр Авдеевич, выучиться говорить по-французски, ежели только вы находите это необходимым,— сказала графиня,— это зависит от вас.

— Зависит от меня?

— Конечно; человек с вашим характером достигнет всего, если только твердо захочет.

— Вы не шутите, ваше сиятельство? — спросил Петр Авдеевич.

— Поверьте, нет.

— И ежели бы я только захотел то есть выучиться по-французски...

— Вы бы в самое короткое время стали понимать все, а следовательно, и читать.

Штаб-ротмистр крепко задумался.

На следующее утро, едва солнце позолотило первым лучом своим верхушки дерев и металлические кресты церквей уездного города, как в заставу этого города внеслась уже тройка Петра Авдеевича.

— К городничему, что ли? — спросил Тимошка, оборотившись к барину.

— Нет, нет,— отвечал штаб-ротмистр, оглядываясь кругом,— а как бы то... узнать, где живет тот... как бишь его зовут-то? Лукьян, или нет, Дмитрий Лукьяныч, кажется.

— Смотритель, что ли?

— Ну да, да, да, а ты его знаешь?

— Над училищем что заведует?

— Так, так.

Не отвечая ни слова, Тимошка повернул лошадей вправо, выехал на площадь и, не доезжая дома городничего, обогнул аптеку и пустился вдоль узкого переулка по направлению к ручью.

Штатный смотритель жил на самом живописном месте города; трехоконный дом его, подгнивший снизу и искривленный набок, как бы воткнут был в исходящий угол вала, висевшего над грязною пропастью; перед домом расстилались огороды, испещренные кучами тех веществ, которые внушают невольное отвращение; местами виднелись красноватые остовы падших животных всякого рода, над которыми трудились пестрые стаи одичалых собак; не редко случалось хозяину дома замечать близ самых ворот своих свежие следы волков, но, не имея страсти к охоте, штатный смотритель не обращал на них никакого внимания.

— У себя Дмитрий Лукьяныч? — спросил штаб-ротмистр, с трудом поднимаясь по извилистой тропинке, соединявшей улицу с калиткою дома.

Вопрос этот был сделан Петр Авдеевичем женщине, не

совсем старой, не совсем опрятной и не совсем обутой, тащившей за собою из калитки санки, нагруженные не совершенно чистым бельем, прихваченным морозом; на белье сидела девочка, лет трех, в нагольном тулупчике, красном клетчатом платке на кудрявой белокурой головке и с страшною нечистотою под носом.

— Ходитсё, у дому, у дому,— отвечала женщина, посторонясь, чтобы дать гостю место пройти.

Петр Авдеевич осторожно перелез чрез высокий порог калитки, прошел по доске узкий дворик, заставленный развалинами, и вскарабкался на высокое, сырое и животрепещущее крыльцо; из сеней вылетели ему навстречу две испуганные курицы, а в прихожей встретил его сам хозяин, в ситцевом, коротком, изношенном халате и каких-то суконных башмаках.

Пораженный появлением у себя ненавистного человека, штатный смотритель вытаращил на него глаза и не нашел что сказать.

Заметив впечатление, произведенное прибытием своим, штаб-ротмистр улыбнулся и начал речь извинением, что беспокоит так рано хозяина, но обстоятельства и покорнейшая просьба, которую имеет объяснить...

— Просьба! у вас, ко мне? — спросил Петра Авдеевича смотритель.

— Точно так, Дмитрий Лукьяныч, и очень важная.

— Милости просим в кабинет,— прибавил хозяин, указывая на дверь в единственный покой свой, не совершенно похожий на кабинеты вообще. Кабинет штатного смотрителя заключал ольховую кровать, покрытую овчинным тулупом, стол, обитый кожей, и черный деревянный диван, ничем не обитый.

— Желал бы я-с получить от вас некоторые сведения, Дмитрий Лукьяныч,— начал Петр Авдеевич, войдя в кабинет.

— Какого рода прикажете?

— По должности, которую вы занимаете,— продолжал штаб-ротмистр,— вам должно быть небезызвестно, каким способом преподается французский язык?

— Фран-цуз-ский язык? — протяжно повторил штатный смотритель.— А вам на что эти сведения?

— Крайне то есть нужно.

— Но французский язык преподается просто.

— Как просто?

— Просто-с.

— Как же именно просто?

— Французский язык преподается, как всякий язык, у нас, в училище.

— Ну, как русский, например? — спросил Петр Авдеевич.

— Ну, нет-с, не совсем так; однако же приблизительно; ученикам задается-с урок, и ежели ученик не знает, то, сообразно с уставом уездных училищ, ему...

— Вы не совсем поняли меня,— перебил гость,— я желал бы знать, легок ли способ преподавания и надежен ли учитель вашего училища; вот что мне крайне интересно.

— Учитель? учителя я знаю коротко и могу сказать, что добрый и честный человек; беден, это правда, впрочем, когда бы ни зашел к нему, найдешь рюмку водки и закуска найдется; жена у него хозяйка.

— А кто он?

— Учитель?

— Да.

— Он, бог его знает, кто такой и откуда, а кажется, иностранец, выговор, знаете, не совсем чистый: картавит и не выговаривает многих слов, даже иногда, знаете, смешно делается, когда слушаешь.

— А согласился ли бы он, Дмитрий Лукьяныч, научить французскому языку?

— Кого же это?

— Да уж там все равно.

— Уж не Пелагею ли Власьевну? — заметил смотритель насмешливо.

— О нет, я давно не был у них, и бываю-то редко.

— Давно ли ж это, Петр Авдеич?

— Довольно давно.

— Не поссорились ли?

— Нет, а так, времени нет.

— Новость, коли правда.

— Ей-богу, не лгу, как-то не случается; а познакомив меня с учителем, вы то есть крайне одолжили бы меня, Дмитрий Лукьяныч.

— С большим удовольствием, ничего нет легче,— отвечал вполовину успокоенный смотритель,— хотите, сию минуту пошлю за ним.

— Очень обяжете.

— Сейчас пошлю; он живет с аптекою на одном дворе. Кстати, послать кучера вашего, он мигом слетает; хотите, я растолкую ему адрес? а вы покурите покуда трубочку; табак в столе, без церемонии; вы потрудитесь набить сами, а то людей всех разослал, один сижу.

Послав сани штаб-ротмистра за французским учителем, штатный смотритель возвратился в кабинет свой и издалека завел речь сначала о городничем, потом и о Елисавете Парфеньевне.

— А у нас, в городе, слухи пронеслись было, что в семействе Тихона Парфеньича затевается свадьба,— сказал Дмитрий Лукьянович.

— Не слыхал; не из дочерей ли какая выходит замуж? — спросил рассеянно штаб-ротмистр.

— Уж будто и не знаете, про кого я хочу сказать, Петр Авдеич?

— По совести, не знаю.

— Полно, полно!..

— Ей-же-ей, не знаю и не слыхал ни от кого.

— Небось не были ни разу у Кочкиных-с?

— Быть у них был, бывал и часто; о свадьбе же не говорили.

— Прошу покорно верить вестям; намедни Андрей Андреич уверял достоверно, что и девичник справили.

— Чей же это?

— Пелагеи Власьевны, а знаете ли с кем?

— Понятия то есть не имею...

— Побожитесь!

— Честью уверяю.

— Экой же он вральман, этот старый! как же таки так врать! и вы не сватались даже, Петр Авдеич? — спросил радостно смотритель.

— Я?

— Вы!

— Рехнулся, видно, ваш Андрей Андреич?

— Неужто и в помышлениях у вас не было?

— В помышлениях, правду сказать, не то чтобы не было, да подумал хорошенько...

— Что же, что же?

— То, что, как подумал, знаете, хорошенько, и раздумал.

— Ей-богу?

— Ей-богу,— повторил штаб-ротмистр.

— И так-таки совсем себе раздумали? — спросил Дмитрий Лукьянович, не смея верить благополучию своему.

— Совершенно то есть раздумал, и сами рассудите, какая стать? В женитьбе не полагаю счастья без достатка; на Лизавету Парфеньевну надежда плоха, и свистать придется.

— Истинно свистать пришлось бы, Петр Авдеич.

— Этого, доложу вам, я и боялся.

— Ай да Андрей Андреич, ай да правдивый человек! Вот как посмеюсь над ним, попадись только на глаза,— повторил штатный смотритель, которому эта весть возвратила все утраченные им надежды.

Убедясь, что штаб-ротмистр не соперник ему, Дмитрий Лукьянович расцеловал бы его с горячностью, но ему казалось это неловко; кто мог знать, не вздумалось бы костюковскому помещику одуматься; тогда, раз изменив себе, смотритель не в состоянии бы был поправить дела.

Привезенный Тимошкою учитель французского языка оказался не иностранцем, а просто картавым малым, лет тридцати пяти, с рыжими волосами и с веснушками на лбу и носу; сюртук учителя, застегнутый на все пуговицы, то есть на одну среднюю, свидетельствовал о совершенном отсутствии не помочей, но жилета; исподнее платье преподавателя и обувь, одинаково лоснившиеся, соответствовали сюртуку и представляли обладателя их чем-то очень похожим на грязного лакея.

Предложение штаб-ротмистра: учить французскому наречию одного, как говорил Петр Авдеевич, из его родственников — принято было рыжим господином только что не со слезами благодарности; он передал ему, картавя, все подробности своей системы, взялся за пять рублей ассигнациями снабдить нового ученика всеми потребными книгами и готов был присягнуть, что ученик меньше чем в два месяца так же хорошо будет знать по-французски, как он сам.

— Сами же вы где научились? — спросил у него штаб-ротмистр.

— Я-с? в газных местах,— отвечал господин,— и выговог от пгигоды поючий погадочный.

Решено было, что учитель отправится с Петром Авдеевичем в деревню на все святки, а по прошествии их, каждую середу будет за рыжим господином приезжать лошадь и отвозить его в город в воскресенье. В плате за уроки уговориться было не трудно штаб-ротмистру; преподаватель согласился получать и деньгами, и провизиею, и даже дровами.

В Костюкове только сознался учителю своему Петр Авдеевич, что учеником французского языка будет он сам, а что не хотел он сказать этого при Дмитрии Лукьяновиче, потому что Дмитрий Лукьянович большой болтун и стал бы звонить о том по всему городу.

Первый приступ показался Петру Авдеевичу не то чтобы трудным; азбука походила на русскую и склады тоже немного; но чем далее погружался он в науку, тем дело казалось ему замысловатее, и, не поддержи его мысль, что в скором времени он в состоянии будет заговорить с графинею по-французски, быть бы рыжему господину без костюковской провизии и без дров.

А между тем и Горностая привел чернобородый графский наездник в Костюково, с запискою от ее сиятельства, в которой ее сиятельство пеняла Петру Авдеевичу за скорый отъезд и приглашала посещать ее чаще, прибавляя, что ей одной очень скучно в Графском. Записку эту перечитывал штаб-ротмистр по двадцати раз на день, отчего и потемнела она значительно.

— Уж не скатать ли нам в Графское? — спрашивал частенько у Тимошки костюковский помещик.

— Скатать можно, барин,— отвечал обыкновенно Тимошка.

Наступил канун нового года, и Тимошке отдан был решительный приказ изготовить тройку к послеобеду.

Было восемь часов вечера, когда в гостиную графини вошел раскрасневшийся от стужи костюковский помещик. Завидев его, графиня вскрикнула и, в испуге, чуть не упала с кресла.

— Не бойтесь, ваше сиятельство,— воскликнул Петр Авдеевич смеясь,— я явился к вам с подарком на новый год, да только не с живым, а с мертвым.— Говоря это, Петр Авдеевич снял с плеч своих пребольшого и прежирного волка.

— Что это за чудовище? — спросила графиня с любопытством и боязнию.— Где вы его достали?

— Только что не на дворе вашем, ваше сиятельство; вышел день такой: не ленись я стрелять, волка бы четыре привез вам.

— Так это волк?

— Он самый, ваше сиятельство, и матерый; подержись стужа, скоро за ними проезда не будет; представьте себе: что лощина, то волк, а смелы как, варвары! бегут себе пред коренной, горюшка мало, будь только поросенок...

— Зачем же поросенок?

— Ах, ваше сиятельство, это любезное дело, с поросенком, в особенности в эту пору; они, доложу вам, то есть волки, бегаются теперь, так, попади только в волчиху, всю стаю перекатаешь чисто; уйдет разве шальной какой. Конечно, будь ружье надежное.

— Ружье? — возразила графиня.— Ружья должны быть здесь в доме; точно, мне говорили о каком-то арсенале.

Графиня позвонила и приказала вошедшему слуге спросить управителя, где хранятся оружия, о которых она как-то и от кого-то слышала.

Слуга доложил графине, что есть во флигеле целая комната, наполненная всякого рода оружием.

— Хотите посмотреть и выбрать для себя, что вам понравится? — сказала Наталья Александровна штаб-ротмистру.— А ежели найдется довольно хорошее,— прибавила графиня,— то мы можем сегодня же испытать его.

— Как, ваше сиятельство, вы бы решились ехать на волков? — воскликнул изумленный штаб-ротмистр.

— Решаюсь с большим удовольствием, Петр Авдеевич, только не иначе как с вами.

— И, ваше сиятельство, не боитесь?

— Повторяю вам, что не боюсь ничего; в деревне надобно пользоваться всеми удовольствиями, а ежели к удовольствию присоединяется опасность, тем лучше; мы испытаем ее.

— А едем, так едем, ваше сиятельство; опасность будет или нет, а волки будут, и не будь я Петр Авдеевич, ежели не привезем их полости на две.

Штаб-ротмистр взвалил себе снова на плеча принесенного волка и, оставив его в прихожей, отправился во фли-

гель выбирать ружье; мимоходом он отдал приказ людям приготовить розвальни, тройку смирных лошадей, поросенка и кулек с длинною веревкою.

В графском арсенале нашел штаб-ротмистр не только множество ружей всех наций мира, но и большое количество холодного оружия, как-то: турецкие ятаганы, персидские и черкесские шашки, дамасские кинжалы всех возможных форм и величин. Глаза Петра Авдеевича разбежались при виде богатства, рассыпанного по рукояткам и эфесам восточного оружия; перетрогав каждую вещь порознь, он обратил главное внимание на ружья; некоторые из них показались Петру Авдеевичу ненадежными: ружья эти были легки и вовсе без украшений; может быть, знаток предпочел бы именно эти всем прочим, но штаб-ротмистр выбрал одно повальяжнее; на стволах его искусною рукою вычеканены были олени с рогами, птицы, похожие на бекасов, лягавые собаки на стойке, и, наконец, изображалось ветвистыми буквами имя привилегированного мастера Курбатова; с ним-то и возвратился штаб-ротмистр в гостиную.

После чаю, m-r Clément пришел доложить ее сиятельству, что сани у подъезда.

— Ваше сиятельство, не раздумали? — спросил штаб-ротмистр.

— Напротив,— отвечала графиня,— чем темнее делается ночь, тем страшнее подумать о волках, и потому тем с большим удовольствием я еду.

— Но извольте одеться потеплее.

— Я холода не боюсь.

— Однако, ваше сиятельство, хотя ветру и нет большого, а морозит на порядках.

— Едем,— сказала графиня, вставая.

Француз подал ей горностаевую шубку, соболий капишон, муфту, портсигар, меховые башмаки и шубу. Прежде чем успел Петр Авдеевич зарядить два ружья, Наталья Александровна сидела уже в розвальнях, запряженных тройкою. Пересадив Наталью Александровну спиною к кучеру, штаб-ротмистр спросил ее, не угодно ли ей взять когонибудь с собою, но, получив ответ: «Зачем?», приказал кучеру трогать.

— Ба, да это ты, Тимошка? — воскликнул Петр Авдеевич, узнав в кучере своего верного служителя.

— Небось, барин, поверил бы я барыню-то кому дру-

гому? — отвечал Тимошка, снимая шапку.— На грех мастера нет; нападет зверь, так как бы иногда не струсил другой, да не наделал беды.

— А ты не боишься ничего? — спросила не совершенно твердо графиня, которую замечание Тимошки обдало холодом.

— Бог милует, матушка графиня, авось справимся, и вашу милость не выдадим; будь мы вдвоем с барином, и не подумал бы, кажется, а...

— Если бы не подумал с барином, так не думай и со мной, мой друг,— отвечала графиня.— Петр Авдеевич,— прибавила она,— поедемте в самое дикое место.

— Вы, ваше сиятельство, не извольте только говорить громко. Зверь хитер, услышит, пожалуй, не пойдет,— отвечал штаб-ротмистр, понизив голос,— а ты, Тимошка, прибавь ходу, да, объехав ляда, что у речки, спустись в низину да держись левой стороны; тут самый переход и есть.

— Знаем-с,— отвечал Тимошка, стегнув лошадей.

Ночь была темна, луна скрылась и, сливаясь с небом, представляла взорам ехавших одну темную, непроницаемую полосу. Лошади бежали рысью, усадьба осталась позади; снег скрипел под санями, и лишь изредка встречалась им то черная, неподвижная сосна, то одинокий пень, то темною грядой на белом поле стоял безлиственный ряд кустов.

Глубокое молчание, царствовавшее как в природе, так равно и в розвальнях, привело графиню в невольный трепет, но, вспомнив о Петербурге и дрожа всем телом, она улыбалась при мысли о том, что сказали бы обожатели ее и чопорные дамы, если бы волшебный лорнет мог указать им, что она сидит в крестьянских дровнях, в обществе Петра Авдеевича и кучера его Тимошки, в глухую декабрьскую ночь, среди пустых полей и лесов, наполненных волками; сколько эпиграмм внушила бы она столичным поэтам, сколько злых улыбок вызвала бы она на уста светских женщин, и в то же время как бы позавидовали ей те же самые женщины и Петру Авдеевичу те же самые поэты!

— Теперь ступай тише, Тимошка,— проговорил штаб-ротмистр, выкидывая из саней привязанный на длинной бечевке кулек, набитый сеном.

— На что это? — тихо спросила графиня.

— Это, ваше сиятельство, для того, чтобы приманить зверя,— отвечал так же тихо Петр Авдеевич.— Услышав

крик поросенка, которого я стану потискивать, волки бросятся за нами вслед и, увидя куль, сдуру примут его за самого поросенка.

— Но вы не сделаете ему вреда?

— Кому это? поросенку?

— Да!

— О нет, ваше сиятельство, ведь я только легонько пожму ему ногу; пусть себе похромает день-другой, и жив останется, ручаюсь вам; вот извольте замечать теперь по правой стороне, а я буду смотреть налево; место надежное, вот и тропы пошли в гору; если же, ваше сиятельство, увидите огоньки или самого волка, то извольте только легонько толкнуть меня, но ни слова!

— Боже мой, как это весело! — прошептала графиня голосом, дрожавшим от страха.

— Еще как весело будет, погодите, ваше сиятельство,— прибавил едва слышно штаб-ротмистр.

Сани в это время поровнялись с мельницею; оставив ее вправе, они стали спускаться в низину, пролегавшую между молодым и частым сосняком. Лошади шли шагом; поросенок, пожимаемый ногами Петра Авдеевича, изредка оглашал окрестность пронзительным, жалобным криком своим, а куль, следовавший за санями на расстоянии двадцати шагов, прыгал во все стороны и, цепляясь иногда за отдельно стоявшие кустики, делал большие скачки.

— Уж не холодно ли вам, ваше сиятельство? — спросил штаб-ротмистр, нагнувшись к графине.— Вы, мне кажется, изволите дрожать.

— Нет, но мне страшно немножко, Петр Авдеевич,— отвечала графиня,— и ежели бы вы позволили прислониться к вам, то, мне кажется, я бы меньше боялась.

— С великим удовольствием, Наталья Александровна, извольте сесть, как вам только угодно будет.

Штаб-ротмистр помог графине податься несколько назад, а сам поместился к ней так близко, что левый бок его сделался ее опорою.

То, что чувствовал Петр Авдеевич от легкого прикосновения ее сиятельства, превосходило всякое блаженство; он согласился бы не переменять положения во всю жизнь.

— Теперь ловко вам, ваше сиятельство? — спросил он, и слово «очень» произнеслось устами графини над самым его ухом. Петр Авдеевич забыл про волков, про Пелагею Влась-

евну, про ружье свое, даже про поросенка, который пользуясь рассеянностию штаб-ротмистра, прервал дикую свою песню и, притаясь в мешке, стал изредка похрюкивать. Но вдруг в темном углу сосняка мелькнуло несколько двойных фосфорических огоньков; их не заметил бы Петр Авдеевич, не заметила бы графиня, наблюдавшая за противоположною стороною, но заметил их кучер Тимошка; подобрав вожжи, он концом кнута своего легонько дотронулся до барина.

Штаб-ротмистр вздрогнул.

— Берегите слева,— шепнул ему Тимошка.

Забыв на этот раз самую графиню, Петр Авдеевич давнул ногою поросенка и, схватясь за ружье, согнулся так низко, что голова его коснулась колен.

Едва крик животного раздался из мешка, как три волка одним прыжком очутились шагах в двадцати от куля.

— Вот они, вот они! — радостно крикнула графиня.

— Тише, ваше сиятельство!

— Ах, виновата, совсем забыла, но что же вы не стреляете, Петр Авдеевич? вот видите ли, они уходят... ах, как досадно!..

Волки действительно скрылись в опушку; подняв голову, штаб-ротмистр, не без досады, сделал графине строжайший выговор и заключил его тем, что ежели ее сиятельство и впредь станет кричать так громко, то лучше воротиться домой, а таким образом охотиться нельзя ни под каким видом.

Чувствуя себя виноватой, Наталья Александровна каялась от всей души и, взяв Петра Авдеевича обеими ручками своими за руку, так мило испрашивала у него прощения, что Петр Авдеевич наконец великодушно простил Наталью Александровну, и охота началась снова.

Не знаю, одарены ли волки способностию сообщать друг другу грозящие опасности, но на расстоянии десяти следующих верст, хотя голос поросенка и не умолкал ни на минуту, хотя фосфорические огоньки и светились порою в чаще опушек, но ни один зверь не выбегал на дорогу и не приближался к саням.

Ножки графини озябли до того наконец, что она принуждена была сознаться в том Петру Авдеевичу, который, без церемонии, отыскал их в складках шубы ее сиятельства и, переложив к себе под шинель, стал тереть так усерд-

но, что не прошло и получаса, как ножки свои заменила графиня ручками, и ручки оттер Петр Авдеевич.

За час до рассвета возвратились с неудачной охоты и хозяйка, и гости села Графского, промерзшие до костей.

Штаб-ротмистр хотя и говорил нескладно, но не променял бы ночь эту ни на какие другие.

Графиня, отогревшись у камина, начала смеяться и во время ужина, поднося Петру Авдеевичу бокал с шампанским, поздравила его с наступившим новым годом и объявила решительно, что намерена ездить за волками каждую ночь.

Слушая и смотря на ее сиятельство, за неимением поэтов и чопорных столичных дам, улыбался, и даже зло улыбался, один monsieur Clément, бывший камердинер покойного графа; но что думал он в это время, то знал один он.

Петр Авдеевич, войдя в свою комнату, погасил свечу, которая была не нужна, потому что на дворе стало светло.

День нового года, значительно сокращенный долгим сном, показался, однако же, графине порядочно скучным. Петр Авдеевич, незаменимый во время катаний и волчьих охот, не имел в особе своей ничего такого, что заставило бы Наталью Александровну позабыть петербургские causeries[1]. Впрочем, с гостем своим не церемонилась графиня; признавая в нем доброго и не бессмысленного человека, она была уверена, что благосклонность ее к нему не возбудит в Петре Авдеевиче никакого дерзновенного чувства; дерзновенным назвала бы графиня всякое сердечное чувство ничтожного помещика к ее сиятельству. Самая мысль о возможности быть любимою штаб-ротмистром не приходила на ум графине; нужно же было что-нибудь делать в селе Графском; сидеть одной? — тоска; читать? — на чтение употребляла Наталья Александровна по два часа в день. Завести круг знакомства? — в уезде с кем, например? С Кочкиными? с городничим, с штатным смотрителем? Такая идея и не могла коснуться ума графини, а следовательно, и Петр Авдеевич, так нечаянно ниспосланный судьбою, был истинный клад для села Графского; он же, сверх бескорыстия и доброты, обладал редким в уездах качеством: был человеком без всяких претензий. Скажи ему графиня: «Петр Авдеевич, вы сегодня мне надоели, подите

---

[1] светские разговоры *(франц.)*.

спать, но с завтрашнего числа не ложитесь целую неделю», и Петр Авдеевич почел бы себе за счастие выполнить волю ее сиятельства, потому что, с первого взгляда на ее сиятельство, он перестал думать о себе, о Пелагее Власьевне, о Костюкове, короче, обо всем, кроме графини Натальи Александровны, и когда на новый год графиня сказала ему: «Сосед, надеюсь, что вы ближе недели не уедете от меня?» — штаб-ротмистр пробыл ровно неделю в селе Графском и, уезжая из него, проклинал и Костюково, и самого себя. По несчастию, костюковский помещик не догадался ни разу спросить себя: «Что ты именно чувствуешь к графине? простое расположение, дружбу ли, наконец уже не то ли, что называют любовью? а ежели чувство твое к ней да последнее, к чему поведет оно тебя? какие надежды питаешь ты, добрый, честный, но не полированный помещик ста двадцати душ, любя ее сиятельство? или ты веришь сочетанию богинь с пастухами? Нет, почтеннейший Петр Авдеевич,— сказал бы он сам себе,— ты возвратись в Костюково и начни снова ездить к Кочкиным, потому что Пелагея Власьевна любит тебя от всего сердца, а ее сиятельство даже не делает тебе чести включать особу твою в тот разряд людей, которых в ее кругу называют противоположным ей полом, то есть мужчинами». Но не того мнения был уезд и даже городничий.

Тихон Парфеньевич родился в ту эпоху, где женщины с десятью тысячами душ предпочитали нередко здоровых мужей всему прочему, и, по его соображениям, милости графини, о которой, впрочем, он не имел никакого понятия, не могли не иметь оснований положительных. В этом предположении утвердили Тихона Парфеньевича: во-первых, частые поездки штаб-ротмистра в село Графское; во-вторых, жеребец Горностай; в-третьих, ночные катанья en tête-à-tête[1] с Петром Авдеевичем и, в-четвертых, новая, неслыханная милость графини к счастливцу, костюковскому помещику. Последнее обстоятельство обнаружилось следующим образом.

Однажды (это было в конце января), вызванный снова графинею, штаб-ротмистр объявил ей, между прочим, в виде любезности, что Костюково так кажется ему и скучным и грязным после села Графского, что при одной мысли

[1] вдвоем *(франц.)*.

зажить в нем безвыездно по-прежнему он чувствует то есть просто тошноту.

Слушая Петра Авдеевича, Наталья Александровна невольно вспомнила о костюковской гостиной, о зале, о мебели, о кривых полах, о той гримаске, которую сделала она невольно при виде костюковской парадной половины, и, завязав украдкой на платке своем узелок, переменила разговор и предупредила штаб-ротмистра, что на этот раз не отпустит его домой ближе двух недель. Когда же после первого обеда Петр Авдеевич, по обыкновению своему, отправился всхрапнуть, графиня потребовала к себе управляющего. Федор Иванович не замедлил явиться.

— Скажите мне, пожалуйста, господин Готфрид,— сказала Наталья Александровна,— присланы ли были к вам из Петербурга обои для того домика, что в парке?

— Как же, ваше сиятельство, я получил их два года тому назад, вместе с мебелью и прочими вещами,— отвечал управляющий.

— И мебель есть? как я рада!

— Прислана была и материя для обивки, ваше сиятельство.

— Бесподобно, а где же это все?

— Сохраняется в теплых кладовых, ваше сиятельство.

— Могу я видеть?

— Когда приказать изволите?..

— Сию минуту, господин Готфрид,— отвечала графиня.

Немец пошел за ключами, а графиня накинула на себя мантилью, позвала monsieur Clément и, в сопровождении его, отправилась в теплые кладовые графского дома.

В тот же вечер перенесены были из кладовых в домик парка: часть привезенной из Петербурга мебели, ящик с обоями, кипа ковров и много других предметов, тщательно уложенных в ящики и зашитых клеенкою.

В ту же ночь к противоположной стороне парка подъехало несколько крестьянских саней в одиночку и несколько пошевней, запряженных тройками. В первые уложили мебель и прочие вещи, на вторые поместились разного рода мастеровые, а к свету и след их замело снегом.

В последующие дни графиня была весела как дитя; Петр Авдеевич превзошел себя в изобретении новых удовольствий; он устроил в саду ледяную гору, на пруду рысистый бег и скачку тройками, в поле охоту на куропаток, и только

в комнатах, по вечерам, оказывалось воображение его совершенно бесплодным; зато в это время приходила к нему на помощь графиня, которая то учила штаб-ротмистра петь русские романсы, то играла с ним в дураки, короче, делала в свою очередь все, чтобы сократить гостю самую скучную для него часть дня.

Промчались и эти две недели восхитительно для штаб-ротмистра и не совсем скучно для графини; наступил вечер отъезда костюковского помещика; он с стесненным сердцем воссел на сани свои и пасмурный, как темная ночь, помчался в Костюково, Колодезь тож.

Много названий дают люди сердечным чувствам нашим, но к настоящему чувству, господствовавшему в сердце Петра Авдеевича, не подошло бы ни одно из этих названий; преданность его к Наталье Александровне выросла так высоко, что в разлуке с графинею он не считал себя более в живых; вся прошедшая жизнь его как бы не существовала: штаб-ротмистр не возвращался мысленно назад; настоящее употреблял он в селе Графском, на изобретение забав для графини, а о будущем и думать не смел; оставались для него промежутки, или те дни, те мучительные дни, которые принадлежали Костюкову, промежутки эти, все-таки ради графини, посвящал Петр Авдеевич на искажение французского наречия, на наполнение собственной памяти такими словами, которые мог понимать разве один он да рыжий господин, его учитель, и то потому только, что не произносил четвертой части букв.

«Что бы стоило, кажется, Костюкову сгореть дотла»,— думал сам про себя штаб-ротмистр, подъезжая к усадьбе своей,— тогда я мог бы, придравшись к этому, погостить подолее у графини».

Но бедный костюковский домик не только не разделял желаний своего обладателя, а блестел издали, словно цветной фонарик.

— Барин, а барин! — произнес наконец молчавший во всю дорогу Тимошка,— мне мерещится, что в доме-то нашем неладно!

— А что ты видишь?

— Больно светло в нем, поглядите-ка на окнах какой свет; кому бы, кажется, тешиться без нас?

— Не поджег ли чего спьяна Ульяшка? — заметил хладнокровно Петр Авдеевич.

— Нет, барин, на пожар не походит; поджег бы Ульяшка, гореть бы дому одним огнем, а то, извольте сами взглянуть: в одних окнах синее пламя, в других алое, чудно что-то! Уж не чертовщина ли какая? с нами крестная сила!

— Кой прах, ведь точно синеется что-то в зале,— проговорил штаб-ротмистр, пристально всматриваясь в окна своего домика,— пошел же поскорее! доедем, увидим.

Тут пробежавшая роща скрыла на время и усадьбу Костюкова, а чрез минуту страх Тимошки превратился в удивление, а недоразумение господина его в какое-то неизъяснимое чувство, отчасти восторженное, а отчасти грустное.

Бедное жилище покойного Авдея Петровича преобразовалось, как бы волшебством, в прекрасное, даже роскошное жилище холостого человека; недавно черноватые стены, испещренные щелями, покрылись разноцветными бумажками; место кривых стульев и треногих диванов заменила покойная, мягкая мебель; стены увесились картинами, изображавшими всевозможные охоты, а в кабинете своем нашел Петр Авдеевич часть графского арсенала; зажженные карсели разливали в комнатах тот яркий свет, который принят был Петром Авдеевичем за пожар, причиненный пьяным Ульяшкою, а Тимошкой за чертовщину.

Остановясь у порога залы, Петр Авдеевич взглянул на происшедшие в домике его чудеса и вздохнул глубоко. Потом, пройдя медленными шагами весь не длинный ряд своих комнат, он в кабинете увидел знакомое оружие и, вздохнув вторично, сел в кресла; в это время следовавший за ним Кондратий Егоров подал ему письмо. Петр Авдеевич, все-таки молча, распечатал пакет и прочел следующие строки:

«Ежели каприз мой приведет соседа и друга моего в негодование, то требую, чтобы он немедленно явился ко мне для объяснения.

Наталья Белорецкая».

Штаб-ротмистр поцеловал украдкою записку графини, положил ее в карман и, найдя в кабинете своем все нужное для письма, принялся отвечать; ответ Петра Авдеевича был и короток, и далеко не замысловат: написал он его без предварительных соображений; вот он:

«Ваше Сиятельство!

На капризы негодовать долго нельзя: они скоро проходят; но то, что чувствую я, отвечаю вам, едва ли пройдет когда-нибудь».

Этот ответ повез в село Графское кучер Тимошка; а привез он штаб-ротмистру приказ ее сиятельства не забывать ее надолго.

Оставим на время и село Графское, и Костюково, и графиню с Петром Авдеевичем, а заглянем в давно забытое нами и Петром Авдеевичем село Сорочќи.

Героиня рассказа нашего, Пелагея Власьевна Кочкина, употребила первое время одиночества своего на ежеминутное ожидание штаб-ротмистра. Более чем уверенная в неизменности чувств к ней любимого ею человека, она сначала приписывала долгую отлучку его нездоровью, делам и тысяче других причин, из которых, как это случается всегда, ни одна не подходила к истинной.

Пелагея Власьевна, несмотря на стужу, надевала попеременно то розовое, то кисейное, то вердепешевое платье и ежедневно, в легком шерстяном манто, выходила на большой проселок, прислушиваясь к малейшему шороху, улыбалась всякой проезжавшей тройке, но тройка эта, обыкновенно, не свертывала на сторону, а продолжала преспокойно путь свой и везла незнакомые лица.

«Он, верно, будет к рождественскому сочельнику»,— думала Пелагея Власьевна, но сочельник прошел, а Петра Авдеевича не было. Елисавета Парфеньевна посоветовала дочери своей погадать для забавы и, вылив растопленное олово в стакан, наполненный снегом, и мать и дочь с неизъяснимым беспокойством стали рассматривать на тени, какую судьбу предрекает им фантастически вылившийся металл. Но узорчатый результат гаданья бросал на стену то профиль развесистого куста, то очерк Пиренейского полуострова, но ничего похожего на скорый брак Пелагеи Власьевны с Петром Авдеевичем не рисовалось на грубо обтесанных бревнах простенка. «К новому году он будет непременно»,— повторяла довольно часто Елисавета Парфеньевна, которая, впрочем, повторяла это более для утешения дочери, чем вследствие собственного убеждения.

Наступил и новый год; явился в Сорочки с поздравлением, но все-таки не Петр Авдеевич, а Дмитрий Лукьяно-

вич, ненавистный сердцу Пелагеи Власьевны. После обычных приветствий, он как будто удивился, что дамы встречают новый год в таком одиночестве.

— Кому же быть у нас в этот день? — заметила вдова.— Чай, всякий проводит праздник этот у себя.

— Справедливо, Лизавета Парфеновна,— отвечал смотритель,— о женатых и семейных людях я не говорю, но нашему брату, одинокому...

— Вы и посетили нас, Дмитрий Лукьянович, спасибо вам.

— Я — да; но почему же бы и соседям вашим, хотя бы Петру Авдеевичу например?

— Он, верно, болен,— заметила Пелагея Власьевна, покраснев.

— Он? не полагаю.

— Что же с ним?

— С ним? — повторил смотритель, покачиваясь на своем стуле.— С ним, Пелагея Власьевна, произошли, говорят, большие перемены.

— Перемены?

— Да-с, штаб-ротмистр наш предался изучению иностранных языков.

— Вы шутите, Дмитрий Лукьяныч? — спросила с недоверчивостию вдова.

— Нимало-с, божусь! Очень недавно Петр Авдеич, лично, сам, приезжал посоветоваться ко мне, к какому способу прибегнуть для скорейшего достижения полного познания французского наречия, и, по моему же совету, приговорил насчет уроков одного из учителей подвластного мне заведения.

— Но это чудеса, но это непостижимо, Дмитрий Лукьяныч! начинать учиться в эти годы, и на что? и зачем? и для кого?

— Мы и сами ничего не понимаем, Лизавета Парфеновна; конечно, носятся разные слухи...

— О Петре Авдеиче?

— Именно-с, о нем; но слухам городским верить не должно.

— А какие слухи? — спросила вдова с увеличивающимся беспокойством.

— Толкуют,— продолжал смотритель,— что штаб-ротмистр сошелся вновь с одной из давнишних знакомок своих,

так по-русски-то не очень разговориться при свидетелях о вещах, собственно до их личности касающихся; по этой причине...

— Позвольте вам сказать, Дмитрий Лукьяныч,— перебила Елисавета Парфеньевна,— что это подлинно городские толки, попросту сплетни. Какая знакомая? и может ли быть, чтобы не знал никто о приезде в уезд нового лица?

— Неужели же вы, Лизавета Парфеновна, не слыхали о приезде графини Белорецкой?

— Уж не графиня ли, по-вашему, старая знакомка Петра Авдеича? — спросила вдова насмешливо.

— Так говорят!

— Сплетни, Дмитрий Лукьяныч, чистые сплетни.

— Не знаю-с.

— Я вам говорю, что сплетни!

— Ничего не знаю-с.

— Статочное ли дело, чтобы знатная графиня Белорецкая унизила себя до такого анекдота? Присягните, никто не поверит.

— Так по какому же случаю живет у нее безвыездно сосед ваш, Лизавета Парфеновна?

— И это выдумка.

— Нет, уж извините, это не выдумка, а правда.

— Вздор, Дмитрий Лукьяныч, вздор.

— Истина, неопровержимая истина, Лизавета Парфеновна; сам братец ваш подтвердит, что графиня из Петербурга сделала бог знает какой круг, чтобы скорее повидаться с штаб-ротмистром, с которым знакома была еще до замужества своего; а теперь овдовела, никто не мешает, она и шнырь в Костюково, и ночевала там, вот что, Лизавета Парфеновна, а говорить можно: «вздор»; говорить что хочешь можно.

Слушая внимательно штатного смотрителя, вдова покойного судьи и не заметила, что Пелагея Власьевна чуть усидела на кресле, что свеженькое личико бедной девушки покрылось смертной бледностью, а на глазах выступили две крупные слезы, которых не смела вытереть Пелагея Власьевна; улуча удобную минуту, она поспешно встала и вышла, шатаясь, как в угаре.

Если бы в уме племянницы городничего и затаилось хотя малейшее сомнение насчет истины сказанного Дмитрием Лукьяновичем, то сомнение это не долго могло служить ей

утешением. На следующий день прибыл в Сорочки Тихон Парфеньевич; достаточно было взглянуть на суровое лицо его, чтобы убедиться в истине слов штатного смотрителя. Городничий без околичностей повторил все слышанное о штаб-ротмистре и прибавил, что Петр Авдеевич и знать их больше не хочет и что ему теперь в каких-нибудь нищих, когда богатая графиня сходит по нем с ума? Да на все приданое Полиньки не купишь половины такого жеребца, какого подарила ее сиятельство Петру Авдеевичу; то ли еще будет, когда окончится годовой траур! И по совести не понимал Тихон Парфеньевич, почему бы Петру Авдеевичу не сделаться мужем графини и чем он ей не пара? Ростом и пригожеством штаб-ротмистр молодец; фамилия Мюнабы-Полевелова старинная; не богат Петр Авдеевич, зато у графини десять тысяч душ, будет с обоих; за чинами же дело не станет, коли пойдет служить, и сенатором будет. «А ты, милая,— прибавил Тихон Парфеньевич, обратившись к племяннице,— не рюми; слезами графинею не сделаешься; да выбей-ка себе из головы всякие аллегории; жених Петр Авдеевич не последний на свете, пошлет бог судьбу, будешь счастлива и за другими! Бог сирот не оставляет».

Городничий несколько раз с нежностью поцеловал племянницу свою в лоб, приговаривая: «Что же ты будешь делать, что же ты будешь делать?», а племянница в это время, закрыв лицо свое руками, всхлипывала, и слезы ее десятью ручьями лились на пол.

В тот самый час, когда ее сиятельство графиня Наталья Александровна садилась в сани с Петром Авдеевичем у крыльца замка своего и отправлялась в первый раз на волчью охоту, Пелагея Власьевна Кочкина подошла, рыдая, к ручке матери своей, поздравляя ее с наступившим новым годом; а в ту минуту, когда, на другой день, Пелагея Власьевна, выслушав рассказ дяди своего о вероломстве жениха, силилась руками удержать слезы, глаза жениха ее были сомкнуты сладчайшим сном, рисовавшим штаб-ротмистру и волков, и арсенал графини, и самую графиню, во всевозможных образах.

Вскоре в уезде к слышанным нами вестям не замедлила присоединиться и весть о преобразовании костюковской гнилушки (так называл городничий дом Петра Авдеевича) в богатый чертог.

При первом свидании с графинею по превращении кос-

тюковского домика, штаб-ротмистр попытался было начать благодарственную речь, но беленькая ручка графини преграциозно зажала ему рот и премило заставила молчать.

— Вы знаете, неисправимый ворчун, что хорошеньким женщинам позволяется и прощается все на свете,— сказала графиня.— И кто вам говорит, что фантазии мои относятся к вашему лицу? Нимало; я вспомнила о Костюкове вашем, вовсе не думая о вас, и мне пришло в голову, что, может быть, мне случится еще раз сбиться с дороги и провести в нем целую ночь, а как домик по небрежности хозяина был в большом беспорядке, вы в этом согласитесь со мною, то и приказала я сделать из него, что можно.

— Ежели так, ваше сиятельство, то с этого времени костюковский домик принадлежит вам и я останусь в нем сторожем,— отвечал штаб-ротмистр.

— Согласна, Петр Авдеевич.

— Этого мало, ваше сиятельство, я переберусь во флигель, чтобы присутствием моим не водворить того беспорядка, который нашли вы в моем жилище.

— Как хотите, сосед; но полно говорить о Костюкове, а скажите мне лучше, что располагаете вы делать с собою?..

— Когда, ваше сиятельство?

— Всегда; я говорю про ваши планы, про будущность вашу?

— А что же делать прикажете? пока ваше сиятельство здесь, я буду жить, как только можно долее, при вас; а уедете вы, мне тогда не все ли равно, что бы со мною ни случилось?..

— Все это очень любезно, сосед,— заметила, смеясь, графиня,— но я серьезно желала бы знать, к какой цели приготовляете вы себя, и неужели в ваши годы человек может обречь свою особу на вечное заточение в глуши, подобной Костюкову?..

— Повторяю, ваше сиятельство, что никаких планов то есть не делаю и делать не смею; и может ли наш брат надеяться на что-нибудь или на кого-нибудь?

— Прекрасно, Петр Авдеевич, и очень приятно слышать подобный отзыв о друзьях ваших, на которых, как вы говорите, надеяться нельзя...

— Но неужели вы, ваше сиятельство, думаете, что я довольно глуп, чтобы сметь считать вас моим другом?

— Опять, сосед!

— Повторю тысячу раз!

— А я повторяю во второй, что запрещаю вам включать меня в число прочих, и прошу знать, что ежели ктонибудь имел случай мне понравиться, то для того истинному участию моему нет границ; слышите ли, несносный человек?

— Слушаю и не перестал бы слушать, ваше сиятельство.

— Тем лучше, потому что мне остается сказать вам многое, и, чтобы не позабыть, я выскажу это все сейчас; во-первых, сосед,— продолжала графиня,— вы еще молоды, не дурны собою...

— Ваше сиятельство?

— Молчите и не прерывайте меня, иначе рассержусь пресерьезно.

— Слушаю-с!

— Повторяю, что вы очень не дурны собою,— сказала графиня,— умны и благородны, а что всего важнее, добры чрезвычайно и можете всякую женщину сделать счастливою. Положим, Петр Авдеевич, что состояние ваше может служить препятствием к женитьбе по любви на бедной девушке; но любовь проходит, и продолжительная дружба, верьте мне, прочнее в супружестве всех прочих чувств. Который вам год, сосед?..

— Мне, ваше сиятельство? В день святого архистратига Михаила минет двадцать девять...

— Двадцать девять, только?..— повторила графиня.— Ну, а скажите откровенно, Петр Авдеевич, стара ли бы я была для вас?.. мне двадцать четыре...

— То есть как это для меня?.. — спросил с недоумением штаб-ротмистр.

— Согласились ли бы вы иметь женою своею женщину подобную мне, точно таких лет и не бедную, разумеется?

Вместо ответа Петр Авдеевич потер себе лоб.

— Что вы не отвечаете, сосед?

Петр Авдеевич опустил руку, поднял другую, потер себе лоб снова, не переставая смотреть на графиню самыми странными глазами.

— Понимаю. Невеста двадцати четырех лет стара для вас,— заметила Наталья Александровна, улыбаясь.

— Вы были так долго добры ко мне,— проговорил наконец протяжно костюковский помещик,— а теперь опять

начинаете смеяться надо мною; за что же бы, ваше сиятельство?..

— Отчего вы думаете, что я смеюсь над вами?

— Бог вас накажет,— прибавил штаб-ротмистр с глубоким вздохом.

— Вы с ума сошли, сосед. Что с вами делается? — воскликнула графиня с нетерпением.

— Дивлюсь, что не совсем сошел еще, потому что вы, ваше сиятельство, кажется, этого желаете; для чего бы говорить... вам мне... про... такие вещи несбыточные...

— Я говорю, что чувствую и в чем убеждена.

— То, что чувствуете вы?..

— Клянусь вам, мой добрый сосед.

— И все это не шутка, не насмешка?

— А так не шутка и не насмешка, что ежели вы согласитесь выполнить совет мой, то за ваше будущее счастие ручаюсь вам я!..

— Какою же ценою может купить ничтожный сосед вашего сиятельства то счастие, которое предлагаете вы ему так великодушно? — сказал несчастный штаб-ротмистр, бросаясь на колени.

— Что вы, что вы?.. встаньте, ради бога,— воскликнула графиня, все еще смеясь, но уже не на шутку испуганная странностию своего соседа.

— Нет, мне лучше так!

— Но мне не лучше.

Штаб-ротмистр встал и молча уселся на прежнее место, а графиня, никак не понимая, что с ним сделалось, приписала неожиданный порыв Петра Авдеевича его странностям, ей еще не знакомым, а для избежания повторения подобных сцен, она решилась окончить скорее разговор, по-видимому, слишком раздражительный для чувствительного сердца штаб-ротмистра.

— Короче, сосед,— сказала графиня,— разговор этот возобновим мы не здесь, а в Петербурге, куда прошу, а ежели этого мало, приказываю вам непременно явиться к светлому празднику; к тому времени мой траур кончен и я свободна.

Графине не мешало бы прибавить, что, скинув черное платье, она возвратится в свет и постарается сама, ежели не забудет, или поручит кому-нибудь поискать невесту для своего доброго деревенского соседа. Если бы графиня вы-

сказала всю мысль свою, то бедный Петр Авдеевич не стал бы тереть себе лба до самого вечера, а в полночь не пошел бы в конюшню и не приказал бы Тимошке выпустить из жил своих фунтов шесть крови. С штаб-ротмистром чуть не сделался паралич, и сделался бы он оттого только, что, по врожденной простоте своей, костюковский помещик принял слова ее сиятельства совершенно в превратном смысле; как же принял костюковский помещик слова ее сиятельства, то мы объясним ниже.

Приписав перевязку руки своей нечаянному ушибу, Петр Авдеевич скрыл на другой день от графини полуночное кровопускание, а говоря с нею, придавал взорам своим то меланхолически сладкое выражение, которого не придавал им прежде.

Последующие дни и недели проводились в селе Графском по программе, раз начертанной: катанье в санях сменялось катаньем с гор; по ночам охота за волками, по вечерам игра в дураки и пение.

Такого рода образ жизни казался раем для Петра Авдеевича; он готов бы был провести так целый век. Но, увы! деревенские забавы эти с каждым днем теряли прелесть новизны в глазах графини.

Дважды в неделю привозила ей петербургская почта кипы журналов, пакет писем и в них полный отчет в столичных наслаждениях. Сколько блестящих балов и праздников дала столица без графини! Сколько новых впечатлений сделано другими женщинами на умы ее обожателей, и как скоро забывает свет отсутствующих! Последняя мысль наводила на прекрасный ротик Натальи Александровны горькую, едва заметную улыбку. «Пора домой!»— начинала говорить иногда сама себе Наталья Александровна, но, по счастию, слов этих не слыхал штаб-ротмистр.

Прошел весь генварь, часть февраля; морозы значительно уменьшились, а с ними и ночные охоты стали повторяться реже; к этому лишению присоединилась порча ледяных гор, видимо уменьшавшихся от теплой погоды.

Навещая изредка Костюково, штаб-ротмистр съезжался в нем с рыжим господином и поражал его успехами, от которых преподаватель только что не приходил в отчаяние. Петр Авдеевич начал понимать некоторые слова, произносимые ее сиятельством, несмотря на то, что ее сиятельство за исключением буквы г произносила все прочие правильно,

а из подобного быстрого изучения французского наречия учеником не явствовало ли для учителя, что в скором времени костюковская провизия и дрова станут оставаться в Костюкове? Сверх того, рыжий господин терял с Петром Авдеевичем последнюю практику, ибо в учебном заведении, подчиненном Дмитрию Лукьяновичу, он преподавал не это наречие, а арифметику.

Не замечая перемены, происшедшей в штаб-ротмистре и думая более об отъезде своем в Петербург, чем обо всем, касающемся до села Графского и всех его принадлежностей, графиня Наталья Александровна хотя и продолжала по-прежнему оказывать благосклонность к Петру Авдеевичу, но глаз более опытный легко заметил бы, что ясные дни штаб-ротмистра в селе Графском начинали проходить и что мысли ее сиятельства получили совершенно новое направление. Она не жила уже в своем Графском, а доживала в нем урочный срок; и то, что за месяц служило забавой ее сиятельству, в настоящее время ей казалось скучным, томительным. Предлагал ли штаб-ротмистр полуночную охоту или просто прогулку в санях, графиня не говорила более «ах, как это весело!», а просила соседа ехать без нее, отговариваясь то головною болью, то усталостью; случалось ли Петру Авдеевичу оставаться в Костюкове лишний день, сверх назначенного ее сиятельством срока, не являлось за ним более посланных, не писалось записок; будь на месте штаб-ротмистра другой, кто бы он ни был, все эти отступления графини от недавних привычек привели бы его в отчаяние.

Отчего же не приходил в отчаяние костюковский помещик? Не остыла ли в нем страсть к обожаемой им Наталье Александровне? Нет, но великодушная графиня не сама ли отложила счастие его до окончания траура, а, раз уверенный в этом счастье, не должен ли был Петр Авдеевич, как благородный и деликатный человек, вооружившись терпением, ждать светлого праздника? «А до светлого праздника,— говорил сам себе, понизив голос, Петр Авдеевич,— ни гугу!» И, говоря это, он обыкновенно прищуривал правый глаз свой и, подняв кверху правую руку, грозил себе указательным пальцем. Счастливец!

Прошла масленица, наступил великий пост, раздался ежедневный протяжный звон сельских колоколов, повеселела окрестность, и первая песня жаворонка отозвалась в

сердцах поселян какою-то неизвестною радостию; блеснуло наконец и мартовское солнце, растопились лучами его крещенские алмазы, сбросили леса свои белые саваны, и тысячи ручьев, журча и пенясь, побежали по всем направлениям.

Проснувшись однажды ранее обыкновенного, графиня Наталья Александровна взглянула в окно и, ахнув, приказала тотчас же позвать к себе monsieur Clément.

— Nous partons aujourd'hui,[1] — сказала ему графиня.

— Oui, madame la comtesse,[2] — отвечал француз, и чрез пять минут в селе Графском поднялась страшная суета; как сумасшедший бросался во все стороны господин Готфрид; на крик его сбегалась многочисленная дворня, таскала чемоданы, сундуки, ящики, лазила на империалы подвезенных экипажей, и к полудню разбрелась по углам, оставя у главного подъезда палат знакомые нам графинину карету и кибитку, запряженные семериками, точно в таком виде, в каком встретил их, три месяца назад, штаб-ротмистр на перекрестке двух дорог.

— Уже, ваше сиятельство? — спросил у графини Петр Авдеевич печально.

— Пора, сосед, — отвечала Наталья Александровна.

— Но зачем же так спешить?

— Взгляните в окно: весна.

— Весна далеко, — заметил костюковский помещик, вздыхая, — да почему бы вашему сиятельству не пробыть до летнего пути?..

— О нет! ни за что! — воскликнула графиня, смеясь. — Домой пора, Петр Авдеевич; там ждут меня родные, друзья, а здесь становится скучно.

Конечно прост был штаб-ротмистр, когда и эта фраза не раскрыла ему глаз. Нет, он только пожал плечами, потер себе лоб и вздохнул вторично.

— Впрочем, — прибавила графиня, — я надеюсь скоро видеть вас в Петербурге и уверена, что вы, сосед, не забыли наших условий.

— Умру разве, так забуду, ваше сиятельство.

— То-то же, Петр Авдеевич, не заживайтесь в Костюкове.

---

[1] Мы сегодня уезжаем *(франц.)*.
[2] Да, госпожа графиня *(франц.)*.

«Провались оно совсем»,— подумал штаб-ротмистр.

— И ежели по хозяйству вашему,— продолжала Наталья Александровна,— понадобится вам что-нибудь, то знайте, что управляющему моему отдано приказание.

— Какое приказание, ваше сиятельство?

— Я не люблю этого тона,— воскликнула графиня, грозя пальчиком,— вы забыли, что костюковский домик принадлежит мне, сосед.

— О, вам, конечно вам, ваше сиятельство, и все, что в Костюкове, ваше.

— Тем более должны бы вы не возражать, а слушать, что я приказываю.

— Виноват.

— Прощаю в последний раз и повторяю, что ежели бы кому-нибудь в Костюкове понадобилось что-нибудь, то приказываю тому обратиться к Готфриду, понимаете?

— Это слишком,— заметил штаб-ротмистр.

— Что вы говорите?

— Я говорю, что это уже слишком милостиво, ваше сиятельство.

— Петр Авдеевич! я запрещаю вам приезжать в Петербург.

— Графиня!

— Я более не знакома с вами, Петр Авдеевич.

— Ваше сиятельство! — завопил, всплеснул руками Петр Авдеевич,— не только свято исполню волю вашу, но потребуйте... ну, что бы такое?

— Так лучше, сосед, и предупреждаю вас вперед, что с капризными существами, подобными мне, может только ладить и ужиться тот, кто послушен как ребенок. Будьте же ребенком, Петр Авдеевич, и до свиданья.

— Прощайте, прощайте, ваше сиятельство,— проговорил дрожащим голосом костюковский помещик, целуя протянутую ему ручку. Он хотел сказать еще что-то, но не мог; слезы душили его, а графиня, как бы не замечая их, вышла уже из комнаты. У кареты простился еще раз Петр Авдеевич с ее сиятельством и... она уехала, а он, простояв минут с десять на дворе, вытер украдкою глаза свои клетчатым синим платком и возвратился в прихожую; он не пошел далее: у стен прихожей стояли дубовые лакированные скамьи, и на одну из них уселся он и проплакал еще с полчаса, как плачут мужчины.

Тяжка разлука с родными, с близкими, но с тою, кого любишь безотчетно, страстно, разлука похожа на ад со всеми его терзаниями, и это вполне испытал Петр Авдеевич; графиню Наталью Александровну любил он, как любили, вероятно, первые люди: чувством полным, сердцем, не иссушенным теми мимолетными ощущениями, к которым прибегают люди нашего века, как к лекарству от скуки; на женщин не смотрел еще штаб-ротмистр глазами пресыщения, в любви их видел он не прихоть, а высшее благо! Графиня соединяла в своей особе слишком много совершенств, чтобы не поработить в одно время как нравственных, так и чувственных способностей своего бедного соседа.

Выплакав в прихожей горе свое, штаб-ротмистр набросил на себя шинель, вышел, никем не замеченный, из великолепных палат графини и, не оглядываясь, дошел до конюшен. Там, отыскав Тимошку, Петр Авдеевич приказал ему запрячь скорее сани свои и, бросив в них чемодан, приказал гнать лошадей до самого Костюкова.

Многое и многое передумал герой наш во время пути своего; он не заметил ни поворота к селу Сорочка́м, ни двух женщин, стоявших неподвижно у самого поворота, ни даже того, что одна из этих женщин была Пелагея Власьевна, бледная и исхудалая. Не уезжай графиня в полдень, штаб-ротмистр проехал бы Сорочки́ по обыкновению своему, вечером, и женщины, стоявшие у поворота, не стояли бы там, потому что Пелагея Власьевна не выходила из дому позже сумерек.

В Костюкове Петр Авдеевич снова посоветовался с Тимошкой, не метнуть ли руду? но Тимошка объявил, что кладь была бы пользительнее, и кладь эту составил Тимошка для господина своего собственными руками.

Какое бы горе ни удручало нас, а по прошествии ночи, наутро то же горе кажется обыкновенно несколько сноснее; привыкает ли мысль наша к нему, или рассудок берет верх над нервами, как бы то ни было, но наутро следующего дня штаб-ротмистр напился чаю не без удовольствия и осмотрел оружейную свою с бо́льшим против прежнего вниманием. При осмотре этом присутствовали Кондратий Егоров с сыном своим, Ульяном Кондратьевым; но прикасался к оружию один господин, тогда как слуги ограничивали удивление свое одним вытягиванием шей и почтительными междометиями.

Не стану распространяться о житье-бытье штаб-ротмистра в Костюкове по отъезде графини; житье-бытье его не представляет ровно ничего интересного. В грустные минуты светлый праздник приходил Петру Авдеевичу на ум, и, при этой мысли, все черные думы отлетали; и чем больше соображал и думал костюковский помещик о последних сношениях своих с ее сиятельством, тем больше утверждался он в надежде (кто бы подумал?) сделаться ее супругом. К чему бы говорить было ей, что он не дурен собой, умен, добр и может составить счастье всякой женщины? К чему спрашивала графиня об его летах, и не явно ли предлагала себя в невесты? а окончание траура? а неоднократный призыв в Петербург? а приказ, отданный управляющему, удовлетворять всем нуждам штаб-ротмистра, приказ, которым он, штаб-ротмистр, разумеется, никогда не решился бы воспользоваться. «Однако же,— подумал Петр Авдеевич,— праздник не за горами; поехать в Петербург легко тому, у кого в кармане тысяч пяток; у кого же их нет, нужно достать, а каким способом? Послать опять за жидом? да что у него возьмешь? сотню, другую, и те есть ли, полно? и есть, так на прогоны не достанет; приедешь в Питер, потребуется партикулярное платье, шляпа целковых в три, чего доброго, и шинель с бархатными полами — такие носят. А жизнь в гостинице, а извозчик? и тьма-тьмущая других мелких расходов? О боже! — воскликнул наконец штаб-ротмистр,— ну, а подарки невесте? да какой еще невесте! Не скажешь же ей: ваше сиятельство, пожалуйте, мол, тысячку рубликов на покупку галантерейностей, которые вам же поднесу! Нет, брат Петр, круто повернись, а деньгу роди, если не хочешь опростоволоситься».

Подумав два дня и две ночи, костюковский помещик отдал Тимошке приказ запрячь телегу, потому что, с наступлением четвертой недели поста, зима, разбросав остатки своих снегов по глубоким рвам и оврагам, бежала к северу, предоставив дороги покровительству капитан-исправников.

Штаб-ротмистр, не знакомый ни с какого рода страхом, посадил рядом с собою Тимошку и, взяв из рук его вожжу левой пристяжной и плеть, крикнул «пошел!», и привычная к быстрому бегу тройка его помчалась с места, как из лука стрела, обдавая седоков темноватою жидкостию, переме-

шанною с снегом. В тех местах, где от скопления воды образовались зажоры, раздумье коней разрешалось сильным ударом плети и, облитые с ног до головы, господин и кучер выражали неудовольствие свое крутым русским словом и, протерев рукавами глаза, продолжали путь без оглядки. Но вот и большая дорога, и мост, и городская застава. «К городничему!» — крикнул Петр Авдеевич, стряхая с шинели своей все, что было на ней лишнего.

С треском и грохотом подкатила штаб-ротмистрская телега к знакомому крыльцу, и, узнав ее, стоявший у окна Тихон Парфеньевич изумился до чрезвычайности. Увидев в прихожей несколько женских салопов, костюковский помещик спросил у Дениски, дома ли барин и кто у него?

— Лизавета Парфеновна,— отвечал Дениска, низко кланяясь.

— А Пелагея Власьевна здесь?

— И Пелагея Власьевна у нас.

— Ах, канальство! — проговорил сквозь зубы штаб-ротмистр, приостановясь у дверей залы,— да что мне в самом деле? — прибавил он, махнув решительно рукою и, толкнув ногою дверь, вошел.

В зале нашел Петр Авдеевич одного городничего, поклонился ему и объявил, что желал бы поговорить с ним наедине.

— Какие же, помилуйте, секреты могут быть между нами, Петр Авдеич? — иронически заметил хозяин.— Мы так далеки стали друг другу, что можем, кажется, обойтись без всяких тайных разговоров.

— Обстоятельства, почтеннейший Тихон Парфеньич, были причиною долгого моего отсутствия,— сказал штаб-ротмистр, запинаясь.

— Я и не в претензии, сударь, поверьте.

— Что же касается до чувств моих,— сказал Петр Авдеевич,— то смею доложить, чувства пребывают те же.

— И до чувств мне дела нет никакого, то есть ни малейшего дела; ежели же нужда вам до меня, Петр Авдеич, то я, по службе и обязанности, к услугам вашим. Что угодно?

Городничий указал гостю на стул и уселся сам, взявшись за бока.

— Никто не подслушает нас здесь? — спросил гость.

— Некому-с и не для чего-с; в доме, кроме своих, никого нет.

— В таком случае, Тихон Парфеньич, я должен сказать вам, что имею действительно большую нужду.

— Во мне-с?

— В вас, Тихон Парфеньич.

— Странно! — но извольте говорить, я слушаю

— Мне нужны деньги.

— Как-с?

— Мне нужно денег, Тихон Парфеньич, и очень много денег,— повторил штаб-ротмистр.

— Какое же мне до этого дело? — помилуйте.

— Я предполагал, что они есть у вас.

— У меня-с?

— Да-с.

— А ежели есть, то сам живу, и не один. Все покупное; без денег, как вам известно, не проживешь нигде.

— Но, может быть, есть лишние.

— Лишние-с?

— Да-с.

— Как лишние? разве бывают у кого лишние деньги? — спросил с насмешкою городничий.

— Я хотел сказать, Тихон Парфеньич, что, может быть, есть у вас свободные капиталы, которые то есть в Приказе приносят малые очень проценты, то я мог бы предложить вам бо́льшие.

— Денег моих никто не считал, позвольте вам сказать, сударь, и куда бы ни клал я их, до того нет никому никакого дела.

— Вы напрасно сердитесь, Тихон Парфеньич.

— Я не сержусь, а крайне удивляюсь вашему, милостивый государь, предложению и не постигаю, чем я подал повод...

— Угодно вам меня выслушать до конца?

— И так давно слушаю, кажется.

— Тихон Парфеньич,— сказал штаб-ротмистр, вставая,— обстоятельства мои требуют, чтобы я был к светлому празднику в Петербурге; для поездки этой нужны деньги, которых у меня нет. Предлагаю вам в залог Костюково: на нем есть казенный долг, но нет ни недоимок, ни частных взысканий. Согласны ли вы дать мне по шестидесяти рублей ассигнациями за душу, всего семь ты-

сяч двести рублей? Я сию минуту совершаю акт. Согласны ли?

— Помилуйте, да где же мне взять такой куш! — воскликнул городничий. Но слова эти уже произнес он другим тоном.— Мне, сударь, денег мыши не таскают.

— Стало, не согласны?

— Кто говорит: не согласен? и рад бы, то есть совершенно рад. Имение ваше знаю коротко, денег этих оно стоит, но, но...

— Простите же меня, что обеспокоил вас.

— Позвольте! вот что можно бы попробовать, сударь, ежели только вам будет не противно... у меня, побожусь, нет ни алтына, Петр Авдеич, вы сами знаете.

— Я ничего не знаю, Тихон Парфеньич.

— Ну, не вы, знают другие; а у сестры Лизаветы Парфеновны не попытаться ли...

— Мне все равно...

— Хотите я спрошу?

— Сделайте одолжение!

— Так посидите же здесь, а я мигом возвращусь, и будьте уверены, что только для вас, единственно для вас, беру эти хлопоты на себя, сударь.

Штаб-ротмистр отвечал на уверение хозяина сухим поклоном и, проводив глазами городничего до дверей гостиной, принялся бить пальцами зорю на оконном стекле. Отсутствие городничего было непродолжительно, а когда он возвратился в залу, лицо его приняло озабоченное выражение.

— Какой ответ несете вы мне? — спросил штаб-ротмистр.— Ежели отказ, то, сделайте милость, не томите меня, Тихон Парфеньич!

— Отказ, сударь не отказ, а в деле таком поспешность не годится,— отвечал городничий.— Сестра не сказала нет...

— Стало: да?

— Не сказала и да; а вот, изволите видеть, ей бы, то есть, желательно было бы знать, на какую потребу понадобилась вам такая сумма?

— Это мое дело.

— Согласен, сударь, но Лизавете Парфеновне как-то привольнее было бы, если бы деньги, вами просимые, пошли на пользу вашу; хотя вы, почтеннейший, и забыли нас,— прибавил, улыбаясь, городничий,— но не менее того

все-таки мы думаем, что Петр Авдеич нам не чужой человек.

— От полноты сердца благодарю Лизавету Парфеновну за участие, но тайн моих, Тихон Парфеньич, объяснить не могу, тем более что тайны эти принадлежат не мне одному...

— Понимаю-с.

— Понимаете или нет, дело ваше; я, по крайней мере, не сказал ни слова.

— Скромность — вещь похвальная, Петр Авдеич, в особенности когда в тайнах участвует важная особа.

— Я молчу, Тихон Парфеньич.

— Я не проговорюсь, сударь, будьте благонадежны, а слухами земля полнится; поговаривали и о жеребчике, и о Костюкове, и о прочем другом.

— Рта не зажмешь!

— И не нужно, сударь, когда молва не касается чести; честь при вас, и великая честь отбить у тысячи соперников такую особу, какова графиня Наталья Александровна.

— Тихон Парфеньич,— перебил, не без внутреннего и весьма заметного удовольствия, штаб-ротмистр,— вы, как благородный человек, подтвердите, при случае, что все вами высказанное не было никогда говорено собственно мною.

— Следовательно, Петр Авдеич, слухи-то наши не без оснований.

— Я все-таки молчу.

— Напрасно, сударь, право, напрасно; не вовсе же мы чужие и, что бы ни поверили вы нам, сумеем сохранить в тайне.

— Но что же могу я поверить?

— Мало ли что, а за доверие люди добрые заплатили бы не глупым советом, сударь. Слова нет, вы и умный человек, да молодой: седые волосы иногда стоят рассудка! А кто поручится, что дружеское мнение не пригодится, хоть в Петербурге, например; нам не в диковинку столица: не раз, сударь, бывали в ней и живали.

— Как, Тихон Парфеньич, вы были в Петербурге? — спросил с живостию штаб-ротмистр.

— Еще бы не быть; да Петербург знаком мне, как мой город.

— Как я рад! — воскликнул Петр Авдеевич.

— В Петербурге, сударь,— продолжал городничий,—

свежему человеку нельзя сказать, чтоб ловко было сначала: запутаешься в нем как раз без знакомых. А у вас есть знакомые там, Петр Авдеич?..

— Одна графиня.

— Оно хорошо, даже очень хорошо — не спорю, но, может быть, покажется вам не то чтобы ловко остановиться у нее в доме.

— Разумеется, нет.

— Следовательно, хоть первую ночь, а придется переночевать в трактире каком-нибудь.

— И первую, и вторую, и неделю придется, коли не более.

— А долго намереваетесь пробыть в столице?

— Я? да, таки долговато,— отвечал с самодовольной улыбкою Петр Авдеевич.

— Из этого, сударь, и заключить не трудно,— заметил, улыбаясь, городничий,— что слухи не ложны, и скоро вам на Костюково глядеть не захочется. И то сказать: село-то Графское ничуть не хуже, а с такою женушкою, как ее сиятельство, и в селе Графском навряд ли соскучишься жить. Эх, Петр Авдеич! ну, что пользы морочить добрых людей! Расскажите попросту, свадьба ведь скоро?..

— Тихон Парфеньич, ну, на что вам?..

— Мне? как на что? Порадоваться за старого приятеля да предложить ему услуги по силам.

— Ну, ну, положим, что скоро,— отвечал, смеясь, штаб-ротмистр.

— На Фоминой, небось?..

— Ну, на Фоминой; потом же что?..

— А на Фоминой, так торопиться действительно нужно, и деньжонок призапасти не мешает...

— Как же не торопиться, посудите сами, Тихон Парфеньич! шила в мешке не утаишь, и скрывать, почтеннейший, не для чего; по правде сказать, коли уже все знают... только, сделайте милость, то есть не разглашайте; знаете, нехорошо заблаговременно.

— Предателем не был и не буду.

— Кто говорит о предательстве, почтеннейший, так, чтобы не сболтнуть.

— Болтают нетрезвые, сударь.

— Боже упаси меня полагать такое, Тихон Парфеньич.

— А не полагаете, так к делу: право, пора — сестра

ждет решительного чего-нибудь; деньги у ней готовы, закладной в суде не замешкают; только вот что, Петр Авдеич...

— Что же такое?

— Запродажная запись не была бы ли чище? По закладной хлопот много: пойдут справки да выправки, пожалуй, продлится с месяц в присутственных местах; а будто продали, и дело с концом! Заплатите в срок — бумажку в куски; просрочить вам не для чего, и сестра покойна, и вы покойны; право бы так.

— По мне, пожалуй,— сказал Петр Авдеевич, подумав с минуту,— как ни кончить, да кончить. Деньги же скоро можно то есть получить?..

— За деньгами остановки не будет; вынимайте бумажонку — и по рукам.

— Ну, благодарю, Тихон Парфеньич, услугу важную оказали мне...

— Но не даром,— перебил городничий,— чур, не забыть нас, бедных и ничтожных, когда возвыситесь.

— На этот счет просить не нужно; одолженье за одолженье,— отвечал смеясь, штаб-ротмистр.

— То-то, сударь, смотрите, обманете — стыдно будет.

— Век не обманывал, Тихон Парфеньич, а с тридцати лет начинать поздно.

— Где же свадьба?

— Сказать?

— Разумеется, сказать!

— Ей-богу?

— Ей-богу,— повторил городничий, трепля дружески штаб-ротмистра по плечу...

— Не выдадите, Тихон Парфеньич?

— Что вы, присягнуть прикажете, что ли?

— А не выдадите, так не знаю, где именно свадьба, а думаю быть женатым скорехонько.

— Ай да молодец, вот уж подлинно молодец!

— Недурно то есть распорядились?

— Чего дурно, сударь, чай, у столичных франтов от зависти полопают легкие.

— Пусть их лопают, почтеннейший, а как женюсь, такой пир задам, что ахти мне.

— И нас позовете?..

— Еще бы: женка-то какая будет, не чета какой-нибудь

Коч...— Тут штаб-ротмистр прикусил себе язык и присел, зажимая рот.

В тот же миг за притворенными дверьми гостиной раздалось громкое рыданье. Городничий бросился на плач, а Петр Авдеевич схватив фуражку свою, выбежал вон из залы.

Считаю излишним называть то существо, которое поднял Тихон Парфеньевич с пола своей гостиной.

К страстной неделе все нужные бумаги для свершения сделки штаб-ротмистра с Елизаветою Парфеньевною Кочкиною были приведены к окончанию, и денежная сумма, за исключением значительных процентов и еще значительнейших расходов по делу, вручена городничим Петру Авдеевичу.

Вполне счастливый костюковский помещик, не помня себя от радости, приступил ко всем приготовлениям и, рассчитав не только дни, но часы и минуты, он отслужил в городе молебен и торжественно отправился в Петербург.

Тихон Парфеньевич снабдил его всеми нужными, по мнению его, наставлениями, а Елизавета Парфеньевна, забыв все прежние, как она говорила, неприязненности, вручила ехавшему с барином Ульяшке огромный пирог с печенкою.

Рассчитывая время, штаб-ротмистр не ошибся; он дал себе клятву прибыть в Петербург накануне светлого праздника, чтоб первому поздравить ее сиятельство, и за час до заутрени телегу Петра Авдеевича остановили у московской заставы; подорожная записана, и оставалось назначить ямщику тот дом или ту гостиницу, в которой намерен был остановиться костюковский помещик.

Ночь была темна и туманна,— фонари не освещали улиц, а казались желтоватыми пятнами на темном поле. Петр Авдеевич, выскочив из телеги, отыскал в кармане целую кипу скрученных бумажек, исписанных рукою Тихона Парфеньевича, но адреса квартиры, в которой двадцать три года назад останавливался городничий, отыскать никак не мог.

— Ну, пошел куда-нибудь! — воскликнул штаб-ротмистр, обращаясь к ямщику,— да только смотри в хорошую гостиницу, а не в дрянь какую-нибудь.

— Отвезем в хорошую, барин,— отвечал ямщик, легонько ударяя коней. Телега проехала Обухов мост, Сенную

площадь, повернула направо и, проехав Невский проспект, остановилась у ворот гостиницы Демута.

Измученный долгой дорогою, толчками и нетерпением, штаб-ротмистр потребовал скорее нумер.

— В какую цену? — спросил не совсем учтиво встретивший его человек во фраке, приняв приезжего, сообразно русской пословице, по платью.

— А вы кто то есть такой? я с вами не говорил,— отвечал Петр Авдеевич с учтивостию, причиною которой был фрак.

— Я? служитель здешний...

— Служитель?..

— Малые нумера заняты, а осталось отделение в бельэтаже,— продолжал слуга,— чтобы не показалось дорогонько.— Он дерзко и насмешливо окинул взглядом грязно одетого штаб-ротмистра, который в свою очередь, узнав, что говоривший с ним так непочтительно был не более как служитель гостиницы, не удовольствовался одним словесным ответом, но, засучив рукав правой руки, начинал заносить ее по всем правилам наступательной гимнастики.

Фрак, знакомый, вероятно, с подобными жестами, в один миг переменил мнение свое о приезжем и, увернувшись от штаб-ротмистрской ладони, преучтиво пригласил его пожаловать за ним.

Не познакомь штаб-ротмистра село Графское с роскошным убранством комнат, отделение, которое отведено было Петру Авдеевичу в гостинице Демута, конечно, бросилось бы ему в глаза. Малиновые насыпные обои, покрытые слоем нечистот, почерневшие бронзовые часы и канделябры, триповая, засаленная от частого прикосновения мебель и потрескавшийся паркет — все это намекнуло бы всякому другому постояльцу, что хозяин гостиницы заставит заплатить его очень дорого за неопрятность своего парадного отделения.

Костюковскому помещику было не до того; заутреня началась во всех церквах; металлический гул раздался по всей столице. «Графиня,— думал наш герой,— вероятно, возвратится из церкви не раньше как часам к двум, много к трем. Как же рада она будет! Чай, прождала вчера весь день и говорила: верно, не будет, сердце мое чувствует, что не будет! А я тут как тут!»

— Ульяшка,— крикнул штаб-ротмистр.— Поди вниз и

узнай от кого-нибудь, где живет ее сиятельство графиня Белорецкая.

Ульяшка обратился с этим вопросом к слуге, слуга послал его к дворнику, дворник пришел с Ульяшкой к штаб-ротмистру и поздравил его с праздником; но о жилище ее сиятельства не знал никто из прислуги гостиницы Демута.

— Пойду я сам и справлюсь в городе,— сказал сам себе Петр Авдеевич,— короче будет.

Не умывшись и не выбрив лица, он наскоро надел давно знакомый нам сюртук, шинель, фуражку и, приказав Ульяшке не отлучаться, вышел на улицу.

Город блистал уже тысячами огней; народ двигался по всем направлениям; кареты скрещались на каждом шагу; все лица сияли радостию. Петр Авдеевич присоединился к толпе, которая, как быстрый поток, увлекла его за собою. Чрез минуту очутился он на Дворцовой площади; тут представившаяся глазам штаб-ротмистра картина до того поразила его, что он забыл и себя, и цель поездки своей в Петербург. Долго, разинув рот, не мог он отвести взоров от великолепного зимнего жилища русских царей, сиявшего всем блеском своего величия. Несколько далее и налево от дворца, на едва колыхавшейся поверхности невских вод, качались фрегаты и другие царские суда, разукрашенные разноцветными флюгерами, флагами и блиставшие тысячами фонариков; еще далее, на темно-синем горизонте тянулись черною полосой величавые стены крепости и высился к небу бесконечный шпиц Петропавловского собора.

Дошедши до набережной, штаб-ротмистр сначала впился жадными взорами в описанную нами картину, потом повернул голову на сторону Зимнего дворца, опоясанного огненным ожерельем. Сквозь стекла окон блеснуло ему так много золота, так много звезд, что пораженный ум Петра Авдеевича отказался от дальнейших соображений.

«Господи боже мой! да что же это такое в самом деле?— проговорил вполголоса костюковский помещик.— Неужто все это мне мерещится?.. или доступны людям такие чудеса?»

При мысли этой погрузился он в глубокую думу, а крепость, дрогнув, осветилась мгновенно ярким пламенем, разразилась страшным ударом и покатила по дремлющей красавице Неве волны белого дыма... На возглас крепостных каронад фрегаты царские отозвались оглушительным гро-

хотом; воздух потрясся, земля задрожала, и народ русский, обнажив голову, набожно перекрестился.

— Христос воскресе, родимый! — сказал какой-то бородатый старик в коричневой сибирке стоявшему возле него штаб-ротмистру.

— Воистину! — отвечал последний, заключая бородача в свои объятия. Кругом лобызались все, как лобызается в кружку своем одна родная семья.

Очень довольный неожиданным приветствием сибирки, и не простой уездной, а столичной, Петр Авдеевич обратился к ней с вопросом, не знает ли она, паче чаяния, ее сиятельства графини Белорецкой?..

— Знавал, батюшка, точно знавал,— отвечал бородач,— и не раз доводилось вывозить мусор со двора ее графского сиятельства.

— Как я рад, что ты знаешь! — воскликнул штаб-ротмистр.— Я, братец, признаюсь тебе, первый раз в Питере и ровно ни с кем не знаком.

— Так-с!

— У графини же должен быть тотчас после заутрени.

— А ваша милость сродственники им?

— Нет еще, дружок.

— Стало, по дельцу какому пожаловать изволили?

— По делу, братец.

— Понимаем-с!

— Ну, скажи же мне, пожалуйста, где дом ее сиятельства? Знаю я, что в собственном живет, и улицу называли, да невдогад мне и не записал. Подумал: может ли быть, чтобы в Питере не знали ее дома.

— Язык и до Киева доведет русского человека.

— То-то и есть.

— Покойница-то,— продолжал, подумав, бородач,— проживать изволила на Литейной.

— Покойница? — повторил с ужасом Петр Авдеевич.

— А не знали, ваша милость? чай, годков двенадцать есть, как скончаться изволила.

— Уж какой же ты, братец,— проговорил штаб-ротмистр, глубоко вздохнув.— Вот перепугал! насмерть то есть.

— Чего-с?

— Я говорю, братец, про графиню Наталью Александровну, а ты толкуешь, прах тебя знает, про покойницу какую-то.

— Наталья Александровна? — повторил бородач,— постой, постой! Эй, Прокоп, а Прокоп! подь сюда! — крикнула сибирка, и на зов этот подбежал краснощекий парень в длинном купеческом сюртуке и глянцевитой шляпе.

— Скажи, пожалуй,— спросил старик,— не доводилось ли тебе счищать двор у золовки покойницы графини Прасковьи Васильевны? ну, то, что, знаешь, в запрошлом году...

— Кому требуется, тятенька?..

— Вот этому барину.

Быстро повернувшись к штаб-ротмистру, молодой парень приподнял шляпу свою, тряхнул головою, вместо поклона, и похристосовавшись с Петром Авдеевичем, объяснил ему на кудреватом наречии, что графиня Наталья Александровна, то есть золовка покойницы, живет в собственной фатере, на Большой Морской, что дом богатый, важнейший дом у графини, да дворня, то есть без всякого обхождения, словно гармизонт какой.

Отыскать Большую Морскую было не трудно штаб-ротмистру; дом же ее сиятельства указал ему первый попавшийся ему извозчик; но весь передний фасад этого дома был мрачен, и в двух окнах, у самого подъезда мелькал слабый свет. Петр Авдеевич постучался в резную дубовую дверь; он не заметил ручки звонка и другого способа входить не знал; за дверьми не отозвался никто. Петр Авдеевич повторил удары; тоже молчание. Он повернулся к дверям спиною и каблуками поднял такой стук, что дремавший у лестницы швейцар, в испуге и спросонья, опрометью бросился к подъезду.

Увидев небритого и покрытого грязью господина, привратник ее сиятельства с негодованием спросил у штаб-ротмистра, зачем он лезет.

— У себя ли графиня?

— Графиня? — повторил протяжно швейцар, продолжая всматриваться в вопрошавшего.— А что тебе в том, у себя ли графиня? зачем пожаловал в такую пору? стащить небось что-нибудь?

— Ах ты грубиян! ах ты неуч такой! — заревел разгневанный костюковский помещик,— да знаешь ли, ракалия, что, скажи я только слово ее сиятельству, праху твоего не останется здесь!

Принимая, вероятно, раннего гостя за бродягу, встретившего светлый праздник слишком весело, опытный при-

вратник, не желая заводить шуму, прехладнокровно взял Петра Авдеевича за плечо и, прежде чем тот успел сделать какое бы то ни было сопротивление, вытолкнул его за дверь и запер ее на ключ.

Бешенство штаб-ротмистра дошло до высочайшей степени; он бросился было назад, но дуб устоял, и, как ни кричал Петр Авдеевич, на крик его не появлялся более швейцар, а явились два дворника, вооруженные метлами. Они подошли к нему с обеих сторон, и, взяв под руки, свели с крыльца, и, приговаривая «ступай, ступай, любезный!», проводили до самого Невского проспекта. Напрасно объяснял им Петр Авдеевич, что ее сиятельство коротко ему знакома, что приехал он в Питер единственно для того, чтобы повидаться с нею, что ее сиятельство приказала ему приехать, дворники не переставали легонько подталкивать его, приговаривая однозвучное «ступай, ступай, любезный!».

— Хорошо же! я вас ужо,— проговорил Петр Авдеевич и, бросив на проводников своих гневный взгляд, скорыми шагами пустился вдоль проспекта.

Домохранители ее сиятельства, постояв с минуту на углу улицы, молча возвратились домой, а костюковский помещик, вспомнив, что не знает, где остановился, стал в тупик. По счастию, Полицейский мост показался ему знакомым; извозчики навели Петра Авдеевича на самую ближнюю гостиницу, и гостиница эта оказалась Демутовою.

Взойдя в свое отделение, костюковский помещик взглянул в зеркало и ужаснулся. Лицо его и одежда не могли не произвести на швейцара неблагоприятного впечатления, и, помирясь мысленно с ночными неудачами своими, Петр Авдеевич положил отсрочить свидание свое с ее сиятельством до позднего утра. Вытребовав рюмку водки и кушанья, он поел, разделся и лег отдохнуть.

Ульяшка, повытаскав из чемодана скромный барский скарб, развесил его по всем диванам, креслам и стульям; потом вычистил штаб-ротмистрские сапоги, выбил трубку и, не снимая тулупа, улегся на одной из кушеток, обитых трипом, которая показалась Ульяшке удобнее прочих. Слуга заснул прежде господина: думать было ему не о чем, дворца и Невы он не видал, а поужинать успел Ульяшка вплотную, выпить также; чего же более для русского человека, не взыскательного по природе своей?

Давно проснулась столица, и народ кипел в ней как в

котле. В блестящих каретах мчались по Невскому проспекту блестящие мундиры; дождь визитных карточек лился в прихожие богатых домов, все бодрствовало, все шевелилось кругом, и не шевелился один штаб-ротмистр; не шевелился и верный грязным привычкам своим Ульян, превративший, в несколько часов, прикосновением своим, бархат кушетки в материю неведомого рода.

При пробуждении штаб-ротмистра ожидало несколько новых неудач. Во-первых, он проснулся не в восемь часов, а в четыре пополудни: значило, час поздравлений прошел давно; во-вторых, Петру Авдеевичу объявили, что все магазины и лавки не отопрутся до четвертого дня праздника, а в-третьих, донес дворник, что в Кирочной, по врученному ему штаб-ротмистром адресу, не нашелся тот, отрекомендованный Тихоном Парфеньевичем, портной, живший в Петербурге двадцать два года назад, а отыскался таковой близ Чернышева моста. Дворник вызывался даже проводить к нему штаб-ротмистра, но не ранее четвертого дня праздников, потому что «в первые дни всякий гуляет», заметил дворник.

Петр Авдеевич вздохнул протяжно, помочил языком своим ус, подергал его и рассудил, что показаться ему в свет, не представившись ее сиятельству, было бы крайне неловко и лучше просидеть эти дни на своей половине и дать время лицу и рукам штаб-ротмистра отойти. Лицо штаб-ротмистра и руки были действительно такого ненормального цвета, что рассматривая их внимательно, можно было бы подумать, что продержал их Петр Авдеевич в каком-нибудь химическом растворе, в состав которого вошло изрядное количество едких веществ.

Трое суток провел костюковский помещик у окна гостиницы своей, от утра до сумерек, а в сумерки выходил в коридор и, куря трубку, беседовал то с слугами гостиницы, то с мимо пробегавшими горничными. У первых спрашивал он, что делается новенького, а у последних — кто их господа и из какой губернии.

Наступило утро четвертого дня. Пробудясь довольно рано, Петр Авдеевич приказал нанять суточного извозчика и в сопровождении дворника пустился в город. Первый визит, им сделанный, был к портному Савелью Лебедкину, обитавшему на чердаке близ Чернышева моста. Портной, худенький человечек с известковыми наростами на ногтях,

сначала рассыпал на столе кучу разноцветных кусочков шерстяных материй и помог выбрать из них самые модные, потом, сняв с штаб-ротмистра мерку, обязался поторопиться изготовлением всех заказанных ему штук.

От портного Петр Авдеевич заехал в Гостиный двор, купил полдюжины готового белья с прошивочками, манжеты на руки, шляпу, палку, две пары сапогов, стклянку с восточным букетом, то есть пачулею, и, очень довольный всеми приобретенными вещами, возвратился в гостиницу. Вечер того дня прокурил он в билльярдной палкинского трактира, а все следующее утро употребил штаб-ротмистр на дополнение в Гостином дворе своего щегольского туалета. Он не забыл ни пестрого шарфа, ни булавки с розетками, ни блестящих запонок, ни перчаток первого сорта, притом просторных, как вообще любил их, находясь еще в службе.

Побуждаемый то дворником, то Ульяшкою, Савелий Лебедкин окончил к сроку принятой заказ и все штуки разом принес ожидавшему его Петру Авдеевичу. То было в пятницу.

Глаза костюковского помещика разбежались, когда Лебедкин, с свойственною портному ловкостию, разостлал перед ним новый «тувалет» его; и действительно, ничто не могло сравниться с изысканностию цветов тех материй, из которых были сшиты новые платья: какие полосы не бежали по нижним платьям! с какими другими полосами не смешивались они, образуя то кружки, то полукружки! А пуговицы на голубом и коричневом фраке! поднеси их к свету: глазам больно станет; на иных красовалась древесная ветка, на других словно звезда с лучами и всякими прочими затеями. Больше всего понравился Петру Авдеевичу лиловый жилет с вышитым бордюром и таким выпуклым, что, дотронься до него слепой, он тотчас бы догадался, в чем сила. Поблагодарив Лебедкина за платье и снабдив его новыми заказами, штаб-ротмистр приказал Ульяшке сходить за цирюльником, а сам уселся бриться.

Ровно в полдень вошел костюковский помещик в прихожую дома ее сиятельства. Швейцар, не узнавший гостя, доложил, что графиня еще не принимает.

— Скажи, братец, ее сиятельству, что я не посторонний, а Петр Авдеич Мюнабы-Полевелов, и больше ничего; впрочем, приятель, их сиятельство там уже знают...

Посланный швейцаром слуга немедленно возвратился и,

к великому удивлению первого, доложил гостю, что изволили приказать просить.

Поправив воротнички манишки и пригладив волосы, Петр Авдеевич с трепетным биением сердца пошел по лестнице наверх.

На Петре Авдеевиче был коричневый фрак, лиловый жилет, пестрый шарф, стразовая булавка, блестящие запонки, и панталоны, полосатые до крайности. Цирюльник придал голове его запах бергамота, смешанного с поджаренным маслом, оставшимся, вероятно, на щипцах. Лацканы же фрака и носовой платок заражены были восточным букетом пачули.

Пройдя длинную анфиладу комнат, далеко не столь роскошную, на глаза Петра Авдеевича, как покои села Графского, он повстречал хозяйку в дверях спальни.

— Здравствуйте, сосед! — воскликнула графиня с такою же точно улыбкою на устах, с какой обыкновенно встречала она соседа своего месяц назад.— Очень, очень рада видеть вас; наконец вы в Петербурге, сосед! — прибавила она, протянув ему свою ручку.

— Я приехал не сегодня, ваше сиятельство, а как приказать изволили, то есть как раз к заутрени светлого Христова Воскресенья.

— Что же вы делали до сих пор и почему не были еще у меня?

— Я был, ваше сиятельство, но люди ваши не допустили меня.

— Быть не может.

— Божусь!

— Но когда же? мне ничего не сказали.

— Я заходил, ваше сиятельство, поздравить в утро первого дня.

— Теперь понимаю,— перебила графиня,— люди мои были напуганы каким-то бродягою, а может быть, и негодяем, который, вообразите себе, сосед, был так дерзок, что насильно ворвался в дом и кричал так громко, что люди должны были прибегнуть к силе и с трудом выгнали его на улицу. Вот отчего и вас, думаю, как незнакомого человека, не приняли.

Слушая ее сиятельство, костюковский помещик вспыхнул и не только не назвал имени бродяги, но навел разговор на другие предметы.

Наталья Александровна, как и в селе Графском, посадила рядом с собою Петра Авдеевича, напоила его кофеем, смеялась, шутила, но, чего не замечал штаб-ротмистр, называла его не иначе, как «сосед»; а называла его так графиня потому, что имени и отчества припомнить никак не могла.

Два часа пробыл счастливец в прекрасном будуаре графини и премило выпровожен был ею, с строгим приказом не забывать ее и являться часто и без церемонии.

«Боже праведный! за что изливаешь ты на недостойного раба твоего такую благодать! — повторял с чувством костюковский помещик,— и чем я заслужил столь великие щедроты твои?» И речь эту повторял по несколько раз в день Петр Авдеевич.

Усердно промолясь часть ночи, штаб-ротмистр дал обет сходить пешком в Невский монастырь, отслужить угоднику молебен, потом поклониться Казанской Богоматери. Чрез сутки он снова отправился к своей графине, но через сутки графиня не могла принять его; она поздно легла в постель и будить себя не приказала.

Петр Авдеевич прождал три дня, а на четвертый сделал новую попытку: графини не было дома.

«Что же бы это значило?» — подумал костюковский помещик и, пропустив еще некоторое время, снова явился в прихожую к ее сиятельству.

Промежутки между визитами своими к ее сиятельству убивал Петр Авдеевич частию на улицах, частию в билльярдной палкинского заведения, где удалось ему завестись обширным знакомством; там нашел герой наш людей очень обязательных и счастливых игроков; говорю счастливых потому, что некоторые из них выигрывали у Петра Авдеевича только тогда, когда Петр Авдеевич ставил порядочный куш; другие из обязательных знакомцев палкинского заведения не играли с ним вовсе, но держали пари, удвоивая куши при выигрыше; а результат штаб-ротмистрского препровождения времени в билльярдной обозначался половинною убылью капитала, занятого у Елисаветы Парфеньевны Кочкиной. Впрочем, стоило ли думать Петру Авдеевичу о таких пустяках? Не ниспосылало ли ему небо в числе великих щедрот десять тысяч душ и много прочего другого? С такими утешительными мыслями и прибыл он в дом ее сиятельства после недельной разлуки.

На обычный вопрос: «Принимает ли графиня?» — швейцар отвечал: «Пожалуйте». И в том же будуаре застал графиню штаб-ротмистр, и на том же кресле пил с ее сиятельством кофе и долго, долго говорил и шутил. Графиня продолжала называть его просто соседом.

На этот раз произошла в свидании Петра Авдеевича с ее сиятельством одна только ничтожная варияция: вошел в будуар, без доклада, какой-то очень недурной собою молодой человек, который даже не поклонился графине, а просто пожал ей руку и, с любопытством посмотрев на штаб-ротмистра, преспокойно уселся на первые попавшиеся кресла.

Странным показалось костюковскому помещику, что на молодом человеке этом не было ни запонок, ни булавок, ни даже пестрого платка, а просто что-то черное; нижнее платье его не притянуто даже было книзу двумя глянцевитыми штрипками, а, вместо шарфа, на шее был небольшой черный платок, повязанный весьма небрежно. «Разгильдяй!» — подумал штаб-ротмистр, отвернувшись от помешавшего ему гостя.

Нужно было графине, как хозяйке дома, спросить у нового гостя что-нибудь; она и спросила по-французски. Петр Авдеевич уже понимал это наречие, и понял, что графиня спросила, отчего уехал он вчера так рано от нее.

— Je tombais de sommeil[1], — отвечал молодой человек.

«Невежа!» — подумал Петр Авдеевич.

В свою очередь и молодому человеку нужно же было спросить у хозяйки что-нибудь; он и спросил у нее, взглянув искоса на штаб ротмистра:

— D'où vous tombe ce prodige?[2]

— Cela? c'est un de mes pauvres voisins de campagne, brave homme du reste, que je voudrais marier[3].

— Avec qui donc, par exemple?[4]

— Peu importe[5] — отвечала, смеясь, графиня.

И этих немногих слов достаточно было Петру Авдеевичу,

[1] Мне смертельно хотелось спать *(франц.)*.

[2] Где вы откопали это чудо? *(франц.)*

[3] Это? Это один из моих бедных деревенских соседей, впрочем, честный человек; я его хотела бы женить *(франц.)*

[4] На ком же, например? *(франц.)*.

[5] Все равно *(франц.)*.

чтобы, забыв все приличия, издать глухой, ужасный стон, побагроветь и подняться на ноги.

— Что с вами, что это? — воскликнула испуганная графиня, со страхом смотря на него.

— Ни-че-го-с! — отвечал штаб-ротмистр и, шатаясь, вышел из будуара.

В тот же вечер, заплатив в гостинице Демута по не поверенному никем счету, костюковский помещик приказал нанять лошадей до первой станции и в сумерки выехал из Петербурга в той самой телеге, в которой въехал в него так недавно.

Петр Авдеевич не пил, не ел, не спал и не говорил слов. В кармане Петра Авдеевича находилось достаточно денег на прогоны, на весь путь до Костюкова! Какое счастье!

Первым делом штаб-ротмистра, по приезде его на родину, было следующее распоряжение: он снял со стен своего домика картины, оружия и прочие украшения, бережно уложил все в ящики и, вместе с мягкою мебелью, отправил в село Графское. Потом принялся Петр Авдеевич сдирать со стен разноцветные бумажки, а кончив и это занятие, приказал расставить по комнатам все, что находилось в них до приезда графини. Горностай подвергся той же участи, но расстаться с ним штаб-ротмистр не мог еще решиться никак, он просидел в стойле его целый час, а возвратившись в спальню, прилег на трехногий диван свой и горько заплакал.

В продолжение одной недели голова штаб-ротмистра покрылась сединою, глаза его потухли, щеки впали, а отросшая борода придала недавно свежему лицу его выражение страдальца; он не говорил ни с кем, не входил в хозяйство, а ежели случалось Кондратью Егорову докладывать, что нужно бы купить кое-что для дома, но денег не было в конторе, Петр Авдеевич отвечал обыкновенно «не нужно» и знаком приказывал приказчику выйти.

Так протянулась еще неделя, а за нею настал и срок платежа семи тысяч двухсот рублей, занятых у Кочкиной. О сроке этом, конечно, не вспомнил бы костюковский помещик, но вспомнил Тихон Парфеньевич и, в сообществе Дмитрия Лукьяновича, пожаловал в Костюково.

Войдя в первую комнату, городничий оглянулся во все стороны и покатился со смеху...

— Ба! — воскликнул он, утирая глаза рукою,— старые знакомые, добро пожаловать; посмотри-ка, брат Дмитрий, и стульчики и столы — все наследственное, видно, гости-то разъехались по домам. Ай да Петр Авдеевич, вот разодолжил!

Новый смех, к которому присоединился и смех Дмитрия Лукьяновича, раздался в бедных стенах жилища штаб-ротмистра.

— Где же барин? — спросил наконец Тихон Парфеньевич у Кондратья Егорова, стоявшего у дверей в грустной задумчивости.

— Барин нездоров,— отвечал приказчик.

— Чай, после петербургских свадебных пиров? Чему дивиться, занеможешь как раз с непривычки-то; ну, братец, так веди же нас к нему: дельце есть небольшое.

Петр Авдеевич, не обратив никакого внимания на слышанный им смех и сарказмы, просил гостей извинить его и присесть.

— Рады бы, сударь, да недосуг нам, почтеннейший,— отвечал городничий,— мы, извольте видеть, пожаловали к вам по дельцу.

— По какому, Тихон Парфеньич?

— Сегодня срок, сударь, должишке; он, разумеется, плевый для вас; ну, а сестре Лизавете...

— У меня нет денег, Тихон Парфеньич,— сказал равнодушно штаб-ротмистр.

— А нет, так и не нужно; условие останется в полной силе; а сказано в нем: что, буде я, то есть отставной штаб-ротмистр Петр Авдеев, сын Мюнаба-Полевелов, такого-то числа и года не возвращу обратно вдове надворного советника Лизавете Парфеновой Кочкиной полученных мною в виде задаточной суммы семи тысяч двухсот рублей государственными ассигнациями, то вольна она, Лизавета Парфенова, дочь Кочкина, вступить во владение родовым имением моим и проч. и проч.

— Что же мне теперь делать? — спросил Петр Авдеевич.

— Что? — повторил, смеясь, городничий,— а что же делать? или возвратить заимствованную сумму, или снабдить, хоть меня, или, пожалуй, племянника форменною доверенностию для свершения именем вашим купчей крепости. Да, я ведь и забыл было сообщить вам, мой почтенный, о сочетании законным браком родной племянницы, вы помните ее,

может статься, Пелагеи Власьевны с Дмитрием Лукьяновичем.

Штаб-ротмистр не отвечал ни слова.

— Что же вы, сударь, не поздравите меня? вот это не хорошо,— прибавил Тихон Парфеньевич,— я в подобном, или, правда, не совсем подобном, случае, а, помнится, и радовался и поздравлял вас...

Высказав это, городничий кивнул штатному смотрителю, и оба зажали рты платками, чтобы не лопнуть со смеху.

Убедившись, что Петр Авдеевич или не слышит ничего, или уже бог знает что с ним делается, Тихон Парфеньевич подложил ему заблаговременно подготовленную доверенность на имя самого городничего... Петр Авдеевич, все-таки молча, подписал доверенность, расписался в книге и снова лег на диван.

— Теперь остается, сударь, как ни щекотливо, но формы, Петр Авдеич, формы, уж извините меня, остается, говорю, узнать, сколько то есть времени располагаете вы пробыть... здесь?..

— Я? — отвечал штаб-ротмистр,— в Костюкове моем?..

— Ну, сударь, не совсем в вашем...

— Да, да, простите рассеянность, Тихон Парфеньич... все думаю о другом...

— Это ничего, это от усталости, должно быть,— заметил, но только уже не смеясь, городничий.

— Я выйду сегодня, сейчас...

— Зачем же, сударь? никто не говорит!

— Нет, Тихон Парфеньич, нет, я, я... вот видите...

С этим словом штаб-ротмистр улыбнулся как-то странно, опустил руки и закрыл глаза... Гости было бросились к нему, позвали людей, но, видя, что Петр Авдеевич не приходит в себя, почли за лучшее не беспокоить его долее и удалиться.

В одиннадцатый день, после описанного нами происшествия, кучер Тимошка, не отходивший от постели больного барина своего ни на шаг, заметил, что лицо Петра Авдеевича будто оживилось, а дыхание барина становилось ровнее и правильнее. Тимошка, не доверяя себе, на цыпочках вышел из комнаты и тотчас же возвратился в нее, ведя за собою знакомого уже нам Готфрида Иогана Гертмана.

— Взгляните-ка, Федор Иваныч,— сказал шепотом кучер,— ей-богу, бариново-то личико словно оживилось.

— И точно: закраснелось будто,— заметил немец,— а вот дай-ка спирту, я попробую потереть виски да дам понюхать.

Тимошка взял на столе стклянку и передал ее графининому управляющему. Едва коснулась вата ноздрей больного, он повернул голову и раскрыл глаза... Увидев это, добрый кучер крикнул от радости, но Федор Иванович унял его знаком и продолжал ухаживать за штаб-ротмистром, то согревая трением руки его, то давая больному вдыхать спирт. Заботы управляющего не пропали, и, совершенно пришедши в себя, больной спросил наконец слабым голосом: где он, что с ним и отчего он ничего не помнит?

Тимошка пустился было в объяснения, но и в этот раз, приказав ему молчать, Федор Иванович попросил Петра Авдеевича не начинать говорить, пока хотя несколько не укрепится и не проспит часок-другой. Штаб-ротмистр повиновался и крепко заснул; в это время Тимошка, с радости, напился до полусмерти. Оба, как барин, так и кучер, проснулись почти в один час, но уже не в этот день, а в следующий. Петру Авдеевичу исполнилось двадцать девять лет, следовательно, четырнадцать часов сна после кризиса нервной горячки только что не поставили его на ноги. Он спросил поесть и проглотил за один раз миску бульону с порядочным куском белого хлеба; потом спросил трубку, в один миг выкурил ее дотла и, подозвав к себе Федора Ивановича, принялся расспрашивать его как о болезни своей, так и обо всем прочем, что с ним случилось. Бедный костюковский помещик не помнил ровно ничего.

Господин Готфрид описал ему подробно все припадки нервного воспаления, не забыв упомянуть и об усердии Тимошки и других людей, а потом уже коснулся и прочего...

Штаб-ротмистр, выслушав господина Готфрида, спросил наконец: по какому же случаю находится еще он, костюковский помещик, в сельце своем Костюкове, когда Костюково это не принадлежит ему более.

На вопрос штаб-ротмистра графский управляющий отвечал улыбаясь, что, по случаю продажи имения, к ее сиятельству послана была им, господином Готфридом, эстафета, и, по эстафете же, получен ответ, в котором ее сиятельство, немедленно и за какую бы то ни было цену, приказать изволили перекупить Костюково у госпожи Кочкиной, на имя прежнего владельца; а как Елисавета Парфеньевна

изъявила согласие уничтожить все выданные ей штаб-ротмистром документы за десять тысяч рублей ассигнациями, то и привез эту сумму господин Готфрид штаб-ротмистру.

— Где же деньги эти? — спросил, побледнев, костюковский помещик; глаза его страшно блистали.

Федор Иванович, все-таки улыбаясь, вынул из кармана тщательно завернутую кипу ассигнаций и подал ее больному. Вскочив с постели как сумасшедший, штаб-ротмистр судорожно схватил деньги и бросил их в лицо управляющему.

— Скажите богатой графине вашей,— воскликнул надменно полумертвец,— что сосед может быть преглупою, пребессмысленною тварью, но подлецом — никогда! Прощайте, господин Готфрид!

Оробевший немец хотел было возражать, но Петр Авдеевич дружески пожал ему руку и, указав на дверь, громко позвал Ульяшку.

В сумерки того же дня костюковский помещик оделся с ног до головы в свое старое платье, новое же роздал людям. Отцовские бумаги бросил он в печь, положил в карман к себе кошелек с оставшимися от прогонов деньгами и, помолясь перед иконами, вышел никем не замеченный из дому.

Через месяц переехали на житье в Костюково новые владельцы его, а именно: недавно перешедший из штатных смотрителей в становые пристава Дмитрий Лукьянович и супруга его Пелагея Власьевна. Кучер Тимошка за беспросыпное пьянство сослан был на поселение.

Прошло десять месяцев после происшествий, описанных нами. Настали святки. Давно не доводилось терпеть такой стужи, как в ту лютую зиму.

В одну из крещенских морозных ночей в окно постоялого двора, стоявшего поодаль от деревни, постучался какой-то прохожий.

— Кого бог дает? — спросила хозяйка, лениво слезая с полатей; увидев сквозь замерзшее окно прохожего, она зажгла лучину и отперла дверь.

В избу вошел человек, на взгляд лет пятидесяти; лицо его было бледно и худо; одежда прохожего не походила на крестьянскую, не походила она и на солдатское одеяние,

а представляла что-то среднее между военным и крестьянским. Посмотрев на него с недоверчивостию, хозяйка разбудила мужа и шепнула ему что-то на ухо. Хозяин постоялого двора, отставной солдат, менее боязливый, чем жена его, убедившись, что у прохожего не было ни ружья, ни палицы, и, видя, что, сняв с себя сумку, он преспокойно уселся под образами, спросил у него, не хочет ли он чего перекусить. Прохожий пошарил в карманах, в сумке и, не найдя, видно, денег, отвечал, что есть не хочет, а выпил бы воды и охотно прилег бы на печь.

— Кто же тебе мешает, любезный? — отвечал хозяин,— вода в сенях, а печь, вот она, ложись с богом!

Прохожий взял со стола кружку, вышел в сени и, отыскав в углу кадку с водою, напился и возвратился в избу; потом, поставив кружку на прежнее место, он перекрестился, лег на печь, подложив себе под голову сумку.

— Видно, шаромыжник какой,— шепнула хозяйка на ухо хозяину.

— Бог с ним, пусть себе выспится; простору много в избе,— отвечал тот, укладываясь на полатях, и снова тишина воцарилась на постоялом дворе. По прошествии некоторого времени, новый стук послышался у дверей, и на этот раз не один, а много голосов долетело до слуха хозяев.

Засветив лучину, хозяйка, как и прежде, бросилась отпирать наружную дверь, и в избу при этом вошло несколько ломовых извозчиков того разряда, которыми весьма дорожат содержатели постоялых дворов.

— Милости просим, милости просим! — кричал с полатей своих хозяин,— чай, проголодались? так и похлебать найдется что в печи.

— Вестимо, проголодались, хозяин,— отвечал один из извозчиков, отдирая от бороды своей ледяные сосульки,— а есть что в печи, так ставь поскорей и хлеба подать потрудись!

Извозчики, побросав шапки свои в один угол и сняв пояса, стали расхаживать вдоль и поперек избы, постукивая ногами и разминая различными движениями тела оледеневшие члены.

— Ну, морозец бог послал! — начал тот же парень,— дух захватывает, в гору-то и кони не берут, словно по железу каленому ступают.

— А издалеча едете? — спросил хозяин.

— Из-под Киева; вот, без мала третью неделю тащимся; путь-то бедовый; что будет в здешних местах, а за Черниговым ни порошинки снега, грех такой, право.

— Тут снегу не оберетесь, а лесами и дорога добрая, хоть шаром покати.

Во время разговора мужа с извозчиками хозяйка постлала на стол кусок холстины и, вытащив из печи чугун со щами, вынула из него мясо, которое, свесив при извозчиках, изрезала в мелкие куски и высыпала обратно в тот же чугун; свешен был предварительно и хлеб, поданный гостям. За первым блюдом поставлена была на стол корчага с кашей, за кашею подана была половина барана, зажаренного в сале, а заключился ужин огромною мискою молока с ситником. Поглотив все без остатка, извозчики молились у образа, снимали тулупы и укладывались спать, кто на лавках, а кто на печь.

— Да тут лежит кто-то,— воскликнул один из извозчиков, заметив спящего прохожего,— напрасно же, хозяева, вы не сказали нам, что есть постояльцы у вас.

— Это бездомок какой-то,— отвечала хозяйка,— а вот я разбужу его.— И, пододвинув к печи скамейку, она стала на нее и принялась расталкивать прохожего.

— Добрый человек,— сказала супруга отставного солдата,— проезжие ребята хотят отдохнуть, ты же, чай, выспался, так бог с тобой: скоро рассветет.

Прохожий приподнял голову, посмотрел молча на хозяйку, потом слез на пол, надел сумку свою на плечи и, отыскав палку, вышел из избы.

Предутренний мороз охватил его, бедного, в свои холодные объятия, но за спиной бездомка щелкнула дверь; пред ним лежала дорога; он поднял глаза к небу, завернулся в свое рубище и пошел...

В эту ночь мерзли птицы небесные, в эту ночь собак своих не оставили бы на дворе добрые хозяева, и в эту же ночь вытолкан был несчастный прохожий потому только, что у прохожего не оказалось ни гроша денег, чтоб заплатить за скудный ужин на постоялом дворе стоявшем на земле графини Натальи Александровны Белорецкой.

Наутро один из лесников графини, обходя участок свой, увидел человеческий след, проложенный кем-то с большой дороги в лес. «Вор»,— подумал лесник, идучи по следу. Шагах в двухстах от большой дороги он вдруг остановился

и, затрясшись всем телом, снял шапку... В стороне, на древесном пне сидел белый мертвец, покрытый рубищем; мутные глаза его были открыты, они как будто смеялись.

Приехавши на место с временным отделением земского суда, становой узнал его и, несмотря на то, что смеявшийся мертвец был не кто иной, как соперник станового, Петр Авдеевич, Дмитрий Лукьянович даже не улыбнулся. Улыбнуться же покойника заставила предсмертная мысль его: он замерзал с уверенностию принадлежать впредь вместе с землею помещице.

Ночь на 28-е сентября

Часть первая

Письмо первое

Графиня Наталья С. к Софье Р.

Ужасно, Софья! Представить себе не могу, мой друг, что наконец наступило время переписки, что вздохи ты мои услышишь только через неделю, что на жалобы мои ты будешь отвечать через две, а увидимся мы бог весть когда! И эту тоску, и это страдание доктора величают отдохновением — какая страшная мистификация! Вообрази себе, что мы живем в превысоких стенах, обтянутых не лионской тканью, а паутиною, что с закопченных потолков смотрят на нас какие-то опухлые богини, со стен — престранные предки, из-за дверей выглядывают сотни старых слуг, а из окон — черемуха. Отец в восторге от всего этого, а я чуть не плачу... И всем этим придется наслаждаться целые шесть месяцев! C'est en devenir folle[1], право! Кстати, скажи моей доброй Miss Thon, чтобы она ради бога не высылала мне ни одной вещицы из моего кабинета, ни одной шляпки, ни одного платья, а прислала бы резиновый колпак, галоши и, если можно, маску от пчел и комаров; вот все, что необходимо мне в этой несносной пустыне. Мы дотащились сюда в субботу вечером. В воскресенье отец зазвал прямо из церкви легион соседей и соседок. Что за люди, ma chère![2] Ты не поверишь: на девицах перчатки

[1] Есть от чего сойти с ума *(франц.)*.
[2] дорогая моя! *(франц.)*.

с отрубленными пальцами. В девять часов я уснула от тоски и усталости. Отца начинаю не любить: он смеется и дразнит меня как ребенка. В спальню влетела летучая мышь; в камине всю ночь кричал сверчок; я спала дурно, проснулась презлая, вышла в сад. Елки там обстрижены à la malcontent[1]; старые бабы начали обнимать и целовать меня. Потом привели мою верховую лошадь; я обрадовалась ей до слез. Папá счастливее, чем когда-нибудь; еще неделя — и я чувствую, что мы пресерьезно поссоримся. Какой нестерпимый эгоизм! заставить меня переселиться с Елагина в Скорлупское... милое названье, не правда ли? — и переменить невозможно. За ужином нам подали карасей со сметаной, c'est très bon, ma chère[2], папá ел за четверых; он делается mauvais genre[3]; того и смотрю, что наденет полевик; даже манеры его портятся; а картуз... какой картуз! нет, я украду его и сожгу непременно. Мне грустно. Писать долее не в силах; я рассержена, я сделаю ему сцену... этому картузу. Прощай, Софья, и пожалей меня!

Увидишь Надину, скажи, что мы блаженствуем. Хорошо блаженство...

Письмо второе

Не могла выдержать, чтоб не написать; завтра почта и посылают в город. Вообрази себе, мой друг, что городом называют здесь грязную улицу, обставленную маленькими кривыми домами, из досок, кажется, цветом похожих на шафран и земляные груши; в лавках рядом с пастилою лежит желтое мыло и сальные свечи; у двери вяжет чулок безобразная баба, и перед ней — о ужас! прегрязные сельди в корыте, и с ними пустые помадные банки. Папá требует, чтобы я была у всех с визитом; для этого я имела глупость надеть мое любимое платье гласе, и не знаю где, но, вероятно, прежде меня, у кого-нибудь на диване сидели птицы: прости платье! Я объявила отцу, что больше не поеду и предпочитаю заключиться в нашем Скорлупском. Впрочем, это Скорлупское очень недурно; природа наделила его не-

---

[1] на манер «недовольного» *(франц.)*.
[2] это прекрасно, моя дорогая *(франц.)*.
[3] дурного тона *(франц.)*.

которыми прелестями, которые, при другой обстановке, произвели б большой эффект. Во-первых, в нескольких шагах от балкона течет Днепр. В первые дни погода была ясная, тихая, и я было его не заметила, но вчера из-за рощи поднялась туча и скоро обложила горизонт; сначала дунул ветер, и верхи дерев зашевелились, но туча поднялась еще выше, солнце скрылось, ветер сделался сильнее, и бор заревел так громко, что мне стало страшно; когда же ветер превратился в вихрь, а вековые сосны зашатались, я невольно взглянула по направлению реки, и тогда только, ma chère, внутренно созналась, что, не сделав визита соседу, поступила очень невежливо. И Днепр имел полное право сердиться: он был истинно прекрасен; смотря на гнев этот с трепетом, я была от него в восхищении. Нева очаровательна; волны ее и светлы и прозрачны; в самую бурю все движения ее как-то плавны, грациозны; не внушает она ни боязни, ни страха; катясь по роскошной набережной, мимо великолепных дворцов или прелестных дач, мы едва замечаем волнение Невы; но не таков Днепр — этот древний исторический Днепр! За несколько минут до бури я едва заметила его в зеленой чаще ив: тогда он, как вежливый старик, обходил осторожно каждый кустик, каждую травку, казалось, уклонялся от всякого столкновения голубой струи своей с песчаным берегом... и тот же Днепр, при первом взрыве вихря, при первом стоне бури мгновенно вырос, поседел, и с ужасным ревом стал раздирать землю!.. Как ничтожны показались тогда неприступные скалы, еще недавно смотревшиеся в него с гордостью! как низко поклонился ему исполинский лес, а меня, конечно, он и не заметил! В девятом часу звон колокола (у нас звонят á rropos de tout[1]), позвал меня к чаю.

Весь вечер я с отцом просидела вдвоем, в его кабинете; папá читал мне до самого ужина фамильные легенды; время прошло скоро: и страшно и приятно было! Предания эти так оригинально любопытны, что я не могу не передать их тебе, мой друг, во всей подробности. Вычитали мы их в престаринной книге, переплетенной в позолоченную кожу с медными украшениями, а книгу эту отец нашел в библиотеке своего прадеда, прежнего владельца Скорлупского; на портрете прадед кос, но, может быть, в натуре этого не

[1] по всякому поводу *(франц.)*.

было. Слушай же. Ты, конечно, знаешь, ma chère, что губерния наша в древние времена неоднократно переходила то к России, то к Польше и, находясь на границе, служила театром беспрерывных войн; нет уголка земли, говорит папá, на котором не находили б человеческих костей или оружия; рассказам о кладах нет конца — преинтересная страна! Фамилия же графов С. была некогда польская, а легенда относится к той эпохе, когда первый предок наш принял греческую веру. Вспомнить не могу — так страшно это предание! Вот видишь ли, мой друг, в тех самых стенах, где мы живем теперь, жил некогда пресердитый и пребогатый пан; границы владений его заходили далеко за Днепр; леса были дремучие; в них содержал он, под видом пограничной стражи, просто разбойников и, пользуясь вечными смутами, творил такие злодейства, которым в наше время не решаешься верить. Например, в тех самых погребах, где у нас хранятся яблоки, раздавались по ночам жалобные стоны заключенных; на дворе производились казни, пытки, словом, всякого рода ужасы. Большую часть жертв его составляли жиды; в глазах пана жид и виноватый были слова однозначащие, а ограбить жида, замучить, уничтожить — ровно ничего не значило. Пан смеялся, глядя на слезы жидов, и приходил в бешенство, когда красавица-жена его пыталась смягчить участь страждущих; он даже, вообрази себе, ma chère! бивал ее иногда в присутствии пировавших с ним гостей, и скоро вогнал ее в могилу. Единственное существо, с которым он обходился ласково, был сын, прекрасный молодой человек, воспитанный в Варшаве, где воспитывалась вся блестящая молодежь того времени. Молодой человек был очень красив, ловок, статен и сводил с ума всех девушек в окрестности; он увозил некоторых из них, прятал в лесах и потом снова отсылал к родителям, которые, боясь пана, молчали и не смели жаловаться. Смежно с его землями находилось владение небогатого, но известного своими заслугами русского боярина; у боярина было двое детей: сын, служивший в московских дружинах, и дочь, молодая девушка, красоты необыкновенной. Старик-отец страстно любил обоих и, разлучась с сыном, хранил дочь, как единственное утешение, как сокровище, в пожертвовании которым отечество не нуждалось. Весть о чрезмерной красоте Ирины дошла до слуха молодого человека, который поклялся

употребить все, чтобы овладеть ею. Так как отец был верным помощником во всех постыдных делах его, то он, без сомнения, прибегнул бы к его пособию и открытою силою мог вырвать дочь из рук отца; но такой поступок мог обратить на него внимание русского правительства, и пан решился ожидать благоприятнейшего случая, который не замедлил представиться. Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским, и в то же время Сигизмунд осадил Смоленск. Поляки торжествовали. Ты понимаешь, мой друг, что я касаюсь истории вскользь, а потому и скажу тебе только, что различными происками прадед наш успел оклеветать соседа своего, боярина, и получить от короля Сигизмунда полномочие задержать боярина и представить его на суд поляков. Защищаться против вооруженной силы было невозможно, и боярина не только взяли, но и умертвили, будто бы в схватке; дочь его между тем успела скрыться. На след ее напущена была целая стая собак, приученных паном к подобным розыскам; действиями ее управлял сам молодой человек. В глухую осеннюю полночь озлобленные животные достигли в лесной чаще потаенного входа никому до того не известной пещеры и с страшным воем принялись рыть землю; подскакав к пещере, которая должна была скрывать несчастную девушку, молодой человек соскочил с лошади, отыскал отверстие, едва прикрытое наскоро придвинутым камнем, выхватил меч и стал отодвигать камень, который уступил силе; но вместо ожидаемой жертвы ему предстал какой-то пустынник; он осенил его крестным знамением и именем бога заклинал не идти далее. Удар меча был ответом на эти слова. Обагренный кровью, пустынник поднял руку, молча указал на убийцу, и в тот же миг многочисленная стая собак с бешенством бросилась на своего повелителя. Терзаемый со всех сторон молодой человек огласил воздух таким адским хохотом, что вся окрестность дрогнула; звери завыли, а в соседних селах колокола сами собою загудели протяжно и заунывно. Что сталось с боярской дочерью и с пустынником — неизвестно; но легенда гласит, что ровно через год, в полночь, дремучий лес на огромное расстояние огласился тем же смехом, и в продолжение нескольких минут вторил ему и рев собак, и вой зверей, и заунывный голос колоколов. Старый пан крепко задумался и стал молиться; еще прошел год — то же явление. Отец погиб-

шего сына на месте чудного происшествия заложил обитель, принял православную веру и постригся. Ближайший наследник вступил во владение всем богатством панским, а обитель существует и теперь. Вот тебе, ma chère, и легенда; она страшна, но еще страшнее то, что все жители Скорлупского утверждают (чему хоть и страшно, а хочется верить), будто бы двадцать восьмого сентября, ровно в полночь, даже из нашего древнего дома явственно слышен и хохот, и лай, и вой, и звон. Я спрашивала у отца, верит ли он этим россказням, и ожидала обыкновенной его улыбки, но, к удивлению моему, он подумал, пожал плечами и не отвечал ни слова.

Как тебе это нравится? Что же касается до меня, то я положила у самой постели своей двух горничных... Прощай покуда, Sophie, и напиши, ради дружбы нашей, каков был бал у княгини Б... и кто больше всех произвел фурор. Бог мой, какая тоска у нас!.. А Днепр очень хорош!

Письмо третье

Нет, не пиши мне таких писем, друг мой, Sophie! Когда я читаю их, настоящая жизнь моя становится еще несноснее. Ты в Павловске блаженствуешь, а я, бедная я!.. И еще целые пять месяцев подобных! И все это для здоровья, когда можно умереть с тоски! Ты говоришь, что какой-то Поль Старославский собирается приехать в наше соседство; но кто же этот несчастный? и может ли он быть порядочным человеком, если собирается променять Петербург на нашу глушь? Вероятно, больной; впрочем, по описанию твоему я заключила, что будущий сосед наш не гвардеец — плохое утешение! Папá желает свозить меня к одной из дальних его родственниц; там ярмарка и, кажется, домашний спектакль. О первой я не имею никакого понятия; последний воображаю. Мы едем на днях. Единственным рассеянием нашим во все это время был здешний исправник, человек лет сорока, рябой, с золотою цепью на шее. Для того чтобы мне понравиться, он изобрел прескучную вещь: мы по целым суткам удим рыбу, и исправник надевает своими руками живых червяков на крючки. Можешь представить, как противен мне его способ нравиться? Я, впрочем, убеждена, что со временем буду очень довольна

теперешним пребыванием своим в деревне. В столице никто из нас не имеет никакого понятия о провинциальной жизни: этот мир так мало походит на наш обыкновенный, что, случайно увидев его, непростительно было бы не изучить нравов и обычаев этого неизвестного мира. Не думай, однако ж, чтоб однообразная, скучная для нас жизнь в деревне не имела своей поэзии, чтоб и в самом скромном крестьянском быту не было своих прелестей. Я еще не сроднилась с этой поэзией, не постигаю, не понимаю ее и прислушиваюсь иногда к отдаленному шуму воды, кваканью лягушек, заунывной песне прохожего, а главное — к пению соловья, не в клетке, не в тесном цветнике, но в темной, густой чаще бесконечной рощи. Признаюсь тебе, chère amie[1], на сердце происходит у меня что-то чудное, что-то новое, одним словом, что-то такое, чего не ощущаем мы, даже танцуя редову... Возвращаюсь к Скорлупскому. Чем больше знакомлюсь с ним, тем более мирюсь со своею новою жизнью, и повторяю, что, будь ты со мною, Sophie, да еще два-три человека поинтереснее, я согласилась бы прожить тут, пожалуй, целые пять месяцев. Доктор приказал мне вставать почти с солнцем, гулять много, обедать рано и рано ложиться. Знойный полдень скучен, но вечер иногда, право, очень мил. В одной из ближних деревень отыскалась моя кормилица, простая, но добрая женщина; она плакала, целуя меня; в первый визит принесла она мне курицу, которую я кормлю сама; во второй еще курицу; а третьего дня я отправилась к ней в гости пешком. С первого взгляда бедность и даже нищета кормилицы привели меня в отчаяние, я понять не могла, как можно довольствоваться двумя темными избами, в которых нет ни мёбели, ни даже фаянсовой посуды; мне стыдно было расспрашивать ее о причинах подобных лишений, но, вообрази себе, кормилица не только не жаловалась на судьбу, а напротив, с гордостью стала хвастать своею роскошью, достатком и за каждым словом превозносила доброту папá. Три часа просидела я у этой доброй женщины, осмотрела ее садик, не больше моего кабинета, ее огород, телят, птиц и внучат и все хозяйство; оказалось, что вообще крестьяне наши пресчастливый народ, и, в доказательство этой истины, кормилица преважно объявила мне, что у каждого мужич-

[1] милая подруга *(франц.)*.

ка по две лошади кругом на душу. Je n'y comprends rien[1], но все равно... До дому провожали меня девушки всей деревни; они так громко пели, и пели такой вздор, что мне становилось за них совестно. Костюмы здешних девушек и в особенности их талии не изящны, это правда; но к ним привыкли, и потому бог с ними! Желая поблагодарить их за песни и сделанный мне прием, я хотела раздать девушкам несколько вещиц, которых у меня так много, но папа́ уверил меня, что подобные подарки никогда не будут вполне оценены и, взамен их, он приказал целую неделю не требовать девушек ни на какие работы. Весть эта возбудила всеобщий восторг; песни превратились в радостный крик, а к песням присоединились танцы, но такие танцы, которых описать нет никакой возможности. День кончили мы в обществе сельского священника, также лица для меня нового. В нем нет ни педантизма, ни претензий; он должен быть очень добр. В десять часов мы разошлись. Не желая спать, я в первый раз прочла несколько страниц одного русского журнала; мне попался разбор книг: какие неприятные вещи говорят друг другу русские авторы. Впрочем, некоторые замечания очень остроумны, и я невольно смеялась.

На следующий день.

Ночью была страшная гроза; град разбил стекла, уничтожил цветы в саду и побил поля. Папа́ говорит, что какой-то хлеб пострадал и вся надежда на другой; tout cela est du grec pour moi[2], а жаль мужичков! До самого утра дождь, ударяя в крышу, производил шум, который, мешаясь с отдаленными перекатами грома, расположил меня к самому сладкому сну. Солнце пышно осветило грустную картину всеобщего беспорядка... Деревья были местами поломаны, а дорожки изрыты глубокими промоинами. К полудню все просияло, и я отправилась взглянуть на Днепр: он был мутен и быстр; на желтоватом гребне своем нес он части строений, бревна и множество предметов, которые рассмотреть было трудно. За всем этим гоняются смелые рыбаки в миниатюрных лодочках; при мне одна из них опрокинулась — и как бы ты думала, мой друг, что сделали

---

[1] Я в этом ничего не понимаю *(франц.)*.

[2] это мало доступно моему пониманию *(франц.)*.

другие рыбаки, смотря на своего падавшего в воду товарища? они расхохотались и не только не оказали ему никакой помощи, но, напротив, мешали несчастному выйти на берег; впрочем, смеялся больше всех сам утопавший, который брызгал на веселое общество водою и не потрудился даже переменить одежды. Quels hommes![1] Папа́ уверяет, что прибрежные жители Днепра ныряют как утки; а ежели иногда тонут, то это только по собственному желанию, чего, впрочем, почти никогда не случается. Кстати о Днепре! В 1812-м году, когда уничтоженное французское войско бежало из России, маршал Ней с арьергардом два раза вынужден был пройти в окрестностях наших через реку, и оставил на дне ее бо́льшую часть своих сокровищ. По словам некоторых стариков крестьян, помнящих событие, полные фуры золота и прочих драгоценностей следовали за маршалом, а кому неизвестно, в каком положении соединился он с главною армиею своею. Какое поприще для искателей богатств и сколько занимательных анекдотов! При свидании постараюсь передать тебе их, а покуда ограничусь описанием презабавного происшествия, которое хотя и не совершенно относится к Днепру и маршалу Нею, но довольно оригинально. На прошлой неделе мы с папа́ отправились под вечер на большую городскую дорогу пешком; воздух был свеж, комаров как-то меньше, а целью прогулки нашей была надежда встретить посланного за письмами и журналами. Не успели мы с версту отойти от села, как слышим в кустах прегромкое пение; такого рода обстоятельство не обратило бы на себя нашего внимания, но песня была не русская, а французский романс. «Кто бы мог быть этот певец?» — спросил с любопытством папа́, и вдруг на опушке появился человек лет сорока, смуглый, невысокий ростом, но веселый и открытой наружности; на нем был какой-то мундир без пуговиц, соломенная шляпа и клетчатый плащ. «Salut, mon prорriétaire!»[2] — воскликнул прохожий, проходя мимо отца, который, конечно, остановил его и засыпал вопросами: откуда он, куда идет и зачем. Господин в фантастическом костюме был француз, шел в город Minsky, и за таким делом, которого, конечно, ты никогда не отгадаешь. Не хочу тебя мучить, ma chère,

---

[1] Что за люди! *(франц.)*

[2] Здравствуйте, хозяин! *(франц.)*.

и потому скажу, что это за дело. Один из родственников чужеземца завещал ему, умирая, бочонок с червонцами, закопанный умершим другом умершего же родственника на большой дороге между городом Minsky и Moscowa; признаком того места, на котором находился бочонок, была кривая березка с нарезанным на ней крестом. Папа́ не мог удержаться от смеха, слушая наивный рассказ француза, который с большим трудом согласился наконец, что с двенадцатого по сорок пятый год березка могла и быть вырублена, и даже заменена другою, не говоря уже о бесчисленном количестве деревьев, находящихся на пути от Москвы до Minsky, что, вероятно, значило Минск. Разочарованный прохожий задумался ненадолго и, помолчав, вдруг сам же стал смеяться над собою, называя и родственника своего, и себя такими уморительными названиями, которых я и припомнить не могу. Папа́, сжалясь над ним, позвал его на несколько дней в Скорлупское, на что тот охотно согласился, и мы втроем возвратились с прогулки. Француза зовут Жозеф. На следующее утро мы нашли Жозефа в саду; вооружась лопатою, он взял под команду свою садовников и, никем не прошенный, распоряжался всеми работами. Поздоровавшись со мною, как со старою знакомою, он объяснил мне свои проекты касательно будущих улучшений цветника и принялся копать землю, напевая что-то; с садовниками объяснялся он частью на своем наречии, частью пантомимою; как бы то ни было, но его понимали и слушались. Папа́, любящий все веселое, не только не мешал Жозефу приводить в исполнение его проекты, но дал себе слово не напоминать даже ему, что он гость, не имеющий ни права, ни причины хлопотать так много в месте, ему совершенно чуждом. Наступил час обеда, и Жозеф попросил стакан молока и кусок хлеба; от всего прочего, предлагаемого ему, он решительно отказался, утверждая, что много есть — дурная привычка. Гость проработал в саду до поздней ночи, выпил второй стакан молока, переночевал в роще, под открытым небом, и с рассветом не только себя, но и всех товарищей своих снова вооружил лопатами. Скоро неделя, как Жозеф у нас, и папа́ уже до того привык к нему, что не может подумать равнодушно о возможности с ним разлучиться. По паспорту значится, что приятель наш эльзасский уроженец, ремеслом переплетчик. Нет в доме занятия, в котором он не брал бы учас-

тия; все слуги полюбили его; а я болтаю с ним по нескольку часов сряду. Вот что значит, chère Sophie[1], жить в деревне: всякий вздор занимает, всякое новое лицо — находка, которою дорожишь. Скорый ответ твой почту за доказательство, что письма мои тебе не надоели, и буду писать чаще.

Письмо четвертое

Сию минуту вышла из экипажа, распечатала претолстый пакет писем, полученных с почты, отыскала твое, не прочла его, а проглотила с жадностью — и мне снова сгрустнулось. Охота тебе, друг мой, напоминать о всех прелестях петербургской жизни, и кому же? бедным обитателям М-ского уезда! Ты, Sophie, не великодушна, и месяц назад послание твое стоило бы мне много слез; но, увы! в эту минуту и ум, и чувства, и даже сердце мое охладели и притупились до того, что самая тоска не вырывает не только жалоб, но даже вздоха; я начала довольно благоразумно смотреть на светские удовольствия, и — о, проза! ценю здоровье выше радостей. Из слов твоих я заключила, что будущий сосед мой произвел на тебя впечатление, но скоро ли же прибудет к нам твой Старославский, и как не потрудиться было описать его подробнее? Объясняют ли что-нибудь слова: «очень мил, оригинален, интересен, и проч.» и к кому не приклеиваются подобные эпитеты? От нечего делать иногда я старалась представить себе этого Старославского, придавала ему качества всех прочих моих знакомых — конечно, порядочных — и потом, окончив идеал, спрашивала сама у себя, мог ли бы он понравиться мне, и всегда внутренний голос отвечал мне: *нет!* В самом деле, допустим, что молодой человек этот хорош собою, следовательно, глаза его или черные или голубые, цвет лица бледный, волосы черные, каштановые, наконец, белокурые, нос римский или греческий. А ум? Какого рода может быть ум Старославского? Серьезен — тоска; насмешлив, зол — обыкновенно; ум гостиных — пуст; ну какой же, спрашиваю? Первая встреча ограничится, разумеется, поклоном, двумя или тремя французскими фразами, остроумными reparties[2] и

[1] дорогая Софи *(франц.)*.
[2] репликами *(франц.)*.

описанием последних петербургских происшествий, балов, гуляний и прочее, и прочее. Но станет ли он ухаживать за мною? конечно, да! А нет — опять тоска. Допустим интереснейшее, то есть первое, предположение; не слыхала ли я уж сто раз всего, что скажет мне влюбленный Старославский? не встречались ли его будущие взгляды с моими взглядами, и не исчислены ли вперед все подобные случаи всеми романистами нашего времени? О боже! как ограничены у людей средства нравиться, и как дурно, как безрассудно они поступают, не запирая прекрасного пола нашего до минуты замужества в высоких, неприступных теремах! Но довольно об этом и в сторону философию. М-ский уезд, поверь мне, богаче новизною вашего блестящего света, и ты же, Sophie, просила меня продолжать мой журнал — я повинуюсь.

Дальняя родственница наша, Агафоклея Анастасьевна Грюковская, считается одной из самых богатых и почетных дам в околотке; она вдова, толстая, красная, с маленьким лбом в парике, с бородавкою на левой веке, с белою бровью над правым глазом и с перстнями на всех пальцах; четыре дочери, столько ж приживалок, тьма слуг, плохих картин — все это помещено в длинном деревянном строении с двумя крыльцами и бельведером. Когда мы подъезжали к деревне Грюковской, во всех местах, где мы останавливались, всюду говорили нам, что Агафоклея Анастасьевна ожидает нас с минуту на минуту. Сама же Агафоклея Анастасьевна уверяла нас в противном и показала вид удивления при нечаянном прибытии нашем. Такова деревенская политика! Ожидать — считается только что не унижением в М-ском уезде. Так называемые кузины мои могли бы быть не дурны; они с розовыми щеками; некоторые белокуры, другие брюнетки и все с прехорошенькими глазками и зубками (кроме старшей), но все так жеманны и аффектированы, что, право, смешно; для чего все это? не понимаю. Ни одного слова не скажут они просто, всякое движение головы должно быть заучено прежде, и восклицаниям нет конца... утомительно! Я спросила у старшей, пресентиментальной девицы, курит ли она. «Ах, как это можно!» — «Отчего ж?» — «Вы шутите, кузина; нет, наверное шутите: mais c'est une horreur!»[1] В ответ на эти возгласы я зажгла папироску. Меньшие,

[1] но ведь это ужасно! *(франц.)*.

впрочем, которых в семействе считают детьми, несмотря на их двадцатидвух-и двадцатитрехлетний возраст, довольно милы, но вертлявы и наивны через меру; они краснеют по заказу и делают из невинности род службы; волосы их подстрижены и завиты в кружок; одеты они в короткие платьица с черными шнурочками и коралловыми крестиками на шеях; они не ходят вовсе, а бегают. Старшая, Антонина, ученее прочих, литературные споры решаются ею; слова ее — закон для семейства.

Одинаковыми с нею преимуществами пользуется в доме, и даже в околотке, единственный сын Агафоклеи Анастасьевны — тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета, прозванный Купером, иначе Куприяном Савичем; Купер, или Куприян, так замечателен в своем роде, что нельзя не сказать о нем несколько слов. Он, во-первых, влюблен в себя до безумия; разговаривая тихо, протяжно и отборными выражениями, кузен мой как бы прислушивается с наслаждением к собственному голосу и только что не рукоплещет ему. Несколько литературных произведений, прочитанных только в семействе, доставили Куперу титул поэта, и он носит этот титул с самодовольствием и гордостью; по мнению его и Антонины, он имеет необыкновенное сходство с Байроном, потому что, подобно знаменитому британскому лорду, хромает на одну ногу и очень редко стрижет свои ногти. Молодой Грюковский долго не являлся на зов матери, по словам которой, на него, как на всех поэтов, нападает по временам ужасная хандра, и тогда никакие земные побуждения недоступны его творческой, превыспренней душе — вот слово в слово тирада Агафоклеи Анастасьевны — вероятно, выученная ею со слов сына. Заключение это я вывела из последующих бесед моих с Купером. Ты помнишь, Софья, что я одарена способностью представлять всех и что некоторых я представляю в совершенстве; к числу последних, по всей справедливости, принадлежит молодой родственник наш. Я не только переняла манеры и голос его, но выучилась говорить его фразами; таких фраз ты не услышишь, конечно, во всю свою жизнь, если не познакомишься с самим поэтом. Например, выхваляя мой взгляд, он выразился так: «Кузина! как чудно упоителен взор ваш и как гармонически потрясает он фибры сердца!» При этом Купер задвинул зрачки глаз своих за верхние веки, закрыл лоб рукою, покачал головой и, как бы в изнеможении, раз-

валился в креслах. Слушая сына, Агафоклея Анастасьевна с торжествующей улыбкой поглядывала на меня, а Антонина вздыхала и делала из глаз своих почти то же, что и брат. Вот тебе очерк семейства, которое в М-ском уезде ставят за образец comme il faut[1], и сколько, говорят, жертв сделано Куприяном и Антониною в Заднепровском крае.

К следующему дню приезда нашего готовился спектакль: в одной из кладовых ставили сцену, расписывали декорации, строили подмостки для публики, и нередко до слуха нашего урывками долетала музыка и слова водевильных куплетов, повторяемых поочередно несколькими дочерьми Агафоклеи Анастасьевны несчетное число раз. Какие пьесы готовились к спектаклю — хранилось пока в тайне; гостей к представлению ожидали множество. Вечер прошел в угощениях и картах; за несколько минут до ужина приехало сначала одно из соседних семейств, вовсе неинтересное, а потом какой-то старик с серебряною головою; тем и ограничилось общество наше, к видимому неудовольствию хозяев. Из-за стола встали гораздо за полночь, нимало не желая спать, я предложила прогулку и подала руку Куперу, который престранно посмотрел на меня, но поспешил надеть свои грязные перчатки и последовать за мною в сад. Ни одна из сестер не оказала желания сопутствовать нам: одна боялась сырости, другая змей, третья подвержена была вечным флюсам, и мы отправились вдвоем. Причины, представленные сестрами поэта, были одна другой неосновательнее, потому что воздух был едва прохладен, тумана и сырости заметно не было, а змеи существовали только в воображении чувствительной Антонины. Молодой месяц то забегал за белые, прозрачные облака, то снова появлялся на темно-синем небе и как в бесконечном зеркале отражался в обширном и чистом пруде, вставленном в кудреватую рамку лоз и тростника; изредка раздавались всплески воды от падавших в нее с неба диких уток, и тогда полночный концерт прибрежных птиц умолкал на минуту и снова начинался под мерный и звонкий стук чугунной доски сельского сторожа... Мы прошли сад, плотину и стали взбираться на холм. По обеим сторонам дороги расстилались необозримые нивы, по которым местами отделялись, подобно островам, темные

[1] благопристойности *(франц.)*.

букеты деревьев; вдали, на горизонте, чернелся лес. Я почувствовала, что Купер едва заметно пожал мне руку, и посмотрела на него с удивлением; он кашлянул, поправил фуражку; мы пошли далее. «Вы преэксцентрическое существо, кузина!» — сказал мне поэт, вздыхая и пожимая мою руку. «С вами, cousin, пренеловко ходить»,— отвечала я тем же тоном, освобождая руку свою. Он стал извиняться, уверял, что прелесть ночи и очарование общества моего перенесли его в лучший мир. Что до меня касается, то, предпочитая по крайней мере оставаться в этом мире неприкосновенною, я решительно пошла одна и старалась по возможности сохранить положенную мною дистанцию между поэтом и мною. С полчаса времени слышались мне выспренние фразы Купера, по счастью не требовавшие ответов, потому что они обращались к моему лицу не прямо, но рикошетами, по столкновению с эдемом, с миром миров, с затерянным в пространстве сонмом звезд, и проч. Между тем мы достигли вершины холма, и новый предмет привлек мое внимание: вдали пред нами показалась беловатая точка, очень похожая на каменное здание, освещенное луною. «Что это там белеется?» — спросила я у Купера, указывая на точку. «Это село Вершнево, или Грустный Стан, кузина».— «Странное название!» — заметила я. «Последним названием своим,— продолжал поэт,— обязано оно какому-то несчастному случаю».— «А вы знаете этот случай?» — «Нет, не совсем; к тому же невозможно верить всякому вздору, хотя, впрочем, нельзя не согласиться, что и до настоящей минуты на всех потомках владельцев села лежит печать чего-то необыкновенного».— «Кому же принадлежит село в эту минуту?» — «Одному престранному существу,— отвечал небрежно поэт,— человеку, нестерпимому по своим интеллектуальным качествам, человеку, отрицающему всю поэзию, вложенную судьбою в души избранных, и не признающему даже самых осязательных, самых доступных преимуществ натур поэтических».— «Но кто же, наконец, этот чудак?» — воскликнула я с нетерпением. «Некто Старославский». Я невольно вскрикнула. «Он мне приятель»,— прибавил Купер. Мне досадна стала мысль, что Старославский, тот самый, про которого ты писала ко мне,— приятель моего родственника; известие это рассеяло в один миг все очарование; я даже не потрудилась дослушать подробного исчисления недостатков будущего со-

седа и возвратилась домой в самом неприятном расположении духа. Последняя надежда — видеть хотя одного интересного человека в этой пустыне — уничтожилась; это просто ужасно, это невыносимо! А как много обещали хорошего и название «Грустный Стан», и твои письма! Подходя к крыльцу, мы встретили в различных местах сада боязливых кузин, являвшихся перед нами как бы из-под земли; каждая из них расспрашивала меня иронически, далеко ли мы ходили, приятно ли провели время и не приключилось ли нам чего-нибудь необыкновенного; сначала я не могла понять, к чему клонились все эти вопросы, но двусмысленные слова Антонины навели меня на истинный путь: сестры поэта находили неприличною и опасною прогулку с их очаровательным братцем, а намеками выражалось желание дать мне почувствовать, что от проницательных глаз их не ускользнуло убийственное впечатление, произведенное поэтом на мое сердце. Пожелав всему семейству покойной ночи, я просила указать мне мою комнату и, признаюсь, была неприятно удивлена, узнав, что комната, мне назначенная, была спальня четырех сестриц со всеми ее прозаическими принадлежностями. Несколько горничных бросилось на нас со всех сторон; напрасно старалась я уверить их, что довольствуюсь услугами собственной; они, не обращая внимания ни на просьбы мои, ни на увещания, только что не насильно раздевали меня и засыпали вопросами, не угодно ли того, не угодно ли другого; наконец ночной туалет кончился, и мы остались впятером, погруженные в премягкие перины, слишком мягкие, потому что толстый веревочный переплет кровати очень явственно напоминал о себе всему телу. Не помню, о чем толковали мы до глубокой ночи. Признаюсь тебе, chère amie, я всячески старалась навести разговор на Старославского, и старалась, верь мне, потому только, что он интересует тебя. После долгих прелюдий мне удалось наконец назвать Грустный Стан. «Ах, это имение Старославского!» — воскликнула одна из вечно прыгавших кузин. «А вы его знаете?» — спросила я равнодушно. «Немного. Он никуда не ездит, и, сколько Купер ни старался с ним сблизиться, никак в этом не успел». Наивный ответ блондинки успокоил меня несколько: поэт мог вообразить, что он дружен с Старославским; но начало было сделано, и продолжать разговор я могла, не возбудив в проницательных девицах ни удивления, ни

сомнения; та же блондинка сделала мне претёмный портрет твоего знакомого: по мнению ее, Старославский был или ограниченный, или дурно воспитанный молодой человек, предпочитающий охоту приятному обществу; он не знал лишений, выполнял все свои прихоти и кончит так, как кончает бóльшая часть ему подобных... Его встречали кузины мои на окрестных дорогах, звали к себе, но он, забыв все приличия, сказал им однажды, что у них скучно, и с тех пор, разумеется, они отворачивали голову, завидя его вдали, и избегали с ним всяких встреч. Признáюсь тебе еще раз, друг мой, что справедливое негодование сестриц на Старославского сделало мне гораздо больше удовольствия, чем дружба к нему поэта, и под влиянием последнего впечатления закрыла я глаза и открыла их от нестерпимого блеска солнца, достигшего половины своего обычного пути. Перестаю писать, потому что устала, и папá зовет прогуливаться. Прощай, mon ange[1], до завтра. Пишу большею частью по утрам: память в это время рисует прошлое и ярче и живее.

На следующий день.

Я проснулась с головною болью: теснота, суета и излишняя внимательность кузин измучили меня; но сегодня спектакль — и отказаться присутствовать при нем, даже под предлогом смерти, почли бы за спесь; делать нечего, в 10 часов я вышла в гостиную. В комнатах душно; солнце жжет; ни малейшего колебания в воздухе. Мне предложили идти гулять. Купер согнул руку и поднес ее мне с одною из тех тирад, которые я слышала накануне. Отказаться от прогулки было невозможно: она имела целью удалить все общество из дома; нужно было перенести стулья и кресла в театр или кладовую. К обеду явилось несколько гостей, которых я не рассмотрела; впрочем, один — средних лет, с лицом ничего не выражавшим — подсел ко мне за столом и говорил без умолку. Расспросив предварительно, не знакома ли я и не родня ли его знакомым и родным, он как-то коснулся Старославских; я, разумеется, приостановила его на этом предмете, и разговор оживился. Не могу не согласиться, что Старославский твой действительно должен быть существом не совершенно

[1] ангел мой *(франц.)*.

обыкновенным. Гость Грюковских далеко не поэт, и рассказы его нимало не отзываются фантазиею; напротив, они просты и дышат истиною. Гость коротко знал отца Старославского, все семейные дела его, некоторые подробности жизни, привычки, характер; одним словом, из всего слышанного мною я почти составила себе поверхностный очерк будущего соседа и довольна им гораздо более, чем вчера. Главная причина примирения моего с ним состоит в том, что он не очень молод: ему более тридцати лет; потом он, по словам соседа, должен быть без больших претензий, с твердым и непреклонным характером, и нисколько не занимается собою; состояние его значительно, он не скуп, не сентиментален, не любит лошадей, сплетен и ни в кого не был влюблен. Впрочем, последний пункт я поместила между прочим, а все прочее с целью — короче познакомить тебя, друг мой, с тем человеком, который, кажется, начинает тебе нравиться. Но возвратимся к спектаклю; постараюсь не забыть ни малейшего обстоятельства. В 8 часов пошел дождь, и бумажные фонари, развешенные по деревьям, погасли; пыль превратилась в грязь, и все общество с помощью четвероместных дрожек переехало в кладовую; я нечаянно дотронулась до дрожек руками и — вот уже сутки, как, несмотря на все известные способы выводить пятна, запах дрожек и цвет их неразлучен с моими руками. То, что называли сценою, было сколочено кое-как из досок, размалевано мелом, расписано яркими красками и представляет рисунки двух муз с циркулем, лирою и треугольником; у муз атлетические формы и позы вовсе неграциозные; а два голубя, держащие венок на самой середине занавеса, величиною с горных орлов. Скамьи, нетвердые на своих основаниях, равно выжелчены чем-то марким. Обеденный сосед мой подостлал под себя носовой платок, я сделала то же, нашему примеру последовал папá и многие другие гости. Оркестр расположился позади зрителей и начал увертюру не разом; некоторые инструменты даже значительно опоздали; но, раз начав, каждый поочереди продолжал держаться своего такта, несмотря на стук и суету капельмейстера; музыкальный хаос прерван был свистом, раздавшимся за кулисами,— и занавесь взвилась. Первые пять минут прошли во всеобщем ожидании; на сцену не выходил никто, и мне становилось ужасно неловко; в партере начинали уже раздаваться не-

связные слова; зрители едва удерживались от смеха; сама Агафоклея Анастасьевна привстала было с своего места; но новый свист за кулисами — занавесь упала, и только что прерванная увертюра послышалась с большею энергией. Некоторые из зрителей подошли к самой сцене, пошептались чрез щель дверей с актерами и с улыбкою сообщили всем зрителям поочередно, что Елена Савишна, то есть одна из младших дочерей, не могла решиться выйти на сцену и сильно переконфузилась. Тут Агафоклея Анастасьевна вступила в свои права и, показав знаками партеру, что берет на себя все уладить, пододвинула стул к возвышению, перешагнула через ряд зажженных огарков и скрылась за кулисами. До нас долетали некоторые выражения, из которых нетрудно было заключить, что Елена непременно решится выйти на сцену, что и не замедлило исполниться. Едва спустилась Агафоклея на нижний пол, как пронзительный свист угомонил музыкантов; венок с голубями поднялся к потолку, и Елена предстала в офицерском сюртуке, сшитом не по ней и не совсем новом, и, что всего интереснее, глаза Елены были красны от слез. Громкий аплодисмент приветствовал девицу-офицера, которая сначала покраснела, смешалась, присела и наконец убежала за кулисы. Агафоклея Анастасьевна на этот раз рассердилась не на шутку, и стул ее уже приставлен был вторично к помосту, когда офицер вернулся и, размахивая руками, начал шепотом, вероятно, смешные стихи, но так скоро, что никто, конечно, не слыхал их лучше меня, а я ровно ничего не слыхала. «Громче, громче!» — раздалось из бокового куста, впрочем более похожего на зеленый ананас, и несчастная Елена остановилась, взглянула умолявшим взором на мать и, решительно уже расплакавшись, начала свою роль снова. Никогда еще не видала я женщины в таком порыве негодования, в каком находилась Агафоклея Анастасьевна; губы ее дрожали, глаза озарялись страшным блеском; все движения ее дышали гневом; но папá и прочие гости употребили все средства, чтоб успокоить мать бедной Леночки и громкими «браво!» ободряли дебютантку, неловкую и преуморительную в мужском наряде. Вероятно, прежде времени Купер явился на помощь, и все пошло своим порядком; поэт наклеил себе брови, голову прикрыл розовым пластырем, представлявшим лысину, провел несколько черных линий поперек лица и говорил хриплым

голосом, что возбудило всеобщий хохот в партере, не принявшем в соображение, что роль эта была препатетическая. В некоторых местах он даже принимался плакать, ломать себе руки в припадке отчаяния; но в мнении публики Купер должен был остаться буффом, и хохот единодушно вторил всем словам, всем жестам злополучного кузена. Пьеса кончилась скоро; актера вызвали, превознесли до небес, а барышень сняли руками с помоста и принесли к Агафоклее Анастасьевне, которая перецеловала всех, но побранила Леночку и позволила ей остаться до окончания спектакля в офицерском сюртуке. Между первою и второю пьесою явился на сцене Купер в темном плаще, подбитом красною клетчатою материей, и со шляпою, надетою на самые глаза. Лицо поэта и поступь обещали нечто чрезвычайное. Он медленно и с расстановками подошел к авансцене, презрительно посмотрел на публику, молча покачал головой, потом отступил назад, поднял руку и крикнул диким голосом: «О чем шумите вы, народные витии?» Не аплодисмент, но крик, не шум, а грохот раздались в кладовой, когда Купер умолк; он глубоко вздохнул, приложил руку к сердцу, опять вздохнул, поклонился с важностью и, схватившись обеими руками за голову, поспешно скрылся. Как он показался мне жалок в ту минуту, Sophie, я передать тебе не могу. Mon Dieu! il est donc possible d'être bête à ce point![1] Хороши и зрители! Вообрази... но нет, ты сочтешь это за экзажерацию; клянусь, не прибавлю ничего: многие плакали от умиления и с восторгом целовали руки Агафоклеи Анастасьевны!

Последняя пьеса была произведение Купера; состояла она из стихов, танцев, кривляний и живой картины; в заключение автор проговорил куплеты в честь матери, и все прочие актеры пропели их хором и откланялись, принимая комические позы. Новый стук и крик в партере, новые «браво!» и — усталая, усыпленная донельзя,— я бегом возвратилась в дом, извинилась перед всеми и бросилась в постель. Non, on ne m'y prendra plus![2] Скорей в Скорлупское! надолго, навсегда, ежели можно. Какое счастье не видать и не слыхать их более, ни музыки, ни стихов, ни

---

[1] Боже! можно ли быть глупым до такой степени! *(франц.)*.

[2] Нет, так меня уж больше не проведешь! *(франц.)*.

чего! Je me sens brisée[1]. Прощай, Sophie; до интереснейшей эпохи писать не буду.

Купер просил позволения посетить нас; le moyen de refuser?[2] Что же это будет?

Письмо пятое

Со мной случилось множество происшествий, chérie amie, одно другого забавнее. Не писала к тебе более месяца, чтобы собрать побольше материалов. Во-первых, Старославский в наших окрестностях; мы виделись один только раз. Старославский оригинальнее всего, что я когда-нибудь встречала; c'est un être à part[3]; но журнал требует последовательности; итак, вооружись новым запасом терпения и слушай.

Минута возвращения от Грюковских была для меня истинным праздником; плантации мои выросли в мое отсутствие, цветов прибавилось всюду; lady Milvort похорошела; я кормлю ее каждое утро хлебом и езжу на ней в два дня раз; одной, впрочем, скучно. К нам прибыл из Петербурга выписанный моим отцом машинист, который взялся построить на Днепре какую-то фабрику. Все вечера проводим мы на берегу реки; множество людей занимаются этою работою. Жозефу поручено наблюдать за ними, и деятельность его баснословна: он творит просто чудеса. Машинист уверяет меня, что течение Днепра будет остановлено плотиною; не знаю почему, но мне было бы досадно, если бы машинисту-иностранцу удалось это сделать. Жозеф называет машиниста «mon savant»[4] Прошла неделя по возвращении нашем в Скорлупское, как в одно утро в превысокой коляске явились Купер и Антонина. На первом было нечто гороховое, вышитое черными шнурками; он успел написать целую поэму на скорлупское солнце, пробегающее, по словам поэта, горизонт наш гораздо скорее прочих мест, и поспешность эту приписывает кузен ревности лучей к блеску глаз моих. Антонина после долгих

---

[1] Я чувствую себя разбитой *(франц.)*

[2] как отказать? *(франц.)*

[3] это совершенно необычное существо *(франц.)*

[4] «мой ученый» *(франц.)*.

приготовлений решилась наконец спросить у меня, какое впечатление произвел на сердце мое ее брат; я отвечала только что не полным признанием страсти, но, не выдержав, захохотала; Антонина оскорбилась не на шутку... Когда я смотрю на моих молодых родственников, невольно приходят на память мне слова одного из петербургских друзей отца, который как-то утверждал, что просвещение может принести существенную пользу только тогда, когда усвоено вполне... Купер и Антонина подтверждают подобное заключение: не исказилась ли полупросвещением вся жизнь двух этих существ, рожденных с добрыми сердцами, может быть, с прекрасными наклонностями? не был ли бы счастливее Купер простым Куприяном, а Антонина обыкновенною девушкою, воспитанною в чистых и добрых нравах, с необходимыми знаниями всего того, что составляет счастье мужей и семейств? И не попадись Куперу плохой перевод Байрона, а Антонине Купер, и тот и другой не сошли бы с тропинки, которую начертила им судьба. Впрочем, бог с ними! Старославский интереснее, и потому обратимся к нему. Знакомство мое с ним так оригинально, что даже ты, которая знаешь его, вероятно, подивишься странности нашего нового соседа. Уверенность встретить в нем одного из слишком знакомых типов расположила меня к твоему знакомому весьма невыгодно для него: я готовилась быть холодною, неприступною. И вот в каком расположении духа находилась я, когда приходский священник наш явился в одно утро с просьбою окрестить только что родившуюся дочь его. Папа́ дал за меня слово. На следующий день, часу в двенадцатом, мы отправились в дом священника; в нескольких шагах от крыльца повстречали мы двух верховых лошадей и человека, одетого просто, но порядочно; человек поклонился нам очень вежливо, но мы едва заметили его поклон, потому что папа́ и я поражены были красотою этих двух лошадей. Представь себе, chère amie, мое отчаяние: lady Milvort дурнушка в сравнении с ними! «Кому могут принадлежать такие совершенства?» — воскликнули мы в один голос, но спросить было поздно: их провели далеко, а вернуть показалось неловко; к тому же в нескольких шагах позади нас шли рука об руку Купер с Антониною; первый мстил мне двудневным убийственным хладнокровием за какое-то слово, которое, как он говорит, превратило в пепел все способности его сердца. Папа́, долго

скрывавший нерасположение свое к поэту-родственнику, сознался наконец, что присутствие родственника в Скорлупском считает роскошью, и с той минуты уже не только не говорит с ним, но избегает всякой встречи; и на этот раз предпочел он расспросить о прекрасных лошадях у кого-нибудь другого. На крыльце были мы встречены священником, тремя взрослыми его сыновьями и гостями, прибывшими из соседних сел.

Жилище нашего священника состоит из двух небольших комнат; стены первой, или приемной, увешены множеством портретов в монашеском одеянии; вторая комната служит спальнею, образно́ю и библиотекою. Против самых дверей в первой комнате стояло уже на большом столе множество яств, состоявших большею частью из пирогов и жареных птиц. «Где же супруга ваша?» — спросил у хозяина папа́. «Она пошла прогуляться с будущим куманьком»,— отвечал священник. В это время в комнату вошли Купер с Антониною. Папа́ похвалил пирог, довольно вкусный, и выслушал рассказ о каком-то деле, касающемся хозяина. Купер с ужимками, свойственными молоденькой девочке, ограничил завтрак свой небольшим куском хлеба, а сестра его осуждала все и не переходила порога сеней. Так прошло по крайней мере с полчаса времени, как вдруг та же Антонина громко воскликнула: «Ах, monsieur Старославский!» — и, вслед за восклицанием в дверях появился тот, кого я так давно желала видеть и кого никак не ожидала встретить в доме отца Кирилла. Сознаюсь, при имени Старославского голова моя как бы невольно повернулась назад, а слово, высказанное до половины, замерло на языке. Много раз повторенное целованье жены священника, вошедшей в одно время с гостем, помешало мне слышать ответ Старославского на кудреватое приветствие кузины; разговаривая рассеянно с будущею кумою моей, я могла только схватить на лету несколько слов, сказанных отцом моим гостю, на которые тот, кажется, отвечал очень отрывисто, а что именно — не знаю, но настал мой черед. «Павел Николаич Старославский»,— сказал папа́, подводя ко мне молодого человека... то есть, как тебе сказать, Sophie? молодого, не молодого, а человека лет тридцати пяти. Старославский пристально взглянул на меня и поклонился молча; я пробормотала что-то и села на свое место; он отошел.

Вот первое впечатление, которое сделал на меня фаворит твой, chère amie,— а оно, говорят, редко бывает обманчиво. Старославский не красавец, и это обстоятельство большой шанс, чтоб понравиться по крайней мере мне. Не знаю почему, но при слове «bel homme»[1] воображению моему представляется та фигура с черными глазами, усами, кудрями и бакенбардами, которую встречали мы на всех петербургских балах. Ты не можешь не отгадать, про кого я говорю; вспомни приторную физиономию, смотрящую самодовольно на всех женщин, на толстую золотую цепочку своих часов, большую руку, сдавленную палевыми перчатками, ажуровый чулок и лакированный башмак гиганта; вспомни дачу Крестовского острова, павильон, в котором рисовался красавец во время гулянья; вспомни то отвращение, которое внушал мне некогда постоянный гость толстой княгини Л.,— и ты поймешь, как страшилась я найти Старославского красавцем этого рода; но, к счастью, он не брюнет, не высок, не приглажен и, кажется, с голубыми глазами; на этот счет я успокоилась и обратила внимание на руки, ноги и все его движения: руки и ноги были малы, а движения — непринужденны; фрак неопределенного цвета, застегнутый до половины; галстух в роде batiste écrue[2] и белизна тонкого белья расположили меня в пользу будущего соседа нашего.

Старославский мил и ловок во фраке. Как жаль, друг мой, что мужчины вообще не подозревают в нас способности отгадывать свойства их не только по первым фразам, но по малейшим принадлежностям туалета, по прическе волос, повязке галстуха и тому подобным ничтожностям! как жаль, что многие из них изучают улыбки свои перед зеркалом, а всем движениям тела стараются придать ту плавность, ту грациозность, которая не только не может нравиться, но кажется приторною и ненатуральною! Сколько раз мне досадно было, что умные и любезные вещи вылетают из уст, осененных подкрашенными усами, или из головы, подпертой тугим галстухом. Такое же впечатление производит на меня фрак без складок, узкие рукава, слишком прямой стан, неподвижные руки, металлические запонки, булавка с чудовищной жемчужиной, брелоки, тща-

[1] «красавец» *(франц.)*.
[2] небеленый батист *(франц.)*.

тельно завитые кудри, крепкие духи, отвороченные и длинные манжеты, воротнички, покрывающие пол-лица, и тысяча других безделиц, бросающихся невольно в глаза. Ничего этого не заметила я в Старославском, и мне стало как-то легко. Встреча его с Купером ограничилась пожатием руки и двумя словами, что доказывало обыкновенное отношение двух лиц, бывших долгое время в разлуке, но не коротких. В Старославском не видно ни пренебрежения, ни той двусмысленной улыбки, которыми обыкновенно стараются выказать преимущество свое пред встречаемым лицом. Выслушав Купера до конца, гость сообразил, вероятно, что приветствие, сделанное им кузине мимоходом, было недостаточно, и потому, не оборачиваясь ни к кому спиною, он подошел снова к Антонине и сказал ей что-то, по-видимому, не смешное, но очень милое; я заключила это из улыбки кузины, улыбки, вовсе не насмешливой, но пристойной; подобное явление не часто повторялось на лице нашей родственницы. В это время в комнату внесли купель. Родители новорожденной вышли вон, предоставив одному из соседних священников совершить обряд и какой-то старушке распорядиться всем в их отсутствие. Старушка подошла ко мне с низким поклоном и просьбою начать обряд. «Но кто ж кум?» — спросила я, вставая. «Восприемником будет Павел Николаич»,— отвечала старушка, указывая на Старославского, который в это время разговаривал с папа́. Услышав свое имя, он обернулся; старушка повторила поклон и просьбу, обращенную на этот раз не ко мне, но к нему. Все встали со своих мест. Папа́ подвел меня к купели и отошел в сторону; ребенка внесла какая-то женщина и поместилась с ним по левую сторону от меня для начатия обряда. Все ожидали, чтоб Старославский занял свое место, но он не двигался, и с видом совершенного равнодушия продолжал смотреть на всех нас. «Пора бы начать, Павел Николаич,— сказал наконец священник,— мы готовы». При этом возгласе Старославский с удивлением посмотрел на нас. Купер взял на себя объяснить моему будущему куму, в чем дело, и — представь себе общее удивление наше, когда вместо того, чтобы извиниться в рассеянности, заставившей нас ждать его так долго, Старославский решительно объявил, что не только не имел намерения быть восприемником новорожденного, но дал себе торжественный обет не крестить никогда и никого. Тон,

с которым говорил он, до такой степени мне не понравился, что я чуть не заплакала и готова была бежать из комнаты; но папа́, желая, вероятно, вывести меня из неприятного положения, вызвался сам заступить место Старославского — и ребенка окрестила я с отцом. Нужно ли прибавить, что все остальное время, которое мы пробыли в доме священника, я избегала всех случаев говорить с неучтивым соседом, что и возвратило Куперу его глупую уверенность. Вплоть до шести часов продолжалось угощение, от которого отказаться было трудно: так настоятельно упрашивали хозяева отведать и медового варенья, и просто меду с огурцами, и домашних смокв, и маку в меду. Ты, ma chère, не имеешь никакого понятия о деревенском десерте. Главная претензия угощающих состоит только в том, чтоб предлагаемое было сладко, а о прочем не заботятся. Как ни желала я, хотя бы на зло Антонине и Куперу, есть больше, но никак не могла, в то время как папа́ и Старославский, казалось, старались превзойти друг друга в безвкусии и, непринужденно накладывая на тарелки свои всего и помногу, превозносили искусство жены священника, которая не переставала кланяться и благодарить обоих. Последним угощением было вино, подносимое гостям тою же женщиною, которая держала ребенка. Все без исключения клали ей на поднос разные монеты. Я хотела было отказаться от вина, но папа́ показал мне знаком, что это невозможно, и второпях я чуть не проглотила целой рюмки. В семь часов мы распрощались с хозяевами и вышли из дому в сопровождении всего общества. Старославского пригласил отец провести вечер у нас; он подал мне руку, и первым предметом разговора нашего была ты, Sophie! Заключения свои о тебе и многих знакомых наших выражал Старославский так резко и так положительно, и притом так верно, что мне невольно становилось неловко; каждое слово, сказанное им, было приговором, и приговором совершенно справедливым; более всего поразило меня то, что Старославский нимало не старался украсить речь свою тем желчным остроумием, которое нередко обращает в насмешку самые серьезные вещи: заключения его обо всем были строги и беспристрастны. Я прослушала его целый час и не слыхала ни одной любезности, ни одного комплимента, ни одной приторной вещи и, что всего важнее, ни одной двусмысленности; а это много, очень много! Передать тебе

все подробности вечера не берусь и заключу письмо последнею выходкою твоего фаворита; эта выходка утвердила меня в той мысли, что новый сосед наш — самое оригинальное существо, какое когда-либо мне встречалось. Просидев за чайным столом до полуночи, мы встали наконец, и гость, отыскав шляпу, подошел проститься с нами. Отец мой просил его не забывать соседей; Купер прочел прощальную тираду из какой-то драмы; я повторила приглашение отца, и оставалась Антонина, которая, вероятно, с намерением отошла к двери. Едва Старославский обратился к ней, как милая кузина погрозила ему пальцем и объявила вполголоса, но так, чтоб все слышали, что она угадала причину, заставившую его отказаться от удовольствия быть моим кумом.

Старославский очень серьезно намеревался пройти, но Антонина преградила ему дорогу и расхохоталась так громко, что все мы невольно обратили на нее внимание. «Стало быть, я угадала? стало быть, это так?» — кричала кузина, смеясь и продолжая стоять в дверях. Старославский не смеялся и смотрел на нее совершенно спокойно. Ты понимаешь, chère amie, что не принять участия во всем этом было неловко и даже невозможно. Антонина так явно приглашала все общество подойти ближе и спросить, в чем дело, что папá, который хотя и предвидел глупую шутку со стороны родственницы, однако ж принудил себя улыбнуться и вмешаться в разговор. Антонина только этого и добивалась.

— Я готова поверить вам, mon oncle[1], тайну мсье Старославского, потому что тайна эта принадлежит мне; я угадала ее,— сказала кузина,— но не знаю, согласится ли на то мсье Старославский.

— Угаданная тайна, по мнению моему, должна быть священнее прочих,— отвечал отец мой.

— Но она касается до вас, mon oncle, или, лучше сказать, до кузины Nathalie,— воскликнула Антонина.

Услышав мое имя, папá видимо смешался, а я решительно не нашлась что сказать и подошла еще ближе к разговаривавшим. Антонина торжествовала; в глазах ее выразилось столько злобы, что не заметить этого было невозможно; Старославский один сохранил все свое наружное

[1] дядюшка *(франц.)*.

спокойствие и, не переменяя ни положения, ни голоса, объявил, что не желает долее скрывать тайны своей, когда она угадана Антониной, и если ей угодно, чтоб предмет разговора их был известен всем, то он объявляет, что, приехав к священнику с намерением окрестить новорожденного, он вдруг вспомнил о воспрещении брака особам, совершившим это таинство, и потому отказался от чести быть моим кумом.

Не поняв сначала ответа Старославского, я с любопытством продолжала смотреть на всех; когда же истинный смысл этих немногих слов сделался мне понятен, ты можешь вообразить, Sophie, как вспыхнуло мое лицо; я готова была бежать из комнаты, но Старославский предупредил это движение и, подойдя ко мне, сказал такую вещь, которую отгадать ты была бы не в состоянии. Вот что он сказал слово в слово: «Графиня! кузина ваша вызвала меня на откровенность, которая очень многим могла бы показаться или дерзостью, или признаком дурного воспитания. Отказавшись от чести быть кумом вашим, я действовал по какому-то внутреннему побуждению, которого объяснить не умею. Мне казалось, что поступком этим я отстранил первое препятствие и сделал первый шаг к моему счастию. Дозволение видеть вас часто я почту за право иметь эту надежду».

Старославский поклонился и вышел из комнаты, предоставив каждому из нас придать физиономии своей то выражение, которое каждый найдет приличным.

— Но ведь это настоящая декларация! — воскликнула Антонина.

— Претензия на эксцентричность! — проговорил Купер.

Я взглянула на отца; он улыбался, но, казалось, не был ни рассержен, ни удивлен. Как тебе нравится, chère Sophie, выходка фаворита твоего, и какими глазами прикажешь ты мне смотреть на человека, который, пробыв со мной несколько часов, успел, во-первых, отстранить первое препятствие к достижению чего-то, впрочем довольно понятного, и сознаться в том при посторонних свидетелях? Премило!.. Шутки в сторону; я страшусь второй встречи и никак придумать не могу, как будет вести себя Старославский в отношении ко мне. Ложусь в постель, но чувствую, что спать не буду. А преоригинальный, Sophie, твой Старославский!

На следующий день.

Солнце уже было высоко на безоблачном небе, когда я закрыла глаза; но едва первый сон овладел мною, как голос Антонины раздался под самым окном, и волею-неволею я должна была встать. Она уверяла, что никогда еще не спала так крепко, как в эту ночь, но глаза ее говорили противное, и я ручаюсь, что милая кузина не смыкала глаз. Целые два часа проболтали мы о предметах совершенно посторонних; но ей хотелось непременно, чтоб я начала говорить первая о Старославском, а мне не хотелось удовлетворить желание кузины — и утро тянулось как вечность. В одиннадцать часов мы, по обыкновению, все собрались к чаю. Купер явился в пунцовом платочке и клетчатых бумажных чулках, à la laitière[1]. Папá был в самом веселом расположении духа; он даже сделал Куперу несколько вопросов и любезничал с Антониною. После чая мы отправились на берег Днепра. Земляные работы значительно подвинулись; иностранный машинист умничал; папá верит ему во всем; сам же Днепр и Жозеф только что не улыбаются с недоверчивостью: движения обоих и быстры и безостановочны. Мне растолковали цель и план работ. Вот видишь ли, Sophie, машинист предложил отцу поднять посредством плотины реку и силою воды ее привести в движение большой пильный завод и несколько мельниц; все строения воздвигаются в одно время с насыпью, и через месяц все будет готово. Машинист сулит золотые горы, и дай бог, чтоб слова его осуществились. Я готова была бы разделить слепую доверенность отца, но не знаю, почему взгляды и физиономия Жозефа внушают мне невольное сомнение. Жозеф страстно любит Днепр, и хотя в минуты восторга дает ему преуморительные и пребранчивые названия, как-то: *le vieux scélérat* или *vieux monstre*[2], но названия эти в устах Жозефа отзываются какою-то нежностью. Не имея возможности говорить часто на своем наречии, он добыл где-то преуродливую бесхвостую собачонку, которую успел в короткое время приучить к себе, носить за собою трубку, узел с хлебом, лопатку, и проч. и лаять, когда обращаются к ней с вопросом; называет же Жозеф ее «Сабашка». Впрочем, что касается до названий, то француз наш не обошел ни-

[1] под молочницу *(франц.)*.

[2] старый разбойник... старое чудовище *(франц.)*.

кого и переименовал по-своему всех без исключения; а именно: отца называет он «mon général», меня — «ma chatelaine», Купера — «mon Adonis», Антонину — «la demoiselle aux yeux de tullippe», машиниста — «le savant», а садовников и прочий народ — «le vulgaire»[1], вот на какие имена обязан поневоле отзываться каждый! К бесчисленным талантам Жозефа присоединилось знание медицины; лекарства свои он добывает всюду, и излечение одного из соседей наших от какой-то долговременной болезни приобрело новому медику всеобщую и неограниченную доверенность. Но довольно покуда о Жозефе. Продолжаю журнал.

Возвратясь с прогулки, папá приказал заложить коляску. «Куда?» — спросили мы в один голос. «К Старославскому»,— отвечал отец. Антонина посмотрела на меня выразительно; я покраснела. Как глупо!

Весь остаток дня прошел несносно скучно. Антонина пела фальшиво, а Купер одним пальцем бренчал Grâce. Я без церемонии пролежала до вечера на диване, перелистывая «La guerre de Nizam»[2]: как мил Мери и как хорош его сэр Эдвард! Неужели, chère amie, существует на поверхности земного шара уголок, где мужчины имеют случай кровью тигров поливать цветы у ног любимых женщин и говорить о любви под дикую песню тугов? Купер уверяет, что встречал где-то, в Ржеве кажется, одну купчиху, которая разительно похожа на Ариндy, и вследствие этого он заключил, что дочь набоба, дурная собою, нравилась только потому, что у нее были брильянтовые копи. Купер завидовал даже Мери, и творение его находил безвкусным и слабым. Отец возвратился поздно и о Старославском не говорил ни слова. Завтра, кажется, гости наши собираются оставить Скорлупское. Какое счастие! И уж конечно, ни я, ни папá не станем останавливать их. Опять ночь... опять тоска и бессонница — вероятно, от дневной усталости.

Кстати, знаешь ли, Sophie, что профиль Старославского напоминает *Constantin R.*, конечно *en laid?*[3] Сходство это поразило меня с первого взгляда, и я долго не могла вспомнить, на кого он похож.

---

[1] «мой генерал»... «моя хозяйка»... «мой Адонис»... «барышня с глазами-тюльпанами»... «ученый»... «простонародье» *(франц.)*.

[2] «Низамская война» *(франц.)*

[3] в ухудшенном виде? *(франц.)*.

Письмо шестое

(Пятнадцать дней спустя)

Если б не письмо твое, chère Sophie, я, конечно, не пропустила бы пятнадцати дней и продолжала бы свой ежедневный отчет о происшествиях, которые хотя и не совсем интересны, но уж, верно, срывали иногда улыбку с твоих уст. Вопрос же, который ты мне сделала так неожиданно, поставляет меня в необходимость наблюдать внимательнее за всем тем, что происходит вокруг меня, и только что не взвешивать каждое слышанное мною слово. Обязанность, возложенная тобою на меня, была бы свыше сил моих, если б героем нашим был не Старославский. К счастью моему, этот человек действует так резко, что подробный рассказ о поступках его, без всякого сомнения, послужит тебе лучшим ответом. Сообрази их, как умеешь, и выведи заключение, какое хочешь; я не беру на себя ни того, ни другого. Тебе известно то впечатление, которое произвела на меня первая встреча с соседом нашим в доме священника; наружность и манеры Старославского выказывают в нем человека хорошего тона; объяснение же причин, заставивших его отказаться крестить со мною, ты сама согласишься, выходит из общего порядка вещей, и потому не могло не показаться нам странным. Я не скрою, что второй встречи с ним я ожидала с некоторым беспокойством и никак не могла придумать, в каких отношениях будет со мною Старославский и какое выражение должна я буду придать лицу моему при нашей встрече. Я уж писала тебе, что отец заплатил ему визит, но, возвратясь, не говорил о соседе ни слова. Распрощавшись с Антониной и Купером, мы остались одни. Первые три дня одиночества нашего прошли довольно скучно; общество родственников, далеко не занимательное, как-то наполняло промежутки бесконечных летних дней. Отец всею душою предался своим занятиям; я старалась одушевиться его энтузиазмом; но и Днепр потерял в глазах моих часть своих прелестей: мы слишком часто видимся. Жозеф повторяется; деятельность его беспримерна, но бог с ним! Прогулки по тем же дорогам и тропинкам возмутительно похожи одна на другую, а читать, вечно читать — вредно для глаз, говорит доктор. Оставалось разложить краски, карандаши и кисти,

спросить стакан воды, приняться за рисованье — плохой ресурс, когда рука не дерзала переступать границ, начерченных моим учителем! Незабудки, розы и тюльпаны так надоели, что я, скрепя сердце и только что не запершись на замок, решилась набросить пейзаж. Пока дитя моего воображения обозначилось неясно на бумаге и кисть не заменила карандаша, я была почти довольна собою; но едва дошло дело до красок и несколько пестрых пятен легло на те места, где предполагались скалы, небо, деревья и волны, отчаяние овладело мною, а рука невольно упала и выронила кисть. В эту самую минуту позади меня раздались шаги, я оглянулась — Старославский! Скрыть произведения моего было невозможно; я же, к довершению несчастия, наклеила бумагу на огромную доску, и гость, поклонясь мне, не мог не обратить внимания на пятна. «Ну что, если он будет довольно mauvais genre, чтобы похвалить талант мой!» — подумала я, и опасение это так меня заняло, что, нисколько не мешая гостю любоваться пейзажем, я превратилась в ожидание. Он не сказал ни слова и, подвинув кресло, сел рядом со мною, а я мысленно отдохнула и улыбнулась.

— Вы никогда не кончите этого рисунка,— сказал Старославский и без околичностей исчислил все неправильности очерка, взял мою кисть и в несколько смелых штрихов сделал именно то, что я хотела, но не умела сделать.

— Вы прекрасно рисуете, мсье Старославский,— заметила я, следуя за быстрыми успехами рисунка.

— Да, недурно,— отвечал он, не отводя глаз от бумаги.

Не прошло четверти часа, как прекрасный пейзаж заступил место моих пятен, и гость вручил его мне, объяснив притом некоторые правила, с которыми мой учитель, вероятно, забыл познакомить свою ученицу. От рисования разговор перешел к другим предметам. Старославский сообщил мне несколько новостей, вычитанных им в журналах, которых мы не получаем, предложил мне эти журналы — и два часа времени прошли так скоро, что возвращение отца, то есть час обеда наступил, как мне казалось, ранее обыкновенного. К вечеру гость заставил нас забыть, что он не старый знакомый, и, прощаясь с ним, мы, то есть я и отец, в один голос просили соседа приезжать как можно чаще. Не знаю почему, но папá, в отсутствие Старославского,

не говорил о нем ни слова; это обстоятельство тем более удивило меня, что отец имел привычку делать строгий анализ всем, кого мы принимали в дом.

На следующее утро журналы лежали на моем столе и при них записка; она заключала в себе каталог полученных Старославским с последнею почтою книг и нот и предложение выбрать из них то, что мне будет угодно,— и только; ни одной любезности, ни одной кудреватой фразы. Решительно, фаворит твой, Sophie, препорядочный человек, и я очень мило отвечала ему и приняла с благодарностью предложение. Прошел еще день, и ровно в час пополудни, гость, как и в последний раз, явился передо мною с тем же лицом, выражавшим простодушие и непринужденную, серьезную веселость. Я невольно протянула ему руку, даже, кажется, покраснела немного, но он не обратил, разумеется, на это никакого внимания, положил шляпу и по-прежнему расположился рядом со мною.

— Вы читали? — спросил меня Старославский.

Я отвечала утвердительно.

— А если читали, то не продолжать — значить прерывать занятие для меня; такое отступление для ежедневного гостя нарушает порядок и ставит меня в необходимость бывать реже.

— А если так, то будем читать вместе,— отвечала я, смеясь.

Гость молча взял мою книгу, спросил, где я остановилась, и чтение продолжалось два часа; приход отца прекратил занятие наше, и вечер провели мы на берегу Днепра. Старославский поколебал доверенность отца к машинисту, доказав ему очень ясно, что мнение Жозефа справедливо и предприятие осуществиться не может.

Папа́ сделал гримасу, глубоко вздохнул, но отказаться от продолжения работ не решился, и в одиннадцать часов мы снова расстались с соседом. Мы были в саду, когда гостю подвел его грум знакомую нам лошадь-красавицу; не похвалить и не поласкать ее было невозможно. Старославский предложил мне ездить на ней, ручаясь за кротость своей любимицы, но я отказалась от лошади, согласясь быть его дамою во время первой прогулки. Он поклонился, сел в седло; новый страх овладел мною: я страшилась, что он поскачет,— но гость уехал шагом, а мы с отцом возвратились домой.

Остается передать подробности последнего свидания и заключить тем послание, которое, боюсь, покажется тебе слишком утомительным. Прошло еще трое суток, и ранее обыкновенного к крыльцу нашему подъехал тильбюри; из него вышел сосед; позади явился грум, державший в поводу его лошадь. Погода была ясная, но воздух прохладен, и для прогулки верхом нельзя было выбрать лучшего дня. Старославский все-таки был во фраке, но другого покроя; я заметила это потому, что, по свойственной мне привычке всегда чего-нибудь бояться, я боялась сюртука. Отец оканчивал еще последнюю чашку чаю, когда гость вошел. «Я предлагаю вам продолжительную прогулку,— сказал он, обращаясь ко мне,— а именно в Грустный Стан». Я взглянула на отца: он молчал, гость ожидал ответа; отвечать было надобно; я подумала, или, лучше сказать, не подумав, ограничилась замечанием: «Не далеко ли будет?»

— Десять верст,— отвечал Старославский,— но с нами тильбюри, дорога гладкая, и в полночь мы возвратимся обратно.

Если бы я сказала тебе, что не желала согласиться на предложение Старославского, то я бы солгала; к тому же упорное молчание и улыбка отца не доказывали ли, что он полагается вполне на благоразумие моего ответа. Я снова подумала и согласилась. Назови поступок мой как хочешь, chère amie, я готова прочесть приговор свой в первом письме твоем; как бы то ни было, но чрез полчаса мы скакали мерным галопом очаровательною тропинкою, пролегавшею через темный лес; тильбюри и грум следовали за нами в самом близком расстоянии... Позволь, друг мой, прервать на минуту рассказ и объяснить тебе причину моего поступка. В обычаях английской аристократии принято, чтобы девушки прогуливались одни, в сопровождении посторонних, конечно, коротко знакомых мужчин, и благородство этих спутников служит верною порукою за безопасность нашего пола. Конечно, аристократия М...ского уезда не согласится с мнением англичан; но какое же мне до этого дело? А лишать себя невинного удовольствия из боязни скандализировать Антонину, конечно, не стоит. К счастью, на пути от Скорлупского до Грустного Стана не встретилось ни одного сюртука, ни одного кисейного платья с мысом, и о ветреном поступке моем не проведает никто. Ne

sois donc pas prude, chère amie[1], и читай, я продолжаю.

Мы проговорили всю дорогу и незаметно доехали до готических ворот обширного двора, заросшего деревьями и кустарником.

Грустный Стан с первого взгляда оправдывает вполне свое название: он мрачен, грозен, но живописен до крайности. Почерневшие от времени высокие стены огромного дома напоминают те древние здания, которые подарил Петербургу гений Растрелли. Пруды тянутся по всем направлениям; церковь с множеством глав выглядывает из-за вековых сосен; кругом всей усадьбы дремучий лес, и лесу этому, кажется, нет конца.

У крыльца мы сошли с лошадей. Старославский подал мне руку у входа, сам отпер тяжелую дверь и ввел меня в обширную прихожую. Ни один слуга не вышел к нам навстречу — обстоятельство, которое, по-видимому, нимало не удивило хозяина, принявшего из рук моих шляпу и хлыстик. В первую минуту неожиданная пустота великолепного жилища Старославского произвела на ум мой странное впечатление. Мы молча перешли через темный, хотя двусветный зал, расписанный фреско по-старинному; гостиная и другие комнаты не уступали зале ни в мрачности, ни в древности, ни в строгом и вместе с тем изысканном для тогдашнего времени убранстве. Белые с позолотою скамьи, обитые алым сукном, и такие же столы симметрически расставлены были вдоль стен залы; резные диваны и кресла украшали первую гостиную; во второй расставлена была позолоченная мебель, а вокруг третьей тянулись турецкие диваны, обитые коврами. Картин и прочих предметов я рассмотреть не успела, потому что, признаюсь тебе, мне страх хотелось выйти на террасу, у подножия которой, в глубоком обрыве, протекал Днепр. Гигантские тополи, сосны и другие деревья симметрически группами разбросаны были по большому пространству; во всем были заметны следы чьей-то воли, мысли и трудов; сама природа, казалось, уступила права свои какому-то человеку; но когда и сколько веков прошло с тех пор, я дала себе слово расспросить о том Старославского. Сам он был мрачен, как его Грустный Стан, и эта мрачность шла им обоим. Я просила хозяина

[1] Не будь же чопорна, подруга моя *(франц.)*.

познакомить меня короче с домом, садом и окрестностями.

— Дом наведет на вас тоску,— отвечал Старославский,— сад не существует более, а окрестность полна таких воспоминаний, которые чуть ли не грустнее самого дома.

— Но, избрав целью прогулки нашей Грустный Стан, не имели ли вы намерения пококетничать им передо мною, мсье Старославский?— заметила я, смеясь.

— Пококетничать? конечно нет, но предложить его вам!

— Мне предложить Грустный Стан?

— Вам. Что же вы находите в этом чрезвычайного?

— Я не понимаю...

— Ну так я объясню вам.

— Это очень любопытно,— отвечала я, несколько смешавшись.

— Но прежде объяснения, Наталья Николаевна,— продолжал Старославский,— скажите мне откровенно, какими глазами смотрите вы на замужество? Допускаете ли вы возможность счастья без страсти и предпочитаете ли вы бешеной любви постоянное согласие супругов, основанное на симпатии? Наконец, при каком из этих двух условий, по мнению вашему, счастье вероятнее?

— Полагаю, при последнем,— отвечала я, все-таки не угадывая, чем кончит Старославский.

— А если так, то почему же Грустный Стан не будет вашим?

— Как моим?

— Конечно, вашим, Наталья Николаевна. Не имея никакой надежды внушить вам страсть или любовь к себе, я допускаю, однако ж, симпатию.

— Вы слишком скромны, мсье Старославский.

— Нет,— продолжал он спокойно,— но брак серьезная вещь, и, веря в возможность...

— Вы верите в возможность? — спросила я, смеясь.

— Почему же нет? Я говорю вам, что не надеюсь внушить вам любовь, но не отвергаю в себе присутствия тех достоинств, которые могут составить счастье жены.

— Мсье Старославский,— перебила я все еще шуточным тоном,— согласитесь, что разговор наш принимает довольно странный оборот?

— И оборот этот вам не нравится?

— Я не понимаю настоящего его смысла.

— Он очень ясен.

— Смысл?

— Мы говорим о возможности принадлежать когда-нибудь друг другу.

— То есть говорите вы, мсье Старославский, это не все равно...

— Жаль, потому что на этом предложении я основываю мою будущность.

— Но ради бога,— воскликнула я почти с сердцем,— не заставьте меня найти Грустный Стан ваш прескучным станом и пожалеть о прозаических аллеях Скорлупского: в них вы были гораздо любезнее.

— Послушайте, Наталья Николаевна,— сказал Старославский, и лицо его приняло серьезное выражение,— вы молоды; жизнь в глазах ваших длинный ряд праздников, не делающий вас положительно счастливою, это правда, но...

— Я часто скучаю, мсье Старославский...

— Как скучают на балах. Ведь молодость пройдет, а бесконечный ряд дней, далеко не праздничных, стоит настороже. Вот я так уж первые из них встретил на пути и горько задумался. Одиночество грустно и бесцветно, как этот сад, как этот дом, как все, что окружает меня в моем Грустном Стане.

— Но вы еще так молоды?

— Не очень. Тридцать шесть лет.

— А воспоминания, а вся прелесть прошедшего?

— Прошедшего? — повторил с горькою улыбкою Старославский и, помолчав несколько минут, медленно встал с своего места и подал мне руку.— Послушайте! — сказал он с такою грустью, которой вспомнить не могу,— подарите воспоминаниям моим час времени.

— Охотно,— отвечала я, вставая в свою очередь. Мы сошли с террасы и молча отправились по заросшей тропинке, тянувшейся к церкви; остановясь у ветхой каменной часовни, Старославский предупредил меня, что в семействе его сохранилось обыкновение не закапывать гробов усопших, а сохранять их в погребе, и потом, не дождавшись ответа, отворил железную дверь, отступившую со скрипом и каким-то металлическим стенаньем. Сырой воздух часовни пахнул мне в лицо, я готова была отказаться от посещения могильного убежища Старославских, но отказаться было неловко, и мы вошли.

Против дверей находился род иконостаса, составленного из фамильных образо́в; в левом углу спускалась лестница; она была темна. Старославский вынул одну из зеленых свечей, вставленных в высокие серебряные подсвечники, и, снова подав мне руку, стал осторожно сводить меня по холодным ступеням лестницы. Я дрожала всем телом; ноги мои подкашивались, голова кружилась, но твердая рука поддерживала меня; рука эта была холоднее ступеней, холоднее надгробного воздуха, а лица провожатого моего я и теперь не могу равнодушно вспомнить — так было оно бледно. Вторая железная дверь отперлась, в свою очередь; еще шаг — и мы оба очутились в кругу черных, продолговатых ящиков; на каждом из них блистали медные доски с черными надписями.

— Вам холодно? — спросил Старославский.

— Немного,— отвечала я нетвердым голосом. Мне стыдно было сознаться, что не холод, а ужас овладел мною совершенно. Не знаю, угадал ли Старославский истинную причину моего трепета или нет; по крайней мере он сделал вид, что не отгадывает, и, проведя меня мимо первого ряда гробов, остановился у двух, поставленных несколько поодаль от прочих и совершенно сохранившихся; один из них был очень велик, другой меньше.

— Тут хранятся останки моих родителей,— сказал он, указывая на ящики,— отец мой был честный человек, а мать добрая женщина. Может, они прожили бы долго и счастливо...

— Если б что? — воскликнула я.

— История жизни их слишком тесно связана с моею,— отвечал Старославский.— Рассказать ту и другую в эту минуту невозможно, отложим их до вечера.

Мы поклонились родительским гробам и пошли далее. Он продолжал знакомить меня с предками, переходя от одного ящика к другому. Проведя в обществе их еще с полчаса, мы, к большому моему удовольствию, вышли из часовни. Я вздохнула свободно, когда железная дверь заперлась за нами, а свежий воздух возвратил мне всю мою веселость.

— И вы часто бываете здесь, мсье Старославский? — спросила я его, стараясь возобновить разговор, который мог бы вызвать его на откровенность.

— Каждый раз, когда мне бывает грустно и тяжело.

— Но сознание в настоящей скуке не любезно.

— Я сказал грусть, а в настоящую минуту этим чувством я действительно обязан вам... вы не хотели понять меня...

— Возобновление шутки!

— Нет, не шутки, а самого серьезного разговора, которого конец вы должны были бы выслушать из дружбы ко мне.

Слово «дружба», произнесенное Старославским в первый раз с тех пор, как мы знакомы, произвело на меня странное, но вместе с тем приятное впечатление; впрочем, чувства этого отвергнуть я не могла ни в каком случае, потому что не могла не отдавать полной справедливости прекрасным свойствам этого человека; признаюсь тебе более: самолюбию моему льстила дружба Старославского. Итак, не думая долго, я отвечала ему, что готова выслушать его с участием, вполне достойным того чувства, во имя которого он требовал моего внимания. Старославский крепко пожал мне руку, улыбнулся и, внимательно посмотрев на меня, сделал мне еще предложение, но такое, какого, конечно, не делал двадцатилетней девушке ни один тридцатишестилетний мужчина. Сделай это другой, а не Старославский — я не ручаюсь, или, лучше сказать, не знаю, что б я отвечала; но вот самое предложение:

— Наталья Николаевна, чтоб иметь терпение выслушать то, что я желаю рассказать вам, недостаточно участия друга; я дружбе вашей не верю,— сказал Старославский.— Вы допускаете возможность быть счастливою, не любя любовию своего мужа... вы сказали это, не правда ли? Подарите же мне несколько часов подобного счастия и, пока вы в Грустном Стане, смотрите на него и на все ему принадлежащее, как на вашу собственность...

— А вы, мсье Старославский, какими глазами будете смотреть на меня в это время? — воскликнула я очень наивно.

— А я на это время буду видеть в вас жену, конечно, жену, не влюбленную в своего мужа, но возвратившую ему одним правом любить ее все блага, доступные человеку, все утраченное счастье... Я требую невозможного, знаю, но подумайте, Наталья Николаевна, что отказ оскорбит не самолюбие, а сердце. (Он сделался в эту минуту немного страшен, ma chère!)

— Je vous écoute, Paul![1] — сказала я, смеясь и покраснев до ушей. Что произошло тогда в Старославском, не знаю; неожиданность моего ответа, а может быть, и удовольствие услышать подобный ответ сделали то, что счастье, как говорится, отразилось во всем его существе: глаза сверкнули, лицо покрылось живым румянцем; он хотел, кажется, сказать что-то, но не сказал ни слова, и зачем было говорить? Я поняла взгляд и не раскаялась в ответе; взгляд был красноречивее слов!.. Sophie, ради бога, не делай страшной ошибки, не обвиняй меня в кокетстве; нет! Старославский был прав: женщина может быть счастлива, сделавшись его женою; впрочем, он, кажется, сказал... но в сторону рассуждения!

Мы продолжали идти молча, но не той тропинкой, которою шли в церковь, а другою, во сто крат живописнее; рядом с нею извивался быстрый поток, бежавший с горы; в иных местах он расширялся, в других, как бы приостановясь, падал каскадами и, снова пенясь и журча, продолжал путь свой по направлению к Днепру.

— Как мила эта часть сада! — проговорила я наконец; а похвалила я эту часть сада для того, чтоб прервать молчание, которое, вероятно, было столько же тягостно для Старославского, сколько и для меня.

— Да, Nathalie,— отвечал он серьезно,— сад недурен вообще, но он запущен.

Слово «Nathalie» снова заставило меня покраснеть; но минутный муж мой смотрел в сторону, и мы пошли далее. Пейзажи сменялись с невероятною быстротою; я несколько раз принималась хвалить места, и уже не на шутку. Старославский, казалось, разделял мой восторг, и, после продолжительной прогулки, мы подошли к оранжереям; они были в большем порядке, чем все, окружавшее их. Старославский постучал в дверь, и на стук явился кто-то в пестром полуфраке.

— Это главный садовник наш Herr Wirig,— сказал Старославский.

Я отвечала улыбкою на поклон *нашего* садовника, по-видимому, доброго немца.

— Сообщите ему, Nathalie, все, что желаете вы, чтоб было сделано в саду, а за точное выполнение всего вами

---

[1] Я вас слушаю, Поль! *(франц.)*.

приказанного отвечаю я,— прибавил Старославский серьезным тоном.

Что бы ты сделала, chère amie, на моем месте? Бог мой, чего бы не дала я за возможность услышать ответ твой! Впрочем, о чем я спрашиваю? Приняв на себя роль жены, могла ли бы ты отказаться от счастья превратить одичалый сад Грустного Стана в очаровательный, восхитительный, в сад, который напоминал бы уголок Павловска? Это самое я и сделала. Приказания мои посыпались на Herr Wirig с быстротою виденного мною потока, который, в свою очередь, конечно, был не забыт, и в двух местах в самом скором времени должны были явиться два островка с проволочным мостиком, с кучею цветов, и проч. и проч. Где ж все перечесть? Как передать новый план, созданный хоть мимолетным, а все-таки счастием? Je suis folle, chère amie[1], не правда ли? Но что ж делать? он этого хотел, твой Старославский, а я, ты знаешь, всегда была склонна к сумасшествию, а бабушка и умерла от этого. В четыре часа я так устала и мне так захотелось есть, что я сама напомнила об обеде. Обед был превкусный, я ела как пансионерка, а кофе принесли нам на террасу.

— Вы, конечно, захотите отдохнуть — комната ваша ожидает вас,— сказал Старославский, вставая.

— Нет, это уж слишком! Как, моя комната? — воскликнула я таким тоном и с таким глупым выражением лица, что Старославский не выдержал и расхохотался.

— Конечно, ваша, Nathalie, и я сам провожу вас в нее.

Он препросто взял меня за руку и повел за собою, а любопытство мое было так сильно, что я не только не оказала никакого сопротивления, но, кажется, перегнала Старославского, и не пошла, а побежала вперед... Тут останавливается перо, потому что чернила так грязны и черны, что ими нельзя описать так называемую мою комнату. Возьми, Sophie, самую хорошенькую корзинку, какую, впрочем, может создать одно воображение, но, ради бога, не золотую и не позолоченую, а из vieux saxe[2], посади в нее лучший букет цветов, и в нем, если сумеешь, устрой себе *réduit*[3]. Обо всем прочем говорить не буду; я, кажется, видела это все во сне.

---

[1] Я совсем сошла с ума, милая подруга *(франц.)*.
[2] старинного саксонского фарфора *(франц.)*.
[3] уголок, убежище *(франц.)*

и в самом ли деле существует подобный *réduit,* не отвечаю... Знаешь ли, друг мой, что если б кто-нибудь заставил меня прочесть письмо мое, я разорвала бы его до отправления; читай уже ты, а мне остается еще передать тебе странную историю Старославского, рассказанную им самим на террасе нашего дома — называю дом его *нашим,* потому что в минуту рассказа я называла Грустный Стан не его, а нашим, и все несчастия Старославского нашими собственными несчастиями. Слушай же.

Начинаю с того, что легенда, прочитанная отцом моим и мною в древней книге, не басня, а факт, и предок мой, богатый польский пан, действительно был злейшим врагом русского боярина, предка Старославских. Похищение красавицы, дочери боярина, сыном пана, произошло на том самом месте, где ныне дом Грустного Стана, а ров в лесу, где была предполагаемая пещера, и обитель обещал мне показать Старославский; все эти места находятся в равном расстоянии от двух наших усадеб. Что же касается до явления, повторяющегося ежегодно в ночь убийства пустынника, то он сказал мне, что ужасов этих он не слыхал сам, находясь каждый раз, как нарочно, вне Грустного Стана, но что поверье существует в народе до сих пор... Ужасно, не правда ли, ma chère? Мы дали друг другу слово провести эту страшную ночь на нашем скорлупском балконе.

История предков Старославского интересна, но длинна, и потому перейдем к настоящему представителю их, жизнь которого во сто раз интереснее. Рассказ его передаю тебе точно в таких же выражениях, в каких передан он был мне.

Счастие родителей Старославского отравлено было предсказаниями, исполнившимися с такою точностью, что приписывать подобное исполнение случайности было бы действительно трудно. Но в сторону отступления, и слушай самого рассказчика.

«Кому-то из предков моих, не знаю в какую именно эпоху,— начал Старославский,— предсказано было, что брак его и всех старших членов нисходящего поколения сопряжен будет с явлением более или менее чрезвычайным. Предсказание выполнилось как над первым, так и над всеми последующими без исключения. Пропустим давно забытых прадедов и начнем с деда. В царствование Екатерины он дрался с турками и, выменяв у одного из турецких пашей на

красивую лошадь красавицу-гречанку, привез ее в Россию и женился на ней, вопреки родственному гневу всех прочих Старославских. Старшим из детей его был отец мой, вторым — дядя, бывший моложе отца годами пятью.

Оба служили недолго и, выйдя в отставку в одно время, положили не разделять наследия родительского и поселиться в Грустном Стане. Полк, в котором они служили, стоял в Польше. На пути в деревню, не найдя лошадей в одном из пограничных польских местечек, они остановились ночевать; там вечер предстоял длинный. «Есть у нас гадальщица»,— сказал еврей-фактор. «Прекрасно!» — воскликнули молодые люди и, приказав указать им жилище гадальщицы, отправились к ней. В полуразвалившейся избушке, грязной, низкой и наполненной всеми необходимыми предметами для смущения доверчивых умов тогдашнего времени, нашли они безобразную женщину с кошкой, петухом и ручным ястребом. Еврей назвал гостей и именем их обещал хороший подарок за хорошую весть.

— Дай за дурную, так будет весточка для тебя,— отвечала она, обращаясь к дяде. Отец попытался избавить брата от дальнейших объяснений с гадальщицею, но труд был напрасен, и дяде предсказана была смерть в день свадьбы старшего брата, то есть отца моего.

— Ты лжешь, старуха! потому что я никогда не женюсь,— воскликнул отец, бросая на стол несколько червонцев и отворяя дверь, чтоб выйти из роковой избы; но, к несчастью, старуха успела прибавить еще несколько слов, так страшно подействовавших на всю жизнь моих родителей:

— А не женишься, все-таки брата не спасешь; да берегись четверга!

Последовавшие за тем три дня проведены были братьями в дороге. Повторяя предсказанное гадальщицею, оба смеялись, и отец, для совершенного успокоения дяди, которого любил искренно, клялся ему, что чувствует отвращение к женщинам вообще и, конечно, без всяких предсказаний никогда не решился бы вступить в брак даже с первою красавицею в мире. Дядя, с своей стороны, трунил над мнимым отвращением отца, над его суеверием и в свою очередь дал отцу честное слово, что если когда-нибудь ему покажется, что брат его избегает женитьбы, то он застрелится непременно. Тем кончились прения, и долго речь о старухе не возобновлялась между братьями. Прошли три года; жизнь

улыбалась обоим. В один из зимних дней получили братья приглашение на свадьбу: соседи выдавали дочь свою за довольно богатого, но пожилого помещика. «Едем»,— сказал дядя, и в тот же вечер явились они к соседям. Невеста была грустна, бледна и задумчива; жениха ожидали на следующее утро, то есть к самому брачному обряду. Протанцевав до полуночи, все разошлись по спальням. Отца и дядю поместили в самом доме, прочих кой-куда, и все улеглись. На следующее утро дядя за чаем завел с отцом моим речь о невесте и спросил, между прочим, нравится ли она ему.

— В другое время я, может быть, сказал бы «нет»,— отвечал мой отец, смеясь,— но сегодня она выходит замуж, и нет причин скрывать настоящее мнение: девушка мила, умна, скромна, и, женись ты на ней, я бы поздравил себя с премилой сестрой...

— И ты все это говоришь серьезно? — спросил дядя.

— Конечно, очень серьезно!

— В таком случае,— продолжал дядя,— женится на ней не жених и не я, а тот, кто внушил ей любовь искреннюю.

— Но кто же этот счастливец?— воскликнул отец,— и как ты мог проникнуть в тайны сердца невесты?

— Очень просто,— отвечал дядя,— я сегодняшней ночью подслушал невольно как слезы несчастной девушки, так равно и признания ее матери, плакавшей с нею вместе, но не имевшей никакой возможности спасти дочь от непреклонной воли своего мужа; предмет же любви невесты — ты...

Изумление отца моего лишило его на время способности говорить; воспользовавшись этим обстоятельством, дядя подтвердил клятву застрелиться немедленно, если отец тотчас же не решится просить у родителей руку чужой невесты.

— Неужели ты думаешь,— говорил он,— что пошлые и бессмысленные росказни глупой старухи могли хотя на секунду показаться мне делом серьезным? И как ни проста была баба, а все же, занимаясь ремеслом своим несколько десятков лет, не могла она не догадаться, что озадачить подобную нам практику можно было не простым обещанием счастия, а чем-нибудь разительным, новым. Вот тебе и четверги, и смерть, и все прочее! Но откажись ты от невесты — предсказание выполнится вполовину, за это уж ручаюсь я... а умирать мне, право, не хочется.

В то же утро обвенчан был отец на дочери соседа, и в то

же утро дядя, никем не замеченный, скрылся из дома, а возвратился он в дом простреленный первым женихом невесты, которого встретил на пути и вызвал на смертельный поединок.

Дядя, умирая, назвал старуху, прибавил еще несколько невнятных слов, и последнее было «четверг!».

День этот сделался роковым днем для бедных моих родителей. Смерть дяди приписывали они себе, оплакивали его ежедневно и с трепетом встречали четверг каждой недели. Все попытки разуверить их в действительности предсказаний оставались без успеха, а, по прошествии нескольких месяцев, к постоянному и страшному ожиданию неведомого несчастия присоединилось новое — мать моя почувствовала себя беременною, и обрадованный мгновенно отец вспомнил все-таки о четверге и стал страшиться за минуту моего рождения; на этот раз страх его был напрасен, и появление мое на свете не имело дурных последствий для матери: она выздоровела, полюбила меня страстно, и даже мало-помалу начинала если не забывать, то по крайней мере не так часто говорить о старухе. Смотря на жену, и отец казался счастливее; но с наступлением весны обманчивое солнце вызвало мать мою на балкон, и к вечеру оказалась лихорадка и кашель. Городской медик прописал лекарство и уехал; через неделю тот же медик пожал плечами, а чрез две объявил, что больная не переживет суток, то есть не доживет до пятницы... Сбылось! В четверг ее не стало... Ум отца не выдержал удара, и первые четыре месяца он смеялся слишком громко. Я был дитятей; но слуги его, вспоминая об этом смехе, содрогались. В последующие месяцы он пришел в себя и стал рыдать; слуги благодарили бога за слезы и плакали от радости. Но минул год, и в день поминовения матери, когда дьякон произнес имя покойной, в груди отца, при возгласе этом, оборвалось что-то; он схватил себя за грудь, и в первый раз улыбнулся не так, как безумный; улыбка эта была последняя, а в пятницу, то есть на следующий день, я играл с блестящею бахромою золотой парчи, покрывавшей тело отца. Те же слуги помнят улыбку посиневших уст его и складки смеявшихся глаз, но глаз неподвижных и мутных... Улыбкой этой отвечал он, вероятно, на замогильный привет матери... Меня с кормилицею перевезли на воспитание в дом деда; он же принял под свое управление и Грустный Стан, и прочее наследство. Преимущественно занималась мною

старушка-бабушка; украдкой наделяла она меня сластями и горько плакала, когда я на вопрос, где папа и мама, указывал пальчиком на видневшийся сквозь рощу шпиль родной колокольни Грустного Стана. За слезы бабушки бранил ее дед, называл плаксивой бабой, а меня баловнем и ласкал тогда только, когда в дом его приезжали гости. Двух лет от роду, я обязан был рассказывать со всеми подробностями приезжим, как предсказала старуха-колдунья, что дядя умрет в день свадьбы отца, что отцу и матери страшен четверг и как одного застрелил жених, а другие умерли. В продолжение заученного рассказа дед, бывало, гладил меня по голове, называл молодцом и трепал по щечкам, дополняя детское повествование мое разными прибаутками. Гораздо позже понял я все неприличие подобной болтовни и однажды решительно отказался делать из родительских несчастий нечто вроде сказки для развлечения соседей; мне было в ту пору шесть лет. Дед с удивлением посмотрел на меня, потом прикрикнул и, топнув ногою, приказал говорить; я молчал и заплатил за ослушание наказанием... вся юность моя превратилась в ряд физических и моральных страданий. Десяти лет я оплакивал кончину доброй бабки, место которой в доме деда заступила злая ключница. На четырнадцатом году меня стали учить грамоте, а на пятнадцатом я узнал, что наследие отца назначили к продаже; дед расстроил имение, продал, что мог, и отказался от опеки. Мне помнится, что в эту эпоху говорили часто о губернских выборах, и дед сердился, но за что и на кого — не знаю. Вдруг в одно утро к нам во двор въехала прекрасная карета, вышел из нее какой-то господин, и, полчаса спустя, меня потребовали в кабинет деда. «Не для того ли, чтоб рассказать приезжему о старухе и предсказаниях?» — подумал я и отправился с полною уверенностью быть наказанным за новое ослушание; но я ошибся, и причина зова оказалась совершенно противною моим ожиданиям. Дед представил меня господину благородной наружности, который приветливо взял меня за руку и посадил рядом с собою. Он пристально вглядывался в мое лицо, и мне становилось неловко; взгляд этот проникал мне в самую душу; я вертелся на стуле, не смея поднять глаз ни на деда, ни на гостя; дед был мрачнее обыкновенного. «Чему учили его?» — спросил наконец господин, обращаясь к деду. «Всему»,— отвечал тот отрывисто. Гость с подобным же вопросом обратился ко мне; я молчал; мне совестно было сознаться,

что знание мое ограничивалось русскою грамотою и первыми четырьмя правилами арифметики.

— Вы поедете со мною,— прибавил гость, вставая, и, не поклонясь даже деду, он торопливо вышел из кабинета, пропустив меня вперед. Дед хотел было удержать меня в деревне еще на некоторое время, отговариваясь невозможностью снабдить меня в эту минуту всем нужным для отъезда, но господин усадил меня в карету, сел возле меня, захлопнул дверцу и закричал «пошел!».

Едва мы отъехали от крыльца дедовского дома, как господин снова взял меня за руку и с нежностью стал расспрашивать о прошлой жизни моей, об учителях, обо всем до меня касавшемся; потом убеждал приложить все старание к приобретению познаний, необходимых для лет моих; уверял в участии ко мне и в готовности быть полезным во всех отношениях и до того ободрил и расположил меня к себе, что под вечер, прибыв в губернский город, о существовании которого, впрочем, я едва ли слышал в доме деда, добрый господин уж казался мне самым близким родным. В самое короткое время я совершенно преобразовался, и участие благодетеля пристрастило меня как к нему, так и ко всем новым наставникам моим. Новый мир представился глазам неопытным, новые потребности возродились в душе, и ученье не только не утомляло меня, но сделалось необходимостью. Чистая и светлая комната в прекрасном доме благодетеля была отдана в мое распоряжение; все часы дня получили свое назначение, и по вечерам науки сменялись танцами, фехтованием и чтением вслух. Впоследствии уж я понял, какому обстоятельству обязан я был настоящим своим благополучием. Мне растолковали, что покровителя моего выбрало дворянство губернии своим предводителем и что поступок его со мною был одним из тех поступков, которые доставили ему репутацию благородного и благодетельного человека. Итак, я жил и воспитывался в доме нового предводителя, оставившего семейство свое в столице и пожертвовавшего целые три года на святое и строгое, как он говорил, исполнение возложенных на него обязанностей. Эти счастливые три года промчались как один день, и уж семнадцатилетним юношею обнял я в последний раз моего благодетеля, смешавшего слезы свои с моими. Мы простились; он оставил обожавший его край, а я записался на службу в тот самый полк, в котором служили некогда отец и дядя, и, не теряя време-

ни, отправился в Польшу. Много перемен произошло в эти три года, как собственно во мне, так и во всем, до меня касавшемся. Оказалось, что расстроенное дедом именье мое не только не поступило в продажу, но распоряжениями все-таки предводителя приведено было в порядок и доходами уплатились прежде сделанные долги. Он же, мой благодетель, выбрал мне из среды дворян попечителя и, прощаясь, обязал меня честным словом не входить самому до совершеннолетия ни в какие распоряжения по наследству, а довольствоваться назначенною им же суммою для прожитка на службе; главное же — при воспоминании о прошедшем не произносить никогда его имени. Я свято выполнил обет и, даже встретившись с ним впоследствии, не бросился в его объятия, а отвечал учтивым поклоном на равнодушное приветствие человека, забывавшего, по-видимому, только одно добро, им сделанное.

В девятнадцать лет меня произвели в офицеры, а полк перешел в Россию. Не назову губернии: для вас это не интересно... Я скучал. Взвод мой расположен был в двух деревушках, принадлежавших вдове-помещице, которая говорила довольно вычурно по-французски и, улыбаясь, засыпала в гостиной, среди многочисленного общества, а скупость довела до совершенства. Вероятно, из экономии помещица воспитывала двух дочерей своих где-то, но, говоря о них, проливала слезы умиления и превозносила девушек до небес. По воскресеньям, в числе прочих товарищей, получал я приглашения откушать, а являлся обыкновенно один. Так прошла осень, прошла зима; в первые весенние дни вдова-помещица снарядилась в путь за дочерьми, и деревушки наши потеряли с нею последнее развлечение. Не получая ответа на письма мои к благодетелю, я в свою очередь перестал писать к нему...

С наступлением первых ясных дней мая и с отъездом вдовы-помещицы за дочерьми, положение мое сделалось еще несноснее. По соседям я не ездил; всякое другое общество, выходившее из круга товарищей, страшило меня до чрезвычайности; присутствие женщин пугало меня до того, что при появлении их вся кровь бросалась мне в лицо, и, раскрасневшись, я убегал из комнаты. Сколько раз припоминал я разговоры товарищей моих с дамами, всю пошлость их любезностей и непринужденность улыбок, отвечавших на эти любезности, я спрашивал самого себя, по-

чему я так строг к своей собственной особе и что удерживает язык мой говорить подобный же вздор? В поощрительных дамских улыбках сомневаться я не считал себя вправе, потому что наружность моя не уступала в благовидности наружности товарищей, а сверх того, французский язык давал мне страшное преимущество перед ними, употреблявшими очень часто женский род вместо мужского; произношения же и сравнивать было нельзя. Мне даже нередко казалось, что супруга нашего доктора, тридцатипятилетняя кокетка, обращалась ко мне чаще, чем к другим. Избегнуть же докторши, как избегал я присутствия прочих дам, было невозможно, хотя и прочих я избегал по какому-то неопределенному чувству, далеко не похожему на равнодушие к прекрасному полу.

Точно таким застало меня приглашение возвратившейся помещицы пожаловать к ней откушать. Записку передал слуга моему денщику, не упомянув ни слова о том, был ли кто из посторонних у помещицы, или общество наше на этот раз должно было ограничиться хозяйкой, старым дворянином-управляющим, пожилою старушкою, бедною родственницею, двумя девочками, детьми чьими-то из соседства, и мною. Облачась в сюртук и приказав оседлать лошадь, поскакал я в село помещицы. Но, о ужас! в первой комнате повстречалось мне новое лицо, и прехорошенькое; оно было очень молодо и очень свежо; девочка лет шестнадцати, вертясь, приседала так низко, что платье ее, раздуваясь, представляло фижмы. Завидя офицера, она крикнула; я обмер и побежал вперед. В гостиной, рядом с хозяйкой, второе восхитительное личико, несколько старее первого; я поклонился неловко, оглянулся назад и стал уже высматривать окно, в которое выскочил бы с радостью, но окна были заперты, и помещица отрекомендовала меня старшей дочери: я вздохнул, сломал козырек фуражки и молча уселся в кресло. Только после супа решился я заговорить и обратиться с каким-то вопросом к одной из бедных девочек, старинной моей знакомке. Помнится, я похвалил пруд, который виднелся из двери, ведущей на балкон.

— Любите вы удить рыбу? — спросила дочь хозяйки.

— Как же-с, с большим удовольствием,— отвечал я, хватаясь обеими руками за салфетку, которую поднес было к лицу вместо платка.

Таково было начало знакомства моего с новыми лицами. После обеда меньшая дочь, прыгая, побежала за удочками; мать улеглась заснуть, а я остался с старшею дочерью.

Я пропускаю первое время и приступаю к новой эпохе — к эпохе нравственной перемены, происшедшей во мне,— продолжал Старославский,— промежуток этот я ограничиваю одним месяцем, то есть маем.

В июне приглашения покушать прекратились вовсе, и прекратились, как совершенно ненужные формы, принятые обществом для тех лиц, которые являются только вследствие приглашений: я проводил все дни у помещицы и возвращался домой нередко за полночь. Все мысли мои устремлены были на один предмет, вся будущность моя ограничилась одною надеждою; короче, если когда-нибудь и в каком-нибудь краю света существовало чувство, называемое поэтами *чистою, бескорыстною* любовью, то, конечно, чувство это внушила мне старшая дочь помещицы».

— Опишите мне предмет страсти вашей как можно отчетливее,— сказала я, прерывая Старославского. Я сделала этот вопрос потому, что мне очень любопытно было знать, что приблизительно нужно, чтоб... но это вздор... посторонняя вещь...

— Извольте,— отвечал Старославский.

И вот он, портрет, его первой любви, первой страсти... Notez, ma chère[1]!

Во-первых, имя ее... но что в имени? приступим к наружности: рост средний, возраст — 19-ть лет, ножка и ручка очаровательны, черты лица неправильные, нос велик, может быть, даже слишком, но глаза такие, каких Старославский не встречал; улыбка удивительная; белизна кожи баснословная; коса, напоминающая косы женщин Фраскати, хотя и не черная; во всех движениях тела какая-то нега, лень, а в голосе целый мир гармонии. Предмет страсти Старославского, по словам его, не походил на нас, обыкновенных созданий, а отличался чем-то неуловимым, недоступным даже понятию женщины; то была ни дитя, ни женщина, ни гений добра, ни дух тьмы, а изящная смесь всего пленительного, обаятельного и пр. и пр.

«Расставаясь с нею по вечерам,— продолжал Старославский,— я уносил в сердце своем и надежду, и радость,

---

[1] Примечайте, моя дорогая! *(франц.)*.

и блаженство; а когда я возвращался к ней на другое утро, все ощущения, наполнявшие мое сердце, разлетались как дым, и холодность красавицы вливала в то же сердце целый океан отчаяния. «Но может ли это существо любить меня? — спрашивал я сам себя,— и способно ли оно, наконец, любить что-нибудь, или назначение его иное?» И тут ум мой начинал возноситься под облака, искать подобных ей в обителях надзвездных...»

Впрочем, рассказывая подобные вещи, Старославский заглядывал и в другие места, потемнее обителей надзвездных... Слушая со вниманием, и... не скрою от тебя, с чувством не совсем приятным трогательное повествование первой любви моего минутного супруга, я старалась уловить в глазах его то выражение, по которому обыкновенно судят о силе впечатления, производимого рассказом на самого рассказчика. Я старалась угадать, любил ли он еще свою первую любовь или ненавидел ее, не насмехался ли он над собою и над своим минувшим, чтоб самопожертвованием искупить заблуждение неопытного сердца, а может быть, и самое сознание его было делом расчета: желая предупредить нескромность бесстрастного свидетеля его прежней страсти, тридцатишестилетний Старославский приготовлял ум светской женщины к слушанию забавной истории его первой любви, и женщина, конечно, отвечала бы предателю: «Я знаю эту повесть: ее рассказывал мне сам Старославский; сам Старославский смеялся над собою; а, осуждая себя, не оправдывал ли он тем самым свое прошлое?» Но глаза рассказчика, казалось, не одушевлялись речью; слушая его, я как бы читала книгу, и читала ее со вниманием.

— Итак, вы очень любили молодую героиню вашу? — спросила я,— и чувство это в вас было не безотчетно, не слепо, как оно бывает у молодых людей, пользующихся первым позволением любить?..

— Нет, не слепо и не безотчетно,— отвечал Старославский,— потому что любовь моя находила отголосок во всем ее существе. Случалось ли мне в присутствии ее увлекаться чтением поэтов, восторг мой мгновенно отражался в ее душе. Одинаково действовали на нас одни и те же сочетания звуков, одна и та же гармония, и редко какие бы то ни были замечания не оказывались совершенно схожими; короче, мы, казалось, смотрели на жизнь, на свет, на людей

и на все одними глазами, дышали одной грудью и были так счастливы, что мысль о женитьбе не приходила мне на ум. Не могли ли мы проводить, за весьма малым исключением, целые дни далеко от всех, глаз на глаз? Не давал ли я ей тех нежных имен, которых не отыщете нигде? Не улыбалась ли она на мое признание в любви вечной, неизменной?.. Я до безумия любил Шопена; пьесы его, разыгранные ею, с ума бы свели самого автора, вероятно, она чувствовала их глубоко, а я... я весь был чувство. И сколько сокровищ в одном существе!

Наступила осень; начались дожди; цветы увяли, а помещица простудила бок; решено было отправиться на зиму в Москву. Я плакал, плакала меньшая сестра: ей жаль было меня; впрочем, бывали минуты, когда хорошенькое дитя и прыгало от радости при мысли о предстоящих балах, театрах, свиданьях с пансионскими подругами и катанье в санях. Все в ней было непринужденно и мило; она знала, что я люблю сестру; а этой причины достаточно было, чтоб любить меня. Старшая пользовалась обожанием меньшой.

Выпал снег; уложили сундуки, обложили ими возок, кибитку, сани; отслужили напутный молебен, пообедали в десять часов утра, надели теплые капоты, шапочки, присели на минуту, простились со мною, с дворней — и уехали! Я остался на крыльце с обнаженною головою и простоял долго и молча; к вечеру, возвратясь в деревушку, где стоял взвод мой, я почувствовал дрожь во всем теле, а на следующий день занемог горячкою; пролежал месяц — писем не было... силы возвратились. Я сам написал предлинное послание: на него отвечали с любовью; я написал еще, и еще ответ; короче, в архиве моем хранилась когда-то куча писем, одно другого нежнее.

Но сократим рассказ (сказал Старославский, по-видимому, заметив нетерпение, с которым я слушала его). С возвращением весны возвратилась и помещица в свою усадьбу, возвратились и дочери; с ними возвратилось и мое счастие. Старшая, улыбаясь, протянула мне одну руку, меньшая — обе; в глазах ее было больше радости. Это было очень натурально: нужно ли ей было скрывать то, что происходило в сердце?

Москва расстроила здоровье предмета моей страсти: ее заставляли выезжать, танцевать, любезничать, когда ей было вовсе не до того. Бедная, похудела и побледнела.

Медики предписали ей ранние прогулки, молоко и ванны. Я вставал с солнцем, и мы прогуливались вдвоем.

Попечитель мой уведомил меня, что дед зовет меня к себе: я не отвечал попечителю... Недуг моей возлюбленной усиливался, а помещица спала, и все утро, и все после обеда, и всю ночь спала — а кто ж мог заменить меня у больной и из чьих рук стала бы она принимать отвратительную микстуру, как не из моих?

Однажды мне вздумалось рассеять больную охотою за дикими утками. Лодка отвезла нас на один из островков озера, принадлежавшего помещице; а я, приказав гребцам загонять к нам уток, остался вдвоем с моею больною. Мы проговорили до полуночи. Утки часто опускались стадами на самом близком расстоянии от острова, но я забыл ружье, и что ни думали загонявшие дичь об отсутствии выстрелов, а нам было очень хорошо: мы в первый раз рассуждали о будущем. Она с восторгом помышляла об окрестностях Ревеля, о прохладе морских ванн, о вечерних прогулках по песчаному берегу моря. При выгодной продаже хлеба, мать обещала дочерям свозить их куда-то на воды.

«Как мало нужно, чтобы доставить счастье существу этому!» — думал я, с восторгом слушая мечты ее о поездке в Ревель: а Палермо с его стройными пальмами, а Сорренто с его голубым заливом, а чудный Неаполь, а Шамуни с бесконечным ковром душистых цветов, а прекрасная Венеция, а наконец, и Грустный Стан!.. По прошествии долгой и счастливой весны жизни, как отрадно будет в родных стенах его вместе с нею безмятежно ждать и сумерек и ночи!.. Но в ту минуту, когда, обремененное долгами, все наследство родителей едва избегло продажи с публичного торга, мог ли я обнаружить ей свои предположения? Она была так молода и так любила меня! Надлежало ожидать, а ожидать, любя и надеясь, не верх ли счастья?

Наступила новая зима и с нею новые сборы к отъезду. На этот раз я впал в отчаяние. Тысячу раз на день брался я за перо, но писать не мог — не находил ни слов, ни выражений. Нравственные отношения наши были так близки, что пустые фразы не могли более удовлетворять меня. Говорить ей о любви... зачем? не была ли она в ней уверена? Говорить о прошлом? Прошлое не забывалось! В конце января я получил откомандировку по делам службы. Лечу в Мо-

скву. Сердце мое готово было выскочить из груди, когда с Поклонной горы я увидел золотые главы соборов; но счастье не убивает: я остался жив и здоров. Переодевшись в гостинице, я поскакал к ней. Был вечер. Отыскать дом, позвонить у подъезда, спросить, здорова ли, у себя ли, и вбежать в гостиную — все это было делом минуты. Меньшая сестра с криком радости бросилась ко мне навстречу; в прелестных глазках ее даже блеснула слеза; я расцеловал бы эти глазки, но комнаты были полны гостей: на голове матери качалось перо, а плечи и руки были обнажены. Я неожиданно напал на званый вечер. Забыв обычную застенчивость, не замечая никого, я ищу ее глазами, но не вижу. «Одевается,— шепчет сестра,— ей сказали... она спешит»... Проходит пять минут, полчаса, час, сколько нескончаемых веков! Наконец вот и она! В белом платье с букетом белых камелий — и как хороша! Гости кланяются, им поклон, поклон и мне... но как же иначе? И по какому праву пал бы я к ее ногам, когда в доме званый вечер, а хозяйка дома не принадлежит ли гостям? гостиная не островок на озере!

— Как рада, что вижу вас! — говорит мне мать, только что не на ухо,— давно бы к нам, в Москву; у нас так весело. Вы танцуете?

— Нет... да... впрочем, конечно да... и все что угодно...— пробормотал я в ответ матери, которая перешла к другим.

Первый аккорд кадрили; меньшая дочь ангажирует меня. Очень рада! Но она? Мне бы хотелось с нею...

— Сестра ангажирована на весь вечер.

— Ужасно! но делать нечего...

Еще три часа, и гости разъедутся, и тогда... Но, бог мой, как прекрасна жизнь, как прекрасна чистая любовь!»

— Любили ли вы когда-нибудь? — спросил меня Старославский, неожиданно прерывая свой рассказ.

— Продолжайте,— отвечала я рассеянно. Меня почти оскорбил вопрос его в эту минуту... И какое ему дело, любила ли я, ma chère? Не правда ли, что вопрос был неуместный?

«Вечер кончился; на рассвете гости взялись было за шляпы... я торжествовал! Меньшая дочь стояла рядом со мною; мы смеялись, но только мой смех был непринуж-

денный; ее же уста едва двигались, а глаза хотели плакать — так по крайней мере казалось мне. Вдруг у двери слуга — в руках его серебряный поднос, уставленный бокалами шампанского. Зачем это? Впрочем, по-видимому, удивлялся я один; прочие гости окружили слугу и, разобрав бокалы, обратились к кому-то. Смотрю: хозяйка кланяется... кланяется и старшая дочь... пусть себе!.. но кланяется и третье лицо — пожилое, обернутое в белый галстух...

Да чему же и дивиться?.. То был жених старшей дочери, а в тот вечер пили здоровье обрученных; гости знали и не удивлялись... я узнал... и выехал из Москвы через час...»

— И вы не презираете вашей возлюбленной, мсье Старославский? — воскликнула я вне себя от негодования.

— Презирать? — повторил он, смеясь.— Полноте, да за что же? Объяснилось, что у жениха дом, и дом с лавочками; сверх того, деревня и несколько паев по откупам — жених выгодный! Мать упросила дочь пожертвовать собою для блага меньшой сестры, которой, по словам матери, присутствие старшей мешало сделать партию. Она проплакала целую ночь и, так сказать, пожертвовала собою для блага сестры. Я встретил ее три года спустя, в той же Москве (прибавил спокойно Старославский); она показалась мне очень довольна своей судьбою. То, что принял я за любовь и страсть ко мне, было не что иное, как желание угодить матери скорым замужеством, при помощи необыкновенной способности приноравливаться ко всем характерам. Например, я любил Шопена, она играла пьесы его неподражаемо. Супруг ее страстен к русской литературе и к яблоням: юная супруга восхищается произведениями первой и сажает вторые. Разумеется, первое время разочарования моего казалось мне тяжким, невыносимым; но, по здравом размышлении, я нашел, что едва ли не сам я был виноват... Однако довольно,— сказал Старославский вставая,— солнце село, а употреблять во зло терпение ваше я не считаю себя вправе.

— Но рассказ ваш не кончен,— воскликнула я,— в нем недостает нравственного заключения.

— А я и не подумал о нем! — отвечал, смеясь, Старославский.

— Хотите, придумаю я?

— Чрезвычайно обяжете!

— Извольте. Заблуждается тот, кто не допускает в женщине чувства истинного, бескорыстного и полного самоотвержением.

— Не понимаю,— заметил Старославский,— как все это вывели вы из моего рассказа?

— Надеюсь, что я права.

— Объяснитесь, ради бога.

— Вы забыли легенду?

— Все-таки не понимаю.

— Странно!

— Но что же общего между легендою и поступком молодой девушки?

— Она не могла и не должна была поступить иначе.

— Ужасно, если слова ваши не шутка...

— Если она была уверена, что любовь к ней могла со временем составить несчастие ваше, то не должна ли она была, для избежания этого несчастия, отдать себя другому, может быть, менее, как говорят, для нее интересному, но, вероятно, порядочному человеку?

— Как мое несчастие? — воскликнул Старославский.

— Конечно, ваше.

— А страсть моя к ней, эта беспредельная страсть?

— Но к чему же бы повела она, эта беспредельная страсть?

— К продолжительному, может быть, вечному благополучию.

— Оно было невозможно для бедной девушки: жениться на ней вы не могли.

— Я... я!

— Вы, вы, старший в роде. Что же было бы чрезвычайного в вашей женитьбе на дочери помещицы? Легенда не допустила бы вас до этого.

— Вы смеетесь надо мною,— сказал Старославский, почти обиженный продолжительною моею мистификациею,— впрочем, я так самолюбив, что не стану скрывать свои убеждения: я верю в легенды!

— Не исключая страшного явления сентябрьской ночи? — спросила я, улыбаясь.

— Не исключая.

— Разочаруйтесь: его не будет, этого явления!

— Новая мистификация!

— Нет, но не должно ли было прекратиться оно, по

соединении двух враждебных поколений? — заметила я, продолжая смеяться.

— То есть вашего с нашим посредством брака? — прибавил Старославский.

— Вы забыли роль мужа и тем даете мне право на развод.

— Согласен возвратить вам свободу, графиня, но с условием.

— С каким?

— Вы торжественно возвратите мне права мои на вас двадцать восьмого сентября.

— То есть по возобновлении тех ужасов, которым вы так наивно верите? Согласна и от всего сердца,— отвечала я Старославскому, протягивая руку, которую он поцеловал — впрочем, в первый раз, ma chère.

Я долго еще не могла удержаться от смеха, смотря на моего будущего супруга,— так забавно казалось мне уморительное суеверие такого умного человека, каков Старославский. Как бы то ни было, но день, проведенный в Грустном Стане, был приятный и препоэтический день.

Тот же тильбюри домчал нас в несколько минут из Грустного Стана в Скорлупское. На пути Старославский предлагал мне остановиться близ того самого места, где, по преданию, разыгралась кровавая драма пустынника и молодого пана; но мне сделалось так страшно, ma chère, что я отказалась от всей поэзии преданий, просила ускорить бег лошади, тем более что позади нас неоднократно показывалось на дороге что-то очень большое. Сам Старославский, принимавший сначала уверения мои за панический страх, увидев этот предмет, терялся в догадках. Что, ежели это был медведь? Какой ужас, ma chère! Около полуночи мы достигли скорлуповского проспекта, и на повороте встретил нас отец. Признаюсь тебе, я ожидала нагоняя, но все кончилось как нельзя лучше: папа́ не оказал ни малейшего неудовольствия, а напротив, был очень любезен и, по свойственной ему деликатности, даже не спрашивал, что удержало нас в Грустном Стане так долго.

У крыльца Старославский раскланялся и пустился в обратный путь, а мы с отцом вошли в дом. В продолжении всего ужина мы проговорили про Днепр. Я хотя и ничего не понимаю в хозяйстве, но надобно думать, что работы, предпринятые отцом, очень важны, потому что они до

крайности занимают его ум. Бо́льшую часть времени проводим мы в обществе «ученого», как называет машиниста Жозеф. Впрочем, подробнейших сведений о предприятии отца дать тебе не могу, все это не совсем доступно моим слабым понятиям. Кажется, имеют намерение поднять реку так высоко, что Скорлупское превратится в полуостров, и вода силою своею должна будет пилить доски, молоть муку, делать гвозди, даже нитки и холст или что-то вроде этого... Вообрази себе, что огромные и длинные деревья вколачивают в землю для того, чтоб вода остановилась, и строения больших размеров все почти готовы. На меня же возложено угощение рабочих по праздничным дням, что я и выполняю тем с большим удовольствием, что всякая новая забава, мною придуманная, принимается добрыми крестьянами с неподдельною благодарностью; главная же из всех забав состоит в хороводах, на которые сходятся из окрестностей все женщины и девушки. В первые дни я постичь не могла, как может казаться приятным этот национальный танец и есть ли какая-нибудь возможность проходить целый вечер, взявшись за руки и не сказав друг другу ни одного слова; но теперь все это меня больше не удивляет, и я убедилась, что с простотою нравов могут согласоваться только одни простые наслаждения, по свойствам своим близкие к природе.

Trêve de philosophie[1], друг мой! устала ужасно и повторяю, что писем моих перечитывать не стану... тоска! Погода портится; прощай лето! Где будем зимою — не знаю и не спрашиваю. Чего хочу — и этого не знаю. Странное влияние имеет деревенская жизнь на женскую натуру! Веришь ли, что в настоящую минуту спроси меня кто-нибудь, желаю ли я переехать в столицу, ведь тот же будет ответ — не знаю и не знаю! Прощай, боюсь сказать более!

Часть вторая и последняя

Письмо седьмое

Решено, друг мой: мы остаемся в деревне до первого снега. Я не в отчаянии, потому что никогда еще не встре-

---

[1] Хватит философии *(франц.)*.

чала зимы посреди лесов и даже не имею понятия о так называемой умирающей природе.

Сравнивая столичные письма твои с моими деревенскими, я начинаю думать, что или ты умышленно сокращаешь свои, или глушь представляет гораздо более предметов для описания, хотя в эту минуту берусь за перо и не знаю, с чего начать. Однако не радуйся и не думай, что говорить не о чем; напротив, за предметами для рассказа дело не станет. Во-первых, вторичное посещение поэтических родственников, со всеми остальными членами драгоценного семейства Агафоклеи Анастасьевны Грюковской, не исключая ее самой. Во-вторых, предшествовавшие приезду их происшествия чрезвычайно оригинальны в своем роде; потом... потом... Но по порядку начинаю с происшествий. На другой день после поездки моей в Грустный Стан к нам прискакал от Грюковских посланный с письмом, адресованным на имя отца. Представь себе наше удивление, chère amie: Агафоклея Анастасьевна, уведомляя нас в самых отчаянных выражениях о непонятной болезни Купера, просила папа́ выслать к ним немедленно Жозефа, прибавляя в постскриптум, что на одного Жозефа возлагает нежная мать всю свою надежду.

«Она сошла с ума»,— воскликнул отец и приказал позвать посланного. Из слов последнего мы узнали, что Купер занемог в ночь очень странным образом — так выразился слуга Грюковских: «Отлучался куда-то верхом; на вопросы старой барыни: где был и куда ездил, молодой барин отвечать не изволил, а ездил, должно быть, далеко, потому что лошадь возвратилась измученная, и наконец молодой барин сказал маменьке: «Пошлите за тем французским доктором, что живет в Скорлупском, а других лекарей не хочу», вследствие чего и прислан он, посланный за Жозефом. По свойственной отцу доброте, он готов был тотчас же отправиться к Грюковским, но, не знаю почему, мне не хотелось, чтоб папа́ ехал: я была внутренно убеждена, что болезнь Купера далеко несерьезна, и потому упросила отца остаться. Мы снарядили Жозефа и снабдили его всеми лекарствами, находившимися в доме. На другой день, подходя к толпе работавших близ Днепра крестьян, мы крайне удивились, увидя среди них Жозефа. «Уже воротился?» — спросил его отец, Жозеф махнул рукой и, по-

вернувшись в другую сторону принялся снова за работу; на добром лице его выражалось негодование. Отец прошел далее, а я, более любопытная, подошла к французу, закидала его вопросами. «Allons donc, ma chatelaine, ne vous faites pas du chagrin à propos de ce farceur d'Adonis; je n'en voudrais pas pour soigner mon chien ne vous déplaise, non seulement...»[1] На этом слове Жозеф остановился безмолвный, почти гневный, и не переставал пожимать плечами и качать головой. Не удовольствовавшись лаконическим ответом Жозефа, я просила папá употребить всю власть над ним, но и это средство имело не более успеха, и все, что нам удалось узнать от него, было то, что Купер здоров. В этот день мы обедали вдвоем, а после обеда явился Старославский. Вечер прошел приятно и скоро; предметом разговора был Кавказ; сосед наш провел на Кавказе несколько лет сряду и с различными отрядами делал прелюбопытные экспедиции. Старославский обладает необыкновенным даром слова; рассказ его легок и нимало не утомителен, что встречается очень редко; сверх того, он скромен без излишества и очень ловко избегает всех случаев говорить о самом себе. От Кавказа разговор коснулся многих лиц, которых отец знавал когда-то и очень ими интересовался. К удовольствию моему, я узнала в этот вечер, что Старославский не совершенно чужд отцу и что даже папá знавал родных Старославского, в особенности же старика деда, о котором Старославский говорил мне в Грустном Стане. Я и забыла сказать тебе, chère amie, что дед этот все богатство, нажитое им во время управления имением Старославского, оставил ему же. Как после этого не согласиться, что судьба бывает иногда справедливейшим из судей?

На этот раз сосед остался с нами ужинать и позже обыкновенного уехал домой.

Проходя в свою комнату, я встретила Жозефа; он сделал движение, изменившее его тайным намерениям. Жозеф хотел спрятаться от меня и видимо смешался, когда я предупредила это намерение, загородив ему дорогу. «Je vou-

[1] Полно, хозяйка, не волнуйтесь из-за этого шута Адониса; не прогневайтесь, но от этого я не стал бы лечить и своего пса, а не то что... *(франц.)*

drais dire deux mots au général»[1],— проговорил он, стараясь все-таки уклониться от меня; мне страх хотелось спать, и я скоро отпустила несчастного Жозефа. Только на следующее утро, за чаем, узнала я от отца, каким странным недугом одержим был милый родственник наш, Купер, и какой помощи ожидала мать его от французского доктора Жозефа. Доктору предлагали плату за посредничество между влюбленным поэтом и моим сердцем; а заболел поэт от негодования, что увидел меня в тильбюри с Старославским, который на возвратном пути в Грустный Стан, подметив Купера в кустах и, вероятно, узнав его, шепнул что-то груму; грум дал волю своему скакуну и, конечно, не замедлил бы настигнуть поэта, если б последний не обратился в бегство. Не полагаю, чтоб Старославскому известен был результат полуночной скачки грума с поэтом, но узнал Жозеф от слуги Грюковских, что молодой барин попал в страшное болото, из которого вынут был на утренней заре лесничими Старославского. Я уж не говорю про себя; ты меня знаешь, ma chère; но папа́, этот редко улыбающийся человек, хохотал до слез, передавая мне рассказ Жозефа, с которого, впрочем, поэт взял слово не изменять ему и хранить происшествие в тайне.

Я надеялась, по крайней мере, что первая неудача охладит нежное чувство его ко мне и мы лишимся удовольствия видеть его в скором времени в Скорлупском; но поэт думал иначе, и — о несчастье! — едва мы вышли из-за стола, как знакомая коляска подъехала с ужасным звоном к крыльцу, а за нею еще экипаж и еще — значило, вся семья. Как водится, сначала крик, потом шумный и всеобщий говор, поцелуи, нежности и обед со всеми суетами, со всеми беспорядками и неудачами... Нет, друг мой, и деревенская жизнь имеет премного неприятного; одного подобного соседства слишком достаточно, чтоб бежать, не оглядываясь, не только обратно в столицу, но и на край света. Не знаю, предубеждение ли, последняя ли глупость Купера и его матушки, но в этот раз и сам поэт и Антонина показались мне еще приторнее, еще несноснее; я дала себе слово ни мало не женироваться с ними, хотя бы от того последовал совершенный разрыв.

---

[1] Я хотел бы сказать пару слов генералу *(франц.)*.

— А я к вам с просьбою, mon cousin[1],— сказала Агафоклея Анастасьевна, обращаясь к папá,— племянник мой, прибывший издалека, просит у вас позволения поохотиться некоторое время на ваших дачах. Он премилый человек, друг моему Куперу, был военный, да оставил службу по домашним обстоятельствам и поселился в деревне; у него душ двести,— прибавила Агафоклея Анастасьевна, бросив на меня косвенный взгляд.

Отец, разумеется, отвечал, что очень рад; а я не выдержала и, с намерением побесить гостей, заметила папá, что право охотиться в лесах наших предоставлено Старославскому и что разрешить другим может один он... Нужно было видеть, какой эффект произвели слова мои, не только на старуху, не только на Купера и Антонину, но на самых меньших членов семейства.

— Mais qu'est ce que c'est vraiment que ce Staroslavsky?[2]— шипела одна.

— Mais c'est un trouble-fête que cet homme![3]— кривляясь, говорила другая.

Купер в это время кусал губы и лукаво переглядывался с Антониною, которая рвала на себе косынку, бледнея от злости. Отец, погрозив мне украдкой пальцем, успокоил общество, уверив, что Старославский, без всякого сомнения, почтет за удовольствие быть в числе прочих охотников и даже предложит свои дачи...

— И болота,— прибавила я, взглянув на поэта, лицо которого вспыхнуло.

— Но сын мой не стреляет, графиня!— перебила Агафоклея Анастасьевна язвительным тоном.

— Из ружья, хотите вы сказать, матушка; но из пистолета очень недурно, верьте,— воскликнул Купер.

Не знаю, чем бы кончился разговор, начинавший принимать грозное для меня направление, но папá вмешался в него, и все надели спокойные маски; у всех, кроме, разумеется, меня с отцом, гнев вошел в глубину сердца.

Вечером, для избежания новой тоски, я предложила прогулку и с отвращением должна была принять руку Купера. Разговор вначале был общий: те же мадригалы,

---

[1] мой кузен *(франц.)*.
[2] Но что все-таки за человек этот Старославский? *(франц.)*
[3] Всему он помеха! *(франц.)*.

тот же цветистый язык — все то же, что было говорено в начале знакомства нашего; но общество мало-помалу отделилось от нас, и я не ошиблась, ожидая услышать наконец что-нибудь новенькое.

— Графиня,— сказал поэт торжественно (заметь, ma chère, что в первый раз *титул мой* заменил нежное ma cousine[1]),— я предвидел все, и мне прискорбно было бы думать, что вы ошиблись, ежели не в сердце, то в уме моем...

Я взглянула на Купера и ждала продолжения речи: вступление обещало много забавного, и продолжение не замедлило.

— Есть симпатии, графиня, которых исход дает эстетическим свойствам души человека иное убеждение, иное направление,— продолжал, воспламеняясь, поэт,— и нередко на самом повороте жизни человек превращается в злодея; но за что же, скажите?— Поэт перевел дыхание, а я вспомнила о болоте и начала кашлять, чтоб не расхохотаться.

— Вы смеетесь?— проговорил Купер протяжно,— слух ваш сроднился с отчаянным воплем глубоко тронутых, и для него равны и лепет младенца, и рев тигра; окаменел этот слух от пламенного дыхания лести, от заблаговременно вымышленных фраз, от пристрастных уверений, от...

— Скажите мне, mon cousin,— перебила я его,— кто таков ваш родственник, который желает здесь охотиться?

— Какой быстрый переход, кузина!

— Но я полагала, что вы кончили.

— Не сказав ни слова...

— В таком случае я слушаю.

— Нет, кузина, поздно! Родственник же мой, или, лучше сказать, друг, впрочем, нимало на меня не похожий... в нем все материализм, какой-то сухой взгляд на аксессуары жизни! впрочем, он умеет чувствовать и понимает честь.

— Но кто же он?

— Гусар, наездник, добрый малый, жуир!

— Как жуир?

— Слово тривиально, это правда, но оно означает страсть к наслаждениям мира осязаемого, не умственного. В эту минуту мне нужен друг, мне необходим он, как существо, на которое можно положиться с уверенностью, что

---

[1] моя кузина *(франц.)*.

оно не изменит, не предаст, а отмстит, разумеется, в то время, когда рука моя не в силах будет более мстить,— впрочем, и за себя отчасти!

— Мстить? кому мстить?— спросила я, продолжая не понимать поэта.

— Кому... кому?— повторил Купер с самодовольною, горделивою улыбкой,— тому, графиня, кто питается кровью сердец, кто дни свои считает победами над неопытными, над ослепленными его коварством... короче, тому, кто самодовольно стал между им и его счастием и в то же время между мною и моим счастием.

Из всего этого я поняла, что поэту хотелось назвать своего соперника, своего злодея, которого, я полагаю, узнала и ты; но я дала себе слово помучить поэта.

— А какого рода охоту предпочитает родственник ваш, mon cousin?— спросила я с видом совершенного равнодушия.

— Не знаю, графиня, и, по совести, мало интересуюсь этого рода занятием.

— Я же, напротив, ожидаю приезда вашего родственника с нетерпением и обещаю себе очень много удовольствий; во-первых, продолжительные прогулки верхом...

— И в тильбюри...— лукаво прибавил поэт.

— И в тильбюри,— повторила я, как бы не понимая иронии Купера,— но не в моем, который страх беспокоен, а в тильбюри Старославского, если только он будет так любезен, что предложит его мне.

— О, за Старославского я ручаюсь! И, конечно, графиня, он так любезен, что не сделает из вас исключения.

— Не понимаю, mon cousin.

— Я хотел сказать, графиня, что считаю соседа нашего учтивым до такой степени, что он сделает для вас то, что делает для других.

— То есть не откажет в тильбюри?

— И даже будет сопутствовать лично во время долгих прогулок,— прибавил язвительно поэт.

Я сначала никак не могла понять, к чему клонилась двусмысленная улыбка Купера и что находит он чрезвычайного в весьма обыкновенной любезности светского человека, предлагающего дамам и свой экипаж, и свое общество во время прогулки; потом уж мне пришло в голову, что поэт желал, конечно, возбудить ревность мою к своей сестре

Антонине, которая, вероятно, пользовалась неоднократно и тем и другим; но, желая продлить маленькие терзания моего cousin, я заметила, что не имею намерения мешать и другим в удовольствии кататься в тильбюри Старославского и буду пользоваться им только тогда, когда Антонина предпочтет седло.

— Антонина!— воскликнул надменно поэт,— сестра в тильбюри Старославского! какая мысль!

— Но я полагаю, что это случилось бы не в первый раз,— отвечала я тем же тоном. Я начинала сердиться.

— И вы могли подумать, что сестра позволит себе такую вещь, графиня?— возразил Купер с возраставшим негодованием.

К стыду моему, этот глупый вопрос вывел меня совершенно из терпения, и я очень серьезно заметила поэту всю неловкость его замечания. Мне казалось, что образ моих действий не мог быть неприличным для Антонины. Поэт смешался, пролепетал что-то непонятное и извинился тем, что не знал ничего о прогулке моей с Старославским; иначе, конечно, не позволил бы себе ни одного нескромного слова. Я едва не напомнила ему болота, но мне жаль стало бедного ревнивца, и я удовольствовалась его замешательством.

Мы, уже молча, догнали остальное общество и, поблагодарив Купера за согнутую его руку, я предложила свою юной и розовой Елене; поэт же присоединился к Антонине, и я убеждена, что предметом продолжительного разговора их была я, а может быть, и Старославский.

Елена представляла собою тип совершенно отличный от старшей сестры своей; тип этот, конечно, не встречался тебе, ma chère, ни разу в продолжение целой твоей жизни, потому что он образуется единственно в деревнях и губерниях, преимущественно отдаленных от столиц. Елена не понимает ничего; с криком детской радости бросается она на васильки, срывает их, целует, прикалывает к платью, вплетает в волоса, и не ходит, а перепрыгивает от одного предмета к другому. Для Елены выписывает мать «Journal des enfants»[1] с раскрашенными картинками; а завидя вдали корову, козла или собаку, двадцатидвухлетняя девушка с воплем и трепетом бросается на грудь матери и целует

[1] «Журнал для детей» *(франц.)*.

пренежно ее ручки; она называет корову коровкою, а мать — *мамахиной* или *мамошком.* Елена с восторгом рассказывала мне, что у них в деревне братец, то есть Купер, устроил для нее маленький садик, провел через садик маленький ручеек, поставил маленькую скамеечку, и что в этот садик так страшно было ей ходить сначала одной, потому что из садика видно кладбище, но потом она понемножку приучилась ходить в садик одна, но что ночью все-таки ни за что не пойдет, тем более что мамо́шек боится воров, которые, говорят, очень сердиты и нехорошо поступают с молоденькими девушками. Вот à peu près[1] разговор мой с Еленою, которая робка, как газель, но во сто крат ее массивнее. В образе воспитания молодых девиц семейства Агафоклеи Анастасьевны я советовала бы переменить одно, а именно: покрой платьев узких, не соответствующих полноте форм, а главное, слишком коротких, потому что ноги девиц, ma chère, решительно не женские; прибавь к необъятной величине ног ботинки песочного цвета — и ты получишь пренеприятное целое.

Вместо чая, в этот вечер проглочено было девицами неимоверное количество кислого молока и огурцов с медом (еще незнакомое для тебя лакомство), а после молока Антонина взяла меня за руку и шепнула мне на ухо, что умоляет поместить кровать ее в моей спальне и что она, Антонина, имеет сообщить мне, ее другу, ее обожанию, нечто необыкновенно интересное. Разумеется, я тотчас же выполнила желание обожающей особу мою кузины, во весь вечер избегала всякого tête-à-tête[2] с поэтом, и просидела с меньшими сестрами, показывая им кипсеки, которые должна была объяснять,— так мало сведущи во всем юные дочери Агафоклеи Анастасьевны! Разумеется, при виде церкви святого Петра Елена спрашивала сначала, где церковь святого Петра, а потом с визгом изъявляла желание быть в церкви святого Петра; при виде швейцарских пейзажей Елена изъявляла желание быть в Швейцарии... и так далее. Антонина в это время слушала тихо говорившего с ней Купера и, улыбаясь, чертила пером какой-то мужской профиль. Агафоклея Анастасьевна рассказывала отцу длинный процесс свой с каким-то князем, и бедному отцу,

[1] примерно *(франц.).*
[2] с глазу на глаз, наедине *(франц.).*

ручаюсь, было очень скучно. Так прошел бесконечный вечер, и в одиннадцать часов доложили об ужине. Во всяком другом случае я поблагодарила бы судьбу за окончание дня; но вспомнила о предстоящей конфиденции друга моего, Антонины, и мне стало скучнее прежнего. Не думай, ma chère, чтоб деревенские ужины наши походили в чем бы то ни было на ваши случайные, петербургские — нет, мой друг, в провинции вечерний стол есть самое отчетливое повторение обеденного: он начинается супом, за которым следует ряд мясных и рыбных блюд, несколько entremets[1] и все заключается так называемым пирожным. Желая следовать всем местным обычаям, папа́ очень строго приказал мне высмотреть у Грюковских, чем кормят гостей, и тот же порядок заведен у нас; овальные же стаканчики, подаваемые обыкновенно после обеда, вовсе исключены из программы необходимых вещей; на этого рода потребность смотрят у нас весьма неблагосклонно, и называется она неопрятностью, даже чванством; уж это не знаю почему! В минуту всеобщего расставанья Купер попытался было предложить мне ночную прогулку, вроде той, о которой я когда-то писала к тебе, но я решительно отказалась — j' en ai assez[2], он с надутым лицом вышел вон из комнаты, а мы с Антониною, разведя всех поочередно по спальням, отправились наконец к себе. Выпросив у кузины полчаса времени, я заперлась в кабинете и посвятила минуты эти на то, чтоб поговорить с тобою, chère amie. Бог мой! зачем не придет тебе счастливая мысль приехать к нам, в Скорлупское, хотя на несколько дней? Право, сделай это: ты вдоволь посмеешься.

Летопись мою продолжаю без предисловий, chère Sophie, боюсь позабыть некоторые подробности, которые необходимы. Ночные конфиденции Антонины — вот они, слушай (я могла бы кончить одним словом, но позволь мне передать тебе их во всей подробности. Сохрани, пожалуйста, письма мои, и когда-нибудь, перечитывая их, мы посмеемся вдвоем). Антонина упросила меня лечь, сама же накинула на себя род кофты и уселась у меня в ногах. На кузине белье домашней фабрики; оно, по словам ее, обходится очень дешево; но бог с нею, пусть она носит его, а оно очень нехорошо! Итак, я расположилась слушать

---

[1] легкое блюдо, подаваемое перед десертом *(франц.)*.

[2] с меня довольно *(франц.)*.

и боялась заснуть; вышло противное: я не спала вовсе. Вступлением в конфиденцию был вопрос: «свободно ли мое сердце».

— Совершенно свободно,— отвечала я.

— Не может быть.

— Почему ж?

— Потому что не может быть.

— Право, свободно.

— А я говорю, что это решительно невозможно.

— Но почему ж, бог мой?

— Потому что я знаю.

— Что?

— Я знаю, что вы любите, Nathalie, и любите человека, недостойного вас, человека безнравственного, смеющегося над слабостями женщин, смотрящего на них глазами вампира, короче — Старославского. Будет время, и вы узнаете короче это существо, и дай бог, чтоб опыт этот не стоил вам дорого.

— Но успокойтесь, Антонина, я совершенно равнодушна к извергу вашему; я едва его знаю.

— Вы говорите неправду, вы скрываете.

— Нимало.

— Вы скрываете!— кричала кузина, сжимая с жаром мою руку,— он успел уже поработить и ум, и волю, и сердце ваше...

— Какая химера!

— Нет, Nathalie, не химера, а истина; и если б вы знали... Но оставим покуда Старославского: есть обстоятельства, есть вещи, которые мне ближе к сердцу, и о них хочу говорить с вами, мой ангел. Послушайте, кузина, скажите мне откровенно: может ли тронуть вас истинное, бескорыстное чувство, способны ли вы оценить настоящую любовь?

— Без сомнения,— отвечала я, приготавливаясь внутренно к декларации Купера устами Антонины.

— Что дала бы я за уверенность, что слова ваши истина!..

— Поверьте, Антонина, что главное свойство мое — откровенность, и особенно в тех случаях, где обстоятельства того требуют.

— Если так, то я оживаю духом, оживаю надеждою и начинаю обожать вас еще более, кузина,— воскликнула Антонина, бросаясь целовать меня.— Ах, если б вы знали,

какою новою жизнью заставляете вы биться мое сердце!

— Но вы не кончили? — заметила я, страшась излияний радости Антонины.

— О, что остается сказать мне, ничтожно в сравнении с тем, что уже высказано; и если вы признаете себя свободною, если сердце ваше способно оценить истинное чувство — все кончено!

— Однако.

— Нет, нет, кузина! вы уже знаете сами, вы слишком умны; мы понимаем друг друга. О, как я счастлива!

— Все это прекрасно, Антонина; но точно ли мы поняли друг друга?

— Надеюсь!

— Я нет.

— Не верю.

— Напрасно, потому что, по совести, ничего не понимаю.

— Точно?

— Точно.

— В таком случае, кузина, извольте, я объяснюсь; но если замечу, что вы, слушая меня, станете платить за откровенность мою скрытностью, предупреждаю, разлюблю вас вовсе; между нами не должно быть ни стыдливости, ни тайн... Мы знакомы недавно, Nathalie, это правда; но нужно ли долгое знакомство, чтоб сделать о людях правильное заключение?

— Потом...

— Следовательно, с умом вашим вы уже сказали себе: «Антонина сумасшедшая, взбалмошная; вся жизнь ее сонм несбыточных мечтаний, радужный букет идей, цветов нездешнего мира... она слишком выспренна для земли; назначение ее пространство — эдем духов и проч.» Ведь вы уж все это сказали о бедной Антонине, и вы правы, Nathalie: Антонина такова; она это знает, знает и то, что душевную жажду ее не утолят люди, что пылающих стремлений и сердечного голода не насытят люди... но да свершится! в сторону несчастную и перейдем к другим, более, может быть, достойным.

— Перейдем, ma cousine...

— О, да! перейдем! — повторила Антонина с восторженною улыбкою, сквозь которую проглядывала пара испорченных зубов, — не назначены ли мы к достижению высокой

цели творения? да, будем по крайней мере сподвижниками чуждого достижения, перейдем... перейдем...

Послушай, Sophie; положим, что сельские удовольствия наши не могут завлечь тебя в наши края; но ты, обожающая все смешное, неужели ты не находишь, что Антонина, одна, отдельно от всего прочего, стоит того, чтоб тотчас же приказать укладываться, отправиться в двухнедельный отпуск и прилететь ко мне на помощь? Но Антонина ведь прелесть что такое! Грустно не иметь таланта рисовать так хорошо, чтоб изобразить это существо, назначенное к достижению высшей цели, эту сподвижницу чуждого достижения, с ее душевною жаждою, с голодом, которого люди насытить не могут, с тонкою косою, перевязанною ниткою, с толстым грубым басом и этим небесным взглядом... Но слушай... мы перешли к теме, кому доступно блаженство.

— Я не долго жила,— продолжала Антонина,— но все дни мои обозначались новыми убеждениями; с ранней весны постигла я (то есть Антонина), что страсти людей порабощены материальностью, что в слабых существах (то есть в нас с Антониной же) ищут не высокого душевного наслаждения, а унизительного чего-то; при одной мысли этой вся кровь моя приливается к сердцу, и, как лютыми волнами, наводняется оно горечью и отчаянием. Еще ребенком, спрашивала я сама себя (то есть все-таки Антонина), где же искать их, этих существ, о которых нашептывает нам самосознание? где страна благословенная, страна избранных? существуют же они... они должны существовать!.. В такой мучительной борьбе с собою провела я несколько лет (по моему расчету, лет этак около десяти) и наконец достигла цели...

— Как, ma cousine, вы нашли такое существо?— спросила я, внутренно радуясь за Антонину.

— Да, нашла,— отвечала она таинственно и величественно,— я нашла избранного...

— Как же вы счастливы, ma cousine!— невольно воскликнула я, надевая на плечи счастливицы спавшую с них кофту.

— Счастлива, счастлива!— проговорила Антонина,— но надолго ли?

— Почему же не надолго?

— Почему? потому что другой путь назначен ему свыше,

потому что с другим источником должна слиться его жизнь и всем этим насладится другое существо, другая женщина — таков предел, и я смиряюсь перед ним!

— И вы не завидуете этому другому существу, Антонина?

— Вы этого не думаете, мой ангел,— отвечала кузина, качая головой.

— Но я не вы и, к стыду моему, так много совершенств не в силах были бы оценить ни ум мой, ни сердце.

— Но кто же мешает вам?

— Что это?

— Приготовить себя.

— Но к чему?

— К жизни возвышенной, к миру духовной поэзии... — Достойна ли я?

— Вы, вы! Nathalie!

И при этом возгласе глаза привилегированного существа начинали уже разгораться, а из уст этого существа, так мне и казалось, что выскочит предложение руки и сердца Купера. Но минута была неудобна для меня; потом я разочла, что отказ мог бы превратить привилегированную в кошку, а по превращении сподвижницы к достижению мира невидимого, небезопасно было бы мне оставаться с нею глаз на глаз; сверх того, почему не продлить удовольствия, которое ни в каком случае возвратиться не могло? Подумав так, я отдалила развязку, обещав измерить свои интеллектуальные способности, и очень ловко навела разговор на Старославского.

На чем могла основываться антипатия Грюковских к соседу нашему? И зачем относиться о нем так дурно, называть Старославского извергом, безнравственным человеком, существом, как выразился поэт, считающим дни свои победами над неопытностью, и, что больше всего меня интересовало, не отказывающего ни одной женщине как в тильбюри, так и в собственном своем обществе? Неужели такой отзыв основан был на равнодушии Старославского к выспренним, духовным свойствам избранных братца с сестрицею? А месть?.. я было и забыла про месть Купера, и в особенности того родственника-жуира, который должен был скоро явиться на помощь Куперу. Все это положила я себе извлечь из сердца Антонины; а чтоб успеть в моем предприятии, надлежало оставить нежной кузине полную

надежду на успех в деле, к которому приступила она так *поэтически-перфидно*.

Ты видишь, ma chère, что дар выражаться красноречиво восприимчив...

Едва имя Старославского было произнесено мной, как выражение лица Антонины совершенно изменилось: брови сдвинулись, небесная улыбка исчезла вовсе, и самые уста покривились на сторону.

— Верите ли, кузина,— сказала она, поднося сжатую руку к переносице,— каждый раз, что имя это касается до моего слуха, со мной просто дрожь?..

— Отчего же?

— Отчего... отчего!.. Вы не разгадали еще Старославского, вы не имели случая узнать его коротко...

— А вы, кузина?

— Я! Но кто же был с ним в теснейших отношениях?

— Право?

— Надеюсь.

— Расскажите, пожалуйста, chère Antonine: мне так любопытно слышать все это. Впрочем, может быть, поздно, и вы хотели бы заснуть!

— Я! хотеть заснуть? Как же дурно вы обо мне судите, друг мой! Заснуть? Но спросите, сплю ли я когда-нибудь и доступно ли мне материальное спокойствие?..

Я перепугалась нового вступления вечнобдящего существа на поднебесный путь, с которого она неохотно сходила на землю, и, не дав ей разлететься, перебила вопросом, когда именно Антонина познакомилась с соседом?

— Несколько лет назад,— отвечала кузина,— мы потеряли папашу в Тамбове и, оставшись совершенно одинокими, переехали в здешнюю деревню, которая принадлежит мамаше. Убитая горестью, мамаша понесла все бремя хозяйства, а Купер возложил на себя священную обязанность нашего воспитания. Старославский был в то время на Кавказе и редко наезжал в свой противный Грустный Стан — противный потому, что я вспомнить его не могу равнодушно.

— А вы были в нем?

— Нет, но все равно; по описаниям я воображаю, что это такое!..

— Потом, кузина...

— Потом, очень натурально, мы стали разузнавать, кто

живет по соседству; нам назвали многих, в том числе и его. Вслед за тем управляющий или приказчик, одним словом, кто-то такой, затеял с мамашею спор о какой-то земле; вообразите, даже жаловался на мамашу в городе, и к нам приезжали разные чиновники с бумагами — пренеприятно! Мамаша решилась сама написать Старославскому, описывая подробно все дело и прося его очень любезно кончить спор. Как же вы думаете, ma cousine, поступил Старославский? Правда, письмо его было очень любезно и мило написано, и, сколько я помню, он отдавал в мамашино распоряжение все свои оранжереи с цветами и фруктами, конечно, потому, что сам ими пользоваться не мог; но все-таки спор продолжался, и мы впоследствии были даже вынуждены заплатить его крестьянам... Тем начались неприязненные отношения наши. Вдруг однажды является сам Старославский; он был в отпуску. Мамаша, забыв все прошлое, приняла его очень любезно; мы были тогда детьми; я не помню даже, сколько мне было лет (ей было за двадцать). Разумеется, с первого взгляда он показался всем довольно порядочным, впрочем, как бóльшая часть молодых людей... Пробыв несколько часов, он уехал, а на другой день Купер отдал ему визит. Прошло с неделю времени, Купер опять отправился к нему, ma chère, и позвал его к нам. Старославский явился; мамаша все-таки очень мило пеняла соседу за редкие посещения; гость отзывался боязнью обеспокоить частыми посещениями; но мамаша настаивала, посылала Купера в Грустный Стан только что не каждый день, и наконец Старославский сделался у нас очень частым гостем. Но что уже было дальше,— прибавила Антонина,— я не знаю, должна ли я говорить, ma cousine... мне как-то неловко... а все-таки Старославский дурной человек, человек безнравственный!

— Нет, Антонина, расскажите все — пожалуйста, все, без малейшего исключения, без малейших пропусков!— воскликнула я, только что не обнимая и не целуя Антонины, которая, ты понимаешь, Sophie, остановилась на самом для меня интересном месте. Впрочем, заметно было, что и ей самой страх как хотелось продолжать.

— Ах, как неловко, кузина!— проговорила Антонина, жеманясь и опуская взор свой,— так неловко, что, право...

На этот раз я решительно приняла ее в свои объятия, и она продолжала:

— Мамаше показалось, и Куперу также (я сама была почти ребенок), что Старославский неравнодушен ко мне...

— Вот что!— заметила я.

— Ах, ужасное время, мой ангел, ужасное! но бог с ним!— Глубокий вздох Антонины прервал на минуту рассказ, глаза ее сделались влажны, и, снова потупив взор, она продолжала:— Страсть его ко мне усилилась в короткое время до того, что, изменив себе раз, он больше уже не подходил ко мне и не говорил со мною.

— А этот первый раз в чем состоял он, Антонина?

— Право, не знаю, как сказать.

— Пожалуйста, кузина...

— Ах, бог мой! как конфузно!

— Но не друзья ли мы, chère Antonine?

— Да, да! Дружба, ты все на земле! ты частица небесного блаженства! отказать в чем-нибудь во имя твое есть верх преступления!— с энтузиазмом произнесла кузина, и сокровеннейшие тайны вырвались из засохшего рта ее в следующих выражениях:— Вы исторгли из меня мою тайну; не осудите меня, кузина, но пожалейте, пожалейте о несчастной, потому что несчастная также любила изверга и также изменила себе. Раз за ужином (то было в третий приезд Старославского) он сидел рядом со мной; мамаша, следившая постоянно, как нежная мать, за развитием нашей страсти, обратилась к нему с вопросом: отчего он не избрал еще подруги жизни, и неужели из числа встретившихся ему девушек не видал он ни одной достойной его... Старославский улыбнулся и отвечал мамаше, что отказался навсегда от надежды быть счастливым в супружестве. «Почему же?»— спросили в один голос и мамаша и Купер. «Потому,— отвечал он,— что девушка, которую я любил и во взаимности которой был уверен, предпочла мне другого...» Надобно же вам сказать, chère cousine, что в это утро я, как нарочно, немножко пококетничала с молодым землемером, которого выписала для чего-то мамаша. При ответе Старославского в глазах моих потемнело, сердце сжалось, и, судорожно схватив его за руку, я крикнула: «Не верьте!»— и, зарыдав, упала полумертвая на грудь его... Меня оттерли, положили в постель, послали за доктором, а он... он почти не являлся более к нам...

Антонина опустила голову свою на грудь и вперила в меня свой неподвижный взор; а я... я повернулась лицом в

подушку и чуть не задушила себя — таких усилий стоило мне удержать смех. Бедная Антонина!

— Остальные ужасы передаст вам Купер: я не в силах... я не могу,— сказала кузина, вставая поспешно и приводя в беспорядок свои волосы, чтоб казаться эффектнее,— дальнейшие поступки этого человека раскрыли нам глаза, а чувство, возникшее в моей груди, превратили в глубокое презрение...

— Ужасно! бесчеловечно!— проговорила я в ответ на тираду Антонины, стараясь подделаться под ее тон: я даже присоединила к этим двум восклицаниям несколько других, не менее выразительных и сильных, надеясь тем подвинуть разгневанную Антонину к дальнейшей откровенности; но кузина, несмотря на все мои усилия, осталась непреклонна и нема.

Так вот в чем состоят обвинения бедного Старославского, этого безнравственного существа, дерзнувшего защищать крестьян своих от несправедливости Агафоклеи Анастасьевны, предложить ей часть своей собственности, не всегда являться на приглашения, и, что всего хуже, остаться нечувствительным к сердечной болезни Антонины, признаки которой становились так несомненны. Я убеждена, что остальные ужасы, оставшиеся для меня тайною на время, будут переданы мне подобным же слогом и сделают на меня такое же впечатление.

Солнце было уже высоко, когда бессонная Антонина бросилась на ложе свое и, пять минут спустя, забылась мертвым сном; а я долго еще внутренно смеялась и припоминала все выражения кузины, чтоб на другое утро описать их тебе.

Остается знать, какую роль играл во всем этом охотник-родственник и за какой новый ужас ожидает Старославского месть родственника и Купера. В последний приезд Грюковских я довольнее ими; по крайней мере откровенность их снабдила меня интересными материалами для письма, которого не запечатаю, пока не услышу что-нибудь от высокопарного Купера.

Кстати, chère Sophie, сделай дружбу и напиши мне, веришь ли ты в сверхъестественное? Мне помнится, что, рассуждая некогда со мной об этом, ты утверждала, что история Калиостро и Сен-Жермена не выдумка, а быль и что даже безрассудно отвергать то, чего ум постигнуть

не может. Вспомни же, друг мой, что если мнение твое основательнее моего, если ты допускаешь существование непонятного и неизъяснимого, то через месяц, в страшную ночь предания, явление повторится, и я сделаюсь женою Старославского. Воображаю удивление твое, а вместе и мое собственное, потому что, по совести, мысль выйти за него никогда серьезно не приходила мне в голову.

Он мил — это правда; папа́ его любит, уважает и обходится с ним как с родным; но следует ли из всего этого, чтоб Старославский забыл свою первую любовь и удовольствовался посредственным счастием — иметь жену вечно веселую и вовсе не страстную? Право, чтоб наказать его за Антонину и за все его ужасы, надобно было бы явлению повториться, и тогда условие наше я готова была бы напомнить ему сама. Je me représente la grimace, que fera mon amie la tendre Antonine à sa future voisine madame Staroslavsky[1], а когда подумаешь... какие мы все дурные!.. До завтра...

На следующий день.

Если сегодняшняя приписка моя покажется тебе менее забавною, то не вини меня в том, потому, chère Sophie, что я больше не смеюсь и чувствую, напротив, такую тоску, какой давно не чувствовала. Может быть, ночь, проведенная без сна, благодаря сумасбродной родственнице, расстроила мои нервы, а может статься, и самая пустота всего, что вижу, слышу и делаю, навеяла на душу мою тоску, сплин, хандру — прибери какое хочешь название расстройству моего духа. Не скрою от тебя, что самые письма становятся слишком утомительны и не развлекают меня более. Нет, все вздор, и пора в Петербург! В деревне можно жить одним воображением — действительности не существует; а цветы, вздохи, ожидания, внутреннее созерцание чувств и прочую галиматью предоставляю Антонине с Купером. Последний вывел меня сегодня из терпения только что не сценою из «Отелло»: клятвы умертвить себя всеми известными способами были им торжественно произнесены, в случае, если я, со временем, отвергну предложение, которое намерен он сделать мне формально по выделе ему мамашею его 200 душ. Превесело посмеяться изредка, но часто

[1] Представляю, какую гримасу скорчит моя подруга нежная Антонина своей будущей соседке госпоже Старославской *(франц.)*.

и долго смеяться становится невыносимо скучно! Хорош и Антонинин герой, к стыду моему так усердно превознесенный мною Старославский! Простить себе не могу такое глупое и долгое заблуждение; вот что значит пустыня и глушь и врожденная в женщинах наклонность искать в самых обыкновенных созданиях нечто возвышенное, исключительное. И думала ли я, оканчивая вчерашние страницы, что не позже как сегодня прибавлю к ним новые, совершенно противные вчерашним? В первом порыве досады и внутреннего стыда я чуть не разорвала в клочки своего послания; но потом уже разочла, что всякий рассказ нравится преимущественно своими противоположностями, потому продолжаю, и, будь уверена, совершенно хладнокровно.

Весь дом спал еще, когда, наскоро одевшись, сошла я в сад. Солнце в это утро смотрело как-то грустно... я вообще нахожу сентябрь препрозаическим месяцем. Куда девалась та свежесть дерев и зелени, которою любовались мы в мае? Самый воздух потерял весь свой аромат; короче: природа, как говорится, смотрела настоящим сентябрем. В аллее повстречался мне Жозеф.

— Что делает Днепр?— спросила я его, чтобы сказать что-нибудь.

— Ma foi! A ce qu'il parait le vieux se moque du savant, mam'zelle[1],— отвечал француз и стал объяснять мне безрассудство предприятия, явное невежество машиниста, слишком большую доверчивость отца, и говорил с таким убеждением, что мне стало страшно. Неужели труд стольких людей пропадет вследствие хвастливости шарлатана? Более же всего мне жаль было моего отца, который действительно слепо верил «ученому». Когда я коснулась поездки Жозефа к Куперу, француз пожал плечами и бегом пустился от меня к дому. Удар колокола напомнил о чае, и все общество, за исключением Антонины, которая, под предлогом мигрени, не вставала с постели, собралось уже в столовой.

На Купере был светло-голубой сюртучок, подбитый бархатом. Перецеловав дам, я поместилась против самовара, и чайный процесс продолжался с лишком час. Какое мучение! «Нельзя ли, душечка, поездить верхом на вашей лошади?»— шепнула мне на ухо Елена. Как отказать? Бедная

[1] По-видимому, старик насмехается над ученым, барышня *(франц.)*.

моя леди Мильворт! Конечно, я предложила ее с отчаянием в сердце, а меньшие Грюковские запрыгали с криком и с такою радостью, что я невольно улыбнулась.

Тут началась новая тревога; созвали горничных, раскопали весь мой гардероб, и все, что хотя несколько похоже было покроем на амазонку, натянулось на полных кузин. Разумеется, крючки рвались, швы поролись, материя лопала, и, по прошествии двух мучительных часов, посиневшие амазонки в сопровождении остального общества вышли на крыльцо, где, как бы понимая свое неловкое положение, леди Мильворт встретила их беспокойным взглядом. Новая история: кому сесть прежде; все кричат, все боятся; Елена бросается на Купера, меньшая на меня и на Елену; визг, писк, смех, плач и такая суета, от которой и до сей минуты у меня в голове шумит. Кое-как уговорили Елену, и трепещущее двадцатидвухлетнее дитя приподняло ногу. Сколько труда стоило мне растолковать ей, что, взявшись за гриву, лошади она не причинит ни малейшей боли. Нет, Елена бралась за самое седло и тяжестью своею сворачивала его на сторону. Долго бы еще продолжалась нерешительность Елены и увещания публики, но, выведенный из терпения лакей Агафоклеи Анастасьевны, угрюмый малый лет сорока, молча подошел к амазонке и, взяв ее за обе ноги, как ребенка, насильно посадил на лошадь; сделал он это так скоро и так неожиданно, что мы не успели еще опомниться, как испуганная леди Мильворт начала уже подбрасывать тяжесть свою, выделывая преуморительные прыжки. Купер, державший поводья, испугался до того, что бросил их на произвол судьбы, а испуганная в свою очередь Елена издала пронзительный крик, к которому присоединились голоса всего семейства и на который сбежалась не только вся дворня, но и множество крестьян, работавших поблизости. Сцена была самая комическая: на лошадь бросились со всех сторон; всякий почел долгом схватиться за что-нибудь принадлежащее Елене, и во всех руках осталось по частице ее костюма; сама же амазонка свалилась в объятия Жозефа, который с триумфом внес ее в дом, все-таки в сопровождении значительно увеличившейся публики. Тем кончилась partie de plaisir[1], к большому удовольствию леди Мильворт, которая, конечно, долго не увидит никого

[1] увеселительная прогулка *(франц.)*.

из Грюковских. Елена принуждала себя улыбаться, протягивала руки свои всем окружавшим ее постель и уверяла, что все это ничего; но Агафоклея Анастасьевна настоятельно требовала, чтоб Елену натерли вином — и Елену докрасна натерли вином. Папа́ побранил меня за эту неудачную прогулку; а посуди сама, chère Sophie, могла ли я отказать в лошади, когда у меня просили ее, и, в случае отказа, те же Грюковские прокричали бы меня эгоисткой?

Когда все успокоились и когда последняя дочь, вышедшая из комнаты Елены, приблизилась на цыпочках к матери и шепнула ей в последний раз: «Cela n'est rien?[1]» — я пригласила Купера прогуляться по саду, и мы отправились вдвоем. Не стану пересказывать тебе ни выражений, ни всех подробностей гулянья, а скажу просто, что из слов Купера я узнала, что Старославский далеко не исключительное существо, а точно так же, как и бо́льшая часть обыкновенных людей, питает в сердце своем нежные чувства к дочери какой-то мещанки, жившей с матерью очень долго в Грустном Стане; что временный предмет его нежности внушил страсть родственнику поэта, тому самому господину, которого Купер называет жуиром, что жуир хотел увезти красавицу, но что Старославский предупредил его и отослал красавицу в Москву, о чем узнал жуир, но поздно, иначе давно бы разделался с Старославским. Кто такова Дульцинея соседа, Купер не знает; а известно ему намерение родственника — вызвать Старославского на дуэль, зачем и едет жуир в наш край, под предлогом охоты; et voilà le revers de la médaille![2] Не правда ли, что все это мило? И было ли о чем хлопотать, и было ли чем наполнять длинные послания, которых, конечно, мы с тобою перечитывать не будем? довольно одного раза. Но позволить себе принимать меня в том доме и в той комнате, которая, вероятно, служила будуаром его неизвестной красавице, и называть этот будуар моим — вот черта, которая характеризует человека и налагает на него неизгладимое пятно! Нет, monsieur Staroslavsky, час ваш настал; и если б добрый гений познакомил вас с тем чувством, которое волнует в эту минуту всю внутренность мою при одном вашем имени, вы приказали бы перекопать все дороги, все

[1] Это ничего? *(франц.)*.
[2] Такова обратная сторона медали! *(франц.)*.

тропинки, соединяющие Грустный Стан ваш с Скорлупским и аристократическая нога ваша, конечно, никогда не коснулась бы соседней почвы!

Впрочем, какой вздор! и какое мне дело?.. Как жаль, что ты не можешь слышать, как громко хохочу я в эту минуту и над Старославским, и над собою, и немножко над тобою, chère amie! Хорош же фаворит твой! Истинно прекрасный тип порядочных людей! И стоят ли подобные лица, чтоб легенды украшали их жизнь, а леса потрясались в таинственные ночи адским хохотом? Над такими лицами хохочут просто... Прощай. Я устала.

Письмо восьмое

По прошествии двух недель.

Бьюсь об заклад, chère Sophie, что ты никак не предвидишь просьбы, с которой папа́ обращается к тебе. Как бы хотелось мне помучить тебя, но приятных вещей откладывать не должно, и потому, с получением письма моего, cara mia[1], прикажи немедленно нашему дворецкому приготовить все к приезду нашему в дом; это значит, что в Скорлупском произошли перемены, и мы к первому октября будем в Петербурге.

Этим должна бы я была окончить свое письмо; но кто же поручится, что тысячи дружеских упреков не посыплются из милых уст твоих на мою бедную голову? Неудовлетворенное любопытство друга не припишет ли всех этих перемен несуществующим причинам, как, например, отчаянию моему, страсти к Старославскому, пожалуй, к Куперу, ревности и пр. и пр.? Успокойся же, ma chère, и голова и сердце у меня в нормальном состоянии; я весела и счастлива, хотя слаба несколько после болезни, заставившей меня пролежать десять дней в постели и питаться лекарствами; но и без простуды нельзя было не занемочь от тех веселостей, которые сопровождают повсюду семейство Грюковских. По здравом рассуждении (а я, верь мне, рассуждаю очень здраво), я нашла, что грешно было бы, написав так много о житье нашем в провинции, не продолжать до конца, тем более что, как и прежде, недостатка в материалах нет;

[1] дорогая моя *(итал.)*.

потом самые грустные вещи перерабатываются временем в приятные воспоминания. Résignons nous donc et poursuivrons![1]

Отправив к тебе последнее послание, я вздумала занемочь, и занемочь тотчас же; но где взять для этого средства? На дворе жар нестерпимый, вода тепла, и, на мое несчастие, ежедневные ванны из ледяного источника приучили особу мою к холоду; оставались, следовательно, неумеренный моцион и мороженое.

Не отлагая исполнения благоразумных намерений ни на минуту, я заказала к шести часам мороженое, а в четыре рука об руку с Еленою побежала сначала в сад, потом в поле, в шесть украдкою наелась мороженого, в девять почувствовала первый пароксизм лихорадки с кашлем, а в двенадцать поскакали в город за доктором, и бред перепугал ужасно отца и гостей.

Вот о папá я и не подумала, chère amie, и простить себе этого не могу. Вообрази, что он, бедный, в это время похудел более меня. Доктор объявил, что у меня воспаление в груди, и мне пустили кровь. Кузины — впрочем, они предобрые, надобно им отдать справедливость — просиживали у постели моей по целым ночам, и, как я ни упрашивала их успокоиться, они не соглашались и наравне с горничными хлопотали около меня. Купер просился несколько раз в мою комнату, но бедного поэта не пускали; ему оставалось отчаяние свое поверять цветам, росшим против моих окон. На шестые сутки опасность миновалась. Да, ma chère, я очень близка была к смерти — вот до чего доводят глупости! Итак, в шестой день папá объявил мне, что Срославский по нескольку раз в сутки, и лично и через посланного, осведомляется о моем здоровье. Это участие вывело меня из терпения — это глупо также! Ничто не могло быть естественнее весьма обыкновенной любезности соседа; но на ту пору слабость и расстройство нерв сделали то, что я, в ответ отцу, побледнела как смерть; он заметил эту бледность, но смолчал и до сей минуты не произносит более имени Срославского. Грюковские еще у нас; родственник прибыл с охотою несколько дней тому назад к ним в деревню и будет к нам завтра.

Любопытно было бы знать, виделся ли он с предметом

[1] Что ж, покоримся и продолжим! *(франц.).*

мести своей; впрочем, вероятно, нет, потому что оба живы и невредимы. Кажется, Старославский был здесь вчера поздно вечером; сегодня в первый раз позволили мне выйти на чистый воздух — какое неизъяснимое блаженство подышать им после долгого затворничества! Впрочем, в эти пятнадцать дней произошла в природе большая перемена: как много желтых листьев! как обнажены поля! как все уныло и грустно! Пора домой, то есть в Петербург! Надобно же тебе сказать, как и вследствие чего решен был скорый отъезд наш из Скорлупского. Во время первой прогулки папа́ пожелал быть сам моим кавалером; благодаря судьбе, кузины побоялись загара; солнце еще жгло, и все гости остались в комнатах. Папа́ спросил у меня, чувствую ли я себя в силах поговорить с ним кой о чем. Этот вопрос сначала испугал меня, но я превозмогла минутную тревогу и отвечала, что чувствую себя совершенно здоровой и слушаю его с удовольствием.

— Я замечаю,— сказал папа́,— что деревня начинает надоедать тебе... с некоторого времени,— прибавил он таким странным тоном, что меня снова бросило в лихорадку.

— Но почему же с некоторого времени, папа́?— проговорила я не совсем твердо.

— Мне по крайней мере так казалось. Я мог ошибиться точно так же, как, например, теперь, мне кажется, что тебе холодно.

— Немножко.

— Войдем в дом.

— О, нет; это пройдет.

— Тем лучше, а разговор можно отложить до другого раза.

— Нет, нет!— воскликнула я и упросила отца продолжать сей же час. Ненавижу отсрочки; тем более неприятна была отсрочка разговора, которого все-таки я боялась немножко.

— Но я ничего не имею тебе сообщить, кроме замечания, которое я уже сделал,— продолжал отец.— Мне самому деревенская жизнь не по сердцу, а с наступлением осени и дурных дней, по старой привычке невольно вспомнишь о клубе и друзьях; короче — поедем в Петербург, если хочешь.

— А работы, ваши, папа́?

— Через неделю они кончатся, и я свободен.

— В таком случае едем,— отвечала я.

— Но ты этого желаешь? точно?

— Конечно, папа.

— И без всякого сожаленья?

Он снова и пристально посмотрел на меня; я снова ужасно покраснела, и как некстати, ты представить себе не можешь! Потом я начала было оправдываться и насказала много вздора; папа́ решительно отказался слушать меня, уверяя, что серьезный разговор отлагает он до следующего утра, то есть до завтра, а сегодня еще рано. Любопытно мне знать, что называет он серьезным разговором и чему приписывает перемену в лице, которая не что иное, разумеется, как остаток слабости после непродолжительной, но все-таки довольно опасной болезни. В продолжение вечера Купер менялся в лице чаще моего; в нем происходит, видно, какая-то внутренняя борьба; но я сделала вид, что не замечаю ничего, и в девять часов, простясь со всеми, отправилась в свою комнату. Письмо буду продолжать завтра.

На следующий день.

Много новостей, chère amie, и преинтересных! День был полон чрезвычайных происшествий. Выздоровление мое делает гигантские шаги, а вместе с ним и расположение духа исправилось; я начинаю смеяться натуральнее... Но сколько нового, бог мой! Когда же мы, женщины, перестанем быть детьми? Слушай. Утром папа́ прислал узнать о моем здоровье и спросить, могу ли я принять его в моей комнате; минуту спустя он вошел; серьезный разговор начался.

— Nathalie,— сказал отец, взяв меня за обе руки,— можешь ли ты без тревог и беспокойства, вредных для здоровья, поговорить со мною о делах, до меня собственно касающихся?

— Конечно, могу, папа́,— отвечала я, успокоенная совершенно предуведомлением, что дело касается до него.

— Merci[1]. Я долго мучить тебя не стану. Вот в чем дело. Ты довольно благоразумна, чтоб смотреть на жизнь не так, как на пикник, а как на вещь более серьезную. Расставаться с тобой я не хочу и не решусь; но видеть тебя пристроен-

[1] Благодарю *(франц.)*.

ною и счастливою — желаю от всего сердца. Предстоят две партии. Первый объяснился со мною и получил отказ; этот первый — родственник наш Купер.

— Кто же второй? — спросила я и опять покраснела до ушей...

— Второго отгадать не трудно — Старославский. Но отчего ты краснеешь? Он до сих пор не сказал мне о намерениях своих ни полслова; но в мои годы мудрено ошибиться, и я убежден, что ты нравишься Старославскому.

— Я презираю этого человека! — воскликнула я с негодованием.

— Выражение слишком сильно, а чувства этого ты оправдать не можешь ничем, — хладнокровно заметил отец.

— Но вы не знаете, папа́, до какой степени он ничтожен!

— Напротив того, я знаю его с детских лет и отдаю этому молодому человеку полную справедливость: он благороден, добр и способен сделать жену свою счастливой.

— Как, с детских лет?

— Да, — продолжал отец. — Лет пятнадцать тому назад, если не более, по некоторым обстоятельствам мне случилось быть в здешнем краю. Старославский был тогда очень молод и в дурных руках; его разоряли, нимало не заботясь ни о воспитании, ни о будущности молодого человека, который, однако, был одарен всем, чтобы составить блистательную карьеру во свете. Судьба свела нас случайно, и несколько лет сряду я имел случай наблюдать за ним.

— Папа́, — воскликнула я невольно и в ужасном волнении, — вы были в то время предводителем?

Отец посмотрел на меня с удивлением.

— Вы вырвали Старославского из рук опекуна его, старого деда, у которого в доме воспитывались мальчики, а распоряжалась ключница? вы увезли молодого Старославского к себе, преобразовали его, возвратили ему состояние, были его благодетелем и, сделав так много, запретили ему даже напоминать вам и говорить другим обо всем этом?..

— А он, ветреник, не сдержал слова и будет за это наказан, — заметил папа́, улыбаясь, — но я еще не кончил.

— Папа́, вы чудесный человек!

— Благодарю покорно; но умерьте восторг ваш, графиня, и дозвольте продолжать мне.

— Я слушаю, слушаю.

— Тем лучше. Следовательно, ты видишь,— продолжал папа́.— Старославского я знаю и любопытен слышать, что могло внушить тебе презрение к лучшему из людей?

— Не скажу, папа́...

— Не можешь и не в праве!

— Ни за что не скажу.

— Я требую.

— Напрасно, папа́, потому что сказать причину я не решусь в присутствии вашем; пройдет еще несколько дней — и дело объяснится само собою.

— Подождем,— отвечал отец и, пожав плечами, вышел вон из комнаты, но вдруг вернулся, подумал с минуту и снова обратился ко мне. Я привстала.

— Не беспокойтесь, графиня,— сказал отец иронически,— то, что имею прибавить, не возьмет у вас много времени. Мне приятно было бы, чтоб Старославский не имел права считать отношений наших к нему мистификациею.

— Это как, папа́?

— Очень просто. Мы видимся и бываем друг у друга слишком часто для людей, знакомство которых должно окончиться через несколько дней; и каким бы философским взглядом ни смотрел свет на продолжительные и довольно дальние прогулки молодой девушки с посторонним человеком, я нахожу прогулки эти неприличными.

— Вы хотите сказать о поездке моей в Грустный Стан, папа́?

— Может быть.

— Но не сами ли вы изъявили на то согласие?

— Согласие, основанное на уважении и полной доверенности к Старославскому; да и отказать ему в этой доверенности я не считал себя вправе; но вы, презирая его...

— Это чувство внушил он мне впоследствии.

— Нескромным словом, поступком, может быть?

— Нет, папа́, в присутствии моем Старославский ни разу не изменил обязанности порядочного человека.

— Следовательно, презрение ваше основано на слухах?

— Может быть.

— На словах Купера, Антонины и им подобных?

— На очевидности, папа́.

— Этого достаточно, графиня, и с этой минуты дверь моя заперта для Старославского.

— Как заперта?— воскликнула я.

— Как запирается она обыкновенно для людей, недостойных чести быть принятыми в моем доме.

— Но поступок Старославского нимало не мешает ему оставаться тем, чем он есть в самом деле.

— То есть презренным?

— В глазах моих, в глазах девушки, в которой он ищет. Что же касается до вас, как посторонних...

— Nathalie, ты не уверена в своем новом предположении насчет Старославского?

Перемена тона, с которым говорил отец, побудила меня к откровенности; и к чему было скрывать от него истину, которая могла быть если не выдумкою Купера, то, по крайней мере, преувеличенною?.. Усадив папа́ в кресло, я созналась ему, что Старославский начинает мне нравиться, что хотя мысль сделаться его женой и не приходила мне на ум, но от руки его я бы не отказалась и, вероятно, полюбила бы его со временем, если бы...

— Если б что?— спросил отец.

— Если бы Старославский не любил уже другой...

— Дочь помещицы-вдовы, вышедшей замуж двенадцать лет назад?— перебил папа́ смеясь.

— Нет, не дочь помещицы, а дочь мещанки, увезенную им.

— То есть отосланную Старославским в Москву?

— Как, папа́, и вы знали все это? и вы допустили любимца вашего сделать подобную вещь?

— Я сделал более,— отвечал папа́, продолжая смеяться.— Но довольно пока. Совещание наше продолжалось слишком долго, и другие занятия, конечно, менее важные, чем преступления презренного Старославского, призывают меня в мой кабинет.

Не дав мне времени опомниться, отец поклонился с комическою важностью и вышел вон.

Я не узнала ничего нового, но тем не менее мне стало легче, Sophie; тяжелый камень спал с сердца. Какое счастье не презирать никого — я говорю, не презирать, потому что во всех поступках Старославского участвовал папа́: не служит ли участие это достаточным ручательством за всякого постороннего человека, по крайней мере, в гла-

зах дочери? Уверена, что и ты, chère amie, согласна с моим мнением и сделала бы то же. Но кто же эта девушка, эта дочь мещанки? и если Старославский не любит ее, к чему похищение? А этот мститель?.. А Купер?.. В таком расположении духа отправилась я к ожидавшему меня обществу...

Во время чая царствовало всеобщее молчание; на лицах семейства Грюковских изображалось беспокойство; все, казалось, ожидали чего-то. Я вспомнила о предложении Купера и обещала себе воспользоваться этим обстоятельством и позабавиться насчет поэта. «Непростительно!» — скажешь ты; но что же делать, друг мой, когда в деревне так мало развлечений! Я сообразила уже новый и предательский план нападения на Купера, как вдруг за дверью раздался громкий стук шагов, послышался густой мужской бас, и, в сопровождении отца, вошел в столовую гигант, лет сорока пяти, в коротком сюртуке, застегнутом до горла à la militaire[1], с претолстою цепью, привешенною вдоль груди. Волосы гиганта были фиолетового цвета, усы черные, как уголь, а щеки, ma chère, и подбородок синие, но совершенно синие!..

— Авдей Афанасьич! — воскликнула Агафоклея Анастасьевна.

— Mon cousin! — вскричали порознь все кузины.

— Авдей Афанасьич, — сказал отец, подводя ко мне гиганта, который топнул ногою, шаркнул, проговорил «очень рад» и, взяв стул, осмотрел его и уселся на нем осторожно. Затем последовало продолжительное молчание.

— Кто это? — спросила я вполголоса у сидевшей возле меня Антонины.

— Соперник Старославского, — отвечала мне кузина, скривив рот в знак насмешки.

Бедная думала поразить меня ответом, который, не знаю почему, произвел на ум мой действие совершенно противоположное тому, которого она ожидала. Как странно! Но чем больше всматривалась я в фиолетовые волосы Авдея Афанасьича, тем невозможнее казалось мне, чтоб он был соперником Старославского. Гость видимо желал заговорить со мною; он долго не спускал с меня красноватых глаз своих, наконец покачнулся на стуле и ревнул:

— Как хороши места-с!

[1] на военный манер *(франц.)*.

— Что-с? — спросила я, не понимая гостя.

— Как хороши места-с! — повторил он.

— Какие места?

— Все отъёмнички-с.

— Как отъёмнички?

— Теплые-с.

Я посмотрела с недоумением на отца, который, не знаю, с намерением ли или без намерения, повернулся в другую сторону.

— Что шаг, то остров-с, что шаг, то остров-с, и все мошки-с, — продолжал гость, подвигаясь ко мне ближе.

— Но где же это? — спросила я наконец, не понимая, про какие острова мне говорит Авдей Афанасьич.

— На большом протяжении-с!

— То есть на Днепре, вероятно...

— О, нет-с! Помилуйте! Днепр дрянь. Напротив того-с, выжелятник мой дозрил места и говорит сплошное-с, а есть другая речка-с, будет от нас этак влеве, так, можно сказать, рассадник настоящий, и озимь-с в этом году, как в нарок, подалась в ту же сторону... места, можно сказать, царские...

— А вы любите хорошее местоположение, Авдей Афанасьич?

— Как же не любить, помилуйте-с! Да ведь на этом живем-с.

— Вы, верно, также прибрежный житель Днепра.

— Напротив, терпеть его не могу.

— Днепра?

— Бог с ним! помилуйте, что в нем?

— В Днепре? — спросила я с удивлением.

— Именно-с.

— Но что же может быть живописнее берегов его?

— Горы да скалы!

— Ну да, конечно, горы, скалы и леса, к нему прилегающие.

— Да что в них, скажите на милость? Да ввались в эти трущобы стая, в неделю не вызовешь; а сунься кто из псарей, на рожон наткнется, как пить даст.

В порыве энтузиазма гость прочел такую диссертацию насчет Днепра и в таких выражениях, о которых я еще никогда не слыхала. Слушая его, я знаками звала на помощь Купера, который вышел наконец из своей летаргии и,

вмешавшись в разговор, дал мне возможность мало-помалу отдалиться от них обоих.

— Не правда ли, что преоригинальный общий родственник наш? — спросила у меня Антонина.

— А разве он родня и нам?

— Не близко, но родня,— отвечала насмешливо кузина, думавшая, конечно, уколоть меня.

— Тем лучше, потому что Авдей Афанасьич кажется мне предобрым человеком,— сказала я очень серьезно.

— Следовательно, он вам нравится, Nathalie?

— Я не знаю, как вы понимаете это слово; если же нравиться — значит внушать симпатию, то родственник наш мне очень нравится.

— Кто бы подумал?

— Отчего же?

— Оттого, что он совершенный медведь, кузина!

— Не блестящ, это правда; не танцует, и это может быть.

— Напротив, танцует и поет и нравится женщинам,— прибавила Антонина.

— Не удивляюсь нимало.

— Как, вы?

— Я.

— И это не шутя?

— Очень серьезно.

— Но если бы Авдей Афанасьич предложил вам руку?

— Я отказала бы Авдею Афанасьичу.

— Почему же?

— Потому что предпочитаю остаться свободною.

— Только потому?

— Только потому.

— Но это невероятно!— воскликнула кузина.— Я слушаю вас, cousine, и не верю ушам: находить Авдея Афанасьича интересным!

— Не интересным, а добрым и недурным.

— Недурным? Да он страшен.

— Не нахожу.

— Но эти колоссальные размеры, но эти атлетические плечи?

— Не портят мужчины.

— А сорок пять лет?

— Лучший возраст; я мальчиков не люблю.

— Ah! Dieu des dieux! C'est inimaginable![1] — проговорила с гримасою Антонина так громко, что Купер повернул голову в нашу сторону,— если бы ты знал, Купер, если б ты мог представить себе!..

— Что такое?— спросил Купер с беспокойством.

— Нет, plus tard, plus tard![2]

Но Купер встал уже, подошел к Антонине и, после долгих увещаний с одной стороны и жеманств — с другой, братец и сестрица вышли в другую комнату и несколько минут спустя возвратились обратно с улыбками на устах.

— Не может быть!— говорил Купер.

— Mais je t'assure,— повторила Антонина,— mais je te dis que oui![3]

Взгляды их устремлялись на меня, но я выдержала роль свою до конца. Надобно тебе сказать, что мне в голову пришла такая оригинальная мысль, которую оправдать может одна только пословица, что от высокого до смешного один шаг. Я замыслила внушить ревность Куперу предпочтением Авдея Афанасьича и, поссорив их, вооружить друг против друга. О пользе, которую надеялась извлечь из этой ссоры, умолчу пока; в успехе же предприятия сомневаться нельзя, потому что Купер начинает уже искоса поглядывать на гостя и обращать в смех его действительно странные выходки. Я внутренно торжествовала. Авдей Афанасьич прибыл к нам надолго, кажется; собак его, как я узнала, поместили в одном из новых строений близ Днепра; он же сам расположился, по собственному желанию, в бане — забавная идея!

Надобно быть мною, ma chére, чтоб от самого утра до четырех часов, то есть до обеда, не отставать ни на шаг от Авдея Афанасьича, водить его по саду, смотреть каждую из собак его порознь, превозносить охотников, одетых в светло-зеленые костюмы, обшитые желтою тесьмою, лошадей страшно уродливых, и согласиться быть его дамою на первой охоте, в которой папá позволит мне участвовать. Разумеется, мы этого позволения не дождались бы никогда, но все равно. Купер, привилегированный Купер верил всему и, несмотря на высокий и выспренний ум свой, совершенно

---

[1] Господи боже мой! Это невообразимо! *(франц.)*.

[2] Потом, потом *(франц.)*.

[3] Но я тебя уверяю... но я говорю тебе, что да! *(франц.)*.

вдался в обман. За обедом я поместила Авдея Афанасьича возле себя; поэт занял место по другую сторону; Антонина, наблюдавшая за мною, несколько раз принималась хохотать очень ненатурально, но глаза ее метали пламя, и чувствительная сестра Купера шла его же стезею. Как мне было весело, тем более что в комедии, по-видимому, участвовал сам папа́; вниманию его к гостю не было границы: он наливал ему вино, упрашивал повторять блюда и делал с Авдеем Афанасьичем то, чего никогда и ни с кем не делал.

По выходе из-за стола я сама предложила гостю руку, и все общество вышло на балкон. Мы сели; Купер подошел ко мне сзади.

— Вы сегодня в самом счастливом расположении духа?— сказал он вполголоса.

— Да, мне очень весело,— отвечала я громко.

— Этою веселостью обязаны мы, если не ошибаюсь, Авдею Афанасьичу?

— Может быть.

— Я не узнаю вас, кузина.

— Право?

— Прекрасный пол ваш соединяет в себе иногда так много противоречий...

— Вы думаете?

— Но укажите мне средство сомневаться, смотря на вас, кузина! Что за блеск в глазах ваших? они дышат пламенем.

— Вы находите?

— Не я один.

— Кто ж еще?

— Многие... все.

— Да?

— Но когда подумаешь о двигателе?..

— Чего?

— Веселья вашего, кузина!

— То что же?

— Невольно вспомнишь о чарах, о магических средствах, употреблявшихся в фабюлезные времена сатирами для привлечения нимф.

— А сатир этот?..

— Кто же, как не Авдей Афанасьич!

— Следовательно, нимфа — я, mon cousin. Благодарю за сравнение, но протестую: родственник наш нимало не похож

на сатира, и магические способы привлечения, полагаю, ему не нужны.

— Ему, чтоб нравиться?— спросил Купер с улыбкою глубочайшего презрения.

— Конечно, ему, mon cousin.

— Нет, послушайте, кузина, или вы меня дурачите, или глаза мои созданы исключительно для духовного мира, в котором родственнику нашему, как вы называете его, назначена уже, конечно, незавидная доля.

— В мире духовном — может быть,— отвечала я с видом оскорбленного самолюбия,— но на прозаической земле...

— Что же кузина? докончите.

— Зачем? Мнения могут быть различны, и друг ваш...

— Какой друг?

— Друг ваш, Авдей Афанасьич.

— Он? мой друг?

— Так по крайней мере называли вы его вчера.

— Par dérision![1]

— Не знаю, par dérision или нет; но Авдей Афанасьич хотя и не поэт, а все-таки имеет полное право рассчитывать на частицу земного счастия.

— Быть любимым, например?

— Не страстно, но по-земному.

— И порядочною женщиною?

— Конечно, порядочною.

— Невозможно!— воскликнул Купер.

— Вы себе противоречите, mon cousin.

— Чем же, графиня?

— Не вы ли говорили мне о страсти, внушенной родственником вашим какой-то прелестной девушке?..

— Дочери мещанки,— перебил Купер.

— Все равно; если дочь мещанки в то же время внушила страсть Старославскому, то она девушка не совсем обыкновенная; а, предпочитая Авдея Афанасьича, не доказала ли она тем, что Авдей Афанасьич предпочтительнее Старославского?

— Я не говорил, что дочь мещанки внушила страсть Старославскому.

— Но не он ли увез ее?

— Он мог увезти без всякой страсти, по капризу.

— Не верю.

[1] В насмешку! *(франц.).*

— Даже не по капризу, а по другим причинам.

— Я этих причин не допускаю,— отвечала я с настойчивостью, которая начинала выводить из терпения поэта,— поступок Старославского может быть извинен только любовью к этой девушке.

— Как, графиня, вы сравниваете Старославского с этим полипом?

— Нет, потому что тот, кого вы называете полипом, предпочтен Старославскому.

— Вами предпочтен?

— Я не сказала этого, но...

— Вы говорите,но... достаточно, очень достаточно!

И покрасневший до ушей Купер снова бросился к Антонине, и новое совещание совершилось в темных аллеях сада.

Надобно заметить, что об успехах своих не имел Авдей Афанасьич ни малейшего понятия. Не обращая внимания на гнев Купера, на иронию Антонины, гость закурил, с моего позволения, огромную белую с цветочками трубку и принялся препрозаически дремать, прислонясь к колонне на одной из нижних ступеней крыльца. «И этот человек прибыл издалека в Скорлупское с местью в сердце!»— подумала я. Или я очень неопытна в системе Лафатера, или Купер поэт в полном смысле этого слова. Чувствуя еще некоторую слабость, я оставила задремавшего Авдея Афанасьича и родственников своих и отправилась в свою комнату. Был час восьмой вечера, когда, лежа на диване, я заметила, что гардины окон моих приходят в движение; на дворе было тихо, и движение это не испугало, но удивило меня до крайности. «Неужели Купер?»— подумала я. Правда, поэт способен на все, выходящее из общего порядка; но предо мною между гардинами явился не поэт, а Жозеф.

— Que me voulez-vous?[1]— спросила я с удивлением.

— Excusez, ma chatelaine, mais je viens vous prévenir, que dans une heure la lutte commence[2].

— Quelle lutte?[3]

— Mais la lutte du savant avec le monstre[4],— отвечал, смеясь, Жозеф и растолковал мне, что через час остановят

[1] Что вам угодно? *(франц.)*.

[2] Извините, хозяйка, я пришел предупредить вас, что через час начнется борьба *(франц.)*.

[3] Какая борьба? *(франц.)*.

[4] Борьба ученого с чудовищем *(франц.)*.

Днепр и завтрашний день на место реки появится море.

Выслушав француза, я набросила на плечи мантилью и побежала к отцу; он встретил меня в зале, в сообществе всех гостей, и подтвердил слова Жозефа, приглашая нас присутствовать при окончательной борьбе с страшным соперником — Днепром.

Купер, конечно, назло мне подал руку Антонине, но я, как бы не замечая этого, подошла к Авдею Афанасьичу. Гость сделал глисаду, снял картуз, не догадываясь, в чем дело; но я без церемонии протянула ему руку, и мы открыли шествие. На пути повстречались нам толпы крестьян, вооруженных лопатами, вилами, топорами и длинными палками. Все они присоединились к нам и составили собою бесчисленный арьергард.

Оба берега Днепра равно усеяны были народом; в том же месте, где между двух длинных земляных насыпей поставлен был так называемый сруб, или нечто вроде деревянного строения, машинист ожидал нас с толпою избранных им, то есть самых надежных и ловких людей. Сильно забилось мое сердце при виде всех этих приготовлений. Я не понимала еще хорошенько, как приступят к приостановлению реки, но мне сделалось страшно за людей, которые казались так ничтожными в сравнении с этою массою воды, катящейся хотя медленно, но грозно и величественно. Папа́ хотя и улыбался, но был бледнее обыкновенного; наружность машиниста равно не имела ничего ободрявшего, и один Жозеф улыбался, и улыбался он улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего.

Народ приветствовал нас низкими поклонами. Я спрашивала у многих из стариков мнения их насчет предприятия: все без исключения качали головами и отвечали ничего не выражающими «бог весть», да «кто знает», да «авось бог поможет» и тому подобным.

— Однако пора, братцы!— крикнул отец — и живая масса людей разделилась на кучи; во главе каждой из них стал заблаговременно избранный старшина; потом, по данному знаку, все крестьяне сели на землю. Просидев молча с минуту, все снова поднялись на ноги, сняли шапки, перекрестились, с криком бросились на кучи соломы, ельнику, древесных сучьев и земли, приготовленные у самого берега. Суета была так велика, что я и не заметила, как деревянный остов, о котором говорила тебе выше, начал как бы уходить в землю со стороны течения реки, а Днепр действительно при-

остановился, затих, сгладился совершенно и стал расширяться; в один миг противоположный берег наводнился; еще мгновенье — и соседний холм превратился в остров.

— Молодцы!— закричал отец работавшим, и новый радостный крик отвечал отцу, а новые глыбы земли обрушились с высоты насыпей к подножью сруба. Жозеф был не прав: остановился Днепр, присмирел,могучий, и замолк его говор, и распались седые волны. Мне стало жаль старика!

Надобно было видеть, ma chère, торжество машиниста, радость папá и удовольствие всего народа. Крестьяне подходили к нам с поздравлением; молодые бросали шапки вверх. Всего забавнее были насмешки, с которыми ежеминутно подходил le savant к Жозефу. Первый важничал ужасно, брал француза за руку, подводил его к берегу, указывал на воду и хохотал; француз качал головой, отвечая на все насмешки машиниста пословицею: rira bien qui rira le dernier![1] К десяти часам вода, коснувшись берегов менее отлогих, стала подниматься медленнее, а вечерний туман прогнал нас домой. Удача расположила все умы к веселости, и сам Купер сделался менее грозен. Этот вечер положили мы посвятить разного рода фарсам; первый придумала я и уговорила Авдея Афанасьича пропеть что-нибудь. Гость не оказал ни малейшего сопротивления и, взяв три аккорда в се-дур (которыми, как оказалось впоследствии, ограничивались все его музыкальные познания), с помощью этих трех аккордов пропел громовым голосом «Солому». В романсе соседа солома осеняла кров, где земледелец обитает, служила ему ложем для отдохновения, и та же солома, превращаясь в наряд, то есть в шляпку, защищала красавиц хитрою рукою от загара; сравнивая же все-таки свою солому с непостоянством женской любви, Авдей Афанасьич вдруг схватил мою руку, поцеловал ее с нежностью; тот же маневр повторил он и с Антониной и с Еленою, и с меньшими сестрами, а в заключение, и с самою Агафоклеею Анастасьевною. Я хохотала до слез, но Авдей Афанасьич потребовал от меня, как он говорил «реванжика»; отказать ему было смешно — я пропела: «Ты не поверишь, как ты мила»; каждый refrain[2] возбуждал ту же нежную улыбку на устах Авдея Афанасьича. После меня место у фортепьяно единодушно предложено было Антонине. Кузина, разумеется, начала кривляться, выражая своим лицом то от-

[1] Хорошо смеется тот, кто смеется последним! *(франц.)*.
[2] припев *(франц.)*.

чаяние, то умиление, то мольбу, и наконец уж отдалась на волю нашу, но с условием, чтоб Купер и Елена поддержали ее на скользкой стезе испытания, и две трети семейства Грюковских простонали «Пловцы» Варламова. Антонина пела сопрано, Купер — альта, а Елена — бас. Разумеется, кузина сочла необходимым поговорить довольно долго о хрипоте своего голоса, о несносном климате нашего уезда, о недостатке нот и практики и всего прочего, мешавшего ей усовершенствоваться в музыке. Вслед за пением Купер продекламировал тираду из «Разбойников» Шиллера, а Авдей Афанасьич показал на тени, с помощью толстых пальцев своих, зайца, солдатика, пустынника и лебедя; для последнего обнажил он руку свою до локтя, отчего все девушки с криком убежали в другую комнату.

Было за полночь, когда подали ужин, а во втором часу мы разошлись.

Я устала до смерти, Sophie; кончаю страницу и ложусь спать.

Да, я и забыла сказать тебе, что Старославский, как мы узнали, отлучился, неизвестно куда и надолго ли, из Грустного Стана. Не правда ли, что странно, chère amie, и некстати, потому что отсутствие его в эту минуту может быть истолковано и Купером, и толстым гостем с весьма невыгодной для него стороны? Неужели страх встретиться с Авдеем Афанасьичем был причиною его отъезда? Не может быть... а все-таки странно!

Письмо девятое

27-е сентября

Прошла неделя с тех пор, как я писала к тебе, chère Sophie. Старославский не возвращался; мы по-прежнему гуляем до вечера, а в полночь, насмеявшись вдоволь, расходимся по спальням. Днепр действительно переродился в маленькое море; несколько деревянных колес вертятся с утра до ночи. Папа́ очень доволен успехом своего предприятия. Машинист говорит и распоряжается так громко, что голос его долетает до балкона, а бедный Жозеф притих. Как я ни люблю доброго француза, но не скрываю радости своей, что предсказание его не выполнилось. Авдей Афанасьич отправляется на охоту с восходом солнца и возвращается не прежде заката. Несчастных зайцев каждый раз приносит он сам, в виде трофеев, в гостиную; нередко трофеи его ужасно ви-

деть: представь себе куски красного мяса с ушами; все остальное бывает обыкновенно съедено собаками, c'est terrible à voir![1] Кстати: какая рассеянность, chère amie! Я должна была бы начать с того, что первого числа октября мы решительно выезжаем из Скорлупского. Как я счастлива, выразить тебе не могу! Но и Скорлупского жаль немножко, особенно в последнее время я смеялась в нем так много; а по моему характеру, чему бы ни смеяться, только бы смеяться — и я довольна. Вчера всем обществом ходили мы пешком в ту самую пустынь, о которой я когда-то писала тебе, в ту самую, которую построили, говорят, близ места встречи пустынника с польским паном. Все строение бедно и составлено из круглых каменьев, слепленных кой-как. Обитель состоит из маленькой ветхой церкви, пяти деревянных келий, небольшого сада, служащего в то же время кладбищем — вот и все. Настоятель пустыни, седовласый старичок почтенной и кроткой наружности, принял нас ласково, показывал утварь, несколько древних икон, пожертвованных обители предками Старославского, и богатые сосуды, присланные в дар настоящим владельцем Грустного Стана. О Старославском старичок отзывался с самой лучшей стороны.

Каждая похвала настоятеля выкупалась гримасою Купера и Антонины. Помолясь на кладбище, мы простились с иноками и отправились в сопровождении их в обратный путь. Кругом обители превысокий сосновый бор и глубокие рвы; вообще все это место крайне грустно и дико. Весь вечер прошел в толках и рассказах о преданиях. Агафоклея Анастасьевна утверждает, что в ночь на двадцать восьмое сентября... «Но ведь это завтра»,— заметил папá. «Как завтра!»— воскликнули мы все в один голос, и меня обдало ужасом... Ведь действительно завтра, chère Sophie! Ну ежели да выполнится предание... Впрочем, Старославского нет... тем лучше... Возвращаюсь к Агафоклее Анастасьевне: она утверждает, что однажды управляющий ее в эту ночь настигнут был страшною грозою в самом том лесу, где обитель, и ровно в полночь не только управляющий, но и кучер его явственно слышали вой собак, отдаленный звон колоколов, и в то же время над самым лесом черное небо озарилось заревом — и несчастные чуть не умерли со страха.

— Но неужели никто из жителей Скорлупского не может

---

[1] это ужасное зрелище! *(франц.)*.

подтвердить или решительно опровергнуть все эти россказни? — спросила я, обращаясь к отцу. И он тотчас же послал за несколькими стариками.

Первый из них оказался глух, другой имел свойство спать слишком крепко, а третий и четвертый не только подтвердили слова приказчика Агафоклеи Анастасьевны, но прибавили, что явление это до того напугало окрестных жителей, что в эту ночь все они запираются в своих домах, и до слуха их долетает только вой собак, мешающий расслышать остальное, то есть громкий смех пана и подземный гул, смешанный со звоном колокола.

— Есть ли хотя один человек, которому довелось расслушать все в одно время? — спросил отец.

— Как не быть! Да вот хоть бы кузнец наш, батюшка барин, — отвечал один из стариков, — в запрошлую осень — не дальнее время! — шел он с постоялого двора, что на косе, близ завани; вот и идет себе, не думает; вдруг как грянет гром да блеснет молния, он снял шапку да и перекрестился; опять гром — опять перекрестился; вдруг откуда ни возьмись град, да в куриное яйцо; что делать? Он и высмотри дупло, и сунь в него голову, хотя бы голову-то спасти, и слышит, словно звонят колокола — ей-богу!

— Где же кузнец?

— Помер об святках, — жалобно ответил рассказчик.

Тем кончились расспросы, которые хотя и не обогащали нас неопровержимыми доказательствами, но и не отрицали предания.

Наслушавшись всего этого, к стыду моему, признаюсь, я неравнодушно проходила темную залу и ни за что в свете не решилась бы прогуляться по саду одна, хотя прогулки эти имела я привычку делать ежедневно.

Маршрут наш в Петербург следующий: первого числа после раннего обеда мы отправляемся все вместе, то есть Грюковские и мы, к ним на ночь, пробудем у них второе число и третьего выезжаем в путь. Папá намерен остановиться на двое суток в одном из своих имений верст за триста отсюда, а к десятому надеюсь обнять тебя, chère amie, в Петербурге... Вот счастливая мысль! постарайся уговорить своих выехать к нам навстречу; ручаюсь тебе, что я употреблю все средства, чтоб прибыть в Ижору к трем часам пополудни; следовательно, выехав в час по железной дороге, вы в Царском через полчаса, а в Ижоре в два с по-

ловиною, Mon Dieu! Que je serai heureuse![1] Прощай, Sophie. Спешу кончить: едут на почту.

Письмо десятое

28 сентября

Sophie, cher ange! Un peu de pitié pour moi![2] Но нет, я знаю тебя: ты будешь смеяться надо мною; я уверена, что назовешь меня ветреницею, бесхарактерною, даже сумасшедшею, может быть... Бог мой! и зачем поверяла я тебе все мысли мои? зачем отдала себя на суд и на осуждение? И когда вспомню, что еще недавно смеялась над чувствительною Антониною, над забавною развязкою романа ее с Старославским, и сделать почти то же самое... ужасно!.. но жребий брошен! Осуди меня, chère amie, если хочешь, но выслушай...

Настало наконец утро так давно ожидаемого двадцать восьмого числа. Небо было ясно, солнце грело, как во все прошедшие дни, и утро это отличалось от прошедших одною формальною декларациею Купера: поэт повторил ее отцу, отец передал торжественно декларацию мне, а я поблагодарила за честь, мне сделанную, и смягчила, сколько можно, отказ, основанный будто бы на решительном намерении оставаться свободною. Агафоклея Анастасьевна поморщилась, а Антонина, узнав о неудаче братца, сделала ему сцену. Истинную причину отказа приписывало семейство Грюковских тайной любви моей — уж не знаю, к Старославскому или к Авдею Афанасьичу, который и в это утро, по обыкновению своему, отправился на охоту. Пользуясь междоусобием родственников, я удалилась в свой кабинет. Приводя в порядок вещи, которые должны были оставаться в деревне, и пристально занимаясь их укладкою, я не заметила, как вошел Старославский. Он поклонился и предложил помочь мне в моем занятии.

— Как давно мы не видались, мсье Старославский!— сказала я ему не без насмешливой улыбки.

— Я не был в Грустном Стане,— отвечал он.

— А причина такой долгой отлучки?

— Гость ваш.

— Авдей Афанасьич!— воскликнула я невольно.

---

[1] Боже мой! Как я буду счастлива! *(франц.)*.

[2] Софи, милый ангел! Посочувствуй мне хоть немного! *(франц.)*.

— Он, графиня.

Ответ этот, и сделанный так хладнокровно, сбил меня совершенно с толку.

— Но он здесь еще, мсье Старославский,— сказала я.

— Знаю, графиня.

— И вы его дождетесь?

— Сегодняшняя ночь поставляет меня в необходимость...

— Встретиться с Авдеем Афанасьичем?

— Нет, но присутствовать при страшном явлении.

— Которому вы верите?

— В котором не сомневаюсь; а в доказательство, графиня, не повторись явление — я дал обет не возвращаться более в Грустный Стан, а расстаться с ним мне было бы очень грустно!

— Вы фаталист, мсье Старославский?

— Я человек рассудительный, и расчет мой безошибочен. Беспрерывная перемена места делает одинокую жизнь сноснее...

— Но что же общего между ночным явлением и одиночеством?

— Ваше слово, графиня; возьмите его назад, и кочевание мое начнется сию минуту.

— Вы забыли Авдея Афанасьича?

— Я письменно извинился бы пред ним.

— Как, просить извинения? Fi donc[1], мсье Старославский! Письмо ваше он сохранит как факт; он будет гордиться им.

— Моим письмом, графиня?

— Извинением...

— В невозможности быть его посаженым отцом?

— Посаженым отцом Авдея Афанасьича?

— Конечно.

— Вы, вы, мсье Старославский?

— Я, графиня; но тут по крайней мере, надеюсь, нет ничего удивительного?

— У вашего злейшего врага?

— Но я говорю не про поэта Купера.

— Все равно, про друга его, про человека, разделяющего и жажду мести, и ненависть родственника моего к вам.

— Не думаю, графиня, потому что несколько дней назад

[1] Вздор *(франц.)*.

Авдей Афанасьич письменно просил моего посредничества в деле, от которого зависело все будущее его счастие, и дело это я устроил.

— Оно не тайна?

— Нимало, графиня: я привез согласие одной прекрасной девушки на брак ее с Авдеем Афанасьичем.

— То есть дочери мещанки.

— Вы знаете?

— Я слышала о живом участии вашем, мсье Старославский, во всем, что касалось до этой девушки, и о тайном отъезде ее в Москву.

— Все слышанное вами истина, и я тем более доволен решительностью моих строгих мер, что меры эти увенчались полным успехом.

— Но права ваши на участие?— спросила я, лукаво улыбаясь.

— Основаны они, графиня, на пристрастии покойного деда, моего опекуна, к тем мальчикам, о которых как-то раз я говорил вам и которые — родные братья девушке, дочери той же сердитой ключницы, моей неприятельницы. Скоропостижная кончина старика, вероятно, помешала ему обеспечить своих любимцев, и всем наследством воспользовался я один. Ничтожное же участие мое — малое возмездие за их потери...

Я не могла выдержать, chère amie, и передала Старославскому слова и заключение о нем Купера. В настоящую минуту мне нужна была жертва, и пусть же ею будет поэт.

Старославский улыбнулся и тотчас же переменил разговор. Признаюсь тебе, Sophie, уважение мое к этому человеку не только удесятерилось, но сделалось очень похожим на что-то выше этого чувства.

Встретясь в столовой с поэтом, Старославский, как и всегда, протянул ему руку: но рука эта как бы обожгла Купера — так смущен и так смешон был поэт! Антонина, несчастная Антонина, прошла во время этого обеда через все сильные ощущения; лицо ее принимало краски всех цветов и от белой лилии мгновенно переходило в пунцовый розан каждый раз, когда Старославский обращался к ней; заметно было, что кузина, отвечая ему, приискивала в уме своем средство уколоть и меня и его, и средство это приискала она наконец.

— Когда же, мсье Старославский, пригласите вы нас в Грустный Стан? Nathalie рассказывала о нем такие чудеса,

что, не видать их, считаем мы большим лишением,— сказала Антонина так громко, чтоб все ее слышали.

— Но разве графиня была в Грустном Стане?— спросил Купер, бросив на меня многозначительный взгляд.— И не пригласить нас — это дурно, очень дурно,— прибавил он, перенося тот же взгляд на Старославского.

— Вы сами лишили меня на то всякого права,— отвечал Старославский Куперу.

— Чем же, мсье Старославский?

— Тем, что, простирая прогулки свои до самой усадьбы моей, никогда не заглянули в нее, даже, если не ошибаюсь, в тот день, когда графиня сделала Грустному Стану честь своим посещением, грум мой повстречал вас в окрестностях и крайне перепугал меня, утверждая, что с вами...

— Да, да, точно,— перебил поспешно поэт,— мне помнится, в тот раз лошадь сбилась с тропинки и чуть не завязла в болоте.

— Положим, случилось это в тот раз; ну, а в другие поездки, мсье Купер? Вы так часто прогуливаетесь...

Поэт покраснел до ушей; он не мог не заметить всеобщей улыбки.

Но довольно о Купере и Грюковских вообще. Ночь была интереснее, а развязка, chère Sophie... а развязка!.. Но, ради бога, не читай ее прежде всего прочего, потому что, может быть, обстоятельства, предшествовавшие ночи, хотя несколько оправдают меня в глазах твоих.

С закатом солнца явился и Авдей Афанасьич. Встреча его с Старославским не удивила только самого Старославского, отца и меня; зрачки же всех прочих расширились неимоверно; я внутренно торжествовала, смотря на эти расширенные зрачки. Авдей Афанасьич извинился перед соседом в чем-то, чего я не расслышала, потом благодарил его, и даже три раза обнял и поцеловал. Но какое дело до Авдея Афанасьича? Ночь интереснее, повторяю тебе, Sophie... Но как это глупо, когда вспомнишь!

Мы вышли по окончании обеда на балкон; небо начинало уже покрываться тучами, солнце скрылось, и воздух сделался прохладнее.

— Как жаль, что будет дождь!— сказала Антонина,— иначе я предложила бы, кому не страшно, встретить ночь в лесу.

— Я покорный слуга,— отвечал Авдей Афанась-

ич,— но вряд ли вы пойдете даже без дождя.

— Конечно, пойду.

— Нет, не пойдете.

— Хоть об заклад, пойду.

— Пуд конфект!— продолжал толстый гость, протягивая Антонине руку, которую та пожала.

— И мы пойдем с вами. Не правда ли, maman, что и вы пойдете?— закричала Елена и прочие сестры.

На это Агафоклея Анастасьевна не изъявила своего согласия, то есть за себя, но дочерям идти не запретила.

До ночи время прошло медленно; когда же смерклось, все без исключения стали поглядывать друг на друга с неизъяснимым беспокойством; сам папа́ часто подходил к часам и как бы считал минуты. Пробило одиннадцать, и Авдей Афанасьич напомнил Антонине о закладе.

— Извольте, только не в лес, не в самый лес... а... в аллею...— отвечала кузина.

— Это не все равно!— возразил гость.

— Нет, батюшка, я в лес детей не пущу, воля ваша!— воскликнула Агафоклея Анастасьевна,— и в сад ходить незачем.

— О, нет, maman! в сад можно, только бы не в лес.

Все кузины запрыгали и запищали около матери, которая, после долгих переговоров с Авдеем Афанасьичем, наконец склонилась на детские просьбы и поручила детей покровительству его и Купера.

Кузины ушли; Агафоклея Анастасьевна под предлогом зубной боли удалилась в свою комнату, а папа́, дав сло́во возвратиться к полуночи, отправился по направлению к плотине; мы с Старославским остались на балконе вдвоем.

— Неужели вы серьезно ожидаете чего-нибудь необыкновенного, мсье Старославский, и верите всем этим вздорам?— спросила я его, и, признаюсь тебе, спросила единственно для того, чтоб отрицательным ответом Старославского уничтожить свой собственный страх.

— Месяц тому назад, графиня, я улыбнулся бы вопросу вашему, но теперь избави бог меня от малейшего сомнения,— отвечал он серьезно.

— Это почему?

— Повторяю, что слову вашему верю.

— И вы решились бы воспользоваться моим словом?

— Со слезами радости, графиня.

— Не верю.

— Даю вам честное слово!

— Но что же называете вы самолюбием, мсье Старославский?

— Во мне занимает оно второе место, а первое...

— Берегитесь быть похожим на Купера: он сегодня утром говорил мне почти то же.

— Права наши на вас, графиня, не одинаковы.

— Опять слово мое?

— А с ним вся моя будущность!

— Довольно! Еще четверть часа — и я свободна. Поговорим о чем-нибудь другом, мсье Старославский.

— С удовольствием.

— Вы приедете на зиму в Петербург, не правда ли?

— Почему же не в Париж?

— А разве вы имеете намерение ехать за границу?

— Но, мне кажется, графиня, таково было желание ваше.

— Желание — да; но выполнение желания зависит не от меня.

— Я согласен, графиня.

— Мсье Старославский, вы неизлечимы!

— Графиня, ваше слово!

— Опять слово, какая тоска!..

— Вы берете его назад?

— Не нужно! Еще пять минут, только пять — и оно уничтожено,— отвечала я Старославскому, взглянув на часы.

— Менее, графиня; у меня хронометр: и не пять, а полминуты.

— Тем лучше.

— О, конечно, не для вас, может быть, но для меня!— воскликнул он с такою улыбкой, которой я никогда не забуду.

— Вы хотите обмануть, испугать меня? Ничего еще нет и не будет, я уверена.

— Так слушайте же, графиня!— И Старославский, взяв меня за руку, перевел к другому концу балкона. Я трепетала невольно, идя за ним; но в этот самый миг, Sophie, явственно, как бы подле нас, раздался вдруг какой-то неопределенный гул, но гул ужасный!

— Это ветер,— проговорила я,— это просто ветер!

Старославский указал молча на деревья; листья не шевелились на них, но гул делался все явственнее; в это же время послышались металлические правильные удары; я успокоилась: удары долетали до нас из залы и на двенадцатом часу умолкли; но тут... нет, Sophie, описание мое не передаст тебе ни ужаса, ни страха, которые выносить могут только самые крепкие или слабые натуры... Не постигаю, как я не умерла в эту страшную минуту! Мне вдруг послышалось нечто вроде воя собак; «не может быть»,— говорила я сама себе, но вой превратился в рев; потом страшный удар, громкий, пронзительный хохот и заунывный звон... но не стенных часов залы, а звон нескольких колоколов... Этого было достаточно, очень достаточно, чтоб лишить меня всех чувств. Помнится, что кто-то произносил мое имя; мне даже казалось, что к первому голосу присоединились еще голоса...

Антонина! бедная Антонина! не то же ли самое случилось с тобою? вследствие других причин, это правда; но результат был такой же: ты упала в обморок, а я!.. я раскрыла глаза уже не на балконе, а в гостиной, не в кругу своей семьи и одного Старославского, а при десяти посторонних свидетелях!

— Слово ваше, графиня?— были первые слова, долетевшие до моего слуха: их произнес Старославский.

— Но страшное явление не могло не быть сном?— проговорила я, все еще прислушиваясь.

— Увы, далеко не сон!— со вздохом отвечал отец,— и слово, данное тобою Старославскому, я подтверждаю.

— В таком случае, вот рука моя; она ваша, мсье Старославский,— сказала я торжественно,— и да исполнится легенда, прекратив навсегда то, что слышали мы в эту ночь!

— А для большей верности, Nathalie,— прибавил отец, смеясь,— обяжи мужа не тревожить более Днепра, а главное, не строить никогда мельниц!— Вообрази, ma chère, что страшное явление было не что иное, как прорванная днепровская плотина; вой собак был только воем стаи Авдея Афанасьича; звон — звоном набата, а пронзительный смех — пренатуральным смехом Жозефа над машинистом.

Верь мне, что, вспоминая обо всем этом, я умерла бы от стыда и отчаяния, если бы не любила Старославского так, как люблю его теперь... Бедная Антонина!..

Воспоминание о Захаре Иваныче

(Рассказ путешественника)

26 июля 1846 года, осмотрев кульмское поле сражения, сидел я у решетки русского монумента в ожидании дилижанса, долженствовавшего проехать из Теплица в Дрезден. Дилижанс не замедлил; на вопрос мой: «Есть ли свободное место?»— кондуктор отвечал утвердительно и отворил карету: в ней сидело уже пять пассажиров, я занял шестое, и последнее, место между двумя немцами, сидевшими спиною к лошадям.

День склонялся к вечеру, солнце не грело, но жгло; атмосфера в дилижансе нашем сгустилась до того, что дышать было трудно.

Окинув взглядом спутников моих, я поражен был наружностию двух из них; оба сидели против меня у самых дверец, обоим было лет по пятидесяти и в обоих было по десяти пудов весу; красные, опухшие лица их изображали нетерпение, страдание и досаду. Немец, сидевший между ними, курил из фарфоровой студенческой трубки, и каждый раз, когда облако табачного дыма проходило мимо носа толстяка, сидевшего с правой стороны, глаза его закрывались, а самое лицо уходило в широкий желтый галстух, как голова черепахи уходит в свою скорлупу. Наконец нетерпение толстого господина дошло до высшей степени, и, повернув голову круто влево, он обратился мимо немца к толстяку, сидевшему с левой стороны, с следующим вопро-

сом: «Min Herr lange gefart in Dresd?»[1]—«Nicht verstehe»[2],— отвечал тот. Вопросивший господин подумал и перевел вопрос на французский язык, но вопрос свой облек он и на этом наречии в такую же форму непонятности; когда же толстяк левой стороны отвечал знаками, что он и этого языка не понимает,—«Ну, побери же тебя нелегкая!»— воскликнул с досадою на чистом русском языке толстый господин, сидевший справа.

При этом возгласе глаза того, к кому приветствие это обращалось, заблистали радостию. «Как?— спросил он,— вы русский?»; и оба господина обнялись с восторгом.

Когда первое изъявление радости миновало, господин правой стороны начал длинный рассказ своего несчастного путешествия, из которого я узнал, что назывался он Захаром Иванычем, что, пристроив последнюю дочь, выехал из России бог знает для чего, что почел за священную обязанность, путешествуя, не пропускать ни одного достопамятного места, не ознакомившись с примечательностями, вследствие чего без всякой надобности взял в Теплице несколько горячих ванн, от которых и приключился ему удар, и что наконец, предвидя неудобство сидеть шестерым в дилижансе, он взял для себя одного два места, но одно из них оказалось в другой карете.

Повествование заключилось кучею сильных и резких выражений. Слушая Захара Иваныча, я не мог удержать улыбки, которую он заметил и нахмурил брови. Я поспешил успокоить почтенного земляка и стал говорить с ним по-русски. Восторг Захара Иваныча чуть не причинил ему второго удара: так громко, так искренно обрадовался он, что нашел в душной и узкой карете двух русских.

На половине дороги кондуктор объявил, что дилижанс не отправится в путь ближе получаса, и потому мы успеем напиться кофе; Захар Иваныч предпочел ужин, заказал его, а сам отправился купаться. За чашкою кофе я познакомился с другим земляком моим, не уступавшим в досужестве Захару Иванычу, но не походившим на него ничем другим. Он ехал в Брюссель, где ожидали его жена и дочь.

Ужин, заказанный Захаром Иванычем, был аккуратнее его и поспел к сроку, в то время как сам Захар Иваныч дол-

---

[1] Давно ли милостивый государь приехал в Дрезден? *(искаж. нем.)*.
[2] Не понимаю *(искаж. нем.)*.

го еще должен был служить прелюбопытным зрелищем для жителей того местечка, в котором мы остановились. Проезжая мимо пруда (кондуктор не оказал ни малейшей готовности ждать нашего спутника), увидели мы, что Захар Иваныч лежал доскою на поверхности воды, нимало, по-видимому, не заботясь ни об ужине, ни о новом знакомстве своем.

Утром следующего дня прибыли мы благополучно в Дрезден и остановились в гостинице Гайдукова.

Дрезден — первый иностранный город, который обращает на себя особенное внимание русских путешественников, выезжающих из России сухим путем. Многие из них, пробыв в Дрездене трое суток, верно уже успели познакомиться с Цвингером, Финглятером, Террасою, Японским дворцом, Королевским садом и, верно, побывали мимоходом в картинной галерее, в Грюнгевёльбе, в Музеуме, слазили на крышу лютеранской церкви Богоматери и накупили кучу всякой дряни, а главное, по случаю дешевизны всего, издержали гораздо более, чем предполагали, и устали до смерти.

В первый проезд мой чрез Дрезден я не только прошел полный курс печатного путеводителя, но прошел и Саксонскую Швейцарию, а что всего хуже — познакомился с тремя лучшими врачами.

Теперь я в третий раз приехал в Дрезден. Сделавшись опытнее, разумеется, не звал я врачей, не лазил на крыши, а, выбрав комнату самую удобную, расположился отдохнуть в ожидании обеда. Сон мой был прерван появлением хозяина гостиницы; пухлое лицо его было орошено слезами, а желудок вином; он был, по-видимому, более пьян, чем несчастлив.

— Что вам нужно?— спросил я у Гайдукова.

— Я погибший человек!— отвечал Гайдуков, и слезы потекли за галстух.

— Но что же с вами случилось?

— Разорен и гибну без возврата!

— Жаль! но отчего же гибнете вы без возврата?— спросил я, вставая с постели.

Гайдуков сообщил мне печальную историю своих несчастий, которой не могу не рассказать: так забавны показались мне эти несчастия.

Счастливейшая эпоха жизни его прошла на родине пред кухонным очагом. Лет десять назад Гайдуков поехал с ба-

рином своим за границу; барин его там умер, Гайдуков остался один. С той минуты начались несчастия, которые так усердно оплакивал хозяин великолепной гостиницы, что на Соборной площади в Дрездене.

Несчастный Гайдуков имел несчастие понравиться двадцатилетней девушке, немке прекрасной нравственности, дочери честных, богатых родителей и хорошенькой собою, которая согласилась выйти за него замуж. За женитьбой последовал случай купить в кредит и за сходную цену один из лучших домов в городе. Гайдуков, сделавшись гражданином дрезденским, очень скоро научился говорить по-немецки. За несчастным переходом из поваров во владельцы последовало новое несчастие: купцы дрезденские предложили Гайдукову меблировать дом его в кредит, снабдили серебром и бронзою, и пустой дом Гайдукова превратился в роскошную гостиницу. Хозяин с горя предался пьянству, игре и буйству; выгнав жену на улицу, несчастный Гайдуков в течение десяти лет пользовался доходами гостиницы, не платя кредиторам своим ни гроша. Он заключил плачевную историю своих несчастий просьбою ссудить ему пятьдесят тысяч талеров.

Эта просьба, как я узнал, была его привычкою и обращалась ко всем русским без исключения.

Похохотав от души над несчастиями Гайдукова и выгнав его из комнаты, я заснул на несколько часов, а пообедав, отправился на террасу Бриля.

Терраса Бриля — любимое место гулянья дрезденских жителей; с четырех часов пополудни ежедневно собирается на ней множество гуляющих. Посредственный хор музыки играет в воксале до полуночи. За вход платят грош; кружка пива, четверть порции кофе, кусок дыни — продаются по грошу. Расчетливость германская изобрела способ угощаться за сходнейшую цену, и нередко в течение целого вечера простоит перед немцем гигантский стакан воды, на дно которого опускают кусок сахару. Дамы приносят в воксал чулки и тому подобные предметы рукоделия.

В этот вечер многочисленная дрезденская публика была привлечена в воксал новым, совершенно новым предметом. Прибывший из Лейпцига артист играл с неслыханным в Дрездене чувством на инструменте, составленном из небольших колокольчиков. Рукоплесканиям, звону и похвалам не было конца.

Не принимая ни малейшего участия в общем восторге, я преспокойно расположился у окна, обращенного на Эльбу, и предался размышлениям, от которых оторван был неожиданным происшествием.

Я вдруг почувствовал, что две сильные руки схватили меня сзади за шею и так сдавили ее, что при всем желании крикнуть я крикнуть не мог. Не испуг, но удивление овладело умом моим; я был убежден, что в воксале при тысяче свидетелей никто не мог покуситься на жизнь мою, но, не имея ни в знакомстве, ни в родстве никого, кто бы стал обращаться со мной подобным образом, я терялся в догадках.

Объяснилось, что руки, меня давившие, принадлежали Захару Иванычу; привез он их в Дрезден в вечернем теплицком дилижансе. Захар Иваныч был так забавно наивен, что сердиться на него недостало у меня духу. Он проголодался и спросил две порции кофе, ему принесли четыре кофейника, столько же чашек и молочников, он принялся за кофе, а немцы принялись смотреть на земляка моего с удивлением.

Когда же третий кофейник перешел в желудок Захара Иваныча, он приостановился, ударил себя по широкому лбу и начал думать.

— Что с вами?— спросил я с беспокойством: мне показалось, что с ним удар.

— Позвольте! позвольте! я что-то хотел сказать вам и забыл,— отвечал Захар Иваныч.— Да, вот что!

И земляк расхохотался во все горло.

— Но что же такое?

— Умора, ей-богу, умора, что за народ эти саксонцы... Ба! да ведь я вам еще не рассказал, как я доехал до Дрездена!

— Расскажите, пожалуйста.

— Вот видите ли, почтеннейший,— продолжал земляк, сливая в свой стакан все, что оставалось в четвертом кофейнике и в четвертом молочнике,— правду вам сказать, когда мы приехали на ту станцию, где я заказал ужин... ну, помните, ту, на которой мы расстались... я и сообразил, что в карете тесненько, а спешить не для чего, сверх того, мой товарищ, наш брат русский... не знаете ли его?

— Кого?

— Степана Степаныча Выдрова, что живет в Крестцах:

прекрасный человек, обстоятельный... скупенек, правда, ну да провал его возьми!

— Не знаю, Захар Иваныч.

— Я познакомлю вас; человек он, знаете, гнилой, и заболи в Теплице; «Оставь,— говорит,— Трушку, я привезу тебе его в Дрезден, в вечернем дилижансе, что отходит в четыре часа».—«Эй, привезешь ли?»—«Привезу,— говорит,— честное слово». Вот я, сударь мой, не говоря никому ни слова, и пойди купаться, и вижу, едет ваш дилижанс; думаю себе, пусть едет на здоровье, а я как выкупаюсь, да поужинаю, да отдохну часок и дождусь второй кареты, то и приеду в Дрезден, не торопясь; так и случилось.

— Но вы, если не ошибаюсь, хотели рассказать еще что-то?— спросил я.

— Да, да! (Захар Иваныч снова покатился со смеху.) Вообразите, почтеннейший, мы вылезли из кареты, остановились в одной гостинице с вами; ну! я умылся, оделся; какой-то болван исцарапал мне всю рожу: видно, здесь и брить-то не умеют; я и выхожу на крыльцо, только вышел, а какой-то господин прекрасно одетый и шасть мне под ноги. «Что, мол, тебе, братец, нужно?» Он по-немецки. Что ты будешь делать! Я за Гайдуковым. Гайдуков и объясняет мне, что господин, сиречь лон-лакей, показывает все городские редкости. Ну знаете, в первый раз в городе — как не посмотреть! я и возьми его.

— Понимал ли же по крайней мере ваш лон-лакей по-русски?

— Ни словечка: да оно бы, вот видите, ничего! уж коли редкость, подумал я, так постоит сама за себя; на кой прах тут язык? Хоть бы взять, например, картину, колонну какую-нибудь, обелиск или что другое: покажет пальцем, ну приврет там, что ни на есть по-своему, и смотришь. Нет-с, посадил меня насильно в фурген, да и изволит везти за город; гляжу — вывозит совсем-таки вон. Уже и огороды позади, и сады позади... глядь — и картофельные поля под боком; я его за воротник: «Постой,— говорю,— кто знает, что у тебя на уме, а я дальше не поеду»; он — туда-сюда. «Нет,— кричу кучеру,— хераус![1] — а сам машу: назад, назад!»— вернулись; что же вы думаете, какую редкость хотел мне показать этот молодец, а?

[1] выпусти *(искаж. нем.)*.

— Не могилу ли Моро? — спросил я.

— Что-о? да разве это интересно?

— Смотря по человеку, Захар Иваныч; для меня так очень интересно.

— Эге, ге, ге! значит, дурак-то я, а не он,— проговорил сквозь зубы и почесывая свою лысую голову бедный Захар Иваныч.

Он видимо смутился.

Мне стало жаль земляка, и, желая успокоить его, я приписал всю вину лон-лакею, который, имея постоянно дело с иностранцами, должен был бы непременно знать несколько наречий; впрочем, виноват ли был Захар Иваныч в том, что языки не дались ему?

— Все так, ну, да! не понял, не догадался, ну — положим!— воскликнул с досадою Захар Иваныч.— В сущности же, почтеннейший,— продолжал он,— большая мне нужда до их могил, да осмотреть их и жизни не хватит... Муро, Мюра, велика важность!

— Но Моро был нашим генералом и убит в Лейпцигском сражении.

— Нашим? — повторил Захар Иваныч,— странно! никогда не слыхал: ну, дай бог ему царство небесное.

— А знаете ли,— продолжал он, после некоторого молчания,— право, досадно становится, когда подумаешь, что прожил я пятьдесят лет неучем; ведь держали же и в наше время немцев, французов разных, и куда дешевы были они тогда. Помнится, после разорения, пошлют зачем ни на есть в Москву,— соседи и просят матушку, нельзя ли, мол, захватить подводам, как назад поедут порожняком, учителя или двух, или сколько б там ни понадобилось; лучшеньких покойница рассылала по родным, а что пожиже, то соседям. Верите ли, вся дворня, даже мальчишки говорили по-французски. Что ж бы, кажется, стоило мне научиться! не тут-то было — только и норовишь, бывало, как бы выжить мусью из дому; а вот пришла нужда, хватился, да поздно. Я, правду сказать, перед выездом из России и припас немецкие разговоры с словарем и всякими прочими затеями; выдумка неглупая — немецкие слова написать по-русски: была бы память, а выучиться нетрудно; я таки, признаться, в первое время и налег на них крепко.

— Зачем же вы не продолжали, Захар Иваныч, если вам казалось это так легко?

— А вот отчего, почтеннейший, что книжка-то придумана и хорошо, да сделана глупо; заучил я первые три страницы и знаю, что небо — химмель, звезды — штерне, отец — фатер, а дядя — охейм; дело только в том, когда же приведется говорить об этих вещах, а положим, и приведется, так не привяжешь же их веревкой ко всему тому, что говорится прежде и после; сверх того, не забудьте, что, ежели, упаси господи, забудешь пересыпать немецкие слова полдюжиной *дер* да полдюжиной *дас*, то, пожалуй, выйдет совсем другое; нет, батюшка, чуть ли не умней будет книгой-то завернуть что-нибудь, а с немцами объясняться чем бог послал.

Слушая земляка, я не мог удержаться от улыбки, а Захар Иваныч не заметил ее, потому что сам не переставал хохотать во все горло. Видя, что он кончил своей кофе, я встал.

— Куда вы отсюда?— спросил земляк.

— И сам не знаю,— отвечал я.

— А не знаете, так пройдемтесь по набережной, и цухаус![1]

Мы расплатились и вышли из воксала.

Вечер был очаровательный; у наших ног дремала Эльба, вдали на пурпуровом небе отделялись черным силуэтом вершины башен и крыш нового города. Вдоль всей набережной суетился народ; в этот час обыкновенно возвращались в Дрезден пароходы. Земляк, идя со мной рядом, насвистывал префальшиво «Травушку», отчего становилось и смешно и грустно.

Захар Иваныч объявил мне, между прочим, что нумер им занятый, рядом с моим.

Был час одиннадцатый вечера, когда мы возвратились домой. Проходя по длинным коридорам гостиницы, земляк вдруг остановился у одной двери и стал в нее стучать.

— Спишь ли ты?— спросил он чрез замочную скважину.

— Ах! это вы,— отвечал чей-то пискливый голос,— я в постели, а спать не сплю, войдите.

— А не спит, так войдемте, я познакомлю вас,— сказал, обращаясь ко мне, земляк.

— Да кто же тут живет?

[1] домой! *(искаж. нем.)*.

— Выдров — тот самый, про которого я говорил вам... Ну, что тут церемониться? войдемте!

— В другое время, а теперь поздно, Захар Иваныч.

Пожелав соседу покойной ночи, я пошел к себе в комнату.

Написав несколько писем и отпустив горничную — прехорошенькую и пресвеженькую немочку, я разделся, лег в постель и заснул крепким сном.

Не знаю, в котором часу, но гораздо за полночь, сон мой прерван был шумом отворившейся двери в комнате Захара Иваныча.

— Кто там?— прохрипел знакомый голос соседа.

— Я, батюшка!— отвечал кто-то жалобным тоном.

— Трушка, ты, что ли?

— Да, сударь.

— За каким прахом?

— Да гонят вон из коридора.

— Кто гонит?

— Коридорная мамзель, сударь; спать, говорит, не позволяется в коридоре.

— Черт тебя возьми! За делом пришел; ну куда я тебя дену, дурака?

— Воля милости вашей: разве здесь прилечь где-нибудь.

— Ну подстели себе что-нибудь и ложись на полу; да смотри подальше, дурачина,— сказал Захар Иваныч, и все умолкло.

Не прошло и получаса времени как разговор в соседней комнате возобновился.

— Трушка! Трушка, каналья!— завопил тем же хриплым голосом сосед.

— Чего-с?

— Не «чего-с», а убирайся вон.

— Батюшка! Куда же мне?

— И знать не хочу, убирайся.

И Захар Иваныч украсил приглашение свое тысячами различных дополнений, которых передать нет никакой возможности.

— Попроситься разве в пустую комнату, что против лестницы?— пробормотал Трушка.

— Хоть на крышу ложись, а чтобы паху твоего здесь не было; вон!

И слышно было, как несчастный Трушка, подобрав что-то с полу, медленно вышел в коридор, осторожно притворив за собою дверь.

— Экая бестия! Экая нечисть!— ворчал сам про себя сосед, беспрерывно плюя на пол, поворачиваясь на постели.

За бранью последовало молчание, за молчанием — храп, и такой храп, о котором в Дрездене, конечно, не имели до приезда Захара Иваныча никакого понятия.

На следующее утро, осмотрев еще раз картинную галерею, я пошел прогуляться по городу. На торговой площади встретил я старинного знакомого, Александра-Фридриха-Франца Зельфера, который с визгом только что не бросился ко мне на шею. Александр-Фридрих-Франц Зельфер был сорокапятилетний младенец, с пухленькими щечками, с воротничком и в белой бумажной шляпе, покрытой какою-то непромокаемою эссенциею. Отец его, суконный торговец, обращался с детищем своим с невероятною в наш век нежностию,— гонял его за маленькие шалости, укладывал спать не позже десяти часов и нянчился с ним как с грудным ребенком. Юный Зельфер, несмотря на зрелость своего возраста, не имел никакого понятия о многих вещах, не курил ничего и даже не пил пива. Знакомством моим с Зельфером обязан я был страсти, которую питал он ко всем русским. Зельфер понимал наш язык и пресмешно на нем выражался; удовлетворив расспросам Александра-Фридриха Зельфера, я пригласил его обедать со мной.

В пятом часу пополудни мы вошли в общую столовую гостиницы Гайдукова; в ней собралось уже множество посетителей, между которыми заседал и Захар Иваныч, тотчас же представивший мне приятеля своего Степана Степаныча Выдрова, тоненького и желтенького человечка.

Степан Степаныч был тип неприятных людей, как по наружности своей, так и по всему прочему. Судьба, по-видимому, удовольствовалась наделить его полным числом необходимых органов, нимало не позаботясь об отделке каждой части порознь. Глаза даны были Степану Степанычу, вероятно, для того, чтобы он не разбил себе носа; нос же для нюхательного табаку, в который, как я узнал впоследствии, Степан Степаныч клал гераниум и подмешивал немалое количество поташу, и, наконец, самое прозвание Выдрова носил Степан Степаныч, конечно, по сходству волос своих с шерстью животного, от имени которого

произошло это прозвание. Я бы мог прибавить несколько слов о рте, зубных корнях (потому что зубов у него не было) и об ушах Степана Степаныча, но это было бы нескромно, потому что рот, сжимаясь, скрывал свои недостатки, а уши были заткнуты морским канатом и ватой. За стол посадил нас Захар Иваныч рядом и спросил шампанского, от которого отказались и Зельфер, и я.

Гайдуков, обращавший все свое внимание на русских, подходил беспрестанно то к одному, то к другому с вопросами: хорошо ли вино, хорош ли повар и ловко ли нам сидеть? И каждый раз, вместо ответа, Захар Иваныч крепко жал ему руку, и благодарил его за всех.

В начале обеда Выдров успел расспросить у меня, откуда я родом, где служил, какого чина, отчего вышел в отставку и сколько у меня душ крестьян и в каких именно губерниях,— а к концу обеда сам рассказал, но не про чин и не про службу, а о причине поездки своей за границу; причина же состояла в железé, образовавшейся, по его словам, в шейных мышцах, треснувшей в запрошлую осень и застуженной в крещенские морозы прошедшей зимою.

Степан Степаныч начинал уже снимать свой галстух, чтобы показать мне железу, но Захар Иваныч взял его поспешно за руки и удержал, оправдывая при том насилие свое весьма основательными доводами.

Я позавидовал немцам, не понимавшим нашего языка, и поспешно вышел из-за стола. Зельфер хотел было сделать то же: он силился встать — и встать не мог; пытался сказать мне что-то — и сказать не мог. Оказалось, что во время нашего разговора с Выдровым Захар Иваныч убедил Александра-Фридриха-Франца Зельфера выпить два стакана шампанского, вследствие чего Александр-Фридрих-Франц Зельфер сделался пьян.

Гайдуков с помощию двух слуг вывел Зельфера на улицу, посадил на извозчика и отправил к папеньке, а я ушел из столовой, заперся в своей комнате и на громкий зов Захара Иваныча отвечал красноречивым молчанием.

В тот вечер давали «Волшебного стрелка», и я отправился в театр. Кто не слыхал этого дивного произведения бессмертного Вебера в Дрездене, тот не может вполне оценить гениального таланта маэстро; сам Вебер поставил эту оперу на дрезденской сцене, он передал душу свою артис-

там, и до сих пор душа его как бы парит над головами избранных и вдохновенных талантов, первенство между которыми, по всей справедливости, принадлежит Тихачеку.

Во время самого представления ни одного звука, ни одного возгласа не раздавалось в партере, и только по окончании некоторых арий восторженное «браво!» произносилось вполголоса, и снова тишина водворялась повсюду.

По выходе из оперы я перешел площадь, погулял по Террасе, полюбовался на Эльбу, наелся мороженого, намечтался досыта и возвратился в гостиницу.

Проходя мимо столовой, я увидел Захара Иваныча, игравшего со Степаном Степанычем в преферанс; кругом стояло несколько трактирных слуг, а рядом с толстым земляком моим сидел Гайдуков; по красным белкам его нетрудно было догадаться, что несчастный содержатель гостиницы имел и в этот вечер, как во все прочие, несчастие напиться.

— Здорово, почтеннейший!— воскликнул Захар Иваныч, протягивая мне обе руки.

— Везет ли вам счастие?— спросил я у соседа.

— Какое счастие!— отвечал он.— Смотрите, что этот вампир написал на меня!— прибавил земляк, указывая на Выдрова, который действительно должен был походить на это фантастическое существо.

— Что за счастие, что за счастие!— проговорил шепеляя Степан Степаныч.— Это ли называют счастием у добрых людей?

— Мало небось! ненасытный ты этакой!— перебил Захар Иваныч,— добро бы раз или два, а то что сядешь с ним, то и развязывай кошель, и прах его знает, как он это делает, чтобы сдавать себе такие игры, от которых не отвертишься никаким образом, просто способу нет! сами взгляните! ну, как не купить? шесть взяток на руках, ну, куплю.

— И я куплю.

— Вот видите! вот видите! ну, куплю во второй раз.

— И я во второй.

— Так куда же ни шло! куплю в третий.

— Куплю и я.

— Провал тебя возьми! да нет! не уступлю же: покупаю.

— То есть в червях?— спросил Выдров.

— Ну в червях так в червях.

— Купим и мы.

— Так вот же тебе, на семь, и провались ты!— крикнул, побагровев, Захар Иваныч и стукнул кулаком об стол.

Выдров молча отодвинул от себя прикупку, которую земляк не взял, а схватил обеими руками, но, взглянув на карты, быстро швырнул их только что не в лицо своему партнеру.

— Ешь их сам!— воскликнул, задыхаясь, Захар Иваныч.— Ведь выбрал, право, выбрал.

— Зачем было покупать?— пролепетал оробевший Степан Степаныч.— А купили, так по правилам надобно играть.

— По правилам! не тебе бы говорить про правила.

— Почему же?

— Потому что, потому что...

И земляк замолчал.

Захар Иваныч был только вспыльчив, но не зол, и заметно было, что ему самому делалось досадно, когда язык его заходил слишком далеко.

И в эту минуту он вытер красным клетчатым платком глянцевитую свою лысину, понюхал табаку и, совершенно успокоившись, начал улыбаться и шутить.

— Ну, ну,— сказал он, разбирая свои карты,— подсидел приятель, признаюсь, лихо подсидел; я же тебя когда-нибудь, погоди! Быть мне без одной, как без шапки; нечего делать! семь в пиках.

— Вист,— прошипел Выдров.

— Знаю, брат, что вист!

И Захар Иваныч поставил два ремиза, перетасовал карты и стал сдавать.

— Верите ли, почтеннейший,— сказал он, обращаясь ко мне,— в продолжение целого вечера такие все лезут алевузаны, что мочи нет, хоть не смотри!

Как ни забавна была игра моих приятелей, но конца не предвиделось, и, пожелав обоим счастия, я отправился к себе. Дорогой догнал меня пресальный лакей, небритый, в казакине из домашнего сукна, подпоясанный ремнем; нижнее платье его, шитое из полосатого тику, засунуто было в черивленные и разорванные сапоги. Он держал свечку в руках.

— Кто ты и что тебе нужно, голубчик?— спросил я у него невольно по-русски.

— Не извольте-с беспокоиться; я — Захара Иваныча; пожалуйте ручку.

Трушка (ибо это был Трушка) принялся ловить мою руку.

— Не нужно, любезный; сделай милость, не нужно!— кричал я, стараясь увернуться от прикосновения Трушки.

Мы вошли в мой нумер, и услужливый слуга Захара Иваныча, поставив свечу на стол, бросился было снимать с меня сюртук; я снова отскочил от него и объявил, что не хочу еще раздеваться. Трушка отошел к дверям, заложил одну руку за пазуху, другую за спину и принял позу сельских приказчиков. Мне совестно было прогнать его, и разговор начался.

— Весело ли тебе за границей, любезный?— спросил я.

— Это как-с барину угодно,— отвечал он, переминаясь.

— Но я спрашиваю у тебя?

— А нашему брату-с везде хорошо, лишь бы барин был доволен!

— У тебя добрый барин?

— Ничего-с, за таким барином можно жить!— И Трушка, прижав пальцем одну ноздрю, произвел другою какой-то звук и вытер обе полою своего кушака.

Я решился его выпроводить.

— Спасибо, любезный, за труд и ступай себе с богом,— сказал я, отворяя ему дверь.

— Ничего-с, я постою.

— Но мне, друг мой, пора спать и тебе не мешает отдохнуть.

— Не извольте беспокоиться,— повторил он очень настойчиво.

— Может быть, тебе нужно сказать мне что-нибудь.

Он начал переминаться, перебирать пальцами, посматривать на потолок и делать всевозможные эволюции.

— Говори, братец, скорей,— прибавил я.

— Да я, то есть, милости вашей,— начал Трушка,— не то чтобы, изволите видеть, и просто как отцу родному...

— Что же? говори, пожалуйста.

— Не знаю, как доложить.

— Просто без предисловий.

— Как же можно просто! сами посудить изволите-с! след ли нашему брату...

Я начинал сердиться, и Трушка это заметил.

— Не во гнев будь сказано милости вашей,— продолжал он,— а я, то есть что угодно прикажите учинить надо мной...

— В чем ты, братец, можешь быть предо мной виноват?

— Помилуйте-с! что барин мой, что ваша милость — все господа, и им то есть язык не пошевелится доложить. Дело не ученое; думаю, намалевано чем ни на есть; только дотронулся пальцем, ей-богу, пальцем!

Трушка состроил такую рожу, что я чуть не расхохотался.

Нетрудно было догадаться, что он избрал меня посредником между барином и виною своею, в которой страх мешал ему сознаться. Я принудил его объяснить толком, в чем именно состоит его проступок: оказалось, что бедняк оцарапал дагерротипный портрет, стоявший на барском столе. Окончив сознание, Трушка побежал за портретом и чрез минуту передал его мне. Я ожидал увидеть черты почтенного и толстого земляка; но вместо их глазам моим представилась очаровательная головка молоденькой девушки.

— Чей это портрет?— спросил я у Трушки.— Неужели дочери твоего барина?

— Никак нет-с: молодая барыня... как же можно!.. лучше не в пример-с.

— Откуда же взял его Захар Иваныч?

— Об эвтом не могу доложить-с, а только вот изволите видеть,— прибавил Трушка, понизив голос и оглядываясь во все стороны,— портрет этот барин мой очень любят и прятать изволят.

Я приказал Трушке отнести портрет на прежнее место и обещал ему походатайствовать за него пред барином; он опять было попытался поймать мою руку, но я решительно и раз и навсегда запретил ему такого рода попытки и выпроводил его вон.

Я никак не мог понять, каким образом портрет посторонней хорошенькой женщины мог находиться в руках Захара Иваныча. Если бы красавица принадлежала к родственному кругу соседа, Трушка не мог бы не знать ее; потом, для чего было бы земляку прятать портрет и возить его с собой. Во всем этом крылась тайна, которую я решился разъяснить, и в ожидании Захара Иваныча составил

план атаки. Казалось, сама судьба летела мне на помощь. Прежде чем я лег спать, сосед постучался ко мне; я выбежал к нему навстречу.

— Вообразите себе, почтеннейший: ведь Степан проигрался ужасно,— сказал мне земляк, расхохотавшись во все горло.

— Поздравляю от всей души.

— Послушайте-ка: этого мало, отгадайте-ка, сколько он проиграл... ну, скажите, примерно, сколько?

— Призов двести?

— Триста пятьдесят, батюшка! Каково?— продолжал Захар Иваныч.— Триста пятьдесят чистых да смарал весь выигрыш. Задал же я ему пфеферу...[1] И поделом скряге!.. А сначала-то везло какое счастие, а?

— Прекрасно, сосед! я от души желаю, чтобы торжество ваше повторялось почаще, но на чем бы посадить мне вас: нет ни одного покойного кресла!

— Не тревожьтесь: немцы отучили меня от спокойствия; в первое время, признаться, было как-то неловко, а теперь на что хотите сяду, к тому же и в моем нумере аккурат такая же мебель.

— А у вас вам все-таки было бы покойнее,— сказал я соседу.

— Уверяю вас, почтеннейший, все равно.

— Ежели же все равно, так я решительно иду к вам. Впрочем,— прибавил я,— может быть, нельзя.

— Как нельзя! отчего нельзя!— спросил Захар Иваныч,— что вы полагаете?

— Ничего особенного, а все-таки...

И я погрозил соседу пальцем.

Сосед расхохотался, покачал головою и, желая доказать, что предположения мои неосновательны, пригласил меня в свой нумер.

Нумер Захара Иваныча действительно был точно такой же, как мой: с двумя окнами, с одною печью, с тремя дверьми, из которых две были заперты, с комодом, диваном, стульями из красного дерева и дубовою кроватью; разница состояла в убранстве: у меня был один чемодан, и тот небольшой, а у Захара Иваныча четыре; сверх того, у Захара Иваныча висели на стене: яргак из жеребячих шкурок,

---

[1] перцу... *(нем.).*

тулуп на заячьем меху, камлотовая шинель с длинным полинявшим воротником и теплая бекешь с высокой талией. У Захара Иваныча на ломберном столе расставлены были симметрически разные вещи, как-то: зеркальце, три лукутинские табакерки, фаянсовая бритвенница, рядом с нею лежала общипанная кисточка, пара сточенных донельзя бритв в костяных черенках, тульский толстенький ножичек с крючком, уховерткой, зубочисткой, пилкой и штопором, железная печать с изображением герба Захара Иваныча и, наконец, кинжал в малиновых полубархатных ножнах. На окнах стояли два жасминные чубука с сургучными оконечностями и жестяной ящик, заключавший в себе некогда сардинки, а в настоящее время насыпанный золою, которою Захар Иваныч чистит себе зубы.

Увы! ничего этого у меня в нумере не было! «Но где же портрет?»— подумал я и взглядом вопросил Трушку. Трушка указал подбородком за зеркальце: я заглянул и успокоился.

Захар Иваныч сдвинул было два кресла, но я решительно объявил, что уйду к себе, ежели сосед не наденет ситцевого халата и не ляжет на ситцевое стеганое одеяло. Земляк пожеманился, но кончил тем, что разоблачился до холстинковой розовой рубашки и с наслаждением возлег на постель.

Приказав набить трубки, до которых, конечно, я не коснулся, он выслал Трушку, и мы остались вдвоем.

Захар Иваныч завел речь о своем путешествии. Разбранив все нации и все земли, которые удалось ему видеть, он коснулся железных дорог: сосед находил их бесполезными.

— К чему они?— говорил Захар Иваныч,— какую пользу приносят они государству? не явное ли это баловство, и сколько народу вместо того, чтоб заниматься делом, то и дело что шныряют из одного города в другой?

— Вероятно, не без цели,— заметил я.

Сосед пожал плечами и посмотрел на меня с сожалением.

— Не без цели?— повторил он.— Желал бы знать, какая может быть эта цель.

— Главная цель — торговля.

— Торговля?!— завопил почти с сердцем земляк.— Тем хуже, потому что торговля сущий обман и больше ни-

чего. Для торговли есть города, а в городах гостиные дворы, лавки: нужно что купить — пошлешь кого; а эти все, что таскаются с ящиками, с коробками,— мошенники, плуты; хоть бы и наши разносчики... я у вас спрашиваю, что у них есть путного? а ломят за всякую дрянь такую цену, что и приступу нет.

Сосед понес такую чепуху, которую без смеха я в другое время, признаюсь, никак не мог бы слушать, но я думал о портрете и, соглашаясь во всем с соседом, постепенно подвигался к столу.

Наконец рука моя коснулась одной из лукутинских табакерок с изображением купающейся нимфы. Я похвалил нимфу и спросил о цене.

Захар Иваныч, продолжая нести всякий вздор, протянул руку за табакеркою, которую я передал ему, а сам взялся за другую. На другой изображена была прерозовая женщина, распростертая на постели. Захар Иваныч взял и ее; оставалась третья табакерка и зеркало; я предпочел зеркало, взял его и стал в него смотреться.

Земляк, ожидавший, вероятно, последнего рисунка, положил розовую женщину рядом с нимфою и снова протянул руку. На этот раз я передал зеркальце и схватился за портрет.

Помня таинственный рассказ Трушки, я ожидал, что земляк вскочит с постели и, конечно, бросится и на меня и на портрет: ничего не бывало! Захар Иваныч не шевельнулся и продолжал смотреть на меня с улыбкою.

— Что это за портрет?— спросил я.

— А что, хорош?

— Недурен.

— Оригинал лучше во сто крат.

— Не может быть.

— Право, лучше,— сказал сосед.

Кто же не знает, что дагерротип никогда не льстит женщинам, но этот портрет был так хорош, что быть лучше мне казалось делом невозможным.

— И вы знакомы с оригиналом?— продолжал я.

— Знаком ли? надеюсь, что знаком.

Сосед проговорил эту фразу тоном победителя, мне стало досадно.

— Знаете ли, соседушка, слушая вас, можно подумать, что женщина эта в довольно коротких с вами сношениях.

— Может быть, и так.

— Что же вы хотите этим сказать?

— То, что люблю эту женщину.

— Об этом я не спорю.

— И она меня любит,— прибавил сосед.

— Как отца, согласен.

— Нет, не так, как отца, а как жениха; вот это так, потому что она моя невеста.

Последняя фраза до того поразила меня, что я не нашел слов, чтобы отвечать соседу. По глазам его, по голосу нельзя было сомневаться в истине.

— Ну, скажите по совести, почтеннейший, ведь вам странно показалось, что человек моих лет, только что овдовевший, отец пяти взрослых и замужних дочерей, помышляет о женитьбе.

— Признаюсь, Захар Иваныч, слова ваши мне действительно кажутся шуткою.

— Вот то-то и есть, что обстоятельств-то моих вы не знаете,— сказал с глубоким вздохом сосед.— Разумеется, всякому другому я говорить бы о них не стал, а вас я полюбил с первого взгляда и готов, так сказать, открыть душу.

Я был как на иголках.

— Конечно, по наружности судя,— продолжал он,— у меня дом — полная чаша, скота вдоволь; лошади, могу похвастаться, равных в уезде не найдешь, и строение порядочное, и сад хоть куда... Словом сказать, я как жил при покойнице жене, дай бог ей царствие небесное, так живу и теперь. А имение-то ведь, почтеннейший, все ее; так пока дочерей не выдал замуж, бывало, смотришь, в год и наберется тысчонок двадцать, двадцать пять... по нашим краям слишком достаточно. Ну, дочери стали выходить замуж, а в прошлом году и к последней подвернулся жених; он и незавидный, правда, так, свищ. «Нет,— говорит,— папенька, не хочу оставаться в девках». Нечего делать, пожался, пожался, да и выдал. Смотрю, ан плохо.

Я слушал земляка, никак не понимая, к чему клонилась его речь.

— Надобно же вам сказать,— продолжал Захар Иваныч,— что есть у меня страстишка, в которой винюсь пред вами, и страсть эту, как ни старался я превозмочь, не мог никак. Что делать! кто пред богом не грешен!

Сосед вторично вздохнул.

«Наконец,— подумал я,— верно, страсть к этой девушке».

— Живали вы когда в деревне?— спросил меня Захар Иваныч.

— Живал.

— А долго ли?

— Случалось жить и долго.

— Однако ж как?

— По нескольку месяцев.

— А не сорок лет сряду?

— Нет, сорока лет не случалось.

— То-то же, почтеннейший! так вы не знаете, что значит деревенская жизнь. Нешто первые годы: жена молодая, устройство дома, сад и прочие затеи — все это берет время и занимает. Завел было я домашний оркестр; ну, признаюсь, прелесть что за музыка! Бывало, дает ли бал дворянство — где взять музыкантов? у Захара Иваныча! Именины ли у городничего, у предводителя... или приедут в город комедианты — опять-таки к Захару Иванычу... и самолюбию, знаете, льстило. С другой стороны, быть первым в околотке — также недурно! Да в доме ткались ковры, мальчишки-то, музыканты мои, как выросли, так наделали таких хлопот, что хоть вон беги. Я оркестр побоку.

— Следовательно, страсть, в которой вы хотели повиниться, была не к музыке?

— Какая тут музыка!— отвечал сосед.— Бог с нею; стоит она, чтоб порядочные люди имели к ней страсть; нет, батюшка, не к музыке, а к собачкам (Захар Иваныч щелкнул языком и в то же время пальцами); вот к ним-то, голубушкам, у меня, признаться, такая страстишка, что хоть умирай. Да что с вами говорить: ведь вы и не поймете.

— Почему ж? я сам люблю охоту.

— Не знаю я разве, как ваша братья охотятся: небось по-аглицки, на бекасиков да на всякую мелочь; с ружейцем — тибо, да адрет! (Земляк скорчил прежалкую физиономию.) Был у меня приятель,— продолжал он,— такой же франт, как вы; вот раз он и говорит мне: попробуй, брат, так и слюбится; я и послушал — что ж вышло? протаскал он меня только что не целые сутки по такому болоту, что я и сапоги-то там оставил, а в довершение всего, бог его знает, принял ли он меня за бекаса или за какую другую

птицу, только и до сей минуты я по его милости ношу с ползаряда мелкой дроби в левом боку... и это вы называете охотиться? Хороша охота, нечего сказать! Нет, сударь, по-нашенски, как снимут хлеб да запахнет на дворе русаком, чуть зоричка — накормишь собак да оседлаешь коней, выпьешь чарку водки да и марш в отъезжее месяца на три... вот это охота!

Глаза земляка разгорелись как уголья и щеки запылали. И чего бы не дал Захар Иваныч в эту минуту за свои родные поля, за пеструю стаю гончих и за серый денек нашей русской осени!

— Надоел я вам, почтеннейший?— спросил меня после некоторого молчания сосед.

— Не только не надоели, но я слушаю вас тем с большим удовольствием, что сам страстно люблю всякого рода охоту, преимущественно псовую.

— Вы страстно любите, вы?— воскликнул с восторгом Захар Иваныч,— не может быть!

— Уверяю вас.

— Так вы постигаете то наслаждение, которое чувствуешь, когда после долгого ожидания вдруг где-нибудь в большом острову отзовется сначала одна гончая, а за ней закипит и зальется вся стая, и ты сломя голову скачешь на перелаз и видишь, как крадется косой по опушке,— вот выскочил на поляну, выставил ухо и слушает, а стая на хвосту; «шалишь, брат, не высидишь!» а борзые-то, борзые... Ну, понимаете ли теперь, почему я женюсь?

— Нет, не понимаю.

Захар Иваныч встал с постели, подошел к дверям, заглянул в коридор и, возвратясь на прежнее место, уселся так близко ко мне, что я должен был отодвинуться.

— У нее, сударь мой, триста пятьдесят душ родовых да чистоганчиком наберется тысчонок около сотенки, в то время как у меня фу, фу, фу! Вот что-с!— прибавил земляк, взявшись за бока и раскачиваясь на стуле.

Слушая его, я стал понимать еще меньше. Девушке с независимым состоянием, красотой и молодостию решиться избрать человека, подобного Захару Иванычу, казалось мне не только сумасшествием, но даже делом непостижимым. За что же такое чудо совершается для Захара Иваныча, а не для другого, достойнейшего? за что же судьба, наделяя, к несчастию слишком редко, свои создания

теми наружными совершенствами, которые отражались на нелживом дагерротипном портрете, и совершенствами, почти всегда соответствующими внутренним достоинствам, не начертает избранным своим путей достойнейших? Неужели такое прекрасное создание пройдет жизнь незамеченным, неоцененным? Сколько людей заплатили бы кровью за счастие обладать подобным сокровищем! Многие бросили бы к стопам ее груды золота, разделили бы с ней и блестящие имена, и значение в свете, и почести! Нет, вопреки русской пословице, судьба хуже индейки, говорил я сам себе. Судьба — лотерея. Тут я невольно вспомнил о петербургском трактирном маркёре, выигравшем в польской лотерее девятьсот тысяч злотых. Маркёр сначала заболел от радости, а выздоровев, нанял в том же трактире грязную каюту и продолжал проводить все дни свои в бильярдной, считая очки не по обязанности, а из удовольствия. Вот то наслаждение, которое извлек маркёр из посланного ему судьбой сокровища!

— В половине сентября,— продолжал сосед,— окончится моей покойнице ровно полгода. До того времени мы полечимся на водах, а в октябре веселым пирком да и за свадебку.

— Вам лечиться на водах? Смотрите, Захар Иваныч, чтоб не случилось того, что в Теплице.

— Кто вам говорит про меня! не мне, а ей, от затвердения что ли велели лекаря попить карлсбадской воды.

— Вашей невесте?— спросил я.

— Ну да, невесте.

— И она будет сюда?

— Разве на возвратном пути, теперь же самое время лечения, и вряд ли она выедет из Карлсбада до половины августа.

— Но где же невеста ваша?

— Говорю вам: в Карлсбаде,— отвечал сосед,— тьфу какой рассеянный! Толкую ему тысячу раз одно и то же, а он думает себе о другом и удивляется, что ничего не слышит! Говорят вам, что она пробудет там до пятнадцатого августа; ну, понял ли?— сосед засмеялся.

— Не понимаю.

— Опять не понимаете?

— Конечно не понимаю, как вы можете таскаться по Теплицу и Дрездену, когда невеста ваша в Карлсбаде. Да я

на вашем месте пешком бы побежал к ней... Ну, что вы тут делаете?

Захар Иваныч хохотал, продолжая качаться на стуле, потом, как бы очнувшись, вдруг спросил меня: хочу ли ехать с ним вместе?

— Куда?

— В Карлсбад.

— Вы смеетесь?

— Нимало.

— А если б я согласился?

— Так едемте.

— Когда?

— Завтра.

— Вы меня дурачите, сосед.

— Ничуть! сейчас же посылаю прописать паспорт, расплачусь с Гайдуковым и к вашим услугам.

Если бы дело шло не о невесте Захара Иваныча, я бы, кажется, задушил его от радости; но, понимая, что излияние чувств моих могло только повредить моим планам, я просто изъявил согласие на желание соседа, представив, впрочем, предварительно с полдюжины пустых невозможностей.

Мы расстались в восхищении друг от друга. Он неоднократно заключал меня в свои жаркие объятия, смеялся и жал мне руку; я был по наружности холоден, зато в душе радовался как ребенок.

Вся ночь прошла в самых заманчивых мечтах и сновидениях. Сколько раз в продолжение этой чудной ночи дагерротипный портрет красавицы, мгновенно оживляясь, начинал мне улыбаться! сколько раз, выходя из серых бумажных рамок портрета, невеста Захара Иваныча являлась предо мной во всей роскоши живого прелестного существа с глазами, полными страсти! я трепетно протягивал к ней руки и бил их немилосердно то об стену, то об дверь, просыпаясь же переходил к рассуждениям, которые — увы!— клонились далеко не к спокойствию и не к счастию нового друга моего, Захара Иваныча.

Настало утро, и часу в восьмом я почувствовал, что кто-то коснулся моего плеча. Открываю глаза — предо мной горничная.

— Какой-то пожилой господин желает говорить с вами,— сказала она мне, показывая на дверь.

Я накинул на себя халат, соскочил с постели и приказал просить.

В комнату вошел чопорный старичок, белый как лунь, в широком фраке старинного покроя, в белом галстухе с пребольшим жабо. Он на немецком языке извинился, что беспокоит меня так рано; но дело, о котором имел он переговорить со мной, было, по его мнению, так важно, что он мог позволить себе такого рода невежливость.

Я пододвинул гостю кресло и просил его сесть. Старик дождался выхода горничной, пристально посмотрел на меня и начал речь свою как с кафедры.

— Вы русский?— сказал он.

— Точно так.

— Вы благородный человек, а сделали ужасное дело,— проговорил старик.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Да, ужасное,— повторил он,— и это дело, которое для вас, конечно, шутка, повергло в отчаяние честное и доброе семейство.

Любопытство мое дошло до высшей степени. Я хотел по крайней мере узнать, в чем состоял поступок мой и кого привел в отчаяние, но старик не дал мне опомниться и продолжал:

— В отчаяние, говорю я, потому что глаза мои не смыкались с тех пор, а бедная жена не переставала плакать!

Гость-оратор возвел и взор и руки свои к потолку.

— И вы уверены, что причиной всех этих несчастий — я?— спросил я.

— Уверен ли?— повторил старик,— зачем же было бы мне приходить сюда?.. К тому же он никогда не лгал, мое бедное дитя.

— Ваше дитя?

— Да, мой сын, единственный сын, моя надежда, мое утешение, или, точнее, наше утешение, потому что у него есть и мать, нежная мать.

— Позвольте, однако же, спросить, с кем я имею честь говорить в эту минуту?— перебил я, вставая.

Я был уверен, что гость мой ошибся дверью, и драма начинала мне надоедать.

— Я Христиан Зельфер,— отвечал старик.

— Как? отец Александра-Фридриха Зельфера?

— К несчастию, да!

— Я видел сына вашего вчера.

— Его привезли ко мне от вас в отчаянном положении: он был пьян.

— От нескольких стаканов шампанского!— воскликнул я с удивлением.

— От нескольких стаканов?!— повторил с ужасом старик,— и в дитя мое влили несколько стаканов?

— Не влили, а он выпил их с одним из моих соотечественников.

— С извергом, с злодеем, с искусителем, с развратителем юношей, существ неопытных! и вы говорите об этом, милостивый государь, с таким убийственным хладнокровием? и вы смотрите на все это равнодушно?

Старик заплакал.

Как ни забавно-странны казались мне в эту минуту саксонские патриархальные нравы, тем не менее старик заслуживал полного участия, потому что слова и слезы его были искренни; а чувствуя то, что говорил, он не мог не страдать ужасно: он привык видеть в единственном, сорокапятилетнем сыне послушного и невинного юношу, и потому первая шалость, первый проступок этого сына должны были несомненно поразить как ум, так и сердце родителя. Я употребил все средства, чтобы успокоить старого Зельфера: уверял его, что случай этот не может иметь для детища его никаких дурных последствий, что приятель мой не только не имел намерения сделать дурное дело, а, видя в первый раз молодого человека, хотел, по русскому обычаю, угостить его.

— Но вы не знаете главного моего несчастия,— перебил дрожащим голосом старик,— вы не знаете, что Александр, который, как я уже вам сказал, никогда не лжет, сознался мне, отцу, что ему понравилось шампанское и что опьянение очень приятное чувство; он прибавил — представьте себе!— что вряд ли откажется и в другой раз от подобной проделки, и во всем этом признается сын мой чистосердечно! Послал же на меня бог такое несчастие!

Старик снова залился слезами.

Я не имел еще времени ничего придумать для успокоения Зельфера, как дверь из коридора распахнулась и на пороге показалась монументальная фигура Захара Иваныча. Он был в своем ситцевом халате, в торжковских шитых золотом сапогах и в голубой полубархатной, обделанной

бисером шапочке; в руках держал он один из знакомых мне жасминных чубуков с перышком. При появлении Захара Иваныча старый Зельфер утер поспешно глаза, медленно привстал и поклонился. Земляк отвечал на поклон легким наклонением головы и спросил у меня прегромко, кто этот антик. Я назвал гостя, надеясь, однако же, что земляк не вспомнит сына и избавит тем меня от возобновления драмы, но не тут-то было: едва я произнес имя старика, как лицо Захара Иваныча оживилось радостию.

— Ба!— закричал он,— уж не отец ли этот вчерашнего?..

И, не дав мне произнести ни одного слова, сосед обратился к старику.

— Ир зон тринкен гут, зер гут![1]— сказал Захар Иваныч, трепля гостя по плечу.

Зельфер сначала не совсем понял, но сосед знаками и словами добился-таки того, что старик догадался, с кем имеет дело, и брови его начали сдвигаться.

Предвидя последствия несчастной встречи раздраженного отца с искусителем сына, я почел за лучшее предоставить им все поле сражения и вышел вон из комнаты, затворив за собой дверь.

Прохаживаясь скорыми шагами по длинным коридорам гостиницы, я с беспокойством поглядывал в ту сторону, откуда, по мнению моему, должен был или раздасться крик, или появиться один из гостей моих. Прошло с четверть часа, но крику не раздавалось и никто не появлялся. Я подозвал горничную и просил ее взглянуть, что делается в моем нумере; возвратясь, она объявила, что толстый русский объясняет что-то старику немцу и оба смеются. Не поверив горничной, я сам пошел, желая лично удостовериться в справедливости слов ее: действительно, я застал обоих в самом веселом расположении духа; сосед махал руками и, примешивая к цельным русским фразам немецкие слова, рассказывал что-то Зельферу на таком наречии, которое определить было крайне трудно; в свою очередь старик мерными наклонениями головы показывал, что понимает, и улыбался. «Что за чудо?»— подумал я и стал вслушиваться: речь шла о преимуществе малороссийских сукон перед английскими.

---

[1] Ваш сын пьет хорошо, очень хорошо *(искаж. нем.)*.

— Друг ваш прелюбезный и превеселый человек,— сказал мне старик, когда земляк кончил свой рассказ.— Объясните ему, пожалуйста, по-русски, что я ему крайне обязан.

Я посмотрел на Зельфера с удивлением.

— Каким чудом превратили вы, соседушка, родительский гнев в благодарность?— спросил я у земляка.

— Какой гнев?

Вместо ответа я передал соседу со всеми подробностями предыдущую сцену мою со стариком.

— Да ведь и мне, почтеннейший, крайне досаден этот случай,— сказал земляк: знай я только, что сын его не пьет вина, стал ли бы я настаивать, господь с ним; да кому же, посудите сами, войдет в голову, что есть на свете такая страна, в которой пятидесятилетних малых водят на помочах и только что не кормят грудью. Забавно, в самом деле! не смей и поднести рюмки вина такому дитяти... Ай да народец! Впрочем, это ничего.

— Как ничего?

— Ничего,— повторил Захар Иваныч,— я научил старика самому простому средству предохранить дитятко от пьянства.

— А в чем состоит этот способ?

— В совершенных пустяках, в таком вздоре, что, право, смешно: надобно взять рюмку водки или вина и впустить в нее три капли крови слепого котенка.

— Что?— спросил я, принимая слова соседа за шутку.

— Надобно взять рюмку водки или вина,— повторил серьезно сосед,— и, впустя в нее три капли крови слепого котенка, дать выпить.

— И этот способ успокоил старика?

— Совершенно. Да как же иначе? я, по крайней мере, никогда другого средства не употреблял с пьяницами.

— Ваш способ удавался вам?

— То есть как вам сказать, не то чтобы каждый раз, а удавался-таки!

Не желая поселить сомнения в отце юного Зельфера, Захар Иваныч произнес последние слова вполголоса, и как ни нелеп был способ земляка, но способ этот уничтожил до основания все беспокойства в сердце нежного родителя Александра-Фридриха, следовательно, и возвратил семейству его утраченное им счастие. Старик просидел у меня с

полчаса, расстался с нами как с друзьями, а мы с соседом принялись за укладку наших чемоданов и за все приготовления к отъезду в Карлсбад.

Решившись отправиться из Дрездена с вечерним поездом по железной дороге, мы заказали обед к трем часам и пригласили разделить его с нами Степана Степаныча Выдрова.

Все утро прошло в хлопотах, а в три часа я вошел в столовую; в ней ожидала меня новая сцена, нимало, впрочем, не похожая на утреннюю. У накрытого стола смирно сидел бледный, желтый и трепещущий как лист Выдров. Захар же Иваныч расхаживал по зале с такою скоростью, в таком гневе и с таким багровым лицом, какого я еще не видывал на соседе. У окна стоял Гайдуков, а поодаль от Гайдукова вся мужская и женская прислуга гостиницы.

— Что это с вами?— спросил я с беспокойством у соседа.

— Разбой и больше ничего!— отвечал, продолжая ходить, Захар Иваныч.

— Но объясните наконец, в чем дело?

— А вот, взгляните-ка на счет,— сказал Захар Иваныч, передавая мне предлинный кусок бумаги, исписанный очень мелко.

— Сорок три талера в три дня, это много!— сказал я, взглянув на итог.

— Обыкновенная цена всему, поверьте,— заметил униженно Гайдуков.

— Дело не в сорока трех талерах и не в цене,— перебил, пыхтя, Захар Иваныч,— кому какое дело до того, что я много истратил или мало! а курьезно заплатить за ночлег Трушки по два талера в сутки, и за стол его столько же.. вот что курьезно так курьезно!

— Как за ночлег?— воскликнул я.

— Так взгляните на счет: ну, видите: 27-го нумер, то есть мой, полтора талера, за нумер слуги два и селедка, селедка, селедка и раки ему же — полтора талера; 28-го за мой нумер полтора, за нумер слуги два талера, селедка, селедка, селедка и раки — полтора; 29-го за мой нумер полтора, за нумер слуги два, селедка, селедка, селедка и раки — полтора; 30-го... сегодня ночлега, правда, не было, зато была селедка, селедка, то есть прибавь еще селедку и

раки,— и опять полтора... каково?— спросил сосед, бросая счет на пол.— Ну, я у вас спрашиваю, каково?

— Помилуйте, моя ли вина, ежели вам угодно было поместить слугу вашего в большом нумере, что противу лестницы?— сказал Гайдуков.

— И ты смеешь еще оправдываться?

— Я не оправдываюсь, а только докладываю вам, что в первую ночь он приказал именем вашим пустить его в пустой нумер, а нумер ходит по два талера в сутки, всем известно,— прибавил Гайдуков, показывая на прислугу,— что же касается до кушанья, так это была ваша воля и вы лично изволили мне приказать отпускать ему преимущественно русские кушанья, а коли так, то что же может быть лучше, как не селедочка-с и раки.

Последние слова произнес Гайдуков шуточным тоном.

Я невольно вспомнил полуночный разговор соседа моего с Трушкой и чуть не лопнул со смеху. Гайдуков был не совсем не прав, потому что я действительно слышал, как Трушка изъяснял барину о своем намерении попроситься в пустой нумер, на что Захар Иваныч хотя и не отвечал утвердительно, но и не сказал «нет»; полагаю, что и земляк припомнил это обстоятельство, потому что, не отвечая на объяснение Гайдукова, он с сердцем вынул из кармана длинный кожаный мешок, достал из него горсть золотых монет и отсчитал сколько следовало по счету.

Гайдуков взял золото и пустился было любезничать, но Захар Иваныч топнул ногой и указал на дверь.

Почтенный хозяин гостиницы не заставил повторить немого приказания и вышел из столовой, склонив почтительно голову перед справедливым гневом грозного земляка.

Захар Иваныч предложил своего Трушку в сопутники Выдрову, который, пользуясь благоприятными обстоятельствами, не отказался, но упомянул о дорожных издержках на возвратном пути, оценяя их приблизительно во сто пятьдесят франков, на что сосед отвечал восемью золотыми, и тем кончился прощальный обед наш в Дрездене.

В пять часов пополудни кондуктор железной дороги протрубил сигнал к отъезду, и мы покатили в Лейпциг. В продолжение всего переезда Захар Иваныч, находясь еще под влиянием гайдуковского счета, не промолвил ни одного слова; мы переночевали в лучшей гостинице, а на другой

день я показал земляку все, что было замечательного в городе. Между прочим, в Лейпциге есть сад, чрез который протекает Эльстер. В этой речке, как всем известно, утонул граф Понятовский, которого седло, стремя и шпоры показывают посетителям за два цванцигера с особы; дети не старее десяти лет платят половину. Захар Иваныч кстати заметил, что подобные редкости родители должны были бы показывать детям своим прежде, чем они достигнут десятилетнего возраста.

От Лейпцига до Цвиккау мы проехали по железной дороге, а в этом городке наняли почтовую коляску и отправились прямо в Карлсбад. Дорога эта очаровательна: то извивается она вдоль каменного берега живописного ручья, то, взбегая на зеленый холм, пробирается между высоких сребристых тополей и, коснувшись крыльца гостеприимной фермы, уклоняется в сторону и снова прячется в чаще виноградных лоз. На каждом шагу новая картина представляется взорам проезжающего.

Из всех этих мест замечательнее прочих высокая и крутая гора Шнееберг. Отвесную высоту ее определяют семью тысячами футов.

Подъехав к таможне, мы остановились; я вручил везшему нас немцу наши паспорты и приказал вынуть из коляски чемодан.

— А вы разве непременно хотите, чтобы их осматривали?— спросил почтарь.

— Нимало не хочу, но думаю, что это необходимо.

— Необходимо? полноте,— продолжал, смеясь, почтарь,— дайте по два цванцигера — вот и все.

Я последовал совету опытного немца и вручил ему требуемую им сумму, которую он преспокойно понес в заставный дом.

По прошествии нескольких минут шлагбаум взвился; еще несколько часов езды, и карлсбадские трубы возвестили жителям этого города о нашем прибытии.

Карлсбад построен в глубоком ущелье, опоясанном цепью гранитных скал, за скалами поднимаются к небу три крутые горы, покрытые сосновым лесом. Карлсбад обязан существованием своим оленю. Вот что повествует о том легенда: в XIV столетии император Карл IV, охотясь в дремучем лесу, напал на огромного оленя; измученное долгим преследованием собак, бедное животное бросилось с высокого

каменного утеса в бездну и исчезло. Сбитая дерзким прыжком оленя, стая затеряла след и остановилась. Император приказал отыскать пропавшего зверя, и после долгих и тщетных розысков оленя нашли сваренным в горячем ключе, о существовании которого до той минуты никто не имел никакого понятия. Впоследствии император лишился употребления ног; врачи его вспомнили о ключе, и первый опыт кипучих вод его исцелил Карла. Ключ назван Шпруделем[1], а утес, с которого соскочил несчастный олень, и до сих пор зовется Гиршеншпрунг[2]. Все же прочие карлсбадские ключи суть не что иное, как дети Шпруделя.

Речка Тепель, изобилующая форелью, разделяет город на две части; правый берег реки, названный Визою, служит гуляньем аристократическому карлсбадскому обществу; дома, большею частию построенные для летнего времени, высоки, красивы и все без исключения украшены пребольшими вывесками, одна другой замысловатее, как-то: «Синяя щука», «Золотое руно», «Ласточки», «Воробьи», «Вильгельм» и т. п. Мы поместились под гостеприимными крыльями «Белого лебедя». Хозяин дома, честный и добрый старик, игольный мастер и в то же время капитан гражданской гвардии, встретил нас с распростертыми объятиями. В доме его я провел всю прошедшую весну. Он предложил мне мою прежнюю квартиру, обращенную окнами на Визу и мост, а земляку отвел три комнаты в одном со мной этаже.

Пока я разбирал чемодан, Захар Иваныч успел не только познакомиться с капитаном-игольщиком, но даже приучил его понимать себя.

На вопрос, намерен ли земляк идти к своей невесте, он отвечал, что не знает адреса, а если бы и знал, то не пошел бы до завтрашнего утра. Чем короче я знакомился с моим единоземцем, тем менее удивляли меня его выходки, а потому я ограничился советом поручить хозяину справиться о месте ее жительства.

Захар Иваныч вытребовал лист бумаги и нацарапал на нем крупными и кривыми буквами: девица Анна Фадеевна Трущобова, дочь губернского секретаря. Я перевел адрес на немецкий язык и вручил его капитану, прося не замедлить исполнением поручения.

---

[1] Ключ, минеральный источник *(нем.)*.
[2] Прыжок оленя *(нем.)*.

Как мало согласовалось имя с красотой моей знакомой незнакомки! И думала ли она в эту минуту, что я, посторонний человек, взглянув случайно на портрет ее, прискакал в Карлсбад единственно для того, чтобы взглянуть на прелестный оригинал портрета? чувствует ли она, что все мысли мои стремятся к ней и сон давно бежал от глаза? И люди смеют уверять, что красота отдельно от всех прочих достоинств не может внушать страсти! Как же назвать то чувство, которое заставляет ездить из Дрездена в Карлсбад без всяких затвердений в печени, почках, селезенке, и притом в сообществе Захара Иваныча? как же назвать то чувство, которое возбуждается дагерротипным портретом? как же назвать его, повторяю я, как не любовью, не страстью?

Земляк лег заснуть, а я умылся, оделся и пошел на Визу. На ней толпилась куча гуляющих; у самого берега Тепеля вкруг столов сидело множество дам; около каждой из них жужжал целый рой кавалеров; одни любезничали, другие смеялись, а я вспомнил прошлое, и мне стало грустно! С чем может сравниться то чувство, которое ощущаем мы при встрече нашей с знакомыми местами? Как красноречиво пересказывают нам наше прошлое безмолвные стены домов, где живали некогда друзья или женщины, нами любимые, где протекло несколько лет беспечной юности,— то же чувство ощущал я, идя вдоль Визы: давно ли, кажется, такая-то дверь отворялась передо мной ежедневно, в такой-то лавке покупался всякий вздор, а на такой-то скамейке, просиживая по целым вечерам, мечтали мы о несбыточном! сколько вздохов слышала эта самая Виза... и все прошло, и прошло невозвратно!

Прохаживаясь в подвижной массе незнакомых лиц, я набрел наконец на жидовскую фигурку Боргиуса, преплохого врача, посещавшего меня некогда по нескольку раз в сутки.

— Herr Graf![1]— воскликнул он, завидев меня.

Г. Боргиус называл всех пациентов своих графами.

— Откуда? давно ли? надолго ли?— кричал он, сжимая крепко мои руки.

— Из Дрездена, сегодня и на несколько суток,— отвечал я врачу.

[1] Господин граф! *(нем.)*.

— Но как вы пополнели, поздоровели!

— Право?

— Узнать нельзя!

И Боргиус засыпал меня новыми вопросами, на которые я не успевал отвечать.

— Что же у вас поделывается?— спросил я в свою очередь.

— Все благополучно и идет своим порядком,— отвечал врач.

— Каково здоровье того бедного австрийского графа, которого я, помнится, оставил едва живым?

— Граф умер в то же лето.

— Жаль! Ну, а барыня с известковым лицом?

— И барыня умерла.

— Также умерла? и барыню жаль. Скажите же мне по крайней мере, доктор, здравствует ли тот забавный старичок, что заставлял мальчишек бегать на приз?

— Но он лечился не у меня.

— Все равно! Мне любопытно знать, где он и что с ним?

— Здоров совершенно и по-прежнему проказит. Нынешний год,— продолжал он,— у нас множество приезжих и дня не проходит без бала или праздника.

— А русских много?

— Нельзя сказать. Впрочем, если хотите, я назову вам некоторых.

— Сделайте одолжение!

Сердце мое забилось сильнее.

— Во-первых,— продолжал Боргиус,— старуха-графиня N с двумя дочерьми и сыном; у графини пухнут ноги; дочери хорошенькие. Потом, тот седой барин, который, помните, любил, чтобы его называли генералом.

— Как не помнить!

— Еще два брата... фамилия мудреная... богатые люди, у одного завал в печени: он пьет воды; другой пьет водку.

— Еще же кто, доктор?

— Еще,— повторил Боргиус,— несколько русских, которых не знаю, и недавно приехавшая из Дрездена молоденькая дама.

— Девушка?— спросил я.

— А уж не знаю, девушка или дама, но прехорошенькая.

— Фамилии не помните?

— Слышал, слышал, даже читал в листке, но запомнить никак не мог.

— Не Трущобова ли?

— Может быть.

— И вы говорите, что она приехала одна?

— Вероятно, с горничной.

— Кто ее лечит?

— Некто Вульф, прусак.

— Не знаете ли по крайней мере ее собственного имени?

— Нет, не знаю.

— Вы несносный человек, доктор!

— Помилуйте, мог ли я знать, что дама эта вас интересует,— отвечал, смеясь, Боргиус,— к завтрему обещаюсь расспросить обо всем подробно и сообщить вам на утренней прогулке.

Разговаривая с врачом, я незаметно прошел всю Визу и очутился на дороге, ведущей в Постгоф; влево от нас струился Тепель; вправе подымалась гора, обложенная у подошвы рядом каменьев с различными надписями. Общий смысл их состоял в благодарности Карлсбаду за излечение от болезней. Каждый раз, как Боргиус снимал шляпу или останавливался, я невольно вздрагивал; в числе знакомых Боргиуса встречались шляпки, и тогда биение сердца моего усиливалось: под каждой из них я искал черты дагерротипного портрета!

В Постгофе я предложил медику чашку кофе и приказал приготовить его на одном из столов, стоявших в саду. С этой точки видны были все лица гуляющих. Постгофом называется загородная гостиница, отстоящая от Карлсбада на расстоянии немецкой полумили. Дорога, соединяющая эти два пункта, пролегает частию по самому берегу Тепеля, частию по долине, лежащей между живописных холмов, покрытых лесом, извилистыми дорожками и павильонами. По известным дням у Постгофской гостиницы играет музыка и сад наполняется множеством людей всех сословий и возрастов; в день же моего приезда музыки в Постгофе не было, и лишь изредка показывалось кое-где несколько гуляющих. Начинало смеркаться, когда Боргиус вдруг толкнул меня локтем и указал на одну из проходивших мимо нас дам.

— Вот она,— шепнул он мне.

Я оглянулся, но лица ее уже не было видно. Бросив на стол мелкую монету, я в сопровождении врача отправился догонять незнакомку. На ней было шелковое железного цвета платье с пелеринкою такого же цвета и соломенная шляпка. Поравнявшись с дамою, я повернулся в ее сторону; хотя нижняя часть лица была закрыта зонтиком, но глаза, глаза принадлежали портрету: я узнал их потому, что сердце мое судорожно сжалось; оглянуться вторично я не имел духу.

Проходя скорыми шагами вдоль реки, я не замечал ни несчастного Боргиуса, бежавшего со мной рядом, ни темных туч, бежавших к нам навстречу, как вдруг крупная капля воды упала мне на нос, а за нею прыснул такой дождь, что по прошествии нескольких минут не осталось на нас ни одной сухой нитки. Я прибежал домой, переменил платье и отворил окно.

Туча промчалась; догоравшее солнце заблистало на металлических шпицах церквей и отразилось пламенем в окнах высоких домов. Недавно опустелая Виза начала снова наполняться гуляющими.

Смотря на все это, я невольно предался самым поэтическим мечтам и предпочитал магнитический взгляд встреченной мной дамы бесцветным глазам дагерротипа; я думал уже не о портрете, а о самой Анне,— о ручке Анны, о талии Анны и о всех движениях ее гибкого стана.

— А вот и адрес,— раздалось у моего уха, и мне предстал Захар Иваныч.— Спасибо господину капитану-игольщику,— продолжал сосед,— место жительства открыто, и представьте себе, почтеннейший, что в пяти шагах отсюда.

— И вы нейдете?— спросил я.

— А как вы думаете, сходить надобно?

— Надеюсь.

— Не хочется одеваться,— сказал, потягиваясь, земляк.

Я пожал плечами и отвернулся. Захар Иваныч становился невыносим.

— Разве сходить?— повторил он,— как вы думаете?

— Я думаю, Захар Иваныч, что на вашем месте я не позволил бы себе войти ни под какую крышу прежде, чем не узнал бы лично о здоровье той женщины, которая готовится составить ваше счастие. Вот мое мнение.

Земляк вздохнул, зевнул и лениво потащился в свои

комнаты; а я вздохнул еще глубже и остался один. «По совести,— думал я,— ну, стоит ли он, чтобы хорошенькая ручка Анны касалась его медвежьей лапы и чтобы сама Анна... страшно вымолвить... принадлежала ему!»

Вплоть до ночи просидела у меня толстая супруга моего хозяина, она вязала одеяло и рассказывала что-то, я слушал хозяйку и не слыхал из рассказа ее ни полслова. Часу в двенадцатом мы расстались, и я лег в постель. Вписав в путевую тетрадь все происшествия и впечатления последних трех дней, я хотел было потушить свечу, как дверь отворилась и появился Захар Иваныч; на нем был сизого цвета сюртук, пестрый жилет и коричневые панталоны; лицо его было красно и мокро.

— Ну, что новенького?— спросил я, усаживая соседа на стул.

— Уф, как утомился! Дайте дух перевести,— отвечал он, расстегивая жилет,— проклятая лестница: ступень будет с полтораста, да здесь не дома, а голубятни.

— Невесту видели?

— Как же! видел слегка.

— Как слегка?

— Измочилась до костей, простуда, должно быть, сильно кашляет и жар.

— Следовательно, она гуляла в этот дождь?

— Дождь застал ее в версте отсюда. Ба! чуть не забыл! ведь вы, почтеннейший, ее встретили.

— Кто вам сказал, Захар Иваныч?

— Она сама; этого мало: она узнала вас, то есть когда я рассказал ей, что мы приехали вместе; ну, бранил, разумеется, говорил: урод, маленький, низенький, горбатый (земляк расхохотался); словом сказать, только я кончил описание, как Анюта и говорит мне, что повстречала вас вдвоем с одним из здешних докторов, ведь правда?

— Действительно, я прогуливался с доктором Боргиусом. Когда же вы, Захар Иваныч, представите меня вашей невесте?

— Когда хотите: всегда рад.

— А рады, так завтра.

— С удовольствием. Анюта просила меня об этом; она, знаете, добрая такая, у нее вам будет не скучно, а короче познакомитесь, будете вместе гулять, иногда вечерком и преферансик составим, а?

Никогда еще сосед не казался мне таким добрым человеком, как в эту минуту. Картина будущей жизни нашей в Карлсбаде была им описана так завлекательно, что, думая о ней, я не мог заснуть до четырех часов утра. В шестом же весь Карлсбад подымается обыкновенно на ноги и больные расходятся по источникам.

Бо́льшая половина общества осуждена пить из Терезиенбруна, которого воды несравненно прохладнее прочих ключей.

Ровно в шесть часов сошел я с лестницы и направил стопы к Шпруделю, ближайшему от меня источнику. Вкруг кипучего фонтана толпились бледные как тени полумертвецы обоего пола; с жадностию и кашлем глотали они кипяток и не ходили, а таскались вдоль деревянных галерей, окружавших источник. Ничто не может быть неприятнее этого живого кладбища, этого сочетания болезней и музыки. Не останавливаясь ни на минуту, я побежал к Терезиенбруну; тут характер картины совершенно изменился: за исключением малого числа полубольных, все то, что проезжает чрез Карлсбад, поставляет себе в непременную обязанность являться на утреннее Терезиенбрунское гулянье. Редко встречаете вы на нем серьезные лица, общий говор и громкий хохот прерываются изредка завлекательной полькой или галопом Лабицкого.

Глаза мои искали Боргиуса, но Боргиуса не было. Поместясь у одной из колонн павильона, построенного над самым ключом, я устремил все внимание на единственный вход в сад; кругом меня теснилось множество кавалеров и дам, ожидавших своей очереди со стаканами в руках. Тысячи немецких острот, одна другой площе, долетали до моего слуха; нередко французские и английские фразы менялись с немецкими, но ни одного русского слова я не слыхал. Вдруг «Excusez, monsieur!»[1] произнес у плеча моего такой голос, от которого я невольно вздрогнул.

Странно, голоса этого я никогда не слыхал; мимо меня проскользнула дама; я взглянул на шляпу и чуть не крикнул от радости: соломенную шляпку эту видел я вчера на Анне. С нею разговаривал мужчина лет сорока с густыми черными бакенбардами, и до меня долетело несколько слов.

[1] Простите, сударь! *(франц.)*.

— Aussi je vous dis, monsieur, que je me sens très mal[1],— сказала дама.

— Quelle imprudence! quelle imprudence![2]— повторил кавалер, качая головой.

В это время новый прилив толпы оттолкнул меня в сторону и помешал дослушать разговор, который начинал меня интересовать.

— Кто этот брюнет с черными бакенбардами?— спросил я у стоявшего подле меня господина.

— Что говорит с дамой в соломенной шляпке?

— Да,— отвечал я.

— Это доктор Вульф.

— А даму вы знаете?

— Нет, не знаю, но встречал не раз.

— Кто она, и какой нации?

— Мне говорили, что русская,— отвечал господин.

Поклонившись незнакомцу, я отошел от павильона и, не спуская глаз с соломенной шляпки, начал ходить взад и вперед по широкой песчаной дорожке, пролегающей у самого источника.

Допив свой стакан, дама повернулась в мою сторону. Несмотря на расстояние, нас разделявшее, бледность лица ее поразила меня; я вспомнил ее разговор с доктором, и нетрудно было догадаться, что дело шло о какой-то неосторожности, в которой упрекал ее Вульф. «Неужели она серьезно больна?»— подумал я и чувствовал, что при одной этой мысли вся кровь застывала в моих жилах. Дама пошла к выходу, я побежал за ней; на лестнице из галереи на улицу даму остановила какая-то старуха; я прошел мимо и повернул направо; напрасно оглядывался я на каждом шагу, напрасно возвратился к источнику: ее не было нигде. Я вспомнил, что из галереи можно было выйти в противоположную сторону, выбранил мысленно старуху, разлучившую меня с моею Анною (я говорю *моею* потому, что, по мнению Трушки, что я, что Захар Иваныч — совершенно все равно), и, взбешенный, отправился домой. На первом перекрестке меня чуть не сшиб с ног бежавший Боргиус.

---

[1] Должна вам сказать, мсье, что я себя очень плохо чувствую *(франц.)*.

[2] Какая неосмотрительность! какая неосмотрительность! *(франц.)*

— Куда это вас?..— спросил я, хватаясь за него обеими руками.

— Бегу к Вульфу.

— Зачем?

— Затем, чтобы спросить имя русской дамы.

— Не нужно,— отвечал я,— вы опоздали.

— В таком случае бегу за самим Вульфом,— сказал Боргиус.

— На что он вам?

— У меня случилось маленькое несчастие.

— Что такое?

— Вздор, а все-таки лучше пригласить побольше медиков. Один из моих пациентов объелся третьего дня чего-то жирного, и у него сделались спазмы; я прописал рвотного — больному сделалось хуже, я повторил средство — смотрю, еще хуже.

— Как же вы вчера не сделали консилиума?

— Думал, пройдет.

— Бедный пациент!

— Право, думал, пройдет,— наивно повторил врач.

— Есть ли же по крайней мере надежда спасти его?

— Надежды нет никакой, правда, но знаете ли отчего?

— От дурного лечения, вероятно?

— Не от дурного лечения, потому что все доктора в мире приписывают от порчи желудка рвотное: это средство признано лучшим.

— Была ли же у больного порча желудка?

— Вот в том-то и сила, что нет,— сказал, смеясь, Боргиус,— а было воспаление в кишках, что далеко не все равно; и знай я, что у него воспаление, пустил бы кровь, дал бы каломелю, поставил бы пиявки, обложил бы припарками, и больной выздоровел бы непременно.

— Следовательно, почтеннейший доктор, все несчастие произошло от того только, что вы немножко ошиблись в болезни?

— Ну конечно только,— отвечал Боргиус.

— По крайней мере, употребите же эти средства теперь.

— Куда!— отвечал врач, махая рукой,— к вечеру капут: еле дышит и меня не узнает, плох совсем. Ну вы же как себя чувствуете?— прибавил он, улыбаясь,— полечиться не хотите?

— Нет, поверьте, доктор, и если бог привел выжить

прошлую весну и со мной не сделали капут в Карлсбаде, то надеюсь прожить долго и без лечения.

— Тем хуже для нас,— заметил, смеясь, Боргиус.

— И для могильщиков,— отвечал я, также смеясь и пожимая руку доктора.

Он побежал за Вульфом, а я на свою квартиру.

Захар Иваныч, по словам хозяина, вышел из дому за несколько минут до моего возвращения.

— Скажите мне, ради бога, неужели в самом деле толстый господин собирается жениться?— спросил, провожая меня, капитан-игольщик.

— Правда,— отвечал я,— и жениться на одной из самых прекрасных женщин!

— Какая глупость, какая глупость!— проговорил с негодованием честный немец и, прибавив: «Gott erbarme»[1],— возвратился к своим занятиям.

Хозяйка принесла мне шоколад, который я предложил ей разделить со мной.

Не слушая, как и прежде, словоохотливой капитанши, я беспрестанно посматривал на часы, в которых стрелка как бы назло почти не двигалась; минуты превратились для меня в века, а сосед не возвращался. Допив шоколад, хозяйка ушла. Наступил полдень; пробило два часа, три, четыре — сосед не приходил; я терял терпение и чуть не сходил с ума. Болезнь Анны не давала мне покою ни на одну минуту.

В Карлсбаде обедают рано; я забыл про обед и, не отходя от окна, пил холодную воду. В таком положении застали меня сумерки, застала ночь. В двенадцать часов раздался звонок; я бросился к двери; сердце меня не обмануло: за дверьми стояла какая-то женщина с письмом в руках.

— Für den russischen Herrn[2],— сказала она, передавая мне серый клочок бумажки.

Письмо заключало следующие строки:

«Почтеннейший! Анюта больна и горит как печь; я, возившись с ней, устал как собака. Бросьте фасоны и приходите к нам, пожалуйста.

Ваш Захар».

---

[1] Боже сохрани *(нем.)*.

[2] Для русского господина *(нем.)*.

Внизу листа была приписка:

«Захватите с собой трубку, а то в квартире так воняет разными медицинскими специями, что мочи нет».

Конечно, никогда ни одно раздушенное послание красавицы не приводило в такой восторг ни одного влюбленного юношу, в какой привела меня безграмотная записка Захара Иваныча; я чуть не расцеловал ее, и, сунув талер в руку женщины, приказал ей показать мне дорогу.

Дом, в котором жила Анна, находился в нескольких шагах от моей квартиры; пройти это пространство и взбежать на высокую лестницу было делом нескольких минут; мы вошли в переднюю, из которой дверь вела в род залы, слабо освещенной. Захар Иваныч встретил меня с улыбкой благодарности на устах и с ногами без сапог. Он шепнул мне, что больная заснула, и, усевшись на диван, посадил меня рядом с собой.

— Ну, батюшка, наварило же каши вчерашнее гулянье. Представьте себе, что у нее было сделалась горячка; жар страшный, головокружение, тошнота и бог знает что.

— Как же можно было выходить сегодня утром!— воскликнул я невольно.

— Да, да, скажите пожалуйста, ведь придет же такая чушь в голову! доктор ужаснулся.

— Я сам был поражен бледностию Анны Фадеевны.

— Анюта говорила мне, что она вас видела.

При этих словах кровь снова хлынула к моему лицу.

«Если эта женщина замечает меня,— подумал я,— не значит ли это, что она мной интересуется, что я ей нравлюсь. Если же нравлюсь, бедный Захар Иваныч!»

И я готов уже был броситься обнимать, целовать и даже, прости меня бог, утешать его. О дружба!

Земляк прервал размышление мое вопросом, принес ли я трубку. Я извинился поспешностию явиться на его зов, и Захар Иваныч послал за нею ту самую женщину, которую посылал за мной.

Квартира Анны была похожа на все квартиры третьих этажей: довольно чистенькая, без всяких затей, с простенькою мебелью, с узкими зеркалами, с полами, выкрашенными масляной краской, с кисейными драпировками и прекрасным видом из окон. По стенам висели в черных рамках гравированные портреты Шиллера, Гете, Лютера и других немецких знаменитостей; над самим же диваном в золотой

раме повешена была какая-то картина, затянутая белою чистою кисеею.

— Это портрет Анюты, когда она еще была ребенком,— сказал Захар Иваныч, указывая на картину.— Она никогда с ним не расстается; впрочем, вы видели копию.

— То есть не копию, а оригинал,— прибавил я, нимало не любопытствуя узнать, какова была ребенком Анна Фадеевна.

В эту минуту в соседней комнате послышался слабый женский голос, земляк вскочил и на цыпочках пошел в спальню больной, а я, притаив дыхание, стал слушать.

— С кем вы разговаривали?— спросил тот же голос, но он был так хрипл, что я не узнал его.

«Бедная Анна,— подумал я,— как она сильно простудилась!»

Захар Иваныч отвечал, что разговаривал со мной.

— Какой он добрый! поблагодарите его.

И тут начался разговор так тихо, что я не мог его расслышать; потом больная сказала: «Как можно! в комнате беспорядок, и мне совестно!» Я понял, что речь шла о том, чтобы пригласить меня в спальню. Отказ Анны прошел острым ножом по моему бедному сердцу, но добрый Захар Иваныч, по-видимому, настаивал, и мне даже показалось, что он переставлял какую-то мебель, передвигая стулья, а может быть и сундуки. Умирая от нетерпения, я не спускал глаз с дверей комнаты невесты; наконец — о радость!— дверь эта скрыпнула и показавшийся сосед поманил меня пальцем; не веря своему благополучию, я нетвердым шагом переступил через порог, последнюю преграду, отделявшую меня от Анны. В спальне было темно: прелестные глаза больной не переносили света. Высмотрев ее постель, я почтительно поклонился; Анна протянула мне руку и слабым, хриплым голосом поблагодарила за дружбу мою к Захару Иванычу. Мне стало и совестно и стыдно: я чуть-чуть не сказал ей, что Захар Иваныч не может быть моим другом по тысяче причин, что я ему оказываю приязнь единственно потому, что он жених той, которую я... и проч. и проч.

— Присядьте-ка без церемоний, почтеннейший,— сказал земляк, подвигая стул к ногам больной.

— Но, может быть, я буду беспокоить!

— О нет, пожалуйста, садитесь,— перебила Анна,—

я очень рада вашему приходу; мне несколько легче, и мы поговорим.

— Этого мало,— перебил Захар Иваныч,— я возился целый день, а он свежехонек: так не угодно ли ему без фасонов заступить мое место и давать лекарство, а я пойду в гостиную да отдохну маленько. Так ли?

Больная хотела возражать, но я решительно объявил, что отказ с ее стороны почту оскорблением, и принял из рук земляка стклянку с микстурой; выпроводив его из спальни, я остался один у постели очаровательной Анны.

— Вы не в первый раз в Карлсбаде?— спросила она.

— Нет, сударыня, я провел здесь прошлую весну.

— Да, Вульф говорил мне, что встречал вас очень часто с прекрасной дамой... вы были не одни.

Анна ревновала, тем лучше; на вопрос ее я отвечал со всей возможной неясностью.

— А мы с Вульфом много говорили о вас сегодня утром,— сказала больная.

— Право?— отвечал я, не зная, что сказать.

— Да и не только с ним, но и с одной дамой, которая также крайне вами интересуется.

— Не на лестнице ли?

— Вы это заметили?

— Я видел, что вы разговаривали с кем-то, и прошел мимо.

Я вспомнил, что Анну остановила какая-то старуха,— и переменил разговор.

— Я почти обвиняю себя в нездоровье вашем.

— Как это?

— Вчера вечером, хотя я и не имел чести еще быть вам представленным, но, предвидя дождь, я должен бы был предупредить последствия, предложа вам возвратиться в Постгоф.

— Это было бы очень любезно с вашей стороны, но вы не могли узнать меня,— сказала Анна.

— Я видел дагерротип ваш, сударыня.

— У Захара Иваныча? Но он больше похож на мой портрет, нежели на меня: время и болезнь — эти два врага женщин...

— Я узнал вас, и этого достаточно, чтобы оправдать сходство дагерротипного изображения с оригиналом. Впро-

чем, тип Рубенса не в моде,— прибавил я,— и пурпур не входит более в состав красок для кисти художников нашего века.

— Если это так,— заметила, смеясь, больная,— то я очень счастлива, что здесь темно и вы меня не видите.

— Почему же?

— Потому что лицо мое горит и я должна быть пурпуровая; дайте мне руку,— продолжала она и приложила трепещущую руку мою к своим щекам.

— У вас жар.

— Да, но только в голове, а ноги холодны как лед...

— В таком случае их непременно дóлжно согреть.

— Чем же?— спросила Анна.

— Трением, сударыня.

— Но мне совестно потревожить старуху: она, верно, спит.

...Через несколько минут в соседней комнате раздался храп; Захар Иваныч спал как убитый.

— Вас не может не беспокоить эта музыка,— сказал я, улыбаясь.

— Что ж делать!— отвечала Анна.

— Как что?

И, выскочив из залы, я растолкал жениха. Захар Иваныч вскочил, впросонках протер себе глаза кулаком и изъявил желание знать, где он, что с ним и зачем его будят.

— Затем, чтобы не тревожить больную.

— Да, да, я было и забыл... так как же быть?— проговорил сосед,— ежели вы меня, почтеннейший, оставите хоть на одну минуту, я опять захраплю.

— Хоть на все тоны, только, пожалуйста, в своей постели.

— Стало быть, вы полагаете, что мне можно уйти?

— И можно и должно.

— А кто ж останется при Анюте?

— Останусь я, пожалуй.

— В таком случае спасибо и прощайте,— сказал с радостию земляк, подбирая сапоги.

Захар Иваныч надел картуз и, не заходя к больной, побрел ощупью вниз по лестнице.

При удалении его я был так счастлив, как может только быть счастлив смертный.

Возвратясь в спальню и подав лекарства Анне, я пред-

ложил ей заснуть, сам же, заменив кресло скамейкой, поместился поближе.

— Как мне хорошо!— шепнула Анна, протягивая мне уже не одну, а обе ручки.— Какую ужасную ночь провела бы я без вас,— прибавила она голосом менее хриплым.

— Но чувствуете ли вы себя лучше?

— О, несравненно лучше! вот доказательство!— она снова взяла мою руку и подложила себе под щеку.— Чувствуете ли вы, что жар уменьшается?— спросила Анна.

— Да, кажется,— проговорил я, передвигая скамейку к самому изголовью кровати.

Я чувствовал жаркое дыхание больной, лицо мое почти касалось ее лица, голова моя начинала кружиться.

Больная положила левую ручку свою на мою голову.

Не описываю всего, что происходило во мне, потому что, вероятно, всякий в подобных обстоятельствах перечувствовал бы то же самое, что чувствовал и я.

— Анна!— проговорил я прерывающимся от волнения голосом,— не выздоравливайте так скоро, или я умру от отчаяния.

— Как это мило! вы очень любезны!

— Но здоровая вы не будете принадлежать мне, а эта ночь пройдет слишком скоро. Простите откровенность сердца и вспомните, что мы давно знакомы.

— То есть с сегодняшнего вечера. Вам время показалось очень долго,— прибавила Анна, смеясь.

— Нет, не с сегодняшнего вечера, а с той минуты, как я увидел случайно портрет ваш, Анна; я мысленно не разлучался с вами, портрет этот привел меня сюда.

— Повторяю вам,— отвечала, смеясь, больная,— что портрет нисколько не похож на меня.

— Тем лучше, Анна, и я охотно изменяю ему для вас.

— Лекарство, дайте мне лекарство!— проговорила она, освобождая ручку свою из моих рук.— Способ ваш ухаживать за больными опаснее самой болезни, и если вы хотя немного меня любите...

— Люблю страстно!

— В таком случае вспомните, что я чрез несколько дней сделаюсь женою вашего друга.

— Я ненавижу его.

— Напрасно! он добрый человек.

— И вы его любите?

— Может быть.

— Не верю.

— Как хотите, но повторяю, что вы заставляете меня почти сожалеть об его отсутствии. Послушайте,— прибавила она серьезно,— несчастный портрет ввел вас в ужасное заблуждение. Я действительно была недурна, но в эту минуту от прежней красоты не осталось и следов. Принесите свечку и взгляните.

— Зачем?

— Разочаровывая вас, я поступаю с самоотвержением, потому что вы мне нравитесь.— Когда Анна произносила эти слова, голос ее звучал как-то грустно.— Вы сами отказались бы от меня завтра!— прибавила она.

— Никогда, никогда!— воскликнул я, целуя у ней руки.

И целый поток пламенных уверений отвечал на вздохи трепещущей Анны. Бедный, несчастный Захар Иваныч!

Едва первый луч солнца озарил таинственное ложе красавицы, едва очаровательные прелести ее сделались доступны моему восторженному взору, как я, схватив шляпу, как безумный, выбежал из дому пятидесятилетней Анны Фадеевны. Стыд и раскаяние сопровождали меня до квартиры моей и с квартиры до самой почтовой конторы.

Только на первой станции догадался я, что дагерротипный портрет был только портрет портрета Анны Фадеевны, а прекрасные глаза постгофской незнакомки — прекрасными глазами постгофской незнакомки, а не Анны Фадеевны. Проклиная самого себя, я гнал лошадей насмерть и наконец в пять часов домчался до Цвиккау. В шестом часу катился уже я по железной дороге обратно в Дрезден. Вздохнув в последний раз, и все-таки не по Анне Фадеевне, а по прекрасной карлсбадской даме, я нечаянно оглянулся, и первое лицо, на котором остановился взор мой,— была она!

Абдаллах-Бен-Атаб

Алжир. 25 ноября 1846 года.

Утром рано вошли ко мне трое приятелей моих, с которыми сблизило меня море: мы познакомились на марсельском пароходе «Ville de Bordeaux»[1]. Один из них подал мне распечатанное письмо, в котором заключалось приглашение поохотиться в окрестностях города Мильяны (Miliana); письмо писал капитан спаисов Вервье (Vervié), стоявший с эскадроном своим в 12 милях от Алжира, в городке Блиде. На вопрос Евгения Дюпена (Du-Pin), желаю ли я участвовать в предполагаемой охоте, я соскочил с постели, оделся на скорую руку, закурил сигару, и час спустя, то есть в 9 часов, катились мы в алжирском дилижансе по прекрасному шоссе, извивающемуся по гористому берегу моря, между померанцевых рощ и красивых загородных дач, построенных в восточном вкусе. День был жарок и ясен. На каждом шагу новая картина представлялась взорам нашим: то длинный караван тянулся шагом — и смуглые лица арабов, куривших трубки, напоминали степь своим присутствием; то прекрасный тильбюри обгонял нас — и в нем улыбалось одно из тех личек, на которые невольно направляется лорнет в большой Парижской опере. Но вскоре дачи стали редеть, море скрылось за холмами, и бесконечная долина *Метиджа* широко разостлалась пред на-

[1] Дословно: «Город Бордо» *(франц.)*.

ми, огражденная с запада синеватым хребтом малого Атласа. В 3 часа пополудни дилижанс наш остановился у гостиницы города Блиды, и первое лицо, нас встретившее, было лицо капитана Вервье.

Нахожу не излишним сказать несколько слов о моих спутниках; начинаю с Евгения Дюпена, молодого парижанина, путешествовавшего без всякой цели, милого, любезного и остроумного, как большая часть его соотечественников; господствующею страстью его было — растительное царство: прогуливаясь с ним, каждый из нас обязан был возвратиться с целым собранием сучьев, листьев, луковиц и проч. Всю эту дрянь укладывал он в ящик и возил за собою. Дюпену обязаны мы были знакомством с капитаном Вервье, настоящим типом офицеров спаисов, поседевших в степях Африки и не помнивших числа застреленных ими бедуинов. Капитан был мужчина лет 40, одаренный страшною силою; смуглое лицо его выражало то спокойствие, которое приобретается вечно беспокойною бивачною жизнию; выражался он коротко и ясно, улыбался редко, курил всегда, а в кофейник с коньяком часто забывал наливать кофе. Вот вам капитан Вервье! В довершение всего Вервье был одним из любимцев известного генерала Негрие, который в продолжение командования своего Африканскою армиею сделался известным одною довольно оригинальною привычкою: пока генерал пил чай и курил сигару, перед его окнами вешали 10 арабов, и это делалось аккуратно каждый день. Третий спутник наш был 22-летний швейцарец, некто Франц-Вильгельм-Фридрих-Гольт-Денер, белый, как сливки, и румяный, как земляника. Он был здоров, молод, весел и глуп. Четвертый же, и последний, член общества нашего сэр Вильям Бур, британец в полном значении этого слова, заслуживавший внимание всем своим существом. Наружность его могла быть терпима только потому, что носил ее англичанин; все слова и поступки сэра согласовались с каждою чертою лица его, с обувью, с одеждою, с прическою, с образом ношения рук и даже с образом мыслей. Сэр Вильям Бур был не высок, но длинен, не тонок, но узок, не уродлив, но неуклюж, не стар, но подержан. Глаза его выражали какого-то роду совершенное отсутствие выражения, а говоря, он делал дурно, потому что говорил вздор. Сэр Вильям выехал из Плимута для того, чтобы присутствовать в Мадрите при бое быков и на праздниках,

дававшихся по случаю свадьбы герцога Монпансье; но как попал сэр Вильям в Марсель, а не в Мадрит, этого он и сам объяснить не мог. Должно полагать, что сэр не нашел места на том пароходе, который отправился в Испанию, а нашел его на алжирском. Во время переезда через море слуга будил его в 10 часов утра — час завтрака; сэр Вильям с постели переходил к столу и ел за десятерых, пил все, что ни попадалось, и вслед за другими выходил на палубу. Он полез бы и на мачту, если б кто-нибудь сделал это в его присутствии. Мне случалось просиживать на палубе до утра и молча смотреть на море; сэр Вильям раз подсел ко мне и просидел молча до утра, смотря на море. Рассказы слушал он с большим вниманием и часто улыбался, но никогда, за исключением одного только раза, не вмешивался в общий разговор. В этот раз говорили об иезуитах; вдруг сэр Вильям улыбнулся и с выражением какого-то внутреннего удовольствия объявил, что он видел их вчера при захождении солнца, и что показывал их капитану парохода, и капитан сказал ему, что это они!

Все с удивлением посмотрели на сэра Вильяма, потом вокруг себя!.. То был третий день плавания. В ту же минуту, как нарочно, все общество собралось на палубе, и очень странным показалось нам невидимое присутствие иезуитов на пароходе. На вопрос, где именно видел он иезуитов, сэр Вильям указал пальцем назад по направлению Болеарских островов.

Оказалось по справкам, что сэр Вильям видел не иезуитов, но дельфинов; а как и почему принял он одно за другое, это осталось, как и прочее, неизъяснимо!

По прибытии в Алжир остановились мы в «Hôtel du Gouvernement», а за стеною расположился почтеннейший сэр Вильям. С той минуты за столом нашим ставился лишний прибор, а для прогулок подводилась к крыльцу лишняя лошадь; и тем и другим пользовался верный сопутник наш — и странно было бы видеть нас без него и его без нас! Очень натурально, что экспедиция, предложенная капитаном, не могла сделаться без драгоценного сэра Вильяма.

В 4 часа пополудни, час спустя по приезде нашем в город Блиду, пообедав наскоро в гостинице, сели мы на коней и выехали в сопровождении трех арабов на дорогу, ведущую в Медею. План охоты, предложенный нам капитаном Вервье, был следующий: от Блиды до города Медеи предполагалось

ехать верхом, потому что дорог там не было; пространство это заключало в себе 8 миль. От Медеи, по направлению Мильяны, отлогости гор, покрытых частым лесом, изобилуют множеством крупной дичи. Проехав первые две мили по гладкой долине и оставив вправе соляное озеро, окруженное топкими болотами, мы круто повернули влево и въехали в ущелье гор, которое называют проходом Шиффы (Gorge de la Chiffe).

От постоянных сильных дождей река Шиффа, протекающая чрез горы Атласа, разлилась и произвела то страшное наводнение, о котором так много говорили в 1846 году парижские и алжирские журналы. Дорога, пролегающая большею частию по скалам и утесам между Блидою и Медеею, была в несколько часов совершенно уничтожена водою. Целые горы обрушились в бездну, каменные гостиницы и малые селения исчезли с лица земли, и мутный поток Шиффы прорезал себе новый путь, то суживаясь и извиваясь змеею по узким и темным ущельям, то вдруг широко разливаясь по тучным долинам, унося за собою исполинские пальмы и рощи кипарисных дерев.

Малый отряд наш вытянулся в одну линию; во главе колонны ехал сэр Вильям с длинным ружьем за плечами. Путь становился час от часу опаснее, тропинка местами суживалась до того, что арабские кони наши не шли, но цеплялись за скалы, вися над бездною Шиффы. Сердце мое переставало биться, когда, подымаясь в гору, конь мой скользил и падал на колена. Нередко из-под конских ног град камней с грохотом катился в поток, и испуганное стадо обезьян быстро спешило скрыться, перескакивая с утеса на утес и скаля зубы. Нередко над головами нашими горный орел, величины необычайной, взвивался и медленно плыл по воздуху, бросая на нас черную тень.

«Скажите, капитан,— спросил я,— на этом пути существует ли какого-нибудь рода опасность для путешественников?»—«И очень!— отвечал капитан серьезно,— не проходит месяца, чтобы журналы наши не говорили о нескольких жертвах, погибших именно на этом месте; а с тех пор, как дорогу размыла вода, опасность еще увеличилась!» Швейцарец снял с плеча свое ружье, осмотрел курки и, взведя их, положил отвесно на левую руку. «В хорошую погоду большого несчастия быть не может,— продолжал капитан,— но в сильный дождь земля и каменья, висящие над тропинкою, часто

отделяются и, падая, давят проезжающих».—«Но я спрашиваю про другого рода опасность, про нападение арабов».— «О нет! Об этой опасности давно не слыхать». Швейцарец спустил курки и снова повесил ружье свое за спину. День заметно склонялся к вечеру, был час шестой; когда мы проехали таким образом еще с полмили, тропинка наша вдруг взвилась, круто обогнула утес, спустилась по отлогости к самой воде и затерялась в золотом песке, покрывающем правый берег Шиффы. Мы остановились, сошли с лошадей; арабы развели огонек, и вскоре походный кофейник капитана зашипел и задымился, а сам он занялся рассыпкою кофейного порошка и мелкого сахара по стаканам нашим. Когда все общество уселось чинно в кружок, разговор сделался общим. Всякой поочередно успел рассказать что-нибудь про свой край, все единогласно удивлялись, как можно жить в вечных снегах России, где дядя капитана отморозил нос, отец оставил кости, а император французов целую армию (а я подумал: «При случае и для другой место будет»), и таким образом, переходя от одного предмета к другому, мы не заметили, как солнце село, а до Медеи оставалось еще 5 миль с половиною, и в том числе самая дурная часть ущелья. «На коней, господа!»— сказал капитан, вставая, и снова караван наш тронулся в путь и въехал в ущелье.

Мы ехали молча. Тропинка часто терялась, горы сдвигались, ручей становился сердитее; во многих местах кони наши останавливались, как бы высматривая местность, и снова подавались вперед, недоверчиво передвигая ноги. На всем протяжении пути недавний разлив Шиффы оставил страшные следы; суженный берегами поток вырвал по сторонам необъятные массы земли и образовал пещеры; всякая попытка восстановить хотя малейшее сообщение оставалась без успеха. «Долго ли ехать нам этим адским ущельем?»— спросил я капитана. «Еще с полчаса»,— отвечал он. «Ну, какова дорожка?— спросил капитан, смеясь,— вот в каком виде были они все во время первых экспедиций наших! прибавьте пули, голод, 60 градусов жару, африканскую лихорадку и прочие немощи, и вы получите довольно точное понятие о той цене, которою купили мы здешние владения наши». Капитан внутренно гордился своими подвигами, а я улыбнулся. Отдавая в полной мере всю должную справедливость храбрости и мужеству французско-африканской армии, не могу, однако ж, не смеяться от всей души, когда премилый, но препустой

француз пресерьезно толкует в парижской кофейной о золотых колониях своих в Алжире, существующих,— увы!— только в одном пылком воображении завоевателей. В доказательство справедливости слов моих постараюсь вкратце изложить то, что нашел я в французско-африканских владениях, и именно в тех местах, которые, по их же словам, составляют главное поприще действий. Кому неизвестны жертвы, принесенные Франциею в течение 15-летней борьбы с Африкою? Войско, состоявшее в 1835 году из 25 000, увеличилось в 1846 году до 91 000 человек. Треть его погибла от болезней. Правительственные расходы в Африке, доходившие до ста и более миллионов франков в год, равно частные, неисчислимые капиталы принесли следующий результат: частный кредит не существует, и все стены алжирских домов заклеены объявлениями о банкротствах; займы делаются по 60% на 100 или, лучше сказать, не делаются вовсе. Земли в окрестностях Алжира, Орана и Константины, приобретенные с такою жадностью французами и за высокую цену, получили три назначения: 1) 1/10 часть всей приобретенной земли досталась в удел иностранцам, прибывшим со всех концов мира; руками их она разработалась, покрылась чем-то похожим на фермы, но далеко не удовлетворяет ожиданий колонистов. Причина медленности в успехе колоний состоит в дороговизне всего, в недостатке рук, в неимении скота и лошадей. За перевоз человека из Марселя в Алжир платят 45 и 100 франков, за корову 45, за лошадь 100 франков. Рабочему человеку платят в сутки 5 франков. 2) Другая десятая часть земли, раздробленная на мелкие участки, распродана богатым людям, украсившим их загородными домами, померанцевыми деревьями и множеством цветов. Эта земля окружает главные города и, не принося доходов, служит для владельцев забавою. 3) 8/10 ч. всего пространства приобретена спекуляторами, имевшими одну цель: перепродать ее со временем с барышом. Вся земля эта не обработана и покрыта густою травою и местами — кустарником. Недавно еще правительство новым законом вменило в непременную обязанность владельцам разработать эту землю в положенный срок, угрожая в противном случае лишить их права на владение. За законом последовало понижение цен на земли, но покупателей не оказалось. Но что же делают французы и войско в Африке? что делают туземцы? Французы и войско целый день шатаются по площадям, улицам и кофейням, играют в кости

и карты, не соблюдая ни малейшей дисциплины. Солдаты изредка делают прогулку в горы, колют и вешают бедуинов и возвращаются по домам, а туземцы, испуганные варварским обращением победителей, прячутся в горах, крадут иногда что попадется под руку, а если представится случай прирезать француза, то прирежут, и, кочуя с одного места на другое, выжидают времен более благоприятных... В каком положении торговля? Алжирская гавань вмещает постоянно 7 купеческих кораблей, приходящих поочередно с апельсинами, кофеем, винами и разными пряностями. Но что же выменивает африканская Франция на деньги Европы? ровно ничего, и иностранные корабли возвращаются домой без обратного груза.

Возвращаюсь к своему рассказу. Тихо подвигались мы вперед, вдруг послышался конской топот. Во всякое другое время топот скачущего коня не обратил бы на себя никакого внимания; но в ту минуту, когда мы, со всевозможною осторожностию, с трудом, пробирались в полумраке по скользкой и неровной тропинке, шум скачущего во всю прыть всадника озадачил не только нас, но и туземных проводников наших. Из-за угла позади нас показалось белое пятно; оно мгновенно выросло, и чрез несколько секунд мимо нас с быстротою мысли промчался араб. Капюшон белого бурнуса его был наброшен на лицо; остальная одежда, того же цвета, составляла нечто целое с белым, как снег, конем его. В тот же миг каштановая собака капитана, спокойно сидевшая в одной из плоских корзин, привешенных к седлам провожатых наших, высунула голову и завыла протяжно, порываясь выскочить. «Что бы это значило?— воскликнул капитан, смотря вслед всаднику.— Надобно быть диаволом, чтобы скакать над этою пропастью и не сломить себе шеи». И действительно, не успели мы сделать нескольких шагов, как лошадь сэра Вильяма вдруг остановилась и, подняв уши, начала фыркать; в полушаге пред ним тропинка исчезла совершенно — и оставалось выбрать между отвесною скалою, грозно поднимавшеюся справа, или броситься с 700-футовой высоты в Шиффу, омывавшую левую сторону тропинки. Всякая мыслящая тварь призадумалась бы, по крайней мере в подобном случае, но сэр Вильям почел эту меру совершенно излишнею и полез на утес. Почуя острые шпоры, конь его взвился, как свеча, помахал передними ногами в воздухе и медленно стал падать на сторону. Минута была ужасна. Мы мысленно про-

щались с верным спутником нашим; но по какому-то непостижимому случаю сэр Вильям удержался над пропастью, а бедный конь его стремглав полетел в бездну, которая, расступившись, приняла жертву, и потом все утихло!.. Мы соскочили с лошадей, подняли сэра Вильяма, он отделался легким ушибом и встал, приятно улыбаясь. Подвигаться вперед не было никакой возможности, и мы пешком пошли в обратный путь. Вскоре новый шум послышался невдалеке; на этот раз не топот скачущего коня поразил слух наш, но стук копыт нескольких лошадей, шедших шагом; то была партия африканских егерей под командою унтер-офицера.

Велика была досада капитана Вервье, когда он узнал от егерей, что фантастический всадник наш был не кто другой, как Абдаллах-Бен-Атаб, избегнувший и на этот раз неутомимого преследования французов.

«Так вот почему завыла собака моя,— кричал он во все горло,— и этого мошенника я мог бы схватить рукою, так близко был он от меня!» Но делать было нечего; всадника не стало. Всем нам крайне хотелось знать, кто был Абдаллах. Пока егеря искали обхода, капитан хотя пристрастно, но рассказал нам историю Абдаллаха, которую и не замедлю изложить со всеми подробностями; собака же не могла не узнать ни беглеца, ни верного коня его, потому что когда-то принадлежала Абдаллаху.

Чрез полчаса мы выбрались на хорошую дорогу и час спустя начали подниматься на бесконечную гору, на которой красуется нелепо построенный город Медея.

Город Медея сохранил еще свой первобытный вид, и, за исключением одной небольшой площади, застроенной двухэтажными домами европейской постройки, остальная часть его носит разительную печать африканских городов. Узкие до крайности и грязные улицы разделяют низкие и кривые дома без крыш. В подвалах, мрачных, как тюрьма, при свете ночника сидят, поджав ноги, арабы и в молчании курят из длинных трубок. В день приезда нашего был праздник, и во многих местах между сидевшими и курившими двигались какие-то фигуры, переваливаясь с одной голой ноги на другую; это значило, что туземцы танцевали при звуках литавр и медных кастаньет; все это вместе производило самое неприятное впечатление. Выбирать было не из чего и надлежало довольствоваться грязною гостиницей, жесткою сальною постелью и скверным ужином. Я с Дюпеном поместился в

одной комнате, обращенной окнами в сад. В полночь товарищ мой с криком соскочил с постели, уверяя, что что-то шевелится под ним. Мы зажгли свечу и позвали одного из трактирных слуг; между простыней и одеялом оказалось прежирное животное, которое просто называется скорпионом. Слуга объявил нам, что они наползают из сада и что это дело очень обыкновенное в Медее. Он схватил его чем-то за спину и вынес вон, а мы провели всю остальную часть ночи не ложась, что также должно быть делом очень обыкновенным в гостинице города Медеи.

На следующее утро в 7 часов общество наше, увеличенное тремя офицерами из спаисов и несколькими волонтерами, отправилось в путь по направлению от Мильяны к трибуне Хаджи, откуда должна была начаться охота. Отъехав две мили, присоединились мы к ожидавшему нас отряду арабов, предводительствуемых каидом, который, получив приказание капитана, вытянул арабов своих в одну линию и повел их к месту, капитаном же показанному. Пред нами живописно расстилалась долина Аррах, сомкнутая со всех сторон невысокими холмами, покрытыми частым кустарником. Арабы въехали на первый холм и остановились, соблюдая между собою равные интервалы, а мы приняли вправо и в таком же порядке заняли места у самой подошвы; вправе от нас была долина, влеве — холмы и кустарник. Капитан подал знак к началу, и в тот же миг арабы с диким криком бросились в кусты. Слушая этот неистовый крик, которого, не слыхав, представить себе невозможно, я почувствовал какую-то боль в сердце. Дыханье занималось, глаза искали тигра, но увы! пока одни черные куры пронеслись мимо нас, и хотя крик продолжался и мы подвигались вперед, но ни одно дикое животное не выбегало в долину. Но вот... сучья вдали затрещали и стали раздвигаться. Капитан прилег на шею лошади; от его привычных глаз не скрылось странное, но правильное наклонение кустов. Невидимый враг тайком прокладывал дорожку, впереди перед ним перемычка, и горы и рвы, но вправе от перемычки капитан. Ружье его приподнялось, курок два раза щелкнул, приклад поднесен к смуглой щеке, дуло следит за движением кустов; на этот раз сердце мое перестало биться. Все остановили коней. Сэр Вильям сполз с седла на землю, привязал наскоро лошадь и побежал вправо; он миновал капитана, но с каким намерением — неизвестно. Но вот у самой опушки густой куст медленно двоился, сучья затрещали,

и все утихло на миг... В то же время один за другим раздались два выстрела, и кабан с перебитой ногой ринулся в горы. Капитан чуть не бросил ружье, ему казалось, что трех кабаньих ног было слишком достаточно, чтобы унести 18 пудов свиного мяса далеко от него. Может быть, и кабан был того же мнения; но кому же придет в голову, что сэр Вильям все расчел наперед, все предвидел,— и вот, взгляните сами, как неподвижно стоит он с опущенным ружьем своим и как хладнокровно смотрит в кровавые глаза чудовища, бегущего к нему в прямом, в совершенно прямом направлении. Еще 20 шагов, и сэр Вильям отскочит в сторону, ежели не захочет нанизать себя на белые, футовые клыки кабана. Остается только 10 шагов, только 5 — выстрел! чудовище заревело и бросилось в сторону: оно вспахало землю клыком и полило ее кровью; другой выстрел, и оно, мертвое, ринулось через голову. Сэр Вильям опустил ружье, вынул два патрона и стал заряжать. Мы с рукоплесканиями подскакали к нему, поздравляли с победою, крича что-то в одно время, и та же вечно бессмысленная улыбка сэра была ответом на наши приветствия. Кабана взяли несколько арабов, взвалили на плеча и отнесли назад, а мы продолжали путь в прежнем порядке. В непродолжительном времени арабы напали на целое стадо диких свиней; долина значительно расширилась, свиньи рассыпались по густой и высокой траве, общий порядок нарушился, и все общество разделилось и рассеялось по всем направлениям. Сэр Вильям поразил нас новыми доказательствами своего искусства, убив на большом расстоянии и на всем бегу двух свинок. Предаваясь вполне удовольствиям охоты, мы едва заметили, что в нескольких шагах от нас, а именно между военными, происходила какая-то тревога. Офицеры собрались в кружок; посреди их стоял капитан; он кричал, махал руками и бил собаку свою, потом поднимал ее на воздух, передавал офицерам, которые в свою очередь делали то же. Когда же к этому кружку подскакал один из егерей, встреченных нами накануне, в один миг вся охота приняла новый вид и совершенно другой характер. Капитан ревел во все горло: «Он здесь, он здесь!»—«Что все это значит?»— спросил я у одного из офицеров. Между тем приказания отдавались, арабов собирали, выстроивали во фронт, солдаты отвязывали ружья от седел; одним словом, все приготовлялись к чему-то чрезвычайному!

«Вы, может быть, слышали,— отвечал офицер,— что в эту

ночь капитан Вервье чуть не поймал своими руками Абдаллаха».—«Абдаллаха я видел,— отвечал я,— но что значит эта тревога?»—«В то самое время,— продолжал офицер,— когда этот господин (он показал на англичанина) убил кабана, капитанская собака исчезла; ее искали долго и безуспешно, наконец кое-как сам капитан вызвал ее на опушку и заметил, что морда, грудь и ноги у нее были в крови; мы сначала приписывали это обстоятельство дикобразу, которых очень много в здешних краях; но, по осмотре, никаких ран на собаке не оказалось. Сверх того, она была как-то грустна, едва передвигала ноги, визжала и все просилась в кусты».—«Но посмотрите, что там делается»,— сказал подъехавший Дюпен; мы оглянулись. Арабы заезжали вперед, офицеры скакали по различным направлениям, капитан по-прежнему махал руками, кричал, командовал, гладил собаку; она, махая хвостом, вертелась, визжала около ног его, забегала вперед и вновь возвращалась. «Сегодня утром недалеко отсюда,— продолжал офицер,— егеря подметили беглеца и убили его лошадь, сам же он, раненный в плечо, успел скрыться. Прискакавший егерь уверяет, что Абдаллах бросился в ров и должен быть здесь недалеко. Надобно думать,— прибавил он,— что собака нашла его в кустах, а кровь на морде, груди и ногах, без всякого сомнения, принадлежит Абдаллаху».

Дело было слишком ясно; мы посмотрели друг на друга и, забросив ружья за плеча, последовали за офицером. Историю же несчастного Абдаллаха узнал я подробнее в Алжире от людей, более беспристрастных, чем капитан, и передаю вам ее.

В окрестностях Мильяны, близ трибуны Бу-Гайлан, находился и находится поныне телеграф Гонта. Близость телеграфа от трибуны сделала сношение жителей их тесными, и французы, обитавшие в колонии, обращались с арабами по всеобщепринятой в Африке системе, то есть покупали продукты их, может быть, несколько дешевле настоящих цен, дразнили детей, ругались над взрослыми и били стариков. Когда старшие приносили жалобы, арабы, как и всегда, со скотским терпением переносили побои, искоса поглядывали на образованных соседей, может быть, и желали бы в свою очередь отплатить оскорблением за оскорбление; но кому же неизвестно, что в подобном случае потребуют в Алжир и прикажут немедленно выдать зачинщика; а вздумает каид не исполнить требования, на следующий же день военная коман-

да зарядит ружья, и от непослушной трибуны останутся трупы,— и суд кончен. Надлежало терпеть!

Одним праздничным днем из трибуны Бу-Гайлан арабы толпою шли на базар. Старики и молодые девушки, качаясь на верблюдах, везли в корзинах фрукты; несколько всадников провожали поезд, соблюдая порядок и следуя чинно, один за другим, по узкой каменистой тропинке. Навстречу к ним ехал на коне французский капрал Серве, он курил и свистал, надвинув молодецки набок фуражку. Но тропинка была узка, а верблюды без узд, и капралу надо было принять вправо или влево, капрал предпочел не уступать дороги, и первый верблюд остановился. Напрасно сидевший на нем старик толкал его в шею, верблюд не двигался. Серве гибким ременным хлыстом ударил старика по плечам; старик застонал, а сын его Абдаллах нахмурил брови. Кое-как столкнули арабы верблюда, но за первым стал и другой; на нем сидел не старик, но дочь его Зора, девушка лет 16-ти. Со страхом смотрела она на капрала; но тот же хлыст взвился и обвил ее смуглую шею. Абдаллах побледнел, на черных ресницах Зоры блеснула слеза.

«За что ты дерешься?— спросил Абдаллах у капрала.— Ты видишь, тропинка узка, а где ей справиться с верблюдом!» Удары и ругательства были ответом француза, а в довершение всего Серве одним движением руки сорвал покрывало с лица Зоры и плюнул ей в глаза. На следующий день потребовали на суд каида Джилали-Бен-Омара и Абдаллаха, и в присутствии капрала Серве первый получил 100, а второй 200 ударов по пятам. Удовлетворенный капрал возвратился к себе в Гонту и за вечерним столом со смехом рассказал пятерым товарищам свое забавное происшествие. То было 14 марта 1846 года, а на следующее утро там же поднято было 6 обезображенных трупов. Герой этой драмы Серве найден был в кустах с разрубленным черепом. Убийцы были схвачены, посажены в алжирскую тюрьму; но Абдаллах бежал с двумя малолетними детьми и успел скрыться. В продолжение бегства хранила их верная каштановая собака, которая, как бы предчувствуя и понимая опасность, два раза обманывала и отводила преследователей и два раза Абдаллах успевал прятать детей своих в колючие кусты алоэ и спасаться ползком. Но в третий собаку подстрелили и привезли к капитану Вервье.

Понятно ли теперь, отчего нам стало грустно, когда обод-

ренная собака Абдаллаха, повертя хвостом и подняв голову, стала спускаться в ров. Арабы заезжали вперед. Капитан следовал за собакою, улыбаясь и приговаривая: «Он тут, он непременно тут,— собака чует его».

Увы! капитан не ошибся, и верный дотоле друг Абдаллаха вел прямо к нему, нашел его, завертелся и запрыгал от радости. Два спаиса сошли с лошадей, взвели курки ружей и спустились в ров. Две минуты спустя капитан, приподнимаясь на стременах, громко спросил у спаисов: «Тут ли?»—«Тут»,— отвечали они, и ту же собаку надобно было застрелить, чтобы взять первого ее хозяина. Абдаллах отдался молча и без сопротивления; лицо его было бледно и сурово; белый изорванный бурнус во многих местах был запачкан кровью. Ему завязали руки за спину; на шею набросили петлю и за конвоем отправили в Алжир. Капитан торжествовал!.. Что сделалось с двумя малолетними детьми Абдаллаха — неизвестно.

5-го числа, то есть два дня спустя, в 8 часов утра, у крепостцы Бабельуэт в Алжире на площадке, прилегающей к морю, толпился народ и жандармы красовались на разношерстных конях своих. Причиною стечения народа был военный праздник, часто повторяемый великодушными победителями Африки, к большому удовольствию жителей Алжира!

Сон мой был прерван барабанным боем и маршем из «Семирамиды», разыгрываемым довольно удачно музыкою 23-го Африканского егерского полка. Я выглянул из окна моей квартиры и увидел четырех арабов, окруженных штыками, и в одном из них узнал Абдаллаха. Не трудно было догадаться, что Абдаллах шел на казнь, а марш из «Семирамиды» был его похоронным маршем. Одевшись наскоро, я последовал за Абдаллахом и его несчастными товарищами. Ровно в восемь часов четырем арабам, поставленным уже вдоль наружной стены крепостцы Бабельуэт, один из членов военной комиссии прочел очень внятно их смертный приговор. Предусмотрительный чиновник прочел приговор на арабском языке для приговоренных и на французском для зрителей. Арабы слушали чтение со вниманием; смуглые лица их были суровы, ни одна черта не выражала ни страха, ни отчаяния. Когда чиновник окончил чтение, арабы обратились лицом на восток, скрестив на груди руки. По первому знаку командиров четырех взводов ружья медленно стали подниматься, по второму концы стволов как бы замерли, а по третьему раздался общий выстрел, и несчастных прикрыло густым облаком дыма. Дым-

ная занавесь медленно взвилась, а четырех за минуту до того живых и здоровых людей заменили три окровавленных трупа и один без всяких пятен. Первые три боролись со смертью, простреленные десятком пуль, последний лежал неподвижно, обращенный лицом к земле, этот четвертый был Абдаллах. Он был жив и невредим, потому что успел упасть одною секундою раньше выстрела. Тысяча арабов, понимая, в чем дело, бросились к нему на помощь. Пользуясь дозволением маршала Бюжо предать тела несчастных товарищей земле, они вместе с тремя трупами взвалили на плеча и Абдаллаха, прикрыли всех четырех бурнусами и хотели бежать. Абдаллах мог быть спасен; но доктор Перси, врач полка Африканских егерей, был человек предусмотрительный. Он взглянул на Абдаллаха, шепнул слова два жандарму, случайно находившемуся близ него, и арабов остановили. Абдаллах встал на ноги, улыбнулся и пошел назад в сопровождении врача и всех французов, присутствовавших при казни; их было до тридцати тысяч. Врач торжествовал, офицеры смеялись, толпа хохотала, а военная комиссия приговорила Абдаллаха ко вторичной казни. Его поставили на прежнее место, жандармы отодвинули массу народа назад, и представление началось снова.

«Кто же застрелит Абдаллаха?»— спросил полковник Н. у коменданта крепости. Комендант обратился с тем же вопросом к офицерам; офицеры вызвали капралов, капралы пошли по фронту, ходили долго; но желающих не оказалось.

Я готов был расцеловать весь фронт.

«Nous ne sommes pas des bourreaux, caporal»[1],— отвечали солдаты. Абдаллах слышал все и улыбался. Комендант также слышал все — и лоб его покрылся морщинами. Толпа захлопала в ладоши. «Спасен!»— подумал я, подумали многие, быть может, подумал и Абдаллах; но один капрал схватил младшего из егерей, силою притащил его к жертве и заставил выстрелить. Пуля прошла через грудь Абдаллаха несколько выше сердца; он упал на колени и заревел так ужасно, что егерь бросил ружье и бежал за фронт. Абдаллах встал и бросился на капрала, вцепился ему в лицо руками; кровь у Абдаллаха билась двумя фонтанами, глаза его вертелись, он страдал невыразимо. Два жандарма соскочили с коней, освободили капрала и схватили несчастно-

[1] Мы не палачи, капрал *(франц.)*

го за руки; один из них вынул саблю, приставил к ране, налег на эфес, и конец лезвия вышел в спину... Толпа не хлопала в ладоши, но молча разошлась.

Вот как было дело, а вот что напечатано было на другой день в алжирском журнале «L'Akhbar»:

«Ужаснейшая драма, имевшая театром телеграф Гонта 14 на 15 марта 1846 года, наконец разыгралась. Именованные: Магомет-Бей-Джевул — брат Аги Сиколаи, житель трибуны Бу-Гайлан близ Мильяны, Джилали-Бен-Омар каид той же трибуны, Абдель-Кадер-Атаб и Абдаллах-Бен-Атаб — брат сего последнего — получили 5 сего декабря 1846 года в 8 часов утра на площади Бабельуэт заслуженную ими казнь за убийство 6-ти европейцев, в том числе одной женщины и двух малолетних детей. Четыре эти преступника были казнены вследствие приговора военного суда, заседавшего в Алжире 19 августа 1846 года, в присутствии бесчисленного стечения народа, привлеченного торжественностию военной экзекуции. Они с твердостию шли до места казни, и, по выслушании смертного приговора, четыре пикета солдат, выбранных из различных частей Алжирской дивизии, по немому знаку командующих ими офицеров, произвели по них огонь — и они упали мертвые. Но так как раны Абдаллаха, несовершенно смертельные, оставили телу его судорожное движение и как замечено было, что он еще дышит, то пристрелили его немедленно и положили тем конец его страданиям. Замечательно, что этот самый Абдаллах во время страшного убийства в ночь с 14 на 15 марта преследовал несчастного капрала Серве, успевшего скрыться, и, догнав в кустах, хладнокровно разрубил ему топором голову».

Статья сия заключалась следующим приговором того же суда: «Ахмет-Бен-Атаб — брат кади, Бен-Амур-Бен-Абдель-Кадер — сын кади, Абдель-Кедер-Бель-Гаде — брат каида и Зора-Бу-Мудзен — сестра кади были равно приговорены к смерти; но вследствие королевской воли, объявленной 8 ноября 1846 года, приговор этот заменен вечною каторжною работою с предварительною выставкою у позорного столба, за исключением, однако ж, Зоры, которая от этого последнего и постыдного наказания избавлена».

Поездка на марсельском пароходе

(Из путевых записок)

3 марта 1847 года возвратился я из Испании в Марсель, дав себе обещание не только не пускаться в дальние морские путешествия, но избегать даже перевозов через реки. Причиною подобного обета был переезд из Алжира в Барселонну, продолжавшийся не четверо, как бы следовало, а четырнадцать суток; я получил решительное отвращение к воде.

Итак, повторяю, торжественное обещание я дал третьего, а четвертого марта — увы! перетащил чемодан свой на палубу железного парохода «Ville de Marseille»[1], отплывавшего в тот же день в Неаполь.

Утро было пасмурное, небо серое, а воздух, зараженный гнилыми испарениями неподвижной гавани, душил и производил тошноту.

На палубе прохаживалось уже несколько пассажиров, из которых один был испанец, низенький, смуглый, грязный и безмолвный, как могила. Он грозно посматривал на двух мужчин, разговаривавших между собою на языке, которого он не понимал; вероятно, ему казалось, что предметом разговора был он. Но испанец ошибался; два господина говорили по-польски и не о нем. Один из них был лет сорока, высокий, полный, румяный и с прекрасными зубами. Бело-

[1] Дословно: «Город Марсель» *(франц.)*.

курые волосы с проседью были подстрижены на затылке и отпущены на висках и темени; усики закручивал он в колечки. Обладатель всех этих сокровищ улыбался с приятностию, выделывая из губ сердоликовое сердечко. Товарищ его, невысокий, но статный мужчина лет пятидесяти составлял совершенную противоположность с ним; он был смугл, бледен, обстрижен донельзя и с такими глазами, от которых не отказался бы ни один испанец и, конечно, ни одна испанка.

Поодаль от всех, небрежно раскинувшись на деревянной скамье, лежал молодой человек лет двадцати двух. На нем был полосатый арабский бурнус и пунцовая феска с синею гарусною кистью; из-за фески выглядывали черные кудри, а из складок бурнуса — пара больших рук, сжатых палевыми перчатками; под носом торчали намазанные чем-то усики, а подбородок осенялся клочком волос, расчесанным очень тщательно; мне даже казалось, что этот юноша был набелен и нарумянен.

Остальные пассажиры принадлежали ко второму разряду и ограничивали прогулку свою пространством, заключающимся между носом парохода и трубою.

— Кто такие эти господа, что на задней палубе,— спросил я у капитана, предоброго и превеселого шведа гигантских размеров.

— Смуглый — испанец (имен я еще не заучил),— отвечал капитан,— а те два, что говорят между собою, кроаты, из которых низенький — полковник, и прекурьезная штука.

— А тот, что в арабском костюме?

— Да ведь охота же наряжаться шутом.

— А кто он?

— Он бельгиец; пресладкая физиономия,— прибавил капитан.

— Он очень недурен собою, не правда ли?

— Была бы кожа да краски — то ли намарать можно.

— Он вам не нравится, капитан,— заметил я.

— Таких ли еще приходилось перевозить.

И капитан расхохотался, плюнул фонтанчиком за борт и покачал головою в знак совершенного удовольствия.

Чрез несколько минут из-за кораблей, стоящих на якоре, показался восьмивесельный катер. Весь экипаж наш и все пассажиры бросились к борту. Катер быстро приближался

к пароходу; в катере сидело несколько дам и кавалеров.

— Это же еще кого бог дает? — спросил я у капитана.

— А вы разве не знаете?

— И не подозреваю.

— Вы не знали, что на моем пароходе отправляется в Рим Карлотта Гризи?

— Слышу в первый раз.

— Странно! — заметил капитан с видимою недоверчивостью, — очень странно; так вы, вероятно, думали, что этот бельгиец облачился в бурнус и дурацкую шапку для моих прекрасных глаз.

Капитан снова расхохотался и снова плюнул фонтанчиком через борт. Знаменитую танцовщицу провожали до парохода директор марсельской оперы и несколько первых сюжетов. Свиту ее составляли курьер и горничная. Карлотта преграциозно перескочила на висячую лестницу парохода, знаками простилась с своим обществом и вбежала на палубу, где встретили ее весьма неграциозный капитан и, с пленительною улыбкою, бельгиец в африканском бурнусе.

Высокий, миловидный кроат снял было шляпу, но, не замеченный госпожою Гризи, снова надел ее, покраснев до белка глаз, и повернулся к своему товарищу.

Карлотта подала руку мнимому африканцу и сошла в каюту; кроаты последовали за нею, а капитан махнул рукой.

Пароход кашлянул раза два, пустил густую струю дыма, дрогнул и побежал вдоль тысячи неподвижных судов, оставляя за собою черную полосу на небе и белую — на поверхности моря.

Еще минута — и от величественного и многолюдного Марселя и его тысячи кораблей осталось на горизонте одно грязное пятно.

Послав последнее прости Франции, я оглянулся: влеве от меня мелькал в тумане каменистый берег, впереди и вправе колыхались зеленоватые волны; надо мною было серое небо, и подле меня небритый кормчий, который флегматически жевал табак и смотрел на компас; кофейные руки его управляли судном.

Мне в голову пришла забавная мысль: что, если бы можно было пробудить от вечного сна одного из семи муд-

рецов древней Греции и, поставя его рядом со мною, сказать ему, что судно, на котором он находится, сделано из железа несколько толще бумаги; что судно это без парусов, но идет против ветра с быстротою прыткого бегуна, а движущая сила не что иное, как пар,— и мудрец преклонил бы колено пред изобретательностию настоящего века. Но если бы прибавить к этому, что от малейшей неосмотрительности, от малейшего небрежения вечно пьяного мужика, приставленного к машине, пароход может разлететься вдребезги и что восемь подобных же существ составляют весь экипаж этого огромного судна, мудрец, конечно, вскочил бы на ноги и, позабыв недавний восторг, попросился бы на берег.

Карлотта переменила костюм и в сопровождении трех моих товарищей вышла на палубу, а потому мысли мои приняли другое направление и — прости, мудрец!

Гризи было в ту пору лет 25, не более: несмотря на итальянскую кровь, текущую в жилах Карлотты, она бела, белокура и смотрит на поклонников своих темно-голубыми глазами, говорящими красноречивее ее прекрасных уст.

Костюм ее состоял из темно-зеленой блузы, такого же цвета шляпки и воротника из темно-серых белок; муфта и обувь равно опушены были беличьим мехом. Окинув беглым взглядом палубу, Гризи остановила его на мне, или, лучше сказать, на моем широком плаще, сооруженном еще в Москве из беличьего же тулупа; я понял значение взгляда и почти готов был извиниться перед очаровательной Карлоттой, почитавшей белок редкостью; но бельгиец стал между моим тулупом и ею, а я, проглотя извинение, повернулся лицом к морю. Румяный господин побежал за креслом, бельгиец за подушкой, а капитан, заметя свернутую в кольцо железную цепь, лежавшую в нескольких шагах от руля, отодвинул ее ногою и приказал подобрать. Четыре матроса продели в кольцо толстую палку и с трудом снесли цепь с палубы.

— А что капитан? в этой цепи пудов двадцать пять будет?— спросил я довольно громко, чтобы обратить на нас внимание танцовщицы.

— Что вы, что вы,— отвечал могучий капитан,— да в ней и пятнадцати не будет; вряд ли есть и двенадцать.— Он плюнул.

— Для одной ноги и эта тяжесть хорошая рекомендация; впрочем,— продолжал я,— скажите мне, оказала ли вам когда-нибудь сила ваша какую-нибудь значительную услугу?

— Очень значительную — нет! Однако ж...— Мы говорили по-французски, и слово «однако ж» заставило Гризи повернуться в нашу сторону; я заметил это движение и принудил капитана продолжать; он скрестил руки на груди, закинул ногу на ногу и, плюнув за борт, сознался, что, еще служа лейтенантом на одном из английских кораблей, отбил кулаком лапу посредственного якоря и так испортил руку, что в дурную погоду и до этой минуты чувствует некоторую боль.

Обстоятельство, названное капитаном услугою, заставило Карлотту расхохотаться до слез, а мне доставило случай завязать с нею разговор, а за ним и знакомство.

— Vous êtes de la même race?[1]— спросила у меня Гризи с насмешливою улыбкой.

— Avec la différence, madame, que nous sommes quelquefois moins bons que nos voisins[2],— отвечал я, протягивая руку почтеннейшему капитану, который чуть не изломал ее в знак благодарности. Карлотта улыбнулась и замолчала.

Все время до обеда, то есть до четырех часов, прошло довольно скучно; погода видимо портилась, море сердилось, и качка усилилась до того, что ходить становилось трудно.

Пробежав путевой лист капитана, я узнал, что бельгийца зовут Эльгемейном, что румяный господин — отставной поручик Стивицкий, а товарищ его — полковник граф Шелахвич. Последнему оказывал наш капитан особенное уважение: он не только уступал ему шаг вперед, но даже хватался за картуз, когда граф начинал с ним говорить. Шелахвич с первого взгляда чрезвычайно мне понравился; отсутствие всяких претензий, простота не только в речах, но в самых движениях выказывали в графе порядочного человека. Он был непринужденно учтив со всеми, разговаривал охотно обо всем, позволял себе изредка замечания и даже

---

[1] Вы из той же породы? *(франц.)*.

[2] С той лишь разницей, сударыня, что мы не столь здоровы, как наши соседи *(франц.)*.

противоречия, которые, однако ж, никогда не имели целию оскорбить рассказчика. За обедом в общей каюте румяный господин и бельгиец завладели Карлоттою Гризи, которую почти насильно усадили между собою. Я сел рядом с капитаном; полковник поместился возле меня, испанец оградил себя двумя пустыми стульями и ел очень много, не обращая ни малейшего внимания на остальное общество. Бельгиец и поручик поочередно накладывали кушанье на тарелку танцовщицы, угощали ее винами, фруктами и делали ей такие глаза, от которых, вероятно, несчастной Гризи становилось тошно. Не дождавшись конца обеда, она поспешно встала и побежала на палубу, оба кавалера бросились за нею вслед, что заставило капитана расхохотаться во все горло, а испанца горделиво повернуть голову и презрительно улыбнуться.

— Что вы об этом скажете, граф?— спросил капитан у полковника.

— О чем?

— О любезности этих господ.

— Я, право, не заметил,— ответил тот, продолжая есть преспокойно: новое доказательство уменья жить.

Капитан понял неловкость вопроса и, запив его стаканом портвейна, переменил разговор.

— А знаете ли, полковник,— продолжал капитан,— что каждый раз, когда я ем рыбу, я вспоминаю о вас.

— Неужели вы нашли сходство между нами, капитан?— спросил граф, смеясь.

— Как сходство, какое сходство? Разве я мог сказать подобный вздор!

— Вы сказали, что рыба напоминает вам меня.

— Да в каком смысле,— подхватил капитан,— я припоминаю приятеля вашего, адмирала Дюмон-Дюрвиля.

— Ну, теперь я покоен, потому что адмирал, по крайней мере, нимало не походил на этот род животных.

— Полноте, полноте, граф,— воскликнул капитан,— вы очень хорошо знаете, что дело не в сходстве, а в выстреле.

— Да, да, я начинаю припоминать. Какая же у вас память, капитан; и стоит ли говорить об этом вздоре?

— Хорош вздор, прошу покорно!

— А что такое?— спросил я у капитана,— если только вопрос мой не нескромен.

— А вот я вам расскажу.

— Право, не стоит,— перебил полковник,— удачный выстрел, вот и все.

— Положим, а я все-таки расскажу.— Капитан вытер рукавом губы и обратился ко мне всем туловищем.

— В двадцатых годах,— начал капитан,— я перешел во французскую службу и находился на военном фрегате, который имел честь перевозить адмирала из Орана в Тулон. В свите адмирала был полковник (капитан указал на графа). Вот в одно утро матросы заметили, что за рулем крадется акула: дурной знак для моряков. Правда, в наш век подобным пустякам не верят порядочные люди; но, сами посудите, есть ли возможность вбить в матросскую голову, что акула то же, что собака или другой голодный зверь, которому нужна пожива и больше ничего. Матросы задумались и стали перешептываться. Я был на вахте в то утро и при рапорте доложил адмиралу, что так и так. Адмирал оставил завтрак и в сопровождении всех офицеров взошел на палубу. Как нарочно, погода была тихая, море спокойное, и фрегат едва двигался вперед. «Брось ей что-нибудь»,— сказал адмирал, и в тот же миг принесли из кухни несколько кусков мяса; первый кусок испугал животное, которое приостановилось было, но вскоре перевернулось вверх брюхом и, проглотя мясо, быстро догнало фрегат; второй кусочек был проглочен еще скорее, а третий и четвертый до того разлакомили чудовище, что оно без церемоний только что не хваталось за руль. «Есть ли возможность отделаться от этого драгоценного сообщества?» — спросил вполголоса адмирал у капитана фрегата. «Никакой,— отвечал капитан,— иначе я употребил бы на то все средства». Адмирал задумался и потом обратился к полковнику.

— Какая память, какая память,— проговорил, улыбаясь, граф.

— Да, память недурна; но слушайте,— продолжал капитан.— На просьбу адмирала — подарить ему акулу, полковник слегка поклонился и приказал принести штуцер. Общее любопытство дошло до высочайшей степени. Пока граф заряжал ружье и осматривал курок, офицеры тревожно перешептывались между собою; бо́льшая часть пожимала плечами, другие улыбались с видом сомнения, а я, признаюсь вам, препросто утверждал, что полковник берется не за свое дело и что ни за какие сокровища не желал бы я находиться в его смешном положении. Но штуцер был заря-

жен, и полковник подошел к заднему борту; он стал всматриваться в животное, и мы едва переводили дух. «Бросьте ей что-нибудь,— сказал спокойно граф,— и, ежели можно, на веревке». Приказание его было выполнено в точности; половина барана, привязанная к тонкой бечевке, упала в море, и акула перевернулась; но в тот миг, когда пасть ее разинулась и готова была проглотить лакомый кусочек, мы дернули за бечевку, и баран отскочил вперед. Акула несколько минут следовала за приманкою, потом вдруг наддала ходу и снова перевернулась. «Дерните»,— сказал полковник, и в тот миг, как обманутое животное, перевернувшись, обнажило голову, выстрел раздался. Все мы превратились в зрение; никто не дышал. Животное свернулось в кольцо и нырнуло, оставя круг на поверхности моря. «Ну что?— спросил адмирал,— попал ли?»—«Полагаю»,— отвечал граф, отдавая ружье. «Но чтоб убить чудовище, нужно пробить ему перемычку глаз»,— заметил адмирал. «Знаю»,— отвечал граф так же спокойно и так же утвердительно, как бы сказал вам «здравствуйте!». «Кровь, кровь!»— закричал вначале один из адъютантов адмирала. «Кровь!»— повторили все без исключения, и не понимаю, как я не перескочил за борт. Адмирал приказал спустить в море шлюпку и сам в сопровождении графа и нескольких офицеров,— а в том числе и меня — сел в нее, и мы стали грести по направлению кровяного пятна.

— Славная минута,— заметил как бы нехотя граф.

— Я думаю, что славная,— прибавил капитан,— потому что едва мы наехали на место казни, как из глубины моря показалось беловатое, довольно длинное пятно; пятно это обрисовалось явственно, а чрез минуту издыхающее животное всплыло на поверхность воды. Разумеется, рукоплескания целого экипажа, громкое виват отвечали нашему крику, и чудовище с перебитою перемычкою между глаз приняли с восторгом на борт адмиральского фрегата.

— Что же тут необыкновенного: удачный выстрел и больше ничего,— повторил полковник, стараясь уклониться от комплимента, который был уже на конце моего языка.

— Если б смерть акулы была простая удача, то не стоило бы и говорить о ней; но, не отказавшись стрелять в присутствии многочисленного общества совершенно посторонних людей и адмирала, вы выказали такую уверенность, которая должна бы была уничтожить вас в общем мнении,

если б уверенность эта не оправдалась самым делом,— заметил я.

— Следовательно, вы полагаете, что можно быть уверенным в выстреле?— спросил полковник, обращаясь ко мне.

— До этой минуты я был далек от подобного предположения.

— И вы были совершенно правы; допустив твердость руки, привычку к оружию и частое упражнение, нельзя не взять в соображение качку судна, с которого вы стреляете, а главное, и что всего важнее — отблеск цели и подвижность ее; из этого всего вы видите ясно, что выстрел мой был только удачен, а решившись стрелять, я исполнил желание покойного адмирала, которого любил и уважал от всего сердца.

Граф глубоко вздохнул и, пройдясь несколько раз по кают-компании, поспешно вышел вон.

— Сгрустнулось ему,— сказал капитан, смотря ему вслед,— и, кажется, я глупо сделал, напомнив об адмирале.

— А скажите мне, капитан, вы коротко знаете графа?

— Я много слышал о нем; впрочем, я знаю его с давнего времени столько, сколько может знать проезжего кондуктор дилижанса. Храбрость, хладнокровие и благородство полковника вошли в пословицу в тех странах, где он служил.

— А где именно?— спросил я.

— Везде, где дрались и была опасность. Нет войны, полковник ищет четвероногих неприятелей, конечно, не кроликов, но врагов повыше и потолще, а главное — посердитее.

— Однако выйдемте-ка на палубу; скоро смеркнется, а море шалит не на шутку,— и капитан помог мне вскарабкаться на лестницу, которая беспрерывно ускользала у меня из-под ног: так сильна становилась качка.

Во время нашего отсутствия все остальное общество перешло с верхней палубы на нижнюю и расположилось на скамьях вокруг трубы: в этом месте, то есть на самой средине парохода, движение судна было менее чувствительно. Может быть, я ошибался, но мне показалось, что взор прекрасной Карлотты прояснился при появлении новых лиц; не знаю, что именно причиняло эту перемену — радость ли видеть капитана, моя ли особа или случай отдохнуть от приторных любезностей румяного господина и бельгийца,

который, несмотря на всю прелесть своего восточного костюма, дрожал всем телом от холода и начинал уже говорить как-то несвязно. Гризи пригласила нас присоединиться к ее кружку и даже отодвинулась от бельгийца, чтоб дать место капитану, но тот извинился и прошел далее; а я поблагодарил за приглашение и подсел к полковнику, который страх как начинал интересовать меня.

— Venez à notre secours, monsieur[1],— сказала Карлотта, обратясь ко мне,— нам очень скучно, и, к моему несчастию, ночь на пароходе — значит ночь без сна.

— Благодарим вас за комплимент, сударыня,— возразил румяный господин.

— О! не сердитесь на меня, ради бога! мы некоторым образом принадлежим морю в эту минуту; а вы знаете, что откровенность — добродетель моряков.

— В таком случае благодарим не за комплимент, а за откровенность,— подхватил обиженный бельгиец.

Карлотта расхохоталась: «Но согласитесь, господа,— продолжала она,— что как бы общество ваше ни было завлекательно, как бы ум ваш ни был игрив, не напоминаете ли вы мне прелестный Париж, любезную Францию, в которой я провела все годы однообразной моей жизни; не составляте ли вы образцов чего-то целого, прекрасного, но знакомого; между тем не истинная ли находка для меня житель далекой, незнакомой, но любопытной страны, сын снегов, член нации, оставившей нам в наследство такие страшные воспоминания, такие легенды ужаса, от которых, бывало, ребенком я содрогалася во сне; согласитесь же, господа, что не воспользоваться случаем, забросившим русского в наш кружок, было бы непростительно.

Бельгиец в эту минуту променял бы, я уверен, свой бурнус и пунцовую феску на олений тулуп и шапку лапландца, но увы! было поздно, и настал мой черед; я объявил Карлотте, что готов дать все возможные сведения, начиная от ловли архангельских сельдей до охоты за белыми медведями.

Карлотта сделала мне множество вопросов, на которые я отвечал, как умел, а заключил торжественным приглашением посетить нашу русскую сцену. Карлотта отозвалась страхом — отморозить ноги во время русской зимы; а я обя-

[1] Придите к нам на помощь, мсье *(франц.)*.

зался предупредить подобное несчастие, обещав подостлать под миньятюрные ножки Карлотты ковер из свежих камелий и роз.

Карлотта видимо интересовалась нашей беседой; бельгиец кусал губы, а румяный господин и море хмурились все более и более. Вдруг неожиданный поворот судна — и черный вал ударил в борт; пароход покачнулся; второй удар — и вода пробежала тысячью ручьев по палубе. Карлотта вскрикнула, а испанский гранд, забытый всеми, подъехал, сидя на скользком полу, к нашему обществу. Все расхохотались, подняли испанца и передали на руки прибежавшему капитану, который в свою очередь передал его двум слугам с приказом уложить его в койку. Потом капитан извинился перед нами в неловкости управлявшего рулем, который уже с распухшею щекою отослан был в люк.

— А вы испугались, сударыня,— проговорил, дрожа, бельгиец.

— Немного, признаюсь; мне вообразилось, что мы столкнулись с кем-нибудь. Ночь так темна, что это легко могло случиться,— отвечала Гризи, усаживаясь уже не на скамейку, а на самый пол; мы последовали ее примеру.

Румяный господин распространился о невозможности подобного столкновения, приводя, между прочим, тысячу примеров, опровергавших его же слова. От несчастных случаев, изложенных румяным господином, разговор постепенно перешел к другим предметам и, наконец, к страхам всякого рода.

— Испытали ли вы когда-нибудь это чувство?— спросила у меня Гризи.

— Много раз в моей жизни,— отвечал я.

— И вы помните эти случаи?

— Некоторые, да.

— А расскажете ли их нам?

— С удовольствием; но предупреждаю, что случаи эти не занимательны.

— Вы слишком скромны,— заметила Гризи.

— Нимало,— отвечал я,— и повторяю, что охотно сознаюсь в слабости, заставляющей краснеть наш пол.

— Позвольте, однако ж, предупредить вас, господа,— прибавила Гризи,— что я соглашаюсь выслушать первое сознание с условием, чтоб все мы поочередно сделали то же; согласны ли вы?

— С радостию,— отвечал, улыбаясь, полковник.

— Je mettrai ma mémoire à la torture pour vous être agréable, madame[1],— пробормотал бельгиец.

— Choisissez plutôt, ce que vous avez de plus piquant[2],— отвечала иронически Гризи.

Положение мое становилось затруднительно. Изъявив однажды согласие рассказать что-нибудь, я отказаться не мог; а между тем, вопреки всей готовности выполнить обещанное, я чувствовал, что не в состоянии сказать двух слов, не только выдумать занимательное происшествие. Судьба, казалось, сжалилась надо мной, подослав капитана, за которого ухватился я обеими руками.

— Вы должны начать,— кричал я капитану,— вы хозяин, мы гости, и первый шаг во всем ваш.

— Но что такое?— спросил капитан.

Я объяснил ему, в чем дело; ко мне присоединились прочие, и сбитый с толку капитан, осажденный со всех сторон, сдался и стал плевать. Молчанье водворилось, а я внутренно отдохнул. Потом, не скрываю, мне очень любопытно было знать, что могло перепугать человека, подобного капитану.

— Ну что же, капитан? мы слушаем; только, пожалуйста, что-нибудь пострашнее; поверите ли,— прибавила Гризи,— я начинаю уже чувствовать какого-то рода холод.

— Тем хуже, сударыня,— отвечал капитан,— потому что случай, который я намерен рассказать, так глуп, что, право, совестно.

— Но ведь вы были испуганы?

— До смерти; сознаюсь, и вот почему совестно, право.

— Все равно; прошу, не мучьте нас, я не только прошу, но приказываю начать; итак...

— Нечего делать!— проговорил капитан и начал таким образом:

«Прежде всего я должен познакомить вас с тем обществом, в котором я родился.

Мне было лет двадцать, когда отец мой, лесничий, высек меня за последнюю шалость и выслал из дому с приказом не являться прежде, чем я не сделаюсь чем-нибудь.

---

[1] Я подвергну пыткам свою память, чтобы сделать вам приятное, сударыня *(франц.)*.

[2] Лучше просто выберите что-нибудь позанимательнее *(франц.)*.

От того места, где проживал отец мой, мне предстояло пройти пешком до Готенбурга; а уж из этого города знакомый мне рыбный торговец обязался доставить меня морем в Стокгольм. До Готенбурга дорога шла дремучим лесом, миль на сорок; со мной было ружье и порядочный запас снарядов. Я шел и стрелял; а на ночь останавливался у лесников, подчиненных отцовскому управлению. Мое знание края было так ограниченно, что под вечер вторых суток я коснулся незнакомой границы, а на следующее утро вступил на землю совершенно чужую. Хозяин последнего ночлега, добрый человек, предупредил меня, что выстрел в чужих лесах окупается часто личною свободою, не говоря уже о побоях и прочих неудовольствиях, на которые я не обращал большого внимания. Вспомнив, что последний проступок мой в доме отца состоял в увечье быка, которому я в сердцах переломил кулаком спинную кость, я из этого воспоминания извлек уверенность оградить себя от всякого нежданного нападения. В таком-то расположении духа побрел я по незнакомой мне дороге; тропинки расходились во все стороны; я выбирал средние и старался держаться одного направления. Вдруг на опушке послышался шелест чего-то бегущего; я присел на дорогу, шелест затих, ничего не выбегало, и я пошел далее; вскоре раздался отдаленный лай целой стаи собак; лай делался явственнее; собаки приближались; меня бросило в жар. Забыв наставление лесника, я невольно приподнял ружье, и — вовремя, потому что позади меня из опушки на дорогу выскочил пребольшой волк: я выстрелил, волк визгнул, сделал прыжок и упал замертво.

С криком радости бросился я на добычу, приподнял ее за голову и осмотрел рану, и только что не стал целовать ружье, как подбежавшая стая окружила меня, собаки вертели хвостами, казалось, улыбались мне; я был совершенно счастлив, но за собаками прискакали охотники, и, сколько помню, их было около десяти человек. Многие из них подняли было бичи, но по приказанию начальника опустили их и стали в почтительном отдалении.

— Кто ты таков и откуда?— спросил повелительно тот, которого я принял за начальника.

Я сказал свое имя и место жительства моего отца.

— Ты — сын лесничего, и не знаешь, что охотиться в чужих лесах считается преступлением.

Я не отвечал ни слова.

— Понимаешь ли, что я вправе бросить тебя в тюрьму,— продолжал он, смягчив, однако, голос.

— За хищного зверя? не думаю,— отвечал я спокойно.

— А если бы на место волка на тебя набежала бы серна, что бы ты сделал?

— Я убил бы серну.

— Ты сознаешься?— спросил он почти с улыбкою.

— Я никогда не лгу; и сознаюсь, что, будь серна, я точно так же стрелял бы по ней, как по волку.

— Браво!— воскликнул он голосом, который не выражал уже более ни гнева, ни даже неудовольствия,— я люблю подобных молодцов, ежели ты не хвастун и не трус.

— Я не хвастун и не трус,— сказал я с досадою.

— Следовательно, ничего не боишься?

— Ни вас и ничего на свете.

— А если так, то мы увидим.

Господин повернул свою лошадь и сказал вполголоса несколько слов одному из охотников, который был одет щеголеватее прочих, и потом, обращаясь снова ко мне, прибавил:

— Ты пойдешь за нами и не будешь пытаться уйти?

— Даю слово, что не уйду,— отвечал я и, закинув ружье на плечо, последовал за охотниками, которые, привязав волка к одному из своих седел, стали разъезжаться.

Догнав господина, ехавшего рядом с молодым человеком, я спросил, могу ли стрелять во время охоты.

— Можешь,— ответил он, и я зарядил ружье.

Собаки напали на лисицу; охотник поскакал вперед; господин с товарищем последовали за охотниками.

Я знал, что лисица должна возвратиться на то самое место, с которого ее подняли, и потому не торопился вперед».

— Но неужели вы не воспользовались этим случаем, чтоб скрыться?— спросила с удивлением Гризи.

— Как скрыться? от кого скрыться?— проговорил удивленный капитан.

— От людей, которые готовили вам неприятность.

— Разве я вам не сказал, что господин охоты взял с меня слово следовать за ним,— заметил очень серьезно капитан,— так как же я мог скрыться?

Гризи замолчала. Капитан продолжал:

«Чего я ожидал, то и случилось: дав большой круг, лисица возвратилась в мою сторону и выскочила на небольшую полянку; я пустил заряд и перешиб ей передние ноги; лисица завертелась на одном месте, я взял ее и остановил собак.

— Да, ты славный стрелок,— воскликнул подскакавший ко мне господин.

— Не дурной,— отвечал я и, передав трофей свой охотникам, последовал снова за ними.

Солнце село, когда мы прибыли к месту жительства начальника. Перед нами отворились ворота, и тогда только я убедился, что полонивший меня барин был не простой, а большой барин. Жилище его состояло из огромного строения с башнями, галереями, колоннами и всеми принадлежностями старинных баронских замков. Правда, все это поросло мхом, местами на башнях и крышах виднелись березки, местами стены были пробиты и окна стояли без стекол и рам. Господин подъехал к крыльцу и с помощью слуг, выбежавших к нему навстречу, сошел с лошади. Я, признаюсь, невольно снял шляпу и остановился в ожидании приказания. Он заметил это движение и дал знак идти за ним. Мы молча прошли несколько коридоров и наконец достигли главной лестницы.

— Ты останешься здесь,— сказал он, указав на дубовую скамью.

Я повиновался, а он в сопровождении слуг пошел по широким каменным ступеням во второй этаж.

Оставшись один в темноте, я предался размышлению. «Кто бы мог быть этот барин?— спрашивал я у самого себя,— и какая участь, какое наказание ожидают меня в этом огромном и мрачном замке, о котором я не имел никакого понятия, но слышал много ужасного». То мне казалось, что господин начальствует шайкою разбойников; то тот же господин, по моему мнению, был какой-нибудь принц, короче, я недалек был от помешательства. Вскоре, однако, на той же лестнице явился слуга со свечою в руках и преучтиво просил меня последовать за ним. Взойдя на лестницу, слуга отворил первую дверь и пропустил меня в большую залу, довольно ярко освещенную. Посреди стоял накрытый круглый стол, уставленный всякого рода посудою, бутылками и прочими принадлежностями. Посреди всего этого горе-

ло несколько свечей. В зале никого не было, кроме меня и слуги, весьма неразговорчивого, потому что он не промолвил ни одного слова. Если это тюрьма, подумал я, то жаль, что попался мне волк, а не серна: меня продержали бы здесь долее. Чрез несколько минут противоположная дверь отворилась настежь, и вошел знакомый господин с какою-то дамою и тем молодым человеком, которого я видел на охоте. Господин был пожилой, а дама очень миловидна и несколько похожа на господина; сходство оправдалось, дама была его дочь, а молодой человек — сын. Я неловко поклонился вошедшим и принялся мять свою шляпу.

— Ну, что же ты стоишь?— спросил меня ласково господин, садясь за круглый стол.

Я посмотрел на него в недоумении; он повторил вопрос; я сделал несколько шагов вперед, он указал мне на четвертый стул; я понял наконец и уселся, все-таки молча и не поднимая глаз. Я чувствовал, что все взоры обращены были на меня, и мне было так неловко, что я готов был провалиться сквозь землю. Слуга подал моей соседке блюдо с чем-то превкусным; она положила себе очень мало; слуга поднес то же блюдо мне; я совершенно растерялся и отворотил голову.

— Что же ты не ешь?— спросил, смеясь, господин,— после прогулки молодому человеку не мешает поужинать.

Я хотел встать, чтобы приличнее поблагодарить хозяина, и чуть не опрокинул блюда; тогда соседка моя сжалилась надо мной, взяла у меня тарелку и, наложив ее доверху, поставила передо мною. Я принялся есть понемногу; блюдо было так вкусно, что я ободрился и, очистив тарелку до дна, выставил ее вперед: так по крайней мере делалось в доме отца моего; дама улыбнулась. Между первым блюдом и вторым господин обратился к даме.

— Знаешь ли, друг мой, чему ты обязана знакомством с твоим соседом?

Дама посмотрела на меня с любопытством.

— Он хозяйничает в лесах моих, как друг дома, и ничего, формально ничего не боится, так по крайней мере выразился он при десяти свидетелях; а он хотя и молодой человек, но не верить ему — значит оскорбить его.

— Свидетелей не нужно!— воскликнул я довольно твердо,— и повторяю, и готов повторить сто раз еще, что не боюсь ничего на свете.

— Кто ничего не боится,— возразил господин,— того ничем не испугаешь, ни мертвыми, например, ни привидениями,— прибавил он, значительно посмотрев на молодую даму, которая невольно содрогнулась и обратила на него умоляющий взор.

Я понял этот взор и совершенно ободрился.

— Не только мертвых и привидений, которым не верю,— отвечал я насмешливо,— но даже...

— Что даже? Что даже? Что ты хочешь сказать?— перебил пожилой господин.

— Ни даже черта! вот что я хотел сказать.

— Ну, молодец, ей-ей, молодец! Вот тебе рука моя, что я дам тебе случай доказать нам твой неустрашимый характер.

И господин налил мне полный стакан прекрасного вина, который я осушил одним разом. Потом он сказал несколько слов на ухо молодому человеку, который, кивнув головою, шепнул что-то молодой даме, дама побледнела и бросила на отца тот же умоляющий взор.

— Что же тут находишь ты страшного или невозможного?— спросил господин.

— Это было бы жестоко, батюшка!..— проговорила дама.— Зачем же заставлять делать другого то, чего бы мы сами сделать не согласились?

— Разве кто-нибудь из нас сказал, что ничего не боится?

— Согласна,— отвечала дама,— по крайней мере предупредите его!..

— Напротив, без всякого предупреждения; иначе как же мы удостоверимся в его бесстрашии.

При этом господин встал из-за стола и подал руку даме.

Я отвесил низкий поклон всему обществу и отошел к окну, а они долго еще шептались между собой. Как я ни был молод и глуп, а все-таки понял, что дело шло о каком-то испытании, которого, однако, я отгадать не мог. По совести, я ничего не боялся и смолоду хохотал от всей души, когда старухи толковали мне о привидениях, а к мертвым привык, провожая часто окружного лекаря нашего на следственные дела; я присутствовал не раз при вскрытии тел и, случалось, ночевал с ними в одном сарае.

Прошло этак с полчаса; наконец пожилой господин по-

целовал молодую даму в лоб, молодого человека в щеку и, проводя их глазами до дверей, возвратился ко мне.

— Устал ты?— спросил он, смотря на меня пристально.

— Немного устал,— отвечал я.

— А ежели устал, так ступай спать; я даже провожу тебя.

Я поклонился.

— Ты не тревожься,— продолжал он,— за истребление волков у нас не наказывают, а награждают, и обижать тебя здесь никто не думает и не желает; я люблю молодцов и завел тебя сюда, как гостя; переночуешь у меня, а завтра я дам тебе письмо к брату в Стокгольм: ты, верно, желаешь определиться на службу?

— Это мое единственное желание.

— В какую именно?

— В морскую.

— Бесподобно!— воскликнул господин,— брат мой член Морского Совета, и одно его слово может доставить тебе место волонтера на одном из королевских кораблей.

Я пренизко поклонился.

— Ну, теперь пойдем со мною: я укажу тебе твою спальню.

Господин приказал одному из своих слуг идти со свечой вперед, а я пошел сзади».

— И вам не было страшно?— спросила Гризи.

— Уверяю вас,— отвечал капитан,— что не только не страшно, а мне страх хотелось спать. Но слушайте; конец, предупреждаю вас, очень глуп. Как быть! и сознаюсь, что глуп, а по совести, повторись это со мною и в этот миг, я, мне кажется, умереть бы не умер, а может быть, перескочил бы через борт. Такова натура: что будешь делать?

Мы молча посмотрели друг на друга; Гризи придвинулась к полковнику, который слушал капитана с большим вниманием. Бельгиец, под предлогом холода, обошел капитана и сел между мною и румяным господином. Надобно заметить, что именно с моей стороны и дул морской ветер. Ночь была так темна, так мрачна, что действительно в двух шагах невозможно было рассмотреть ничего; один капитан, стоявший перед нами, ярко отделялся от мрака, ярко озаренный светом, пробивавшимся сквозь верхние рамы каюткомпании.

Когда бесстрашный бельгиец совершил свое перемещение, капитан снова начал рассказ.

«Всякий раз, как я припоминаю себе это глупое происшествие, мне всегда становится досадно; как было не догадаться, что вежливость хозяина замка, внезапный переход от угроз к ласке и, наконец, все, что со мною случилось в продолжение вечера, клонится к чему-нибудь необыкновенному? Нет; в ту минуту мне казалось, что так быть должно, и за господином я шел, как гость, по всему равный хозяину. Первые четыре комнаты были, вероятно, жилые: убранство их носило на себе отпечаток свежести; самый воздух, согретый большими каминами, был тепл, как в той зале, где мы ужинали. Из четвертой мы вошли в нечто вроде ротонды, а из нее в длинный ряд высоких холодных покоев, сырых и совершенно пустых; на мрачных потолках летало что-то; господин часто и робко озирался во все стороны и беспрестанно напоминал слуге, чтобы он от сквозного ветра не потушил свечи. Наконец последняя дверь скрыпнула на ржавых петлях, и меня ввели в мою спальню. Едва я окинул взором этот покой, как во мне родилось сомнение; я почти убедился, что хозяин замка хочет позабавиться на мой счет и испытать, до какой степени может простираться глупость сына бедного лесничего. Вообразите комнату, обтянутую дорогою материею, с золотом на карнизах, окнах и дверях, с двуспальною кроватью из золоченого же дерева, с высокими креслами, обитыми бархатом. Гардины, опущенные до полу были также бархатные с бахромою и кистями, сплетенными из шелка и золота; короче, я никогда не представлял себе королевской спальни столь роскошной. Слуга поставил свечу на мраморный стол и, по приказанию господина, вышел за дверь; а хозяин, расположась в креслах, подозвал меня.

— Теперь,— сказал он,— я объясню то, чего я от тебя требую; исполнишь ты мое желание, будешь молодец и достоин моего покровительства, а не желаешь выполнить его, откажись и ступай спать на псарню.

— Готов и слушаю,— отвечал я.

— Вот в чем дело,— отвечал господин,— уверяют, что замок не чист; понимаешь ли?.. Я, признаюсь, сам лично в этом не удостоверился, но слышу ежедневно от слуг моих, что в этой комнате, именно в этой, где мы теперь находимся, происходит что-то необыкновенное. В полночь, когда во

всех остальных частях замка все тихо и спокойно, тут раздается шум, треск, писк и черт знает что. А как ни поместья, ни замка я еще не взял у одного из моих должников, то и желаю удостовериться, что бы все это значило и не кроется ли во всем этом обман. Ну, понимаешь ли, друг мой?

— Понимаю и остаюсь ночевать,— отвечал я смеясь,— и уверяю вас, что никакие домовые, никакие привидения не испугают меня.

— Прощай же; добрая ночь,— сказал мне господин,— а завтра ты придешь рассказать, что видел.

— Во сне разве?

— Во сне или наяву, это мы увидим,— и господин зажег сам одну из свечей, приготовленных в моей спальне, позвал слугу и вышел. Когда дверь отворилась, я слышал, как ее заперли на замок.

«Так вот в чем состоит испытание»,— подумал я, внутренно смеясь над забавными и бессмысленными предрассудками людей, предрассудками, которыми, к стыду нашему, многие заражены в моей отчизне.

Между тем я осмотрел постель, обошел комнату, раздвинул гардины окон и выглянул в них. На обширном дворе замка все было тихо и спокойно.

Окончив осмотр, я разделся, закутался в мягкое одеяло, задул свечу и заснул крепким сном. Вдруг...»

— Позвольте перевести дух,— сказала Карлотта,— я ожидаю чего-то ужасного.

Капитан закурил сигару, и мы поочередно старались ободрить слушательницу.

«Итак, я заснул крепчайшим сном,— продолжал капитан,— не помню и не знаю в точности, долго ли продолжался сон мой, как вдруг мне явственно послышалось что-то вроде беготни; я проснулся и раскрыл глаза: шум утих, а в комнате было так темно, что все мои усилия рассмотреть окружавшие меня предметы остались без успеха: я повернулся на другой бок и прикинулся спящим. «Не вздумал ли кто-нибудь пугать меня?»— подумал я и с этою мыслью чуть снова не заснул; на этот раз мне явственно послышалось, что кто-то подбежал к постели, и в то же время я почувствовал, что меня хватают за голову, за руки, за ноги; я быстро повернулся и протянул вперед обе руки... о, ужас!»

— Что же, что? продолжайте, ради бога! — закричали мы с невольным беспокойством.

— Я лишился чувств и наутро пришел в себя с сильною болью в груди, спине и голове. Меня оттирали щетками и поливали крепким спиртом.

— Ну, что же вы видели, что вы схватили, капитан, не мучьте нас, ради бога?

— Что схватил, — повторил гробовым голосом капитан, — что схватил?

— Верно, привидение! — кричал один, — чудовище? — вопил другой, — одним словом, что-нибудь необыкновенное?

— Хуже, во сто крат хуже, — сказал капитан, — я схватил мышь!

— Как мышь?

— Так! мышь, и прежирную.

— Mon Dieu, que c'est bête![1] — невольно воскликнула Гризи и покатилась со смеху; хохот этот повторился всеми голосами и продолжался до тех пор, пока слуга не объявил по крайней мере в десятый раз, что ужин готов. Веселость, произведенная рассказом капитана, заступила место минутного страха, и во время ужина все поочередно старались блеснуть остроумием, что и заставило бельгийца сказать тысячу пошлостей.

Гризи не могла смотреть на серьезного капитана без смеха, на что богатырь отвечал благосклонною улыбкою.

— Ведь я предупреждал вас, что развязка истории моей большая глупость, и чем же я виноват, что, начиная с прадеда, вся порода наша не переносит ни мышей, ни крыс?

— Но можно ли было мистифицировать нас так долго?

— Почему же, сударыня? вам нужна была история, не выдумка, а быль. Вам нужно было сознание в робости, и я обязался исповедовать робость эту во всеуслышание.

— И так завлекательно, и так мило, — перебила Карлотта, — что сердиться на вас было бы еще глупее вашей истории; но, господа, чей черед и за кем кафедра? Ужин кончен; надеюсь, никто не хочет спать, и потому прошу покорно за мною на палубу.

Мы с шумом последовали за Гризи и в прежнем порядке расположились на полу.

Бельгиец подсел было к ножкам хорошенькой танцов-

[1] Господи, как это глупо! *(франц.)*.

щицы, но получил немедленный и довольно положительный приказ пересесть, и как можно далее.

Карлотта бросила жребий, и судьба указала на румяного господина. Он долго кичился, вертелся, заставлял себя упрашивать и наконец рассказал такой вздор, который не помню подробно, да если бы и помнил, то, конечно, не по трудился бы записать. Содержание его было следующее:

«Отцветший красавец во время пребывания своего в поэтической Венеции присутствовал при погребении прекрасного создания, в которое влюбился и поклялся любить вечно. Мертвое прекрасное создание явилось красавцу в полночь и назначило свидание на крыльце палаццо дожей, откуда румяный господин отправился с мертвою в гондоле и пел с нею дуэт посреди лилового моря; мертвая дала ему поцелуй, оставивший на сердоликовом рте рассказчика вечное, неизгладимое пятно, а сама исчезла в волнах».

По окончании фантастической повести, капитан поднес было фонарь к устам отставного поручика Стивицкого, но пятна не оказалось; поручику и всем нам стало как-то неловко. Но второй жребий достался полковнику, и все единодушно потребовали рассказа.

Полковник не делал никаких затруднений и предисловий и начал рассказ свой, который тем более интересовал меня, что каждое слово его дышало истиною.

«С тех пор, как я себя помню,— сказал граф,— помню себя одиноким; принятый ребенком в доме глухого старика, моего родственника, я рос без наставников, без друзей и без всякого присмотра. Может быть, вследствие подобного воспитания, а вероятно, и по врожденным наклонностям, с самого младенчества я избегал общества; не любил его, не привыкал ни к чему и ожидал с нетерпением минуты моего совершеннолетия. Единственным желанием моим было обратить в деньги все, что мне досталось по наследству от родителей, и бежать куда бы то ни было. Едва минул мне двадцать один год, как тот же глухой родственник дал за земли мои, что хотел, и, снабдив меня заграничным паспортом, простился со мною довольно холодно. Я проехал в Англию, из Англии на первом корабле отправился в Индию и т. д. Страсть к охоте была во мне господствующей страстью; сколько раз проводил я целые месяцы под открытым небом, кочуя в обществе дикарей, с которыми иногда, не понимая их языка, принужден был объясняться знаками.

Стреляя порядочно, я внушал случайным товарищам моим доверенность и уважение; на руку мою надеялись как на верную помощь, и, действительно, я не помню, чтоб пуля моя миновала цель, и при всем этом я должен прибавить, что страсть к охоте не была во мне безотчетною, бешеною страстию: нет, я был осторожен; каждый шаг свой рассчитывал вперед, всякий случай предвидел, и никогда зверь не имел надо мною никакого преимущества. Изучив свойства неприятеля, с которым имел дело, я никогда не шел против него один; потом шел вооруженный столько, сколько того требовали обстоятельства; самая местность входила у меня в расчет; наконец двадцатилетняя опытность сроднила меня с мыслию, что робость не может быть мне доступна, и этою уверенностию, признаюсь вам, я внутренно гордился — и что значил слон, когда на расстоянии ста шагов я уверен был посадить ему пулю в ухо; что значил тигр, которого давит безоружный индиец ремнем своим, и я не раз толковал о допотопных животных, не существующих более: так прискучили мне все породы знакомых зверей».

— А случалось ли вам охотиться на льва?— спросил я у полковника, перебивая его.

— Позвольте; он-то и доставляет мне честь ораторствовать в вашем присутствии,— отвечал, улыбаясь, граф, и продолжал:

«В апреле прошедшего года прибыл я в Бону; цель поездки моей в Африку была экспедиция, предложенная мне одним из знакомых французских генералов, стоявших с своим войском в Константине. Переночевав в единственной гостинице города, я на следующее утро явился к коменданту и обедал у него. Прощаясь со мною, он предложил мне присоединиться к военной партии, отправленной им с провиантом в Константину; предложение это пришло мне очень по сердцу: я был уверен, что найду в числе офицеров своих старых знакомых. Я поблагодарил коменданта, пробыл еще двое суток в городе, а на третьи в пять часов утра сел на мула и пустился вслед за командою, которая опередила меня двумя часами.

Я выехал из стен Боны совершенно один, хотя дорога в Константину не безопасна; но правительство приняло против этого деятельные меры, и на расстоянии сорока французских миль, разделяющих эти два города, поставлен значительный отряд войск для конвоя проезжающих.

Я расчел, что отряд наш, шедший шагом, употребит не менее шести часов для достижения первого этапа, следовательно, пустив мула рысью, я легко мог догнать его в полтора часа. Въехав в Алькарасскую долину, примыкающую к самым стенам города, я заметил вдали всадника, следовавшего по одному со мною направлению; он был в солдатской шинели и в красной фуражке.

«Попутчик!»— подумал я и приударил мула. Едва мы поравнялись, как всадник остановил коня, взглянул на меня с большим вниманием и, сняв фуражку, закричал: «Salut, mon colonel!»[1]

— Разве вы меня знаете?— спросил я.

— Я имел честь встречать вас в Алжире, граф, и неоднократно,— отвечал он.

— В таком случае очень рад и поедем вместе. Вы, верно, принадлежите к отряду,— продолжал я, нимало не заботясь о том, что даже не спросил имени своего спутника.

— Нет, не принадлежу, а пристану к нему охотно, покуда путь один.

— Стало быть, вы отправляетесь не в Константину?

— Не совсем, полковник; место моего назначения — Гельмское укрепление; оно ближе Константины несколькими часами.

Мне казалось, что мы сказали друг другу все, что имели сказать, но я ошибся: товарищ мой, зная, с кем имеет дело, заговорил об охоте; а начав раз, он не мог кончить, потому что главное удовольствие людей, одержимых этою страстию, состоит в том, чтоб передавать кому бы то ни было давно забытые похождения и наслаждаться впечатлением рассказа.

Проехав долину и миновав старасскую дорогу, мы продолжали путь по холмам, местами обросшим соснами и оливковыми деревьями. Вдали тянулись возвышенности, примыкающие к Атласу; изредка среди густой зелени пестрели развалины,— жалкий остаток римского величия; а в полдень мы присоединились к отряду и с ним вместе провели ночь в дрейянском лагере.

Не найдя между офицерами ни одного знакомого, я ограничился обществом своего спутника и продолжал с ним путь до Гельмского укрепления, которое составляет

---

[1] Приветствую вас, полковник! *(франц.).*

третий этап. Спутник мой предложил осмотреть развалины христианской церкви, передал довольно подробно легенду нескольких памятников и в заключение попотчевал меня кофе, без которого, как говорил он, обходиться никак не мог.

За кофе речь коснулась опять охоты; но я забыл вам сказать, что речь эту вел я один, а он только слушал со вниманием человека, которому предмет разговора знаком только понаслышке.

— Но неужели вы не ощущали ни малейшей робости, стоя, например, против тигра?— спросил у меня мой спутник.

— Не помню, а кажется, никогда.

— Удивительно,— промолвил он недоверчиво.

— Почему же?

— Потому что тигр прехитрое и прековарное животное, прыжки его направляются безошибочно, а они смертельны.

— Но против прыжков есть надежная рогатина, а для рогатины две твердые руки товарища,— отвечал я.— Вот если бы лев, это другое дело.

— Лев!— возразил он,— да помилуйте, что значит лев? то же, что корова, что всякая домашняя скотина. Поверьте, разницы большой нет, по крайней мере для меня.

— Но разве вы встречались с ним?

— Со львом?

— Да!

— Да чем же я и занимаюсь, как не этими встречами и даже в эту минуту?..

— Неужели вы Жирар?— воскликнул я почти с восторгом.

— К услугам вашим, граф!— отвечал, улыбаясь, скромный истребитель львов.

— И вы не назвали себя ранее и слушали с таким вниманием мои ребяческие подвиги? Я этого вам никогда не прощу,— прибавил я, краснея, как школьник перед учителем.

— А может быть, простите,— перебил Жирар.

— Не думаю.

— Ни даже, если б, например, я передал вам права мои на первую львиную шкуру?

— Убитого вами льва?

— Нет, живого и здорового.

— А где его взять?

— Надеюсь, недалеко отсюда.

— Вы шутите.

Жирар вместо ответа вынул из кармана сложенный лист бумаги и передал его мне.

Я развернул бумагу и чуть не запрыгал от радости; то был открытый лист и предписания местным отрядным командирам давать по требованию Жирара то число людей, которое он найдет нужным для истребления львов в окрестностях гельмского лагеря. Жирар прибавил, что недавно поблизости Гельма открыта туземцами свинцовая руда, которую правительство предписало разработать; а как частые посещения всякого рода животных беспокоят рудокопов, то и прислан он, Жирар, поохотиться.

— Когда же мы отправимся? — спросил я.

— Через час, если вам угодно, — отвечал он.

Через час мы расстались с отрядом и выехали из лагеря».

— Скажите, полковник, наружность Жирара соответствует ли его силе? — спросил румяный господин.

— Кто же вам сказал, что он силен, — отвечал граф. — Он меньше меня ростом, узок в плечах и такой доброй наружности, что, смотря на него, конечно, никто не догадается, что наружность эта принадлежит грозному бичу львов. Прибавьте ко всему этому скромность и неловкость молодой девушки, и вы получите полный портрет Жирара.

— Итак, граф, вы выехали из лагеря.

«Да, в этот же вечер и чрез несколько часов мы остановились посреди шалашей рудокопов. Появление Жирара было истинным праздником для этих бедных людей. Целая толпа женщин, покрытых рубищами, окружила его со всех сторон; многие поднимали кверху детей своих, кланялись до земли, кричали, смеялись и даже прикладывались к полам его сюртука. Нам отвели лучший шалаш; разостлали в нем несколько войлоков и снабдили нас фруктами, кабаньим мясом и всем, что нашлось лучшего в этом краю. Когда же жители маленькой колонии разошлись, Жирар потребовал к себе одного из старших. К нам явился высокий и худой араб в засаленном бурнусе; он бросился к ногам Жирара и целовал их, потом встал и скрестил руки на груди.

— Часто ли показывается лев?— спросил Жирар.

— Ах, как часто! ах, как часто, и не без крови! Несчастные стада! и все погибнет! и скорбь людям! и...

Араб, словоохотливый, как все его соотечественники, не кончил бы никогда; но Жирар крикнул на него, и араб умолк, бросившись снова к ногам нашим.

— Отвечай на вопросы мои коротко и ясно,— сказал Жирар.— Во-первых, как часто показывается лев?

— Еженедельно,— отвечал араб.

— Все тот же или разные?

— Один и тот же.

— Почему ты знаешь?

— Он ходит в одну ногу,— отвечал араб.

— Ты видел след?

— Я видел два.

— Где именно?

— На Сейбузской долине.

— Далеко от Ключа?

— На двадцать взмахов левее.

— Этого достаточно,— сказал Жирар; потом, подумав, он спросил у араба:— Как давно видели льва в последний раз?

— Три луны взошли с той поры,— отвечал араб.

Жирар бросил арабу мелкую монету, которую тот схватил с жадностию, потом поцеловал еще раз ногу Жирара и вышел из шалаша, оставя нас вдвоем.

— Довольны ли вы собранными вами сведениями?— спросил я у моего товарища.

— Так доволен, что прошу у вас, полковник, только три ночи и никак не больше четырех; они же, на ваше счастье, светлы, как день, и не будь я Жирар, если через неделю львиная шкура не будет сушиться на солнце против нашего шалаша.

Я крепко пожал его руку и, не спрашивая больше ни о чем, вышел, чтоб дать ему время сообразить на просторе план охоты и сделать все нужные приготовления. Вечер был прекрасный; когда я возвратился, Жирар спал уже самым безмятежным сном. Проснувшись на следующее утро, я оглянулся — товарища моего не было; он пришел в час обеда и радостно объявил мне, что араб сказал правду и все идет очень хорошо. Одна из женщин колонии принесла нам кусок жареной баранины и разваренного пшена. Жирар ел за

десятерых. После скромной трапезы он пригласил меня последовать его примеру и заснуть часа четыре.

— А ночь на что?— спросил я.

— А ночь на льва,— отвечал он, преспокойно укладываясь.

— Неужели сегодня?

— Именно,— проговорил он.

Меня бросило в жар, а Жирар захрапел прегромко.

Напрасно напрягал я все умственные способности, чтоб убедить себя, что лев, как говорил Жирар, не что иное, как корова; напрасно старался я думать о других предметах — сон не смыкал моих глаз, и сердце не успокоивалось.

В семь часов товарищ мой проснулся, вытянулся и приподнял голову.

— А вы не спите?— спросил он.

— Нет, не могу!

— Напрасно; ночи холодны; вы ослабнете, и чего доброго — заснете в кусте.

— Ручаюсь, что не засну,— отвечал я.

— То-то, смотрите!

Жирар стал одеваться; потом, осмотрев свое одноствольное солдатское ружье, зарядил его пулею, закинул на плечо, и, отобрав четыре патрона, положил их к себе в карман.

— Куда же?— спросил я, не зная, чему приписать его сборы.

— Как куда? к Горячему Ключу; и вам пора — я готов!— сказал Жирар совершенно спокойно.

— Но где же ваше оружие?

— Вот оно.

— Одно ружье и четыре патрона?

— Ну, да; три лишних.

— На льва!

— На четырех, если попадутся.

И он засмеялся.

Я вспомнил содержание открытого листа и успокоился. Одеться и вооружиться двумя двуствольными штуцерами было для меня делом одной минуты; потом, привязав длинный и острый нож к кушаку, я захватил железную рогатину, с которою никогда не расставался, и объявил Жирару, что готов следовать за ним хоть на край света. Мы вышли

из шалаша, миновали вал и стали отдаляться от колонии рудокопов. Окрестности Сейбузского Ключа достойны особенного внимания своею разнообразною красотою. Вокруг его виднеются еще и до сих пор развалины очаровательных римских вилл, поросших миртовыми деревьями и густым плющом; из середины развалин струится прозрачный ручей студеной воды, которая, опоясывая долину, смешивается с кипучим потоком Сейбуза. Без всякого сомнения, целью львов была не свинцовая руда, а холодный ключ. Такого мнения был и Жирар, который, подойдя к развалинам, принял влево и направил шаги свои по песчаному берегу речки. Я следовал за ним, оглядываясь во все стороны. По прошествии некоторого времени, он остановился и подозвал меня, указывая на землю.

— Видите ли вы?— спросил он меня.

— Что?

— След льва; и не львенка, а настоящего льва!

Я нагнулся, и действительно, от самой воды тянулась вдавленная полоса шириною в фут; след этот терялся в траве и кустарнике.

— Теперь,— продолжал Жирар,— поверните вправо и, сделав большой круг, обойдите тот куст, что там, на холме,— он указал мне на куст.

— Вижу,— отвечал я,— а вы?

— Я поверну влево и подойду к вам с тылу.

— Но где же команда?— спросил я наивно у Жирара.

— Какая команда?

— Та, которая должна находиться при нас.

— Зачем?

— Как зачем?

— Команда помешает нам охотиться; лев считает людей, и двух не побоится, конечно; а за большее число не ручаюсь.

Я без возражения отправился по назначенному направлению, а он повернул влево.

Солнце село, и луна уже величественно поднялась на горизонте, когда мы сошлись близ куста, указанного Жираром. Кругом роскошно расстилалась долина, испещренная песчаными полосами. Жирар, сбросив с плеча ружье, прислонил его к кусту, вынул из кармана сигару и пригласил меня сделать то же.

Мы уселись рядом и стали преспокойно курить.

— Неужели львы дозволяют вам такие вольности,— заметил я, смеясь, моему товарищу.

— Далеко нет,— отвечал он,— но сегодня он не пожалует; мы репетируем свои роли для послезавтрашнего представления; потом, вы позволите мне, граф, не то чтоб дать наставление, но сообщить вам несколько замечаний, которые касаются до охоты за этими животными?

— Я прошу вас об этом, Жирар,— отвечал я.

— Они ничтожны, но могут пригодиться на случай; и потому, полковник, вы, как гость, займете этот куст, а я, с позволения вашего, спрячусь позади вас за тот курганчик, что вы видите; до него шагов пятнадцать, и мы можем переговариваться. Ружье ваше с взведенным курком должно лежать на коленях: я говорю ружье, потому что лев требует только одного выстрела.

— Вы слишком уверены в моем искусстве,— заметил я.

— Конечно уверен, граф; иначе не предложил бы вам подобной прогулки; но возвратимся к делу. Видите ли вы сосновый пень, что за речкой?— спросил он, указывая пальцем на черную точку, едва заметную вдали.

— Вижу.

— Около самого пня он пройдет непременно, спустится вправо и снова появится вот тут.

— Как, у этого обрыва?

— Не у обрыва, а из самого обрыва: ну да, пойдет по старому следу.

— Но до обрыва не больше двадцати пяти шагов,— заметил я с невольным трепетом.

— Глаз ваш верен, полковник; тут точно двадцать пять шагов; я их вымерял и воткнул маленький кол; он ясно виден, не правда ли?

Жирар показал мне кол.

— Зачем это?

— Это только обозначает последний шаг льва,— сказал, улыбаясь Жирар.

— Не понимаю.

— Я хотел выразиться поэтически, а в прозе это значит, что, когда лев поравняется с колышком, вы, полковник, приподнимите ружье, он сделает еще шаг, то есть будет находиться от вас в пяти шагах, вы выстрелите — и курок со львом, надеюсь, падут в одно время.

— А если я промахнусь,— воскликнул я невольно.

— Быть не может!

— Однако ж допустим.

— О, тогда, тогда!..

Жирар замялся и увернулся от объяснений последствия.

Мы молча глядели друг на друга; наконец Жирар все-таки улыбаясь, но принужденно, предложил мне сделать ему честь только присутствовать при охоте.

— Я, по совести,— сказал он,— не предвижу никакого рода неудач и не имею причины предвидеть их, потому что я, плохой стрелок, из девяти подобных охот вынес столько же львиных шкур; но кто же поручится, что гость после промаха сделает нам честь пожаловать вторично? А, право, жаль было бы, полковник, отпустить его в вожделенном здравии.

Я посмотрел на Жирара; он смешался.

— Вы говорите не то, что думаете,— сказал я ему с упреком,— вас страшит не потеря добычи, а опасность, которой я неизбежно подвергнусь, не правда ли?

Жирар молчал.

— О, слабость человеческая!— воскликнул я с жаром.

Молчание Жирара заставило меня забыть все до самого благоразумия, и, взяв его за руку, я принудил себя расхохотаться и сказать ему, что я не только не уступаю куста, но даже прошу его не брать с собою ружья, чтоб не подумали другие, будто лев пал не от моей руки.

Успокоенный моими уверениями, Жирар принял веселый вид и предложил мне возвратиться в шалаш, повторяя, что льва до послезавтра ожидать было бы напрасно.

Сон мой был тревожен: вторую ночь мы провели в кусте; а перед утром возвратились в колонию; наконец настала и третья ночь».

— Неужели вы убьете мышь, граф?— спросила, смеясь, Гризи, когда Шелахвич прервал рассказ.

— Хотя бы и мышь, сударыня,— отвечал со вздохом полковник,— но вообразите себе...

— Нет, нет, не говорите вперед!— закричали мы все,— мы требуем продолжения и не дарим вам ни одной секунды третьего дня, ни малейшего ощущения.

Полковник вторично вздохнул и продолжал:

«В третий вечер Жирар проснулся, как и в предыдущие,

ровно в семь часов; снова осмотрел ружье, отсчитал четыре патрона и напомнил мне, что час настал.

Вооружась всем своим мужеством, я последовал за товарищем, который на этот раз повел меня по другому направлению.

Солнце еще не скрылось, когда мы достигли куста и расположились сообразно с планом Жирара; я поместился в самом кусте, а он в пятнадцати шагах позади меня.

Сумерек не существует на юге, и луна мгновенно заступила место солнца. Безмолвие ночи прерывалось по временам пронзительным писком шакалов и диким, жалобным криком ночных птиц, быстро носившихся по всем направлениям. Жирар подполз ко мне.

— Мы можем еще побеседовать,— сказал он вполголоса,— и время терпит, а сидеть молча — томительно.

— Я рад; но не развлекла бы беседа нашего внимания?

— О, не беспокойтесь! приближение льва ознаменуется явлением, которое заметить нам не трудно будет.

— А что это за явление?— спросил я с тревожным любопытством.

— Очень обыкновенное,— отвечал Жирар,— вы заметили, что зверя этого чуют лошади и верблюды на расстоянии целой мили? Лошади опускают голову и начинают дрожать, как в лихорадке; а верблюды ложатся и только что не закапываются в песок. За неимением тех и других указателей, судьба посылает нам шакалов, которых вы явственно слышите: не правда ли? Ну, а почуй они приближение желанного нашего гостя — все умолкнет, и тогда мы не только перестанем говорить, но притаим самое дыхание. Лев преаристократическое животное; натуралисты ошибочно причислили его к классу диких зверей, ползающих и пресмыкающихся. Лев раз навсегда составил свой маршрут и следует ему, не сворачивая ни вправо, ни влево; например, на самом пути его находится куст; куст занят чем-то незнакомым: не полагайте, чтоб он бросился в сторону; нет, он, вероятно, остановится; не ускорит, а напротив, убавит шаг, но все-таки пойдет за куст.

— А если бы я не стал стрелять по нем, что бы случилось?

— Не стрелять в пяти шагах? Зачем же вы не стали бы стрелять, граф?— спросил наивно Жирар.

— Положим, что мне любопытно было бы знать, что сделает лев в таком случае.

— Вот этого я не умею вам сказать, потому что любопытство мое не заходило никогда так далеко.— И Жирар только что не сознался, что не чувствует в себе довольно мужества для подобного испытания.— Это правда,— прибавил он,— что раз в окрестностях Брея я почти вынужден был отодвинуться, чтоб дать ему пройти; но это, поверьте, сделал не из любознательности, а из крайней необходимости.

Я просил Жирара рассказать мне этот случай.

— Извольте, и, мне кажется, мы успеем кончить,— сказал он.— Милях в трех от брейского лагеря подметили льва и дали мне о том знать; я выбрал удобное место — прегустой куст и провел в ожидании гостя четырнадцать суток. Посудите сами, какое терпенье устоит против тоски сидеть четырнадцать суток сряду одному и без малейшего результата. В пятнадцатый вечер я, почти нехотя, расположился на слишком уже знакомом месте и, под крик ястребов, заснул преспокойно: вдруг меня как будто кто-то толкнул в сердце; раскрываю глаза — шагах в семи от куста лев; я за ружье, лев лег; я прицелился ему в лоб — хлоп!— осечка. Тут только вспомнил я, что пистон старый...

— Что же лев?— спросил я.

— Лев медленно привстал и пошел прямо на меня; время терять было напрасно; я переменил пистон и выстрелил, правда, гораздо ближе, чем на пять шагов. Неосторожность, вот и все! Не позаботиться о подобных пустяках я считаю большою глупостью.— Однако позвольте; да, точно.

И Жирар понизил голос.

Я посмотрел на него с беспокойством; он показал мне пальцем на уши и бросился вон из куста.

Я догадался и стал вслушиваться; все звуки замолкли, и кругом нас воцарилась та мертвая тишина, которая обыкновенно предшествует шквалу на море. Я невольно взглянул на небо — ни одного облачка; вокруг нас ни одного живого существа, ни малейшего движения, ни признака жизни — и мне стало холодно. Первые полчаса ожидания показались мне веком; сколько тревожных мыслей пробежало в эти тридцать минут в моем воображении; сколько различных ощущений перечувствовал я в этот короткий срок. Но самолюбие и стыд взяли верх над робостию. Осмотрев шту-

цер и засучив рукава своего пальто, я стал дожидаться. Прошло еще несколько минут, и позади меня Жирар пошевелился; я повернул голову в его сторону. «Attention!»[1]— шепнул он и указал концом ружья по направлению речки.

Рядом с тем пнем, о котором говорил мне Жирар, я увидел другую темную точку, другой пень, повыше первого.

— Le voyez-vous?[2]

— Très distinctement[3].

— C'est bien[4],— шепнул он и опустил ружье.

Через минуту на том месте, где виднелись еще недавно два пня, остался только один; взор мой инстинктивно перенесся за черноватое углубление, отстоявшее от меня на расстоянии двадцати пяти шагов. В это мгновение я не мог больше отдавать себе отчета ни в мыслях своих, ни в ощущениях; сердце билось так сильно, что я слышал это биение. Прошло еще несколько минут, и в темном овраге блеснули два желтые круга; еще мгновение — и черная масса отделилась от земли, отбросив на золотисто-песчаную почву огромный львиный силуэт.

Я был убежден, что лев меня видит, потому что эти два фосфорические круга не отводили от меня ни на миг своих черных точек. Лев приближался медленно, шаг за шагом; широкий нос его был ниже туловища; он вытянул шею; он приподнял гриву; он не останавливался...

Я силился отвести от глаз его мои глаза — и не мог; я хотел целиться, хотел поднять ружье и не мог; лев подошел на пять шагов; я был недвижим.

— Feu, feu; faites feu, au nom de Dieu[5],— раздалось позади меня; я явственно слышал голос и не двигался. Лев приостановился и поднял голову; хвост его пришел в движение, уши приподнялись.

— Excusez donc[6],— крикнул Жирар, и в то же время лев осветился мгновенно и раздался выстрел.

Я вскочил на ноги.

---

[1] Внимание! *(франц.).*
[2] Вы его видите? *(франц.).*
[3] Очень отчетливо *(франц.).*
[4] Вот и прекрасно *(франц.).*
[5] Огонь, огонь, стреляйте, ради бога! *(франц.).*
[6] Тогда извините *(франц.).*

— Vorte arme, donnez moi votre arme![1] — прокричал тот же голос, но уже возле самого меня, и Жирар вырвал у меня из рук ружье.

Эта мера была лишняя: лев мотнул головою, заложил ее между передних ног и, ревнув протяжно, перевалился вперед. Он был ранен смертельно.

Жирар, сняв картуз, обратился ко мне.

— Savez-vous, colonel, que vous poussez bigrement loin vos épreuves,[2] — сказал он, смеясь, с тоном упрека.

— Quelles épreuves, s'il vous plai?[3] — спросил я, не понимая Жирара.

— J'espère bien, en laissant approcher la bête à une distance de trois pas; diable![4]

— Mais c'est que j'ai eu peur, mon ami[5], — шепнул я на ухо Жирару».

---

[1] Ваше ружье, дайте мне ваше ружье! *(франц.)*

[2] Знаете, полковник, вы зашли в своем испытании дьявольски далеко *(франц.)*.

[3] В каком испытании, что вы имеете в виду? *(франц.)*.

[4] То, что вы подпустили зверя на расстояние трех шагов, черт возьми! *(франц.)*.

[5] Но я просто испугался, мой друг *(франц.)*.

Турист

Приехать в Рим и не сделаться артистом так же трудно молодому русскому путешественнику, как, бывало, в старые годы трудно французу, приехавшему в Москву, не сделаться учителем или по крайней мере виконтом. По прибытии в Рим русский путешественник приобретает краски, палитру, кисти, белую войлочную шляпу с широкими полями и на дверях своей квартиры наклеивает бумажку с лаконическою надписью: «Pittore Russo»[1]. На другой же день преобразования, часу в девятом утра, у двери его непременно раздается звонок, и на вопрос артиста-самозванца: «Кто там?»— женский голос ответит: «Una modela, signor»[2], и артист с улыбкою отопрет дверь, и чрез пять минут копия модели начнет принимать на холсте вид бог знает чего. Заметьте притом, что русские путешественники, поступая на артистическое поприще и не имея ни малейшего понятия о рисовании, предпочитают преимущественно исторический род, то есть самый трудный из всех родов живописи.

Находясь в Риме, я, правда, был не совсем молодым человеком, но все-таки в качестве русского путешественника не отстал от соотечественников и, на третий день по прибытии своем в вечный город, возвращался уже на квартиру свою с большим запасом гипсовых голов, рук, ног и пр. и

[1] «Русский художник» *(итал.)*.

[2] Это натурщица, синьор *(итал.)*.

пр., добытых мною за весьма сходную цену в какой-то лавочке, но вдруг... о несчастие! на углу Корсо и Лаурино огромная черная собака попала с разбега под ноги итальянцам, несшим гипсовый запас мой, и все собрание форм разбилось вдребезги! Я был в отчаянии. Хозяин собаки, человек средних лет с белокурою бородкою и одетый очень пестро, извинился передо мною на чистом французском наречии, попросил снабдить его моим адресом и обещался доставить точно такое же количество вещей, какого лишила меня собака.

Я взглянул на пестрого господина, призвал на помощь свои воспоминания, которые удостоверяли меня, что лицо его когда-то и где-то мне встречалось; моя наружность, по-видимому, произвела на него то же действие, и почти в одно время мы назвали друг друга по имени.

— Какими судьбами вы здесь?— воскликнул он,— и как я рад...

— Очень просто, cher monsieur David[1].

— Не David, а Crosel к услугам вашим,— заметил француз.

— Давно ли?

— С тех пор, как соотечественник ваш, у которого я, помните, учил детей латыни, вследствие небольшого недоразумения сказал мне: «Monsieur David, faites graisser les roues de vorte voiture et filez...»[2]

— А в чем состояло маленькое недоразумение?

— В том, что латынь, мною преподаваемая, показалась более похожа на марсельский patois[3], чем на настоящую латынь! Я и сам постичь не могу, как мог я так ошибиться; но как бы то ни было, имя Давида потеряло весь кредит в губернии; а имея в запасе другое имя, я предпочел называться им.

— И прекрасно сделали.

— Как же не хорошо, сами посудите! Mr. Crosel значило — новый француз, только что выпущенный первым из Политехнической школы, следовательно, обладающий бездною учености; и в Ecaterinoslavl такое сокровище c'est trois tzelkovy le cachet...[4]

— И посчастливилось вам в Екатеринославле?

---

[1] дорогой господин Давид *(франц.)*.

[2] Мсье Давид, смажьте колеса вашего экипажа и катите-ка... *(франц.)*

[3] говор, наречие *(франц.)*.

[4] в Екатеринославле... три целковых за урок... *(франц.)*.

— Да, покуда не прибыл какой-то inspecteur des hautes écoles...[1]. Но в сторону эти мелочи! Встретить вас для меня такая радость, такое счастие... Надолго ли вы здесь?

— Не знаю.

— А на что вам вся эта дрянь?

— Гипсовые формы?

— Ну да.

— Я занимаюсь скульптурою.

— Право?

— Не шутя.

— Ну, так завтра же я пришлю вам целого человека.

— От души благодарю.

— Человека с ногами, головою и такими шишками на голове, каких вы, конечно, не встречали никогда... по системе Галля, прелесть что за череп!

— Гризель... так, кажется?..

— Не Гризель, а Крозель.

— Да, Крозель. Вы тот же, что были?

— О нет, далеко не тот! — со вздохом отвечал француз,— сколько несчастий перенес, сколько неудач!..

— Вы расскажете мне их?

— Разумеется.

— И я похохочу?

— Вдоволь, ручаюсь! Но мне недосуг; дайте адрес, и до свиданья.

— Куда же вы?

— Догонять милорда.

— Какого милорда?

— Того самого, форму которого пришлю вам. Он не изящен, предупреждаю; но череп чудо, просто чудо!— С этим словом Крозель пожал мне руку, дал слово непременно быть у меня завтра и, позвав собаку свою, пустился бегом вдоль Корсо.

«Что за шут!»— подумал я и, не имея ни малейшего желания приобрести обещанные формы, я уговорил своих итальянцев возвратиться со мною в лавочку. По прошествии часа с новым запасом достиг я благополучно квартиры и провел весь вечер в приятнейшем far niente[2], то есть лежа на диване с кистью винограда в одной руке и сигарою в другой.

[1] инспектор высших учебных заведений *(франц.)*.
[2] ничегонеделанье, безделье *(итал.)*.

С наступлением ночи весь артистический Рим переносится обыкновенно на Монте-Пиннчи и виллу «Боргезе». С Монте-Пиннчи вид очарователен: весь город со всеми окрестностями как бы нарисован на золоте; а как хорош Колизей, как велик храм Петра! и даже мутный Тибр принимает перламутровый цвет, когда смотришь на него с высоты. А дворец Монте-Кавалло, а колонна Адриана и вся древняя часть города!.. Но кто же не восхищался этим громадным свидетелем былого величия, этою гробницею древних квиритов?

В час пополуночи город, по обыкновению, опустел, и я, по обыкновению же, возвращался с прогулки, толчком ноги приводил в чувства слугу своего Доминика, который, по своему обыкновению, бросался спросонья на первый попавшийся ему предмет и хватался за что ни попало. Нередко, бросаясь на столы, Доминик опрокидывал стоявшую на них посуду или другие вещи, и тогда в честь сонного итальянца я высыпал все итальянские бранные фразы, какие только знал. Signor Dominico поставлял себе в обязанность поправлять ошибки, если таковые оказывались в моей речи, и тем оканчивались все незабвенные дни, проведенные мною в Риме.

На следующее утро два фактора внесли в студию мою такое диво, какого действительно не вмещал ни один кабинет редкостей. Француз сдержал слово и отформировал для меня человеческий остов с головою, ногами, носом и прочими частями; но откуда добыл Крозель подобный образец несовершенств — вот вопрос, который я обещал себе разрешить и разрешить немедленно.

Крозель не мог не знать, что в два часа пополудни на Испанской площади в Café de l'Europe[1] выставляют для приманки посетителей превкусные пирожки с неопределенным фаршем; а знать, что подобные пирожки существуют, и не есть их — невозможно. И действительно, входя в два часа в Café de l'Europe, я застал француза с пирогом во рту.

— Скажите, пожалуйста, кому я обязан теми вещами, которые прислали вы мне сегодня утром? — спросил я у Крозеля.

— То есть гипсовыми оттисками?

[1] кафе «Европейское» *(франц.)*.

— Ну да.

— Во-первых, мне, потом милорду,— пресерьезно отвечал француз.

— Да что это за милорд? скажите ради бога.

— Его отрекомендовал мне один из приятелей моих в Висбадене. Ему, то есть приятелю, посчастливилось выиграть в рулетку пятьдесят тысяч франков. Человек он одинокий — довольно с него пока; а если есть деньги, кому же охота возиться с милордом?

— Все-таки не понимаю.

— Да длинная история; расскажу, пожалуй, на досуге.

— Почему же не сейчас?

— Неловко.

— Пойдем ко мне.

— Нельзя.

— Знаете ли что, Крозель? Вы более нравились мне преподавателем марсельского patois, чем компаньоном вашего милорда.

— Но ведь неудачи и несчастия страх как действуют на натуру человека.

— А я, напротив того, думаю, что слишком большие удачи делают людей менее любезными.

— Во всяком случае, не в отношении к вам,— сказал Крозель, улыбаясь,— а в доказательство назначьте день, час, минуту, пожалуй, и не будь я Крозель, если не явлюсь к вам.

— Постойте! Я предпочел бы другого рода клятву, а то, чего доброго, вы перемените и в третий раз собственное имя и все-таки не явитесь!

— Ну, ну... не будь я честный... или нет, этого мало, пусть лишусь моего милорда... достаточно ли вам?

— Вот этак чуть ли не лучше будет.

Мы, смеясь, пожали друг другу руки, отложили свиданье до следующего вечера у меня на квартире и расстались друзьями.

Не только история милорда, но и самые неудачи Крозеля очень интересовали меня, и потому я с большим нетерпением ожидал назначенного свидания.

На следующее утро пробуждение мое было не совсем приятно: на дворе был нестерпимый жар, а в комнате сидел некто вроде уездного антиквария — оба утомили меня донельзя. Русский любитель древностей являлся ко мне только

что не с восходом солнца и, разумеется, за делом: он показывал добытые им драгоценности и такие, которые я, может быть, а Доминик — непременно, выбросил бы за окно.

— Не разбудил ли я вас?— повторял обыкновенно двадцать раз антикварий, пока наконец совершенно пробужденный, я не отвечал ему: «нет». В это утро знакомый вопрос явственно долетел до моего слуха, и обычное «нет» завязало разговор.

— А я уж часов шесть как на ногах,— продолжал он.— А сколько обегал!

— Право?

— Прямо с Монте-Мария.

— Гм!

— И не без добычи.

— Что ж приобрели?

— Вещицу...

— Редкую?

— Веков двадцать назад не была редкостью, правда; зато теперь...

— Покажите.

— За тем и пришел.

Иван Петрович Сочин (так звали антиквария) вынул из шляпы фуляр, из фуляра сверток бумаги, а из бумаги заржавелую медную лампу с носиком.

— Ба, знакомая!

— По описаниям как не быть знакомой? Например, в «Собрании Древностей»... есть оно у вас?

— Нет.

— Купите; занимательная книга с печатными изображениями, отчетливо...

— Случится, куплю; а что дали за эту лампочку?

— Отгадайте.

— Не знаю.

— Ну, примерно?

— Право, не знаю, что она стоит здесь.

— Два пиастра; дорого?

— В окрестностях Неаполя дешевле.

— Где же это в окрестностях Неаполя?

— В Пуцоло, например.

— Стало, находят и там.

— Зачем находить? Там их делают.

— Что делают?

— Всякого рода древности, и за такую лампу дайте карлино — отдадут с радостью.

— Ну, уж извините, чтоб эта была сделана, не поверю.

— Как хотите.

— Сейчас видно, что древность и что свежая вещь; этим проведут ребенка разве!

— Или антиквария.

— Я не антикварий.

— Так любитель антиков.

— Что ж из этого?

— Только то, что ручаюсь чем угодно за юность большей части добытых вами древностей.

— Вы проиграете.

— Не думаю.

— Да уж я вам говорю, проиграете.

— Все-таки не думаю.

— Ну, ну, какое пари?

— С моей стороны, две, а хотите, три дюжины точно таких ламп, как эта, и по экземпляру всех медалей, купленных вами здесь.

— Ведь только жаль вас, а то бы...

— Не жалейте, пожалуйста.

— Я честный человек, извольте видеть, и таких пари не держу...

— Напрасно? А где бы, например, взяли вы дубликаты медалей?

— Хотите знать?

— Хотел бы.

— Ничего нет легче,— отвечал я с уверенностью, которая заметно смутила Ивана Петровича,— но если Доминик чрез час принесет медали, уступите ли вы лучшую вещь из вашей коллекции?

— Сребренник?

— О, нет!

— Так окаменелый глаз кита?

— И не глаз кита.

— Что ж?

— Фунт жуковского табаку.

Едва я произнес свое скромное требование, как антикварий схватил шляпу, трость и выбежал из комнаты, не удостоив меня ни одним словом. Иван Петрович был очень

разгневан еще более потому, что, казалось, в сердце его запала искра сомнения.

По уходе его я вздохнул свободнее. Будь он истинный любитель древностей, конечно, я не позволил бы себе разочаровывать его и охотно набавил бы лет хоть по тысяче на каждый добытый им антик.

Он ушел, а я стал лепить из глины бюст Доминика. К обеденному часу вместо бюста вышел вздор, и, возвратив глине первобытный вид ее, я пообедал наскоро, наелся винограду и лег отдохнуть в ожидании Крозеля. В семь часов Крозель явился.

— Какова аккуратность?— воскликнул он.— Я обещался быть в семь; взгляните: семь без пяти минут; эти пять минут я хотел было простоять на лестнице. Есть сигара?..

— Есть все, что угодно,— отвечал я, усаживая Крозеля на кушетку и пододвигая к нему несколько сигарных ящиков.

— Чем же мне выкупить такое роскошное угощенье?

— Разумеется, рассказом.

— Про милорда?

— И прежде всего про себя.

— А вы станете смеяться?

— Только над серьезными несчастиями.

— Жестокосердный!

— Как быть!

— Суди же вас небо! Делать нечего: обещал — надо выполнить.

— Надеюсь!

— С чего ж начать?

— Говорю, с вас самих.

— Неужели с самого начала?

— С минуты рождения.

— Будь по-вашему,— сказал Крозель.

Он перевел дух; я пододвинул кресло к кушетке и приготовился слушать.

— Отец мой,— начал француз,— родом из Дижона и журналист, по свойствам сердца страстный любитель прекрасного пола, женился в молодости на дочери суконного фабриканта. На двадцать втором году от рождения я лишился отца ·и наследовал право издавать отцовский журнал, и первая статья, сочиненная мною с большими усилиями, не имела, как говорили, здравого смысла: ее осмеяли

завистливые сотоварищи, и из двух тысяч подписчиков осталось к концу года только четверо — очень немного! Я предпочел драматическое поприще и написал в бенефис претрогательную пьесу. Я сидел в оркестре, и в начале пьесы зрители смотрели на меня с любопытством, в средине — пьесу освистали, а в конце увенчали голову мою не лаврами, а печеными яблоками и выгнали вон. Оставался в ресурсе — латинский язык.

— То есть марсельский patois,— перебил я, смеясь от всего сердца.

— Как бы то ни было,— продолжал француз,— а не встреться со мною e'inspecteur des hautes écoles!..

— Вся новая генерация Екатеринославля говорила бы и поднесь марсельским наречием.

— Не думаю; ученики попадались претупые... Впрочем, это дело не мое; а все-таки возвратился я не с пустыми руками в Париж; и не проживи я собранных в России пяти тысяч франков...

— Следовательно, вы их прожили?

— Я прожил их и дал себе честное слово застрелиться, если не найду средств жить прилично.

— Нашли ли ж вы это средство?

— Нет,— отвечал Крозель.

— А честное слово?

— То есть лишить себя жизни?

— Да.

— Я расчел впоследствии, что человек с умом умереть с голоду не может, и решился ждать. Благоразумное решение мое, как видите, не осталось безуспешным; и как ни скучно возиться с полоумным милордом, а все-таки двенадцать тысяч франков не валяются на улице.

— Стало быть, милорд ваш...

— Отчасти сумасшедший.

— А пункт помешательства?

— Недоступен уму тех, которые не знают истории милорда. Он путешествует по целому миру... как вы думаете, для чего?— спросил Крозель.

— Мудрено отгадать.

— Да, нелегко, ручаюсь.

— А с какою целью путешествует милорд?

— С целью позабыть бесшерстную обезьяну!

— Что за вздор?

— Честное слово!

— И вы до сей минуты не рассказали мне историю милорда, Крозель!

— Не рассказал и не расскажу сегодня, потому что должен немедленно возвратиться к должности.

— Из чего ж состоит она, эта должность? Неужели неотлучно быть при англичанине?

— А вы думаете, что двенадцать тысяч франков даются мне только потому, что мне нечем жить: когда бы так! Нет, не угодно ли читать ему в каждом городе и ежедневно лист приехавших и отъехавших, играть в шахматы по целым вечерам и пробуждаться среди ночи, если милорду не спится?

— Жаль мне вас, любезный Крозель, а все-таки подавайте историю.

— Долго будет: боюсь опоздать.

— Ну, делать нечего, а завтра в семь часов прошу непременно пожаловать.

— До девяти я всегда свободен и ваш слуга.

В эту минуту в дверях показалась черная собака, которая с лаем радости бросилась на Крозеля.

— Откуда у вас этот пес?— спросил я.

— О, презанимательная история,— отвечал француз.— Он родился от презлобных родителей, проживавших некогда в одном из замков Саксонии. Некто барон Христиан Нордзон получил от отца своего в наследство семью моей собаки и употребил целые два года на воспитание юного пса, которого выучил, во-первых, брать волка прямо за горло, а во-вторых, нырять в совершенстве. Цель изучения второго искусства была чисто филантропическая. Барон заказал куклу в рост человека с предлинными волосами; посредством бечевки, один конец которой прицеплен был к середине куклы, а другой пропущен сквозь кольцо, утвержденное на дне глубокого пруда, барон произвольно заставлял нырять куклу, а собака в свою очередь ныряла за куклой, хваталась за ее волосы и вытаскивала на берег. Смотря на точное исполнение своих приказаний, барон приходил в восторг. В прошедшую весну он занемог. Врачи предписали морские ванны и отправили его в Гавр. Находясь уже в этом городе, раз поутру больной барон отправился на берег моря; собака последовала за ним; барон разделся и бросился в воду; собака, не любившая купаться без цели, осталась пока на берегу; но барону вздумалось

нырять: он поднял руки вверх и погрузился в глубину; пес, следя за движениями своего господина, махнул хвостом, взвизгнул и присел поближе к воде; барон, вынырнув на минуту, снова поднял руки и снова погрузился на дно; на этот раз сметливое животное не удовольствовалось ролею простого зрителя и стремглав бросилось за бароном; но, не отыскав длинных волос, украшавших голову куклы (барон стригся коротко), схватило барона за самое горло и, описав с ним большой круг, вытащило его на берег. В продолжение десяти минут заметно было у обоих одно только движение, а именно: движение хвоста животного. Нужно ли прибавлять, что услугу, оказанную собакой, барон мог оценить уже не в здешнем мире... Барона похоронили со всевозможною пышностью, а черный пес достался мне. Находясь в то время в Гавре, я купил его за бесценок, то есть почти даром. Когда же иду купаться, то, конечно, собаки не беру с собою,— прибавил Крозель.— Рассудите беспристрастно, и вы невольно согласитесь, что в смерти своей виноват сам барон: что стоило ему предварительно велеть обстричь куклу à la mal content[1], а потом уже приучать собаку хватать ее, пожалуй, хоть за нос, лишь бы не за горло?

Окончив назидательное замечание свое о дурных распоряжениях несчастного барона, Крозель повторил обещание явиться завтра и собрался идти.

— Но куда вы так спешите?— спросил я у француза.

— Опять-таки к нему.

— К кому?

— К милорду: он обещал не выходить из Лаурино до девяти часов, а теперь без двух минут — опоздаю!

— И вы уверены, что найдете его еще на этой улице?

— Желаете удостовериться в том, что найду непременно?— спросил Крозель.

— Очень желал бы.

— Так пойдемте со мною.

Я согласился и последовал за французом, который пустился бегом по лестнице. Дорогою я предупредил Крозеля, что сумасшедших не люблю, и если его англичанин принадлежит к этому числу, то предпочитаю возвратиться домой.

— О нет!— отвечал Крозель,— не упоминайте только о голой обезьяне и не хвалите французов — вот два пункта,

[1] на манер «недовольного» *(франц.)*.

до которых не нужно касаться в его присутствии; о всем же прочем говорите сколько угодно, и будьте уверены, что милорд не ответит ни слова.

— Как весело!

— Для вас, может быть, нет; но так как я таскаюсь с ним целые десять лет... Но вот они,— воскликнул Крозель,— видите...

В это время из-за угла переулка, пересекающего улицу Лаурино, показалась длинная-предлинная фигура милорда; огромные ступни сухих ног его, вывороченных в средину, как бы переплетались на ходу, а руки, привязанные к узким плечам, схватившись одна за другую, висели на согнутой спине. На милорде была коротенькая клетчатая жакетка, желтые панталоны, такой же галстух и соломенная белая фуражка, надетая на самый затылок, так что темя было почти обнажено.

— Вы представите меня англичанину?— спросил я вполголоса Крозеля.

— Зачем?

— Все-таки!

— По мне, пожалуй; но ведь это ни к чему не ведет, он говорить не станет.

С этим словом Крозель, загородив дорогу милорду, назвал меня по имени... Англичанин снял фуражку. Я почел долгом сказать ему что-то очень любезное; милорд, не переменяя положения, стоял как вкопанный; я прибавил к сказанной фразе еще несколько слов — милорд молчал и все-таки не двигался.

— Да что же он молчит?— спросил я, обращаясь к Крозелю.

— Это еще очень хорошо, потому что нередко милорд во время самого разговора с посторонним лицом продолжает идти прямо на него; а вы, верно, ему понравились,— отвечал Крозель.

И действительно, едва последнее слово француза долетело до моего слуха, как милорд закинул руки за спину и выступил прямо на меня; но, не ожидая второго шага, я отскочил в сторону и, простясь с Крозелем, возвратился домой.

На квартире ожидало меня приглашение одного из наших художников — пожаловать к нему немедленно, если только желаю видеть преинтересные вещи. «Как не же-

лать!»— подумал я и тотчас же отправился к артисту. Он жил в двух шагах от Капитолия в доме, принадлежавшем какому-то духовному лицу. У артиста нашел я огромное сборище разнохарактерных лиц его собратий: все они суетились около корзин, расставленных у стен обширной студии, вытаскивая из них прегрязную ветошь, внимательно рассматривали ее и потом раскладывали на стол, стулья и даже на пол. Другие разрезывали на части сырые артишоки, третьи отбирали деревянное оружие, подкрашивали его, обклеивали золотою и серебряною бумагой и переходили от оружия к куче мишурных, почерневших кистей и прочего.

— Что это вы делаете, господа?— воскликнул я, входя в студию.

— И вы не догадываетесь?— спросил хозяин, выходя ко мне навстречу.

— По совести, нет.

— Да ведь завтра наш праздник!

— Как, чирварский?

— Ну да, и чрез полчаса начнется всеобщее примеривание костюмов, а вас мы избираем судьею... хотите ли?

— Не только хочу, но даю слово быть самым беспристрастным.

— Заметьте, однако ж, что безобразие и безвкусие должно брать верх над щегольством, и на этом обстоятельстве основываю я всю свою надежду заслужить полное одобрение ваше,— сказал хозяин студии, пододвигая ко мне корзину,— вот мой костюм! не угодно ли взглянуть?

— Сделайте одолжение, покажите.

Артист вытащил из корзины гигантскую шляпу из сахарной бумаги с красным пером; за головным убором последовал плащ, сшитый из рогожи, потом явились широкие плисовые шаровары и белые картонные сапоги и проч.

— Ну, каков нарядец?— спросил артист с самодовольною улыбкой.

— С виду гаже быть ничего не может,— отвечал я,— но прочих не видал и потому не могу определить, какому принадлежит первенство.

— Прочие хуже во сто крат, ручаюсь головою.

— Посмотрим.

— Да вот, хоть бы его,— продолжал артист, показывая на прекрасного итальянца с римским носом,— пред-

ставьте себе полный костюм Рубенса, и стоит он ему предорого — смешная претензия!

Итальянец, догадавшийся, вероятно, что речь шла о нем, улыбнулся, бросив на соотечественника моего гордый взгляд, на который последний отвечал презрительною гримасой.

— Улыбайся, приятель,— продолжал хозяин,— а вот мы увидим, какую ты скорчишь рожу на празднике!

Замечание артиста возбудило всеобщий одобрительный хохот, а красивый итальянец с беспокойством оглянулся во все стороны и спросил у одного из художников, над кем смеется все общество.

— Пер востра, синьор Рубенс, пер костуме мольто бене[1],— отвечал русский, дополняя знаками объяснение своей итальянской фразы,— и новый хохот совершенно смутил бедного итальянца, который, покраснев от негодования, отошел в угол и вскоре вовсе скрылся из студии.

Чрез полчаса все артисты облачились в маскарадные костюмы свои и составили такую пеструю группу, какой, конечно, не встречал никто на самом затейливом бале большой парижской оперы. Чего тут не было! Но все же пальма первенства досталась хозяину.

Осушив аршинную бутыль кислого красного вина, артисты стали расходиться, а я, забежав в Café de l'Europe, оставил в нем к Крозелю записку, в которой просил его отсрочить свидание наше до послезавтра, возвратился домой и лег спать.

Быть в Риме и не быть на чирварском празднике, о котором я еще имел самое смутное понятие, казалось мне непростительным.

Чирварским праздником обязан Рим немецким артистам, устроившим его некогда в день расставания своего с этим городом. В прежние времена в пещерах чирварских собиралось все общество римских художников и за общим столом, прощаясь друг с другом, обменивалось в знак памяти различными предметами. Впоследствии прощальные собрания артистов приняли вид маскарадов.

Подробности чирварского праздника были неоднократно описаны как в журналах, так и в путевых записках; я не имею ни малейшего намерения повторять эти описания... Этот праздник, как известно, заключается предурным обе-

[1] Над вами, над костюмом, очень хорошо *(очень искаж. итал.)*.

дом и преотвратительным вином, которое многие артисты как бы по обязанности глотают со страшными гримасами. И когда подумаешь, что все это делается людьми далеко не молодыми, далеко не глупыми и большею частью солидными немцами, то невольно пожмешь плечами и, конечно, в другой раз не поедешь более на знаменитый чирварский праздник.

На следующий после праздника вечер с седьмым ударом часового молотка дверь в мою прихожую отворилась, и явился француз.

— Вы аккуратны, Крозель!— воскликнул я, протягивая ему руку.

— А что? разве я некстати пришел?

— Напротив, уж пять минут, как я жду вас с нетерпением.

— Тем лучше,— отвечал Крозель,— потому что завтра мы отправимся в Ниццу.

— Так скоро?

— Что делать! И знаете отчего?

— Нет.

— Милорду кажется, что он может целые три минуты не думать о голой обезьяне.

— Послушайте, Крозель; или вы поклялись заставить меня умереть от любопытства, или...

— Или,— перебил Крозель,— излечить вас радикально от этой болезни рассказом самой глупейшей истории, какой, конечно, не удавалось вам ни слышать, ни читать.

— Если глупа, извиняю вперед.

— А если извиняете, дайте сигару и слушайте.

— Итак...

«Итак (повторил Крозель) отец милорда, лорд В. на старости лет женился на премолоденькой француженке и сверх того на парижанке pur sang[1], которая по прошествии десяти месяцев родила сына, то есть нашего милорда. Радость, возбужденная рождением наследника, побудила родителя съесть двойную против обыкновенного порцию плумпуддинга и выпить вместо восьми бутылок портера шестнадцать. Час спустя из родительских жил не могли добыть ни одной капли крови, и одна половина членов консилиума заключила, что удар был причинен плумпуддингом, а другая половина приписывала смертный случай портеру. Как

[1] чистокровной *(франц.)*.

бы то ни было, но посиневшего В. уложили сперва на стол, потом в погреб; а супруга его, поплакав столько, сколько требовало того приличие, решилась посвятить всю свою жизнь новорожденному. Но судьба решила иначе: к богатой леди подвернулся миловидный маркиз; а так как новорожденный не обещал ей ничего хорошего, то по прошествии семи лет леди пристально посмотрела на узкий нос милорда-сына, на тонкие губы его, на плоский лоб, на бесконечно длинные ноги, потом на маркиза, постоянно домогавшегося ее руки, и, подумав с полминуты, решилась возвратиться в Париж и сделаться маркизою. Милорд остался в Лондоне.

Чрез три года у маркизы родился другой сын. Милорд же, достигнув совершеннолетия, вступил во владение несметных богатств отца и, перебравшись на житье в один из наследственных замков, принялся усердно за травлю лисиц.

Милорд стрелял превосходно, сидел на лошади с вытянутыми вперед ногами, обедал в восемь часов вечера, переменял перчатки шесть раз в день, а для приема школьного учителя надевал белый галстух. Первым пробуждением сердца обязан был милорд оперной танцовщице, которую привез из Лондона в свое поместье и для которой накупил немалое количество серебра, фарфора и проч. Пробыв в замке две недели, танцовщица уложила серебро, фарфор и прочее в сундуки и увезла с собою обратно в Лондон, вследствие чего возненавидел милорд весь женский пол.

Десять лет прошло с той поры для милорда как один день с завтраком, обедом, ужином, сном и лисьею травлей. Целые десять лет израсходовал этот человек в четырех стенах замка и, вероятно, израсходовал бы более одним и тем же способом, если бы неожиданное обстоятельство не дало жизни его другого оборота.

Меньшой брат милорда, схоронив в Париже своих родителей, вдруг явился к нему в замок, и явился налегке, то есть не имея в кармане ни одного сантима; зато природа наделила его прекрасною наружностью, веселым характером, остроумием, ловкостью, и был молодой маркиз одиннадцатью годами моложе своего брата.

Появление маркиза сбило совершенно с толку милорда. Не решаясь радоваться, он сделался задумчив и рассеян; но мало-помалу живой ум меньшого брата поколебал чугун-

ную природу старшего, и, несмотря на права, данные ему рождением, милорд сделался вторым лицом в своем собственном доме и покорнейшим слугою маркиза; влияние маркиза отразилось не только на особе милорда, но и на всех предметах, его окружавших.

Ворота замка отворились настежь для соседей и путешественников; по заглохшему парку пробежали тысячи дорожек; столы гостиных покрылись грудою кипсеков и журналов, роскошнейших изданий парижских; на хорах залы загремел выписанный из Германии оркестр, а за обеденным столом вместо обычного портера заискрилось в богемском хрустале шипучее клико и изумрудный иоганнисберг.

Маркиз заставил милорда понять, что для жизни порядочных людей недостаточно общество школьного учителя, а для белых галстухов и перчаток потребны черные и голубые глаза красавиц, букеты душистых цветов и запах ess-bouquet[1], не знакомый обонянию школьного учителя, и что присутствие хорошеньких женщин в замке не сделает его мрачнее.

Милорд вспомнил о танцовщице, нахмурив брови, и хотел было возражать, но приглашения на бал уже были разосланы по соседям, и с появлением маркиза в британских болотах отыскалось множество родственных замков с значительным количеством белокурых кузин, свеженьких, молоденьких, обществу которых в течение десяти лет милорд предпочитал лисиц своего парка.

Первый бал был блистателен и весел, несмотря на бесконечную шею милорда, туго обернутую в белую повязку, несмотря на острый подбородок его, осененный треугольным воротничком, несмотря на неуклюжие глиссады длинных ног его и странные приемы. Сам он был вне себя от восторга: гости провели в замке несколько суток и протанцевали несколько ночей сряду.

Когда же последняя карета выехала из ворот, юный маркиз задумался, а на лбу у милорда обозначилась новая выразительная морщина; причиною задумчивости меньшого брата и появления морщины на лбу старшего была одна из белокурых кузин, мисс Бетси, девушка шестнадцати лет, единственная дочь леди Кромворд, ближайшей соседки милорда.

После обеда, до которого, впрочем, ни один из братьев

---

[1] цветочной эссенции *(франц.)*.

не притрогивался, маркиз объявил милорду, что поедет на следующее утро в замок Кромворд.

— И я!— отвечал милорд.

— Если завтра,— прибавил маркиз,— миледи откажет мне в руке Бетси, я оставляю Англию и еду в Париж.

— И я!— отвечал милорд, и оба брата пошли спать.

У милорда было пять замков — у маркиза были одни долги. О том и другом знала леди Кромворд, и на следующий вечер дорожная карета мчала маркиза по дороге в Сотгемптон; а милорд в белом галстухе молча просидел до полуночи между леди Кромворд и невестою своею, мисс Бетси, и просидел милорд под углом девяноста градусов. Брачный бал милорда был роскошен, но не весел; на второй бал, данный милордом, прибыло половинное число гостей, а на третий явился один школьный учитель. Милорд нахмурился; миледи стала зевать.

На новое поприще свое вступила юная леди, как вступают на новый паркет — без горя и тревог; шестнадцатилетнее сердце ее не постигло еще ни волнений жизни, ни бурных страстей. Мать мисс Бетси сказала ей, что брак с милордом делает им большую честь и счастье, и мисс Бетси вышла за милорда. На мисс Бетси надели чепец, и мисс Бетси стала ходить в чепце; мисс Бетси посадили в карету и привезли в замок милорда; мисс Бетси вышла из кареты и стала жить в замке милорда; наконец, мать строго приказала дочери без малейшего прекословия исполнять желания милорда, и белокурая мисс Бетси беспрекословно подчинялась воле милорда; вследствие чего и приказал милорд прикупить серебра, фарфора и прочего; а как мисс Бетси ни фарфора, ни серебра, ни прочего из замка не вывозила, то милорд перестал ненавидеть женщин. Благополучие милорда должно было казаться ему совершенным; может быть, оно и показалось бы ему таковым без частых воспоминаний о том времени, которое провел маркиз в его замке; и чем длиннее становились вечера, тем длиннее становилось лицо милорда; чем чаще посещал замок школьный учитель, тем живее, тем чаще представлялись воображению милорда живое остроумие и любезность маркиза; куда бы ни взглянул милорд — все то же и вечно то же: и стулья те же, и те же столы, и те же ничего не говорящие уста миледи, и те же ничего не говорящие глаза миледи. Милорд перестал есть.

Прошло полгода, с ним прошла любовь милорда, с нею прошла у милорда охота скрывать более тоску свою; вследствие чего, сидя однажды за чаем, до которого касалась одна белокурая миледи, супруг обратился к ней с вопросом: знает ли она, отчего и почему маркиз оставил замок и Англию?

— Нет, не знаю,— равнодушно отвечала миледи, докушивая кусок кренделя.

— Оттого,— продолжал милорд,— что брат имел глупость влюбиться.

— А!— сказала миледи, продолжая жевать.

— И знаешь ли в кого?— спросил милорд.

— Нет.

— В тебя.

— А!— сказала миледи и перестала жевать.

Оба встали из-за стола и разошлись по своим комнатам.

В тот же вечер один из грумов милорда мчался как сумасшедший на кровном скакуне по сотгемптонской дороге. Прискакав к морю, грум соскочил с лошади и вручил капитану отплывавшего парохода письмо, адресованное на имя маркиза в Париж; а заключало в себе это письмо приглашение возвратиться в Англию и в замок милорда. В ожидании брата милорд принялся за пищу и стал спать. В ожидании маркиза миледи не касалась пищи, и сон ее стал и тревожен, и слаб.

— Но скоро ли он возвратится?— повторял с нетерпением милорд. То же думала миледи, и оба страдали.

В десятый раз по отплытии парохода, капитану которого вручил грум письмо к маркизу, скрылось солнце за туманным британским горизонтом, как вдруг на дворе замка раздался стук колес, и милорд бросился к окну.

— Брат!— закричал он.

— Louis!— шепнула миледи.

Пока старший брат с доступною чугунным вещам нежностью прикладывал щеки свои к щекам меньшого брата, миледи приготовилась принять приезжего с улыбкой на устах, которую должны были заметить все, и с сильным биением сердца, которого не должен был заметить никто.

Обрадованный приездом маркиза, милорд хохотал прегромко, рассказывая жене, как маркиз в один день с ним просил у матери руки миледи, в какое отчаяние поверг отказ бедного брата и проч. и проч.

Маркиз не смел еще взглянуть на миледи, но за обедом глаза их встретились в первый раз — и миледи вспыхнула.

Во время прогулки маркиз предложил руку свою миледи: он был любезен и весел. За чаем проглотил милорд половину кабаньей головы с трюфелями.

Прошла неделя — и вновь оживленный присутствием маркиза замок помолодел целым столетием; праздникам, прогулкам и прочим удовольствиям не было конца.

Благоденствие милорда отравлялось одним только обстоятельством, которое, впрочем, благоразумный и предусмотрительный супруг белокурой леди Бетси нашел средство отвратить. Отрава благоденствия милорда состояла в том, что каждый раз, как лисица, преследуемая собаками, направлялась на милорда, громкий разговор маркиза и миледи заставлял зверя принимать другое направление; уничтожил милорд это неудобство тем, что просил жену свою и брата выбрать для прогулок своих другие части парка.

Не знаю, чем бы кончились охоты и прогулки, если б в один из пасмурных осенних вечеров грум милорда не подал ему письма с гербом маркиза.

Милорд пробежал адрес и молча возвратил письмо груму.

Грум не двигался, не подымал рук и продолжал смотреть на господина своего с любопытством.

— Что ж ты стоишь? — спросил милорд, — письмо адресовано жене, отнеси его.

— И только? — спросил грум.

— И только, — отвечал милорд.

Грум улыбнулся.

— Ну, что ж ты? — повторил милорд с нетерпением.

— А вот что, — отвечал грум, — маркиз дал мне пять гиней за то, чтоб я вручил это письмо миледи, которая, как вам известно, не выходила три дня из своей комнаты; а может быть, милорд даст мне втрое за то, чтоб я не вручал письма, и тогда у меня будет пятнадцать гиней вместо пяти — значит, втрое!

Милорд взял письмо из рук грума, которому немедленно вручил требуемую сумму; тем и кончилась встреча слуги с господином.

Все-таки за чайным столом в час общего собрания семейства милорд при маркизе передал Бетси уже распечатанное письмо младшего брата. Глаза супруга не выражали

ни удивления, ни гнева, и чай этот ничем не отличался от всех предыдущих чаев.

Когда миледи ушла в свою комнату, маркиз пригласил милорда пройтись по парку, на что старший брат изъявил согласие и последовал за младшим с видом совершенного равнодушия.

— Милорд! вы прочли письмо мое к Бетси? — спросил дрожащим от волнения голосом маркиз.

— Прочел,— хладнокровно отвечал милорд,— и помню его содержание: вы говорите в нем о страсти вашей к Бетси; вы говорите, что убеждены во взаимности миледи и заключаете письмо тем, что заплатили бы всею жизнью за счастье быть ее мужем. Из этого заключил я, что леди Бетси не изменила своим обязанностям.

— Поступок мой заставляет меня краснеть пред вами, милорд,— проговорил маркиз в большом смущении.

— То есть бледнеть, хотите вы сказать.

Маркиз не нашелся что отвечать милорду, который, идя с ним рядом, насвистывал одну из своих любимых песен.

После долгого молчания, младший брат предложил старшему всякого рода удовлетворение и... пустился путешествовать инкогнито.

Милорд отправил верного грума своего с приказом следить втайне за младшим братом, не отставать от него ни на шаг, снабдив притом расторопного слугу полномочным кошельком, набитым гинеями.

На одном пароходе с маркизом грум переплыл Ла-Манш, проехал всю Францию и уже из Висбадена, написал к милорду, что маркиз благополучно прибыл в этот город и намеревается пить воды...

Спокойно и весело сидел однажды маркиз в прекрасном саду, принадлежавшем к воксалу Висбадена, и рассеянно смотрел на кривлянье бесшерстной обезьяны, танцевавшей польку под звук гитары фигляра.

— Какое отвратительное животное! — заметил маркиз, обращаясь к сидевшему подле него господину,— и как похоже это животное на человека!

— Nonsense![1] — отвечал кто-то позади маркиза, и так громко, что все окружавшее его общество обратилось в ту сторону, откуда раздалось восклицание.

Маркиз вздрогнул.

[1] Вздор! *(англ.)*

— Nonsense!— повторил тот же голос.

Маркиз оглянулся.

— I tell you that is nonsense[1]; человек бывает отвратительнее обезьяны,— прибавил вполголоса милорд, ибо голос, произносивший слово «nonsense» был голос милорда; последние слова слышал один маркиз.

Оба встали со своих мест и вышли из сада в сопровождении нескольких посторонних лиц, которые тотчас же предложили свои услуги маркизу.

Дуэль — вещь слишком обыкновенная в Висбадене, и в городе этом находится во всякое время немалое число людей, извлекающих из безнаказанности дуэли тысячи личных выгод; некоторые из подобных аферистов, уверенные в своем искусстве владеть всевозможным оружием, не только охотно принимают вызовы, но употребляют все средства, чтоб побудить других к подобным вызовам, и, пользуясь неопытностью молодежи, мировыми сделками выжимают из противников или деньги, или по крайней мере ужин с бутылкою шампанского; другие предлагают себя в секунданты, и, примиряя соперников, пользуются теми же выгодами, как и первые. К числу последних принадлежали и те господа, которые предложили услуги свои маркизу, а слово «nonsense», слышанное ими, не оставляло в уме их никакого сомнения об истинных намерениях как милорда, так и маркиза, шедших хотя рядом, но молча и с выражением лиц очень неприязненным. У выхода из публичного сада маркиз обратился к милорду с вопросом: «Чего он от него требует?»

— Жизни,— отвечал милорд.

— Rien que cela![2]— воскликнул, смеясь, один из следовавших за ними господ.

— Это, должно быть, англичанин,— заметил другой с предлинными бурыми усами.

— Оружие ваше, милорд,— сказал маркиз, догадавшийся, конечно, что требование брата основывается не на одном различии мнений касательно сходства обезьяны с человеком.

— Пистолеты!— отвечал англичанин.

— Расстояние?

— Не нужно.

[1] Говорю вам, это вздор *(англ.)*.

[2] Только и всего! *(франц.)*.

— Quant à cela, milord, vous poussez la nationalité un peu trop loin et je suis le premier àm'y opposer[1],— воскликнул тот же господин, который сделал первое замечание.

— Vous m'empêshez[2],— сказал милорд.

— Monsieur![3]

— Chaurrai le grand blaisir de tuer vous après; ché n'aime pas les francais; tout les francais sont les plagueurc[4].

Высказав этою речью, по-видимому, все, что он имел сказать докучному свидетелю, милорд обратился к маркизу с окончательным предложением, которое состояло в том, что милорд желает убить его непременно, и чем скорее, тем лучше; что касается до расстояния, то милорд определил его от одного шага до пятнадцати, никак не далее, и заключил тем, что не уверен, раздавит ли он пулею комара на двадцати шагах, и потому не может допустить большего отдаления.

Маркиз понимал, что смягчить условие милорда было делом невозможным, согласился на все, и местом поединка назначен был берег Рейна, а часом свидания — восход солнца следующего утра.

Противники раскланялись друг другу и разошлись в разные стороны.

Господин с бурыми усами приглашен был в секунданты маркизом, а милорд выбрал словоохотливого француза.

— Diable d'homme![5]— проговорил вслед уходившему милорду француз, пожимая плечами.

Маркиз был уверен, что настоящий вечер был его последним вечером, и решился провести его весело, но, к несчастью, кошелек маркиза заключал в себе только пять золотых монет; молодой человек вспомнил о рулетке и отправился в воксал.

Менее чем в пять минут из пяти золотых монет маркиза осталась в кошельке его только одна; он бросил последнюю на игорный стол и отошел в сторону; последняя монета

---

[1] Ну здесь уж, милорд, вы злоупотребляете своими национальными качествами, и я первый буду возражать *(франц.)*.

[2] Вы мне мешаете *(франц.)*.

[3] Мсье! *(франц)*

[4] Я с большим удовольствием убью вас немного позже; я не люблю французов; все французы хвастуны *(искаж. франц.)*

[5] Настоящий дьявол! *(франц.)*.

ушла тотчас же за первыми. Маркиз вздохнул и хотел выйти из зала.

— Куда?— спросил у него кто-то.

— Милорд!— воскликнул маркиз.

— Я.

— Вы играли?

— Нет, не люблю, а вы?

— Я люблю и проиграл все.

— Нужны деньги?

— Нет,— отвечал маркиз, проходя мимо милорда.

В полночь маркиз возвратился на свою квартиру; в прихожей сидел грум милорда.

— Зачем ты здесь?— спросил удивленный маркиз.

— Я с милордом.

— Как с милордом?

— Милорд остановился у вас.

И действительно, в спальне своей нашел маркиз спавшего на диване англичанина; у изголовья его на столике стоял отворенный ларец: в нем находилась пара превосходных пистолетов.

— Тут пахнет порохом,— сказал вполголоса своему камердинеру маркиз.

— Милорд выстрелил четыре раза в стену,— отвечал камердинер, указывая на небольшое отверстие, сделанное в притолоке дверей.

— Пуля?

— Четыре, маркиз.

— Где же остальные три?

— Все тут.

— Одна на одной?

— Одна на одной,— повторил камердинер.

Маркиз разделся и лег в постель, приказав разбудить себя с рассветом.

Милорд спал как убитый, а сон маркиза был не тревожен потому только, что маркиз не смыкал глаз во всю ночь и думал. Он был не трус; но при мысли о верной и неизбежной смерти сердце двадцатипятилетнего молодого человека, если он только не англичанин, не может биться ровно и спокойно, и маркиз провел эту ночь, придумывая средство избегнуть пули своего противника или по крайней мере отсрочить по возможности роковую минуту смертельного поединка. Убить милорда он решительно не желал, перебить

милорду правую руку не послужило бы ни к чему: милорд левой стрелял лучше самых искусных стрелков. «Что делать?»— думал маркиз, а ночь проходила, восток алел, алел, и с первым лучом восходящего солнца грум разбудил своего господина.

Милорд открыл глаза, потянулся, зевнул и, поздоровавшись с маркизом, встал с постели, присел к столу и начал бриться. Маркиз с своей стороны тоже занялся туалетом, и чрез полчаса оба поместились в одну и ту же карету и отправились к назначенному месту. Дорогою милорд передал маркизу запечатанный пакет.

— Что это?— спросил маркиз.

— Векселя и расписки.

— Чьи, милорд.

— Ваши; я дал вам когда-то слово выкупить их: по ним уплачено.

Маркиз поблагодарил брата и положил пакет в карман.

— Посмотрите, все ли,— сказал милорд.

— К чему?

— Вы могли позабыть.

— Вспоминать поздно.

— Как хотите!

Новое продолжительное молчание последовало за минутным разговором двух соперников, и скоро в туманной дали блеснула серебристая полоса Рейна, и на ней резко отделились две неподвижные человеческие фигуры — то были секунданты.

Появление соперников в одной и той же карете очень обрадовало как француза, так и господина с бурыми усами. Француз со шляпою в руке и даже улыбаясь поздравил милорда с благополучным окончанием вздорной ссоры и потом распространился об убийственных последствиях ничтожного недоразумения, об обязанностях благородных людей быть снисходительными к вспыльчивости опрометчивых, но все-таки благородных людей, о счастии присутствовать при примирении враждующих и пр. и пр.

— Ché bon[1],— сказал милорд, когда француз окончил свою речь и, отвернувшись от него, принялся отмеривать три шага; потом, вынув из кармана два небольшие колышка, он воткнул их в оконечности отмеренной дистанции и, отойдя еще пять шагов, остановился и начал взводить

[1] Хорошо *(искаж. франц.)*.

курок. Маркиз, следивший взглядом за всеми движениями брата, делал с своей стороны то же, что и тот, и когда первый взвел курок, маркиз стоял уже на своем месте.

— Avancez[1],— сказал милорд.

Противники начали сходиться.

— Mais c'est pour tout de bon qu'ils se battent![2]— воскликнул француз, секундант милорда.

— Таковы-то все они, эти проклятые англичане!— заметили бурые усы, и в этот миг пистолет маркиза приподнялся: сам маркиз остановился и выстрелил.

— Manqué![3]— воскликнул француз.

Милорд спокойно приблизился к самому барьеру и сделал знак маркизу подойти ближе, то есть на расстояние трех шагов.

Маркиз передал разряженный пистолет свой господину с бурыми усами, пожал ему руку и не подошел, а подбежал к колышку, на который указал противник.

— Имеете ли мне сказать что-нибудь?— спросил старший брат, обращаясь к младшему.

— Имею,— отвечал маркиз.

— Говорите.

— Дайте предварительно слово выполнить просьбу мою, милорд.

— Предсмертную? даю.

Милорд просил секундантов отойти в сторону.

— Брат,— сказал с чувством маркиз,— я поступил дурно.

— И вы умрете!

— Знаю, и умру с радостью; но если б от вас, милорд, зависело усладить последние минуты мои, сделали ли бы вы это?

— Сделал бы,— отвечал милорд.

— Даете честное слово?

— Даю.

— Милорд!— продолжал маркиз с чувством,— когда дуло вашего пистолета направится на меня, не думайте о той отвратительной обезьяне, которую видели мы вчера; а думая о ней, не стреляйте!

— Но я и позабыл об этом животном,— отвечал милорд.

[1] Подходите *(франц.)*.
[2] Но они и впрямь стреляются! *(франц.)*.
[3] Мимо! *(франц.)*.

— Тем лучше, потому что сдержать честное слово вам будет легко.

— Но мне и в голову не приходила обезьяна; я и не думаю об обезьяне.

— Еще раз тем лучше, милорд,— сказал маркиз,— я покоен теперь и готов умереть. Стреляйте.

— Обезьяна! думать об обезьяне? зачем мне думать об обезьяне?— говорил англичанин, осматривая дуло пистолета.

— Я готов,— повторил маркиз.

— Извините,— сказал милорд и стал целиться... Он десять раз поднимал оружие и десять раз опускал его, произнося тысячи проклятий.

Наконец секунданты, не слыхавшие ни просьбы маркиза, ни честного слова, данного милордом, и не знавшие чему приписать медленность англичанина, стали терять терпение и наговорили ему преколкие вещи. Но, не обращая никакого внимания на присутствовавших, милорд бил себя по лбу кулаком, кусал пальцы до крови и употреблял все усилия ума своего, чтоб направить его на какой-нибудь другой предмет — но все напрасно: едва начинал он целиться, как голая обезьяна появлялась снова пред его глазами, и нетерпение милорда превращалось в бешенство. Сделав последнее усилие и все-таки подумав об обезьяне, милорд бросил пистолет и бежал с места поединка.

Три раза в течение десяти лет отыскивал милорд маркиза, платил за него долги и, целясь, вспоминал обезьяну».

— Что же сделалось с миледи?— спросил я Крозеля.

— С миледи?— повторил он.

— Ну да, женою милорда?

— Поверите ли, что мне и в голову не пришло спросить о ней!

— Может ли быть?

— Клянусь вам,— сказал Крозель, смеясь,— но если это вас интересует, я сию минуту...— И с последним словом француз схватил шляпу и, не слушая меня, пустился бегом с лестницы.

Чрез час времени Доминик вручил мне письмо; я взглянул на адрес — почерк незнакомый, читаю:

«Миледи, благодаря бога, здравствует».

ПРИМЕЧАНИЯ

Большинство произведений В. А. Вонлярлярского было опубликовано им за короткий промежуток с 1850 по 1852 г. в журналах («Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения», «Пантеон») и в московском альманахе «Раут». В 1853 году увидели свет посмертные журнальные публикации романа «Сосед» и двух драм. В том же году под титулом «Все сочинения Василия Александровича Вонлярлярского» начало выходить редактировавшееся Ксенофонтом Полевым семитомное собрание литературных трудов писателя (Спб., 1853—1854). В нем были собраны ранее опубликованные произведения, а три драмы и повесть «Могло бы не случиться» были напечатаны впервые. К первому тому был приложен портрет автора, «рисованный на камне» В. Ф. Тиммом (см.: К. П. ⟨Полевой Кс. А.⟩ Сочинения В. А. Вонлярлярского.— Северная пчела, 1854, № 77, 5 апр., с. 521). Более в XIX веке сочинения Вонлярлярского не издавались (если не считать перепечатки в одном из литературных сборников 1858 года его пьесы «Преферанс с табельками»).

В 1903 году редакция журнала «Нева» предприняла двухтомное издание прозы писателя, которое остановилось после выхода первого тома (Вонлярлярский В. А. Сочинения. Т. 1. Спб., 1903). Это издание, воспроизводящее (зачастую весьма неисправно) тексты «Всех сочинений», не имеет самостоятельного научного значения. После 1903 года произведения Вонлярлярского не переиздавались. Правда, сразу после революции издание его романа «Большая барыня» готовилось в серии «Пушкинская библиотека» (см.: ОР ГБЛ, ф. 261, Изд-во Сабашниковых, к. 13, д. 15), но оно не успело выйти до ее закрытия. Таким образом, советский читатель практически не имел до сих пор возможности познакомиться с творчеством прозаика.

Сохранившиеся рукописи произведений В. А. Вонлярлярского сосредоточены в Государственном архиве Смоленской области (их местонахождение удалось установить благодаря высокой квалификации, с которой сотрудник архива М. Н. Левитин ответил на наш запрос). Знакомство с ними позволяет не согласиться с биографом писателя К. А. Полевым, утверждавшим, что Вонлярлярский «никогда не перечитывал и не поправлял сочинений своих» (Все сочинения, т. 1. Спб., 1853, с. XXX),— черновые автографы испещрены множеством поправок, свидетельствующих о напряженной работе над текстом. Очевидно, что Полевому были известны не все рукописи Вонлярлярского из числа находящихся ныне в ГАСО. Так, например, здесь имеется рукопись пьесы «Две кибитки, или Любовь на проезжей дороге» (ф. 1313, оп. 2, д. 12, л. 1—23 об., 27—61), на отсутствие которой сетовал Полевой (См.: Все сочинения, т. 1, с. XXXII). Имевшимися в его распоряжении рукописями редактор «Всех сочинений» воспользовался, по-видимому, лишь для обнародования новых произведений. (Симптоматичное отсутствие их рукописных источников в бумагах Вонлярлярского, хранящихся в ГАСО, позволяет высказать предположение о неидентичности этой части архива писателя комплекту материалов, которым располагал Полевой.) В остальных случаях издание 1853—1854 годов опирается на предшествующие публикации. Рукописи, хотя и сохранившиеся в ГАСО весьма фрагментарно, но отражающие разные стадии работы и представляющие почти все произведения писателя, не дают никаких оснований считать авторизованными мелкие исправления и сокращения, то и дело встречающиеся во «Всех сочинениях». Пока не будут найдены рукописи (а существование их весьма

сомнительно), доказывающие, что в издании 1853—1854 годов запечатлена последняя творческая воля автора, оно не может считаться авторитетным источником текста. Поэтому при научной подготовке текстов для настоящего издания за основу были приняты последние прижизненные публикации (за исключением случая с рассказом «Абдаллах-Бен-Атаб»,— единственные). Пропуски, цензурный характер которых не вызывает сомнений, восстановлены по рукописям. Тексты приведены в соответствие с современными орфографическими и пунктуационными нормами с сохранением тех авторских написаний, которые дают представление о характерных особенностях стиля писателя и речевой атмосфере эпохи.

Также произведена унификация написаний встречающихся в авторской речи собственных имен и географических названий (в речи персонажей эти элементы оставлены без изменений).

Переводы иноязычных текстов, даваемые в подстрочных примечаниях, принадлежат составителю.

Выявлению биографических данных о В. А. Вонлярлярском много способствовала редакция готовящегося к изданию энциклопедического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (редакторы Л. М. Щемелева и Н. П. Розин, редактор-консультант Б. Л. Бессонов, сотрудники ЦГИА СССР С. И. Варехова и Д. И. Раскин).

Составитель благодарит за неизменное участие сотрудников Госархива Смоленской области и работников Смоленской областной библиотеки им. В. И. Ленина. Он также рад случаю выразить свою признательность за дружескую помощь и ценные советы Е. В. Войналович, М. А. Кармазинской, Е. М. Лазаревой, К. М. Азадовскому, А. Л. Зорину, А. Л. Осповату, Н. Г. Охотину.

Авторство упоминаемых в статье и примечаниях критических выступлений Е. Н. Эдельсона, В. Р. Зотова, А. А. Григорьева, С. С. Дудышкина, А. Д. Галахова и П. И. Небольсина установлено в исследованиях Н. П. Кашина (Труды Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, сб. IV. М., 1939) и Б. Ф. Егорова (статьи в «Ученых записках Тартуского университета», вып. 78, 98, 119, 1959—1962; кн. «О мастерстве литературной критики» Л., 1980, с. 156, 161). Авторство О. И. Сенковского раскрыто в списке трудов, помещенном в 1-м томе его Собрания сочинений (Спб., 1858).

В книге приняты следующие сокращения:

ГАСО — Государственный архив Смоленской области

ОР ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина

ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР

ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив СССР

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград)

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив города Москвы

Большая барыня

Роман впервые опубликован отдельным изданием (ч. 1—2, М., 1852). Беловой автограф фрагмента текста (около половины первой части) находится в ГАСО (ф. 1313, оп. 2, д. 17, л. 53—60 об., 37—52 об.). 9 января 1852 года Г. Ф. Головачев, охотно бравшийся за посредничество между В. А. Вонлярлярским и редакциями, в исполнение просьбы М. П. Погодина (издателя журнала «Москвитянин»), передал ему рукопись романа. Вскоре она была возвращена: редактор не согласился выплатить гонорар по 35 рублей серебром за лист (ОР ГБЛ, ф. 231, р. II, к. 8, д. 46; Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, Спб., 1898, кн. 12, с. 244). Тут, очевидно, и возникла мысль выпустить «Большую барыню» отдельным изданием (сношения с книгопродавцами, вероятно, взял на себя все тот же Головачев). 21 февраля именитая поэтесса Е. П. Ростопчина писала своему близкому знакомому И. М. Снегиреву (этнографу, археологу и цензору): «〈...〉 Подвергая вас испытанию, как в старину дамы испытывали своих рыцарей, являюсь сегодня пред вами ходатайницею, прошу вас, от имени родственника и друга моего Василия Александровича Вонлярлярского, взять на себя труд процензуровать его рукопись, целый роман, ныне мною вверяемый в спасительные и благодетельные руки Вашего милосердия» (ОР ГПБ, ф. 707, оп. I, д. 70, л. 1—1 об.). 14 марта цензор окончательно выполнил возложенное на него поручение (дата цензурного разрешения книги) и, «взяв в ценз〈урном〉 Комит〈ете〉 рукопись «Большая барыня», 2 ч〈асти〉, Вонлярлярского, отвез ее к графине Ростопчиной, с которой побеседовал около часа» (Дневник И. М. Снегирева.— Русский архив, 1904, № 1, с. 102). Может быть, разговор коснулся тех цензурных изменений, которые Снегирев вынужден был внести в текст. Сколько можно судить по сохранившимся фрагментам автографа, число их было весьма незначительно. (Можно предположить, что сокращения, произведенные при перепечатке романа в 4-й части «Всех сочинений», не столько продукт редакторского произвола К. А. Полевого, сколько результат вмешательства петербургских цензоров, не имевших, в отличие от Снегирева, повода к снисходительности.)

27 июня книга выходит в свет: в этот день выдан билет, разрешающий вывезти отпечатанный тираж из московской университетской типографии (ЦГИАМ, ф. 31, оп. 3, д. 2355, л. 42 об.— 43). В начале июля автор рассылает «Большую барыню» для отзыва в редакции журналов и газет — см. его письма к А. А. Краевскому от 8 июля (ОР ГПБ, ф. 391, оп. 1, д. 251) и Ф. В. Булгарину от 12 июля 1852 года (ЦГАЛИ, ф. 1231, оп. 2, д. 3; с большими смысловыми искажениями пересказано адресатом в «Северной пчеле», 1854, № 82, 10 апр., с. 549; опубликовано с неточностями: Русская старина, 1905, № 4, с. 216). «...Роман,— свидетельствует современник,— имел большой успех; его читали с удовольствием, и издание раскупилось очень быстро» (Заметки.— Санктпетербургские ведомости, 1853, 11 янв., № 8, с. 29, подп.: И. М.; как указано в статье, она написана тем же лицом, что и упоминаемый нами ниже разбор романа, помещенный в этой же газете полугодом ранее). На выход «Большой барыни» откликнулись все русские журналы. Они почти единодушно (единственное исключение — обошедшийся без особых восторгов «Сын отечества») отметили большой шаг вперед, сделанный Вонлярлярским. До появления «Большой барыни» критики ценили в произведениях этого писателя юмор, увлекательную манеру повествования, блес-

тящие описания столичной и провинциальной жизни, высокое развитие искусства детали, чистоту и легкость слога. Все эти достоинства присутствовали, по мнению рецензентов, и в новом романе, но к ним прибавились мастерски выбранные и точно обрисованные характеры, и что самое главное — изложение подчинилось основной мысли. Критику «Современника» показался чрезвычайно психологически достоверным характер Петра Авдеевича. «К числу свойств этих простых, недальних и вместе с тем практических натур принадлежит необыкновенное упорство чувства. Правда, что они большею частию слывут за бесстрастных людей, но это потому, что величайшего труда стоит пробудить их страсть: она у них не подготовлена и не разогрета фантазиею, мечтательностию или чтением романов 〈...〉 Притом самая страсть, не сосредоточиваясь исключительно в одном только сердце, но разлагаемая деятельностию головы, именно фантазиею и мечтательностию, через это самое ослабляется. От этого в недальних, простых или чисто практических натурах она действует несравненно сильнее, сосредоточеннее, и замирает перед нею их практический смысл и рассудительность; она принимает трагический характер» (Современник, 1852, № 8, отд. 4, с. 38). Представитель «молодой редакции» «Москвитянина» Е. Н. Эдельсон считал, наоборот, графиню Белорецкую наиболее жизненным в романе лицом. «С самого первого появления своего на сцену до последней минуты оно остается верным себе и постоянно выдержанным типом. Собственно говоря, это, впрочем, не характер с резко обрисованными и выражающимися в действии преимущественно индивидуальными чертами, а довольно общий тип богатой, балованной и прихотливой светской женщины 〈...〉. Но все эти черты, свойственные этому типу, выставлены чрезвычайно искусно и верно» (Москвитянин, 1852, № 16, отд. 5, с. 132). В обстоятельном разборе, помещенном в «Санктпетербургских ведомостях» 3 августа 1852 года (по ряду признаков осмелимся высказать предположение о принадлежности его М. Л. Михайлову) дана высокая оценка формы романа.

Еще большее единодушие продемонстрировали критики, выявляя недостатки «Большой барыни». Всем им показался натянутым ключевой для развития сюжета разговор графини с Петром Авдеевичем о его приезде в Петербург, многие отмечали неестественность трагического финала (подробнее см. во вступительной статье). Противоположное мнение высказал лишь О. И. Сенковский, славящийся оригинальностью своих литературных воззрений: «...события искусно расположены и хорошо связаны, развязка неожиданна, естественна, трогательна» (Библиотека для чтения, 1852, № 11, отд. 5, с. 21).

Большой успех лучшее произведение Вонлярлярского имело и за рубежом. В 1858—1859 годах вышли два французских перевода «Большой барыни». Один из них, выдержавший впоследствии множество переизданий, принадлежал известному французскому писателю и критику Ксавье Мармье (1809—1892), писавшему в 1856 году П. А. Плетневу: «Я читаю «Большую барыню», которая меня весьма заинтересовала» (Прийма Ф. Я. Русская литература на Западе. Л., 1970, с. 106). Затем появились переводы на датский (1860) и немецкий (1863) языки.

С. 29. *Большая барыня.*— До выхода романа выражение в «женской» форме встречалось крайне редко (главным образом, в провинции), зато широко употреблялся его «мужской» вариант — «большой барин», т. е. знатный, богатый. Непривычность сочетания для русского уха (на нее-то и рассчитывал Вонлярлярский) проницательно уловил И. И. Панаев: «Это чистейший перевод с французского «Une grande dame», надобно бы сказать по-русски «знатная барыня» (Современник, 1853, № 1, отд. 6, с. 101;

ср. замечание Н. В. Сушкова — Раут. М., 1854, кн. 3, с. 367). Упомянутое критиком французское выражение означает женщину, принадлежащую к высшему аристократическому кругу. Это качество героини романа было важно автору, стремившемуся при помощи перевода по модели «большой барин», соединить его с понятием знатности и огромного богатства.

...одной из западных губерний...— В рукописи речь шла о белорусских губерниях (это показалось автору или цензору чересчур конкретным указанием); к ним относились Минская и Могилевская губернии, западная часть Смоленской и отдельные части Гродненской, Виленской, Витебской.

Коморец — название вымышлено.

Уланские полки относились к легкой кавалерии.

Штаб-ротмистр — офицерский чин в кавалерии, рангом ниже ротмистра. Равен званию штабс-капитана в пехоте (т. е. рангом выше поручика и ниже капитана).

....считался ездоком...— т. е. искусным наездником.

Бригада — войсковое соединение в числе двух-трех полков.

Аудитор — военный чиновник, исполняющий обязанности секретаря и прокурора военного суда.

С. 30. *Перекладная* — почтовый экипаж, из которого при смене его на станции пересаживаются и перекладывают вещи в другой экипаж.

Сельцо (не путать с «село») — барская усадьба.

«Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» — часть увещевания, с которым обыкновенно обращались к озлобленному человеку (подробнее см.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 2, с. 199).

...приказчика пошлой наружности...— т. е. весьма обыкновенного вида.

Ягдташ — охотничья сумка для дичи.

Арапник — охотничий кнут для собак.

С. 32. *Погребец* — дорожный сундучок для продуктов и посуды.

Колодки — вероятно, имеются в виду вырезанные по форме ступни бруски (для чистки и ремонта обуви).

С. 33 *Стамбулка* — небольшая изогнутая курительная трубка.

Гарусный кошелек — изготовленный из шерстяной (или хлопчатобумажной, но похожей на ощупь на шерстяную) ткани.

...ветчинки провесной...— т. е. копченой.

Селянка — то же, что солянка.

«Краткое изложение всех пяти частей света».— Книги с точно таким заглавием не обнаружено. Видимо, перед нами стилизация под распространенный тип заглавия учебных книг (ср.: Новейшая всеобщая география, или Подробнейшее описание пяти частей земного шара... Ч. 1—4. Спб., 1818; Описание всех частей света. Спб., 1806; Эйнерлинг И. Ф. Обозрение пяти частей света... Спб., 1842), а еще вероятнее — попытка назвать книгу по памяти.

С. 35 *Казакин* — верхняя мужская одежда (застегивающийся на крючки полукафтан со стоячим воротником и со сборками сзади).

Заштатный — здесь: самый мелкий, незначительный.

Месячина — содержание натурой, помесячно получаемое дворовыми крепостными.

С. 36 *Фрезы* — здесь, по-видимому: кружева, украшения.

С. 37 *Фунт* — мера веса, равная 409,5 г.

Бергамот — сорт груш.

Шот — неграмотно написанное слово «счет».

Ижица — последняя буква дореволюционной русской азбуки.

С. 38 *Опекунский совет* — учреждение, выдававшее помещикам под залог их имений ссуду сроком на 26 или 37 лет.

Добавочные — дополнительная ссуда (10 рублей серебром на каждую душу мужского пола), выдававшаяся под заложенное уже имение.

Подушные — подушная подать (государственный налог с каждой души податного состояния).

Чумичка — ковш, черпак.

Целковый — рубль серебром.

Фартук — предохраняющее седока от грязи кожаное покрывало.

С. 39 *Наругом* — означает, по-видимому: из озорства, в шутку.

С. 41 *...вот об вознесенье проехаться в город...* — т. е. во время церковного праздника вознесения (39-й день по пасхе). В этот день крупная конная ярмарка устраивалась в Смоленске — перед нами нередкое в романе «просвечивание» смоленских реалий сквозь описание условного уголка «одной из западных губерний».

С. 43 *Наметка* — крестьянский женский головной убор из белой ткани.

С. 44 *Доезжачий* — охотник, ездящий «под гончими», т. е. управляющий стаей гончих собак.

Косяк — «отдел приплодного табуна: каждый жеребец со своими кобылами и жеребятами образует *косяк*» (В. И. Даль).

...батист-декосами, муслин-ленами и заграничными пу-де-суа... — Перечисляются виды тканей.

С. 46. *Камлот* — плотная шерстяная ткань в полоску.

Вицмундир — обычный (не парадный) форменный фрак чиновников.

Триковые — из шерстяной ткани «трико».

Частный — т. е. частный пристав — главный в данной части города полицейский чиновник.

С. 47. *...в нанковых... панталонах* — т. е. из грубой хлопчатобумажной ткани.

С. 50 *Пристяжная* — боковая постромочная лошадь, бегущая рядом с коренной (при оглобельной упряжи).

Китайчатый армяк — верхняя долгополая крестьянская одежда в виде халата или кафтана, сделанная из плотной хлопчатобумажной ткани (китайки).

Дышло — оглобля, прикрепленная к середине передней оси коляски.

С. 51 *Уездный судья* — председатель уездного суда. Уездный суд заведовал всеми гражданскими и уголовными делами в уезде.

Ономнясь — недавно.

Вальки — короткие круглые бруски, на концы которых надеваются постромки.

С. 52 *...на земских картах...* — т. е. на картах данной (сельской) местности. Охранение безопасности и исправности путей сообщения входило в обязанности земской полиции..

Вага — поперечный брус, прикрепленный к передку экипажа при дышловой упряжке.

С. 55 *...Возьмем на выдержку любой предмет...* — Множество источников подтверждает, что последующее описание дает весьма правдивую картину бедственного положения еврейского населения западных губерний, явившегося результатом репрессивной внутренней политики царизма.

Аршин — мера длины, равная 71,1 см.

С. 56 *Сани без подрезов* — по объяснению В. И. Даля, выражение означает, что «сани шибко раскатываются» (подрез — оковка санного полоза).

С. 57 *Архалук* — легкий стеганый кафтан, собранный у талии.

С. 58 *Штука* — кусок материи определенной длины, поступающий с фабрики в продажу.

Термалама (тармалама) — пестрая восточная шелковая или полушелковая ткань.

...в самом неавантажном ... виде... — производящем неблагоприятное впечатление.

С. 61 *...привели ремонт...* — т. е. купленных для полка лошадей.

Денник — просторное стойло в конюшне или загон на улице.

С. 62 *Вист с болваном* — карточная партия, в которой принимает участие на одного человека меньше, чем предусмотрено правилами виста, т. е. трое.

Приказные — мелкие канцелярские служащие.

С. 65 *Атанде* — постойте, подождите (карточный термин; здесь в переносном значении).

Пенное — крепкая водка.

С. 67 *Ткацкое белье* — т. е. из ручного, нефабричного полотна.

С. 70 *...будь в ней маслак...* — т. е. будь коренная лошадь более ширококостной и с толстыми суставами.

С. 72 *Белевой* — изготовленный из выбеленной льняной пряжи бели.

С. 73 *Авантажна* — привлекательна.

Флорансовое — из тонкой добротной тафты.

Вердепешевое — цвета персика (от франц. vert-de-pêche, буквально: цвета незрелого персика).

Экосезовый — из разноцветной клетчатой ткани (шотландки).

Канзу — накидка из легкой ткани с длинными концами, которые завязывались крест-накрест на талии.

С. 74 *Партикулярное платье* — неформенное.

Анекдот — здесь: эпизод, случай.

С. 75 *Заволочка* — смазанная лекарством тесьма, которую продергивали под кожей специальной иглой (применялась главным образом при лечении лошадей).

С. 76 *Депутат* — дворянин, избираемый от каждого уезда сроком на три года «для составления родословной книги и присутствования вместе с губернским предводителем в Дворянском собрании».

Непременный — старший непременный заседатель земского суда.

Исправник — стоявший во главе уездной полиции председатель земского суда (более низкой, по сравнению с уездным судом, инстанции).

...во все входил сам; члена у него как бы не было вовсе... — Смысл высказывания сводится к тому, что председатель рассматривал все дела самостоятельно, мешая тем самым обогащаться непременному члену (заседателю) суда.

...пачку серых... — по-видимому, имеются в виду ассигнации или государственные кредитные билеты достоинством 50 рублей.

С. 77 *Чакрыжничать* — здесь, мелочиться.

С. 79 *Становой* — становой пристав; начальник небольшого полицейского участка в сельской местности (уезд был разделен на два или три стана). Становой пристав назначался губернатором (а не городничим, как у Вонлярлярского). Эту ошибку не без ехидства отметил один из рецензентов романа (см.: Пантеон, 1854, № 7, отд. «Петербургский вестник», с. 19). Она, однако, легко объясняется тем, что писатель «срисовывал» жизнь описываемого им уездного города со Смоленска (города губернского) и городничий у него нередко является псевдонимом губернатора.

С. 88 *Благородное собрание* — нечто вроде городского дворянского клуба.

С. 90 *Приказ* — имеется в виду приказ общественного призрения — губернский орган государственной благотворительности.

Однодворческое — принадлежащее однодворцу (поселянину, имеющему право владеть крепостными).

С. 91 *Резонт* — искаженное: резон (разумное основание).

Околоток — округа; соседние жители.

С. 92 *Казенный долг* — здесь: сумма, полученная в залог имения.

Зимник — «зимняя дорога; более короткий или удобный путь, пролагаемый по водам или болотам, где летом нет езды» (В. И. Даль).

С. 93 *Чистая половина* — парадная часть дома.

С. 94 *Гумозный* (гуммозный) *пластырь* — свинцовый пластырь, содержащий в себе камедистые смолы (средство при нарывах, фурункулезе и т. п.).

С. 97 *Карпеточки* — носки или короткие чулки.

С. 102 *Чепец* — традиционный атрибут туалета замужней женщины.

Центифолия (центифоль) — «малая, пышно-махровая роза, столепестка» (В. И. Даль).

С. 103 *Маз* — в азартных играх прибавка к ставке (здесь в переносном значении).

С. 104 *Сатинтюрковый капот* — верхняя женская одежда свободного покроя из шелковой атласной ткани («турецкого сатина»).

...до зимнего Николы. — т. е. до 6 декабря (ст. ст.).

С. 105 *...двадцатиградусный декабрьский мороз...* — очевидно, по шкале Реомюра (соответствует 25°С).

...«Путешествие капитана Кука», «Краткую историю древних народов»... — Вероятно, имеются в виду следующие книги: Кук Дж., Путешествие в южной половине земного шара... Ч. 1—6 ⟨Спб.⟩, 1796—1800, или: Циммерман Г. Последнее путешествие около света капитана Кука... Спб., 1786, другое издание — Спб., 1788; Избранные места из истории всех древних народов... Пер. с франц. Ч. 1—2. М., 1823.

С. 106 *Никола с гвоздем* — т. е. с морозом; народное наименование так называемого «зимнего Николы».

...отпустил... в извоз... — т. е. отпустил на зиму в город зарабатывать извозчичьим трудом.

...градусов будет около двадцати пяти... — т. е. около 31°С.

С. 107 *...камардинскую должность...* — искаженное «камердинерскую».

С. 109 *...по битой дорожке...* — т. е. по проложенной, проторенной.

С. 110 *Форейтор* — кучер, сидящий на передней лошади в упряжке цугом.

Подседельная — лошадь форейтора.

С. 112 *Семерик* — семь лошадей в упряжи.

С. 114 *Капор* — «женская стеганая шапка во всю голову, с завязками» (В. И. Даль).

С. 115 *Колосс родосский* — огромная бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, стоявшая в гавани древнегреческого острова Родос (одно из «семи чудес света»).

С. 119 *Саламе* — рагу из жареной дичи; правильнее: сальми (франц; salmis).

Кокилы а ля финансьер — изысканный способ приготовления устриц;

повар Петра Авдеевича изготовил, очевидно, нечто имитирующее это блюдо.

Рязанов (Резанов) — известный петербургский кондитер.

С. 122 *Саврасый* — светло-гнедой с желтизной, с черным хвостом и черной гривой.

С. 127 *Каррара* — итальянский город, где издавна добывается белый мрамор, получивший название каррарского.

С. 128 *Пошевни* — широкие сани, обшитые лубом.

С. 130 *Сильфида* — в кельтской и германской мифологии легкое и подвижное существо в образе женщины, олицетворяющее стихию воздуха.

С. 132 *...не желая выезжать... без головного дамского убора...* — здесь использовано символическое значение чепца (см. прим. к с. 102). Ср. также общее правило: «наряд девиц должен иметь менее блеску и богатства, чем наряд замужних женщин. Богатые меха, кашмиры, драгоценные камни и всякие другие ценные украшения не принадлежат туалету девиц...» (Соколов Д. Н. Светский человек, или Руководство к познанию общежития. Спб., 1847, с. 32).

С. 133 *Аванзал* (аванзала) — передний зал, комната перед главным залом в больших зданиях.

Наяды — здесь: скульптурные изображения нимф рек и ручьев (греч. миф.).

С. 134 *...не женироваться с нею...* — не стесняться ее.

С. 135 *Бекеша* (бекешь) — верхнее мужское платье в виде сюртука, со сборками в талии и разрезом сзади.

Выпорки — видимо, имеются в виду выпоротки: недоноски, вынутые из убитого животного; их мех ценился особенно высоко.

С. 136 *Берейтор* — объездчик верховых лошадей.

С. 142 *...найдешь рюмку водки и закуска найдется...* — деталь не придумана Вонлярлярским. Назначая в 1846 году выпускника московского университета на службу в Смоленск, попечитель учебного округа считал своим долгом сказать: «Предупреждаю вас, что там учителя сильно попивают» (Шестаков П. Д. Первый год моей учительской службы. ⟨Казань, 1889⟩, с. 2).

С. 144 *...за пять рублей ассигнациями...* — денежный счет в России велся двумя способами: на серебро и ассигнациями (рубль ассигнациями ценился в три с половиной раза ниже рубля серебром).

С. 146 *Полость* — «половинка звериного меху на подстилку» («Толковый словарь» В. И. Даля).

С. 148 *Ляда* (лядо) — запущенные заросли.

С. 155 *Карсели* — дорогостоящие лампы, снабженные особым механизмом для подъема масла.

С. 159 *Рюмить* — плакать, хныкать.

С. 161 *В день святого архистратига Михаила...* — т. е. 8 ноября (ст. ст.).

С. 162 *...к светлому празднику...* — т. е. к празднику пасхи.

С. 165 *Империал* — верх дорожной кареты.

С. 167 *...не метнуть ли руду?* — т. е. не пустить ли кровь?

Кладь — по определению В. И. Даля, лекарство для лошадей, «от запалу» («конская болезнь, от загона через силу или от опоя»).

С. 168 *Прогоны* — плата ямщикам за провоз на почтовых лошадях от одной станции до другой.

Капитан-исправник — то же, что исправник (см. выше, прим. к

с. 76). Ко времени выхода романа это наименование было уже официально отменено.

С. 169 *Зажора* — подснежная вода в дорожной яме.

С. 170 *...в Приказе приносят малые очень проценты...*— Приказы общественного призрения (см. выше, прим. к с. 89) нередко играли роль своеобразных банков, ссужая деньги частным лицам под процент и принимая вклады.

С. 173 *На Фоминой* — т. е. на второй неделе после пасхи.

С. 175 *Страстная неделя* — последняя перед пасхой неделя великого поста.

...подорожная записана...— т. е. на заставе зарегистрирован въезд путешественника в город.

С. 176 *Гостиница Демута* находилась на набережной Мойки (ныне д. 40) около Невского проспекта; в первую треть XIX в. пользовалась славой лучшего петербургского отеля, однако, к 40-м г. стала постепенно утрачивать свое значение.

Насыпные обои — «пудренные суконную стрижкою» (В. И. Даль).

Триповая мебель — обитая шерстяным бархатом (трипом).

С. 177 *Каронада* — пушка, стрелявшая на небольшое расстояние.

С. 178 *Сибирка* — короткий кафтан в талию со сборками и стоячим воротником.

С. 179 *Большая Морская* — одна из самых аристократических улиц Петербурга (ныне ул. Герцена).

Ракалия — каналья, негодяй, подлец.

С. 182 *Пачуля* — сильно пахнущие духи.

Палкинский трактир — один из самых знаменитых петербургских трактиров, находившийся на Невском проспекте (ныне д. 52) и принадлежавший В. П. Палкину; славился заводным орга́ном и бильярдной.

Булавка с розетками — т. е. с мелкими алмазами.

...новые платья...— Описываемый далее туалет никоим образом не соответствовал тому обществу, в котором предполагал вращаться герой романа. По словам одного из рецензентов, Савелий Лебедкин «одел Петра Авдеевича каким-то пестрым чучелою, по моде щеголей пятнадцатого класса» (Северная пчела, 1852, № 183, 16 авг., с. 731).

С. 189 *Эстафета* — дорогостоящее срочное почтовое отправление с нарочным.

С. 190 *...сослан на поселение...*— т. е. в Сибирь.

С. 191 *Ломовой извозчик* — занимающийся перевозкой тяжелых грузов.

С. 192 *Корчага* — большой глиняный горшок.

С. 193 *Временное отделение земского суда* —«состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового» (Тургенев И. С. Степной король Лир, Глава XI).

Ночь на 28-е сентября

Повесть впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1852, № 4—5). Текст сохранившегося чернового автографа (ГАСО, ф. 1313, оп. 2, д. 11, л. 1– 195 об.) показывает, несмотря на свою значительную близость к окончательной редакции, что автор приступил к работе, имея ясное представление далеко не о всех сюжетных линиях произведения. Так, например, первоначально главная героиня, от лица которой ведется повествование, приезжала в деревню не с отцом, а с

мужем. При такой экспозиции сюжет повести, разумеется, должен был стать иным. Только в третьем письме муж уступил место отцу. Далее работа подвигалась легко (лишь диалоги героини и Старославского стоили писателю больших трудов и оттачивались во множестве вариантов). Перебеленная рукопись повести (писарская, авторизованная) хранится также в ГАСО (ф. 1313, оп. 2, д. 14, л. 1—84).

Интерес Вонлярлярского к роли легенд и преданий в жизни общества, попытка вскрыть рациональную их природу не были замечены критиками, порицавшими чрезмерную запутанность интриги и обилие случайностей, из которых складывается сюжет «Ночи на 28-е сентября». Мнение П. И. Небольсина, считавшего что «повесть задумана без гордиевых узлов, ведена просто, естественно, эффектов в ней нет» (Библиотека для чтения, 1852, № 6, отд. 7, с. 183) звучало одиноко и вряд ли было справедливо. Нельзя полностью согласиться и с другим крайним суждением, высказанным В. Р. Зотовым: «Читатели наши видят, на каком шатком основании построена вся эта история, как неестественны в ней большая часть лиц и событий, и, несмотря на то, повесть все-таки читается не без удовольствия» (Пантеон, 1852, № 6, отд. 8, с. 5). Связь между событиями в «Ночи...» действительно иной раз отзывается натяжкой, но рельефная жизненность действующих лиц повести и реалистичность многих ее описаний засвидетельствована современниками. Так, не совсем довольный интригой повести Е. Н. Эдельсон все же считал своим долгом отметить: «Изображает ли г. Вонлярлярский мысли и чувства девушки, только что начавшей жить 〈...〉,— он часто попадает на такие счастливые выражения, что так и кажется, будто говорит не автор от себя, а действительно молодая, знатная, неопытная, но острая девушка. Изображает ли он легкого, живого и довольно пустого, но доброго француза, который хоть сейчас готов на край света и тотчас же устроится там, найдет и деятельность и удовольствия,— вы видите, что автор видал и наблюдал немало французов; описывает ли он, наконец, как русские мужички прудят плотину,— заметно, что и это дело не незнакомо автору, и здесь он подметил живые и верные черты» (Москвитянин, 1852, № 11, отд. 5, с. 133). Этот же критик указал на самый серьезный недостаток повести (ответственность за который должна, впрочем, разделить с писателем эпоха цензурного террора 1848—1854 гг.). «Недостаток заключается в слишком узкой сфере комизма, который казнит почти исключительно отсутствие светской образованности и грубые провинциальные привычки 〈...〉 ...Желательно бы было, чтобы вопросы в нашей литературе брались посерьезнее и казнилось нечто действительно комическое. Неужели автору, по всем приметам, так много видавшему, не попадалось в жизни чего-нибудь истинно заслуживающего осмеяния?» (там же, с. 134). Несмотря на перечисленные недостатки, «Ночь на 28-е сентября» имела большой успех. «Она понравилась всем; в ней едва ли не в первый раз заговорила светская девушка по-русски, и заговорила прекрасно» (Московские ведомости, 1853, № 4, 8 янв., Лит. отдел, с. 42). И. И. Панаев включил повесть в число самых замечательных литературных явлений 1852 года (Современник, 1853, № 1, отд. 6. с. 105), она была переведена на немецкий (1853) и французский (1859; перевод Кс. Мармье) языки.

С. 195 *Елагин остров* — излюбленное высшей петербургской аристократией дачное место.

Гласе — шелковая блестящая ткань.

С. 198 *Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским...*— Это произошло в феврале 1610 года.

...Сигизмунд осадил Смоленск... — имеется в виду двадцатимесячная осада города войсками польского короля Сигизмунда III (отца упомянутого выше Владислава IV) в 1609—1611 гг.

С. 200 *Редова* — богемский танец.

С. 202 *В 1812 году...* — Приведенные ниже сведения пользовались большим доверием в семье Вонлярлярских, многие представители которой занимались поисками брошенных французами ценностей (см.: Русская старина, 1910, № 4, с. 45—47).

Фура — большая длинная телега для клади.

С. 205 *Журнал* — здесь: дневник, поденные записки.

Аффектированы — повышенно-эмоциональны.

С. 206 *...тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета...* — В черновой рукописи находится несколько иной портрет Купера. «...24-х летний юноша, белокурый в завитках, с серебряною серьгою в ухе и черными зубами. ⟨...⟩ Сравнить его с лакеем порядочного дому нельзя: он хуже; с крестьянином опять нельзя: он во сто крат хуже; одним словом, кузен мой Купер Семенович почти так же неблагопристойно дурен, как бывают ими те jeunes premiers ⟨первые любовники, *франц.*⟩ русских театров, которые думают, что они очень хороши,— помнишь ли, ma chère, в пьесах, даваемых перед балетами в Москве? Купер носит красное белье, такие же брыжжи; на руках кольца. Любимейшею забавою его заставлять краснеть сестер, нашептывая им часто, верно, какую-нибудь неблагопристойность на ухо. Ходит он с согнутыми коленками, с приподнятыми плечами и выдавшеюся вперед головою».

С. 213 *Буфф* — здесь: шут, клоун.

«О чем шумите вы, народные витии?» — Начало пушкинского стихотворения «Клеветникам России» (1831), которое «приобрело особую актуальность после революционных событий 1848—1849 гг. в Европе» (комментарий Б. Л. Бессонова в кн.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. Л., 1985, т. 10, кн. 2, с. 283). Заставляя Купера продекламировать его произведение, Вонлярлярский искусно намекает на консерватизм воззрений чтеца и неистово аплодирующей аудитории. Отметим анахронизм (см. также ниже комментарий к словам «Низамская война») — действие повести происходит в 1845 г.

Экзажерация — преувеличение (от франц. exagèration).

С. 217 *Крестовский остров* — излюбленное место прогулок петербуржцев.

С. 223 *Адонис* — ставшее нарицательным имя отличавшегося необыкновенной красотой юноши из античного мифа.

«Grâce» — популярная мелодия из оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» (1830).

«Низамская война» — роман французского писателя Жозефа Мери (1797—1865), опубликованный в 1843 г. в журнале и по журнальной публикации переведенный на русский язык (Репертуар и пантеон, 1844, № 12; 1845, № 1). Отдельное издание вышло в Париже лишь в 1847 г. (напомним, что действие «Ночи на 28-е сентября» происходит в 1845 г.)

Туги (или душители) — члены тайной организации профессиональных убийц, поклонявшиеся богине уничтожения Кали, которая, по их мнению, возложила на них обязанность неустанно сокращать численность земного населения. В индийском княжестве Хайдарабад, где развертывается действие «Низамской войны», туги были особенно многочисленны и могущественны.

Ариндa — действующее лицо романа Мери, дочь богача (набоба);

в отличие от встреченной Купером купчихи обладала весьма привлекательной внешностью.

С. 226 *Грум* — слуга, сопровождающий верхом всадника или едущий на козлах экипажа.

С. 227 *Тильбюри* — легкий двухколесный экипаж.

С. 228 *Двусветный* — имеющий два ряда окон.

Фреско (фреска) — живопись водяными красками по сырой штукатурке.

С. 236 *Фактор* — посредник, комиссионер.

С. 238 *...Но минул год, и в день поминовения матери...*— Далее Вонлярлярский допускает неточность: два года подряд одно и то же число одного и того же месяца не могло приходиться на четверг.

С. 240 *...пожертвовавшего целые три года...*— срок дворянской службы по выборам.

С. 241 *Попечитель* — опекун.

С. 242. *Фижмы* — широкий каркас из китового уса, надевавшийся под юбку для придания пышности фигуре.

С. 243 *Фраскати* — небольшой город в окрестностях Рима, жительницы которого славились красотой своих волос. Ср. в мемуарном очерке Тургенева «Поездка в Альбано и Фраскати» (1861): «...и опять мелькнули перед нами эти смоляные тяжелые волосы, эти блестящие глаза и зубы — все эти черты, немного крупные вблизи, но с неподражаемым отпечатком величия, простоты и какой-то дикой грации...» (Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1956, т. 10, с. 342).

С. 246 *Ревель* — ныне Таллин.

Шамуни (Шамони) — швейцарский курорт, славящийся своим серным источником (ныне территория Франции).

С. 248 *...несколько паев по откупам...*— долевое участие в предоставляемом государством нескольким частным лицам праве монопольной продажи чего-либо (вероятнее всего, имеются в виду винные откупа).

С. 252 *...о так называемой умирающей природе.*— Может быть, это отголосок пушкинского стихотворения «Осень» (1833) (ср.: «Люблю я пышное природы увяданье...»).

С. 255 *Мадригал* — краткое стихотворение, восхваляющее кого-нибудь (здесь в переносном смысле).

С. 258 *«Journal des Enfants»* — издававшийся в Париже детский журнал.

С. 259 *Кипсек* — роскошное иллюстрированное издание.

Церковь святого Петра — всемирно известный памятник архитектуры (Рим, Ватикан).

С. 260 *Конфиденция* — доверительная беседа.

С. 264 *...таков предел...*— т. е. так угодно судьбе.

С. 265 *Поэтически-перфидно* — ложно-поэтически (от франц. perfide).

С. 267 *Дружба, ты все на земле! ты частица небесного блаженства!..*— А. С. Пушкин так отзывался о стиле эпигонов сентиментализма, унаследованном представителями «массового» романтизма, на чьих произведениях «замешена» речь Антонины и Купера: «Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. ⟨М.-Л.⟩, 1949, т. 11. с. 18).

С. 268 *Калиостро* Александр де, граф (настоящее имя — Дж. Бальзамо, 1743—1795) — итальянский авантюрист, выдававший себя за мага и чародея.

Сен-Жермен, граф (ум. 1784) — ему, как и Калиостро, молва приписывала ряд сверхъестественных свойств.

С. 270 *...природа, как говорится, смотрела настоящим сентябрем...*— имеется в виду присловие «Август смотрит сентябрем».

С. 271 *...похоже было покроем на амазонку...*— т. е. на гладкое длинное женское платье особого покроя для верховой езды.

...посиневшие амазонки...— Здесь слово «амазонки» означает мифических воинственных женщин-всадниц (в переносном значении).

С. 272 *Дульцинея* — в романе Сервантеса возлюбленная Дон-Кихота; имя ее стало нарицательным для обозначения обожаемой женщины.

С. 274 *Пароксизм* — приступ.

С. 281 *Отъёмнички* — лесистые острова и островки.

Выжелятник — старший псарь (на охоте водит стаю, напускает и сзывает ее).

Дозрил — осмотрел.

Рассадник — питомник.

...как в нарок...— как нарочно.

С. 284 *фабюлезные времена* — древние, сказочные.

Сатиры — в античной мифологии низшие божества, демоны плодородия; в изображениях им придавались звериные черты — покрытое шерстью тело, копыта, хвост.

С. 286 *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, создатель не выдержавшего научной критики учения о «физиогномике», т. е. о способах узнавать характер людей по их наружности.

С. 287 *Сделал глисаду* — поскользнулся.

С. 288 *Се-дур* (C-dur) — до мажор.

«Солома» — имеется в виду популярный романс на стихи П. А. Межакова «Соломка»; музыка А. А. Алябьева (1832) или Н. С. Титова (1839).

«Ты не поверишь, как ты мила» — чрезвычайно популярный в 1840-е годы цыганский романс, написанный (или только аранжированный) композитором Петром Булаховым (см.: Штейнпресс Б., Булаховы.— Музыкальная жизнь, 1963, № 18, с. 18).

С. 288 *«Пловцы»* («По реке вниз, по широкой...») — песня А. Е. Варламова на слова А. В. Тимофеева (1838). Ср. уездных барышень, описанных В. А. Соллогубом (Избранная проза. М., 1983, с. 260) в повести «Тарантас»: «Все они, по природному внушению, поют варламовские романсы...»

«Разбойники» (1781) — знаменитая драма Шиллера, особенно популярная в России в 1810—1820-х гг.

С. 291 *За́вань* (за́вонь) — залив реки.

Ижора — вторая от Петербурга почтовая станция по дороге, связывавшей столицу с Москвой; традиционное место проводов и встреч.

Воспоминание о Захаре Иваныче

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник» в 1851 г. (№ 6). В самых первых числах января этого года Г. Ф. Головачев предложил рукопись произведения вниманию издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского (ОР ГПБ, ф. 391, оп. 1, д. 287, л. 51—51 об.). Однако по каким-то причинам рассказ принят не был и появился в конкурирующем с «Отечественными записками» журнале.

Сохранившийся фрагмент чернового автографа (ГАСО, ф. 1313, оп. 2,

д. 17, л. 421—429) и перебеленная (частично автографическая) рукопись полного текста «Воспоминания» (там же, д. 5, л. 1—62) показывают, что рассказ подвергся довольно серьезному вмешательству цензуры. Наибольшие претензии вызвали эпизоды с участием принадлежащего Захару Иванычу крепостного, называемого им Трушкой. Даже самая эта кличка была последовательно заменена в печатном тексте на нейтральное «Трифон».

А. Д. Галахов отметил в годовом обзоре «Русская литература в 1851 году», что «Воспоминание о Захаре Иваныче» отличается «живостью и легкостью разговорного языка» (Отечественные записки, 1852, № 1, отд. 5, с. 14). Довольно высоко оценил это произведение Аполлон Григорьев, в дальнейшем прохладно относившийся к творчеству Вонлярлярского: «...остроумный и бойкий рассказ, в котором основа совершенно ничтожна, но зато подробности очень хороши. Хорош и сам Захар Иваныч, и камердинер его Трифон, и содержатель русской гостиницы в Дрездене, *несчастный* Гайдуков, и, наконец, Александр Фридрих Зельфер с отцом его Христианом Зельфером. Вероятно, все прочли уже прекрасный беллетристический рассказ г. Вонлярлярского и знакомы с этими упомянутыми нами лицами» (Москвитянин, 1851, № 15, с. 350).

С. 299 ...*кульмское поле сражения*...— Кульм (ныне Хлумец, ЧССР) — деревня в Чехии, входившей в описываемое время в состав Австрийской империи. 17—18 (29—30) августа 1813 г. русские войска, прикрывавшие под командованием А. И. Остермана-Толстого отступление после Дрезденского сражения армии антинаполеоновской коалиции, разбили здесь преследовавших их французов.

Русский монумент —«за деревнею Кульмом, подле самой проезжей дороги, великолепный монумент Русский, воздвигнутый на том месте, на котором был ранен граф Остерман-Толстой» (<Греч А. Н.> Русский путеводитель за границею. Спб., 1846, с. 137).

Теплиц — курортный город в Чехии; славился своими целебными горячими источниками.

С. 301 *Гайдуков* — реально существовавшее лицо. Вот что пишет о нем М. Н. Похвиснев, оказавшийся в Дрездене в 1847 г.: «Этот Гайдуков великий плут и пройдоха. Он был крепостной человек и метрдотель г. Барышникова. Вероятно, бежал от него, скопил деньжонок, подбился к какой-то немке, которая ссудила деньгами, и открыл в Дрездене великолепную отель. Говорят, однако, что он затеял дело не по силам, запутался и близок к разорению» (Щукинский сборник, М., 1910, вып. 9, с. 426). Эти сведения, близкие к сообщаемому Вонлярлярским,— лишнее доказательство того, что в основе «Воспоминания о Захаре Иваныче» лежат реальные впечатления.

Цвингер — знаменитый дворцовый ансамбль начала XVIII в.

Финглятер (Финдлятер) — расположенный на берегу Эльбы сад лорда Финдлятера.

Терраса — терраса Бриля (Брюля).

Японский дворец — памятник архитектуры XVIII в.; здесь хранились богатые коллекции монет, фарфора и т. д.

Королевский сад —«с великолепным дворцом и прекрасными статуями» (Греч Н. И., Путевые письма из Англии, Германии и Франции. Спб., 1839, ч. 2, с. 246).

Грюнгевёльбе («Зеленая кладовая») — помещавшееся в Цвингере собрание сокровищ и редкостей.

Музеум — находящийся в Цвингере исторический музей.

Саксонская Швейцария — северное предгорье Рудных гор в Саксонии (ныне территория ГДР).

С. 302 *Воксал* — общественное здание с залом для танцев и концертов.

С. 304 *Лон-лакей* — слуга, провожатый, нанимаемый приехавшим куда-либо путешественником.

С. 305 *Моро* Жан Виктор (1761—1813) — талантливый французский полководец, ставший злейшим врагом Наполеона и приглашенный на русскую службу; смертельно ранен в Дрезденском, а не Лейпцигском, как указывает герой Вонлярлярского, сражении.

...и куда дешевы были они тогда.— В рукописи Захар Иваныч высказывается энергичнее: «...и куда дешева была эта дрянь тогда».

...после разорения...— т. е. после ухода наполеоновских войск из России в 1812 г.

«Что ж бы, кажется, стоило мне научиться...»— В рукописи фраза продолжалась: «...этим проклятым языкам».

Немецкие разговоры с словарем...— обычное в то время название разговорника (ср., напр.: Новые немецкие и российские разговоры для начинающих. Спб., 1830, Ланген Я. Новейшие немецкие и российские разговоры. Спб., 1831).

С. 307 *Пах* — запах.

С. 308 *На следующее утро...*— В этом месте в рукописи находился пространный (несколько страниц) эпизод, исключенный самим автором (вероятно, для освобождения от излишних длиннот). В нем описывались шутки дрезденских остряков над художницей-иностранкой, снимавшей в галерее копию с «Сикстинской мадонны» Рафаэля.

Гераниум (герань) — душистое растение, употребляемое обыкновенно для ароматизации.

С. 309 *Вебер* Карл Мария фон (1786—1826) — немецкий композитор, дирижер. С 1817 года до конца жизни был дирижером и руководителем Дрезденского оперного театра, где поставил свою оперу «Волшебный стрелок» (написана в 1820 г.).

С. 310 *Тихачек* Иозеф (1807—1886) — знаменитый чешский тенор; с 1839 г. ведущий солист Придворной оперы в Дрездене.

С. 311 *...поставил два ремиза...*— т. е. отметил недобор двух взяток.

Алевузаны — вероятно, окказионализм, призванный означать плохие (которые следовало бы выбросить) карты в прикупе (от франц. allez-vous en!— подите вон!).

Черевленные — покрытые темно-красной краской.

С. 313 *Дагерротипный* — сфотографированный на металлическую пластинку, покрытую слоем иодистого серебра. Дагерротипия была изобретена в 1839 г.

С. 314 *Приз* — в картежной игре: счетная единица, фишка.

Яргак (ергак) — тулуп, доха.

С. 315 *Ломберный стол* — стол для карточной игры (обычно обтянутый зеленым сукном и складной).

Лукутинская табакерка — изготовленная на предприятии, принадлежавшем семье Лукутиных (подмосковное село Федоскино), табакерка из папье-маше с миниатюрной живописью.

С. 316 *Свищ* — здесь: пустой человек.

С. 318 *...у предводителя...*— т. е. у уездного предводителя дворянства.

...в доме ткались ковры...— т. е. в доме было много крепостных женщин.

Тибо (тубо) *...адрет!*— команды охотничьей собаке.

С. 319 *В отъезжее* — т. е. в отъезжее поле: на псовую охоту в отдаленных местах с выездом из дома на длительный срок.

Остров — здесь: отдельный лес, «особняк» (охотн.).

Перелаз — место перебегания зверя из острова в остров (охотн.).

С. 320 *Маркёр* — лицо, прислуживающее при бильярде и ведущее счет во время игры.

...в польской лотерее...— Выигрыш в польской лотерее играет важную роль в сюжете романа Вонлярлярского «Сосед» (опубл. 1853).

Карлсбад — ныне Карлови-Вари (ЧССР).

С. 322 *Жабо* — полотняный стоячий воротник мужской сорочки, выходящий из-за галстука по обе стороны подбородка.

С. 324 *Антик* — древность, археологическая находка (здесь в переносном значении).

С. 326 *Восемь золотых* — т. е. полуимпериалов, составляли 40 рублей серебром (150 франков равнялись 37,5 рублям серебром).

С. 328 *Граф Понятовский* — Имеется в виду князь Иосиф Понятовский (1763—1813), командовавший польским корпусом в армии Наполеона.

Цванцигер — мелкая разменная монета в 20 крейцеров (около 25 копеек серебром).

С. 330 *Знакомая незнакомка* — выражение стало особенно популярно после появления в 1821 г. под этим названием прозаической аллегории Ф. Н. Глинки.

С. 332 *...читал в листке...*— т. е. в местной газете, помещавшей фамилии лиц, приехавших на курорт.

Немецкая полумиля (географическая) — 3 710 м 21 см.

С. 334 *Вписав в путевую тетрадь...*— Точность описаний в «зарубежных» рассказах Вонлярлярского не позволяет усомниться в истинности этого сообщения: писатель несомненно во время путешествий вел дневник, на который и опирался, создавая «Воспоминание о Захаре Иваныче».

С. 335 *Лабицкий Йозеф* (1802—1881) — австрийский скрипач и композитор; с 1835 по 1853 г. руководил в Карлсбаде собственным оркестром.

С. 336 *Каломель* — хлористая ртуть, используемая в медицине как дезинфицирующее средство.

С. 344 *...как безумный, выбежал из дому пятидесятилетней Анны Фадеевны...*—Напомним, что гоголевская старосветская помещица Пульхерия Ивановна Товстогубиха умерла от старости в пятьдесят пять лет.

Абдаллах-Бен-Атаб

Полностью рассказ был впервые напечатан в альманахе «Раут на 1852 год. Исторический и литературный сборник. В пользу учебного заведения для благородных девиц ведомства дамского попечительства о бедных в Москве» (М., 1852). Книга вышла из типографии 23 февраля 1852 г. (ЦГИАМ, ф. 31, оп. 3, д. 2355, л. 11 об.— 12). До этого значительная часть произведения была опубликована в «Отечественных записках» (1850, № 6, отд. 8 «Смесь», с. 149—156) под заглавием «Охота в окрестностях Мильяны (Из путевых записок В. А. В-ского)». Появление в «Рауте» отсеченного в журнальной публикации окончания рассказа объясняется, повидимому, приятельскими отношениями издателя альманаха Н. В. Сушкова (дяди Е. П. Ростопчиной) и уже известного нам (см. выше примечания к «Большой барыне») московского цензора Снегирева. Любопытно, что при

перепечатке произведения во 2-м томе «Всех сочинений В. А. Вонлярлярского» (1853), концовка вновь была сокращена, хотя и не в столь значительной степени, как в 1850 г.

Авторизованная писарская рукопись «Абдаллах-Бен-Атаба» (ГАСО, ф. 1313, оп. 2, д. 6, л. 1—26 об.) свидетельствует о том, что даже наиболее полная публикация произведения (в «Рауте») несвободна от цензурных искажений, восстанавливаемых, по мере возможности, в настоящем издании.

Критика не обратила на рассказ особого внимания (см. лишь краткие упоминания в «Отечественных записках», 1852, № 4, отд. 6, с. 70, и «Москвитянине», 1852, № 9, отд. 5, с. 27), между тем он несомненно представляет интерес по своей последовательной антиколониальной направленности. При упоминании алжирских событий в русской печати 1840-х — первой половины 1850-х г. деятели национально-освободительного движения часто именовались «шайкой бандитов и разбойников», а колонизаторы (несмотря на сложные взаимоотношения в этот период России и Франции) изображались чуть ли не просветителями. Вонлярлярский довольно ярко показывает истинное лицо колониального «просвещения» Алжира.

С. 345 *Алжир. 25 ноября 1846 года.*— Эта дата заменяет в печатном тексте первую фразу рукописной редакции рассказа («То было в один из последних дней прошлого ноября 1846-го года», т. е. в один из последних дней прошедшего месяца.— *А.И-Т.)*. В рукописи этой фразе предшествовала другая дата —«Алжир. 1846-го декабря 6-го дня», имевшая функцию помещаемой обычно в конце произведения пометы о времени и месте его создания. Если верить этой помете, то «Абдаллах-Бен-Атаб» был написан непосредственно вслед за описываемыми в нем событиями: в день выхода цитируемой в конце рассказа газеты. Однако окончательная литературная обработка рассказа была завершена, по-видимому, уже в России.

Мильяна (Милиана) — город в северной (прибрежной) части Алжира.

Спаисы (spahis; в русском языке более употребительна форма: спаги) — кавалеристы французской армии в Алжире, набиравшиеся преимущественно из местного населения при небольшом участии европейцев.

...в 12 милях от Алжира...— т. е. от города Алжира.

С. 346 *Атлас* — горная система на северо-западе Африки.

Негрие Франсуа Мари Казимир (1788—1848) — французский генерал; в 1842 г. отстранен от командования войсками константиновской области (Алжир) вследствие общественного скандала, вызванного его зверствами.

С. 347 *...по случаю свадьбы герцога Монпансье...*— Свадьба Антуана Мари Филиппа Луи Орлеанского герцога Монпансье и испанской инфанты Луизы Фернанды состоялась в Мадриде 10 сентября 1846 г.

С. 349 *60 градусов жару...*— В рукописи, после некоторых колебаний, поставлено «40 градусов», что, по-видимому, ближе к истине — ср. сведения, сообщаемые справочником «Алжир» (М. 1977, с. 9): «Абсолютные максимальные температуры всюду высоки и почти повсеместно достигают 40° и более, а в долине р. Шелифф даже выше 50°».

С. 350 *...в течение 15-летней борьбы с Африкою...*— Захват Алжира Францией начался в 1830 г.

С. 351 *Бурнус* — длинный арабский плащ с капюшоном.

С. 353 *Трибуна* — здесь: селение, деревня (от франц. tribu — племя, клан).

Каид — начальник, вождь.

С. 355 *Телеграф* — здесь: укрепленный пункт, используемый для связи посредством оптических сигналов.

С. 357 *Сон мой был прерван барабанным боем...*— В рукописи дальнейшие события изложены несколько иным способом. «Довольствуюсь,— пишет В. А. Вонлярлярский,— перевести статью французского журнала «Акбара», описывающего представление, даваемое в тот день у стен крепостцы Бабель-уэт. Вот слово в слово перевод статьи». Следует перевод (в печатной редакции цитирование одних его мест сопровождается беллетризированным пересказом других). По окончании перевода (оно совпадает с окончанием печатной редакции «Абдалаха-Бен-Атаба») находилась фраза, заключающая рукописный вариант рассказа: «Журнал сей в оригинале храню у себя!»

«Семирамида»— опера Дж. Россини (поставлена в 1823 г.).

... 23-го Африканского егерского полка...— Полки африканских егерей комплектовались исключительно из французов.

С. 358 *Бюжо* Тома Робер, маркиз де ла Пиконнери (1784—1849) — французский военачальник, генерал-губернатор Алжира (1841—1847).

С. 359 *«L'Akhbar»* — оплачиваемая французским правительством газета, издававшаяся в Алжире на французском языке.

Кади — мусульманский судья.

Поездка на марсельском пароходе

Рассказ впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» (1850, № 12, отд. 8 «Смесь», с. 177—201). Это первое произведение, напечатанное за полной подписью писателя. Судя по черновому автографу (ГАСО, ф. 1313, оп. 2, д. 7, л. 72—91), при подготовке рассказа к печати Вонлярлярский изменил имена ряда действующих лиц и убрал некоторые детали, указывающие конкретных прототипов. Так, хорват Шелахвич в рукописи именовался польским графом Чертовицким (эта фамилия также, вероятно, вымышлена), о бельгийце Эльгемейне сообщалось, что он причислен к Неаполитанскому посольству «и, вообразите, барон».

Эпизод с охотой на львов привлек внимание критика А. В. Дружинина, подробно пересказавшего его в одном из своих обзоров (Современник, 1851, № 1, отд. 6, с. 87—89).

С. 361 *Кроаты* — хорваты. В рассказе они говорят по-польски, это свидетельствует о том, что замена «поляки-хорваты» производилась Вонлярлярским механически.

С. 362 *Гризи* Карлотта (1819—1899) — знаменитая итальянская балерина. Всеевропейская известность сделала ее имя весьма популярным в России задолго до гастролей Гризи в Петербурге в начале 1850-х годов, многие русские мечтали о знакомстве с ней (см. на этот счет неудобную в печати эпиграмму С. А. Соболевского — ОР ГБЛ, ф. 661, к. 1, д. 7, л. 5 об.).

...и несколько первых сюжетов...— т. е. ведущих певцов труппы.

...одного из семи мудрецов древней Греции...— Вонлярлярский шутливо упоминает семерых греков VII и VI вв. до н. э., отличавшихся глубокими познаниями и житейской мудростью (Питтак, Солон, Периандр, Клеовул, Хейлон, Фалес и Биант).

С. 365 *Дюмон-Дюрвиль* Жюль Себастьян Сезар (1790—1842) — знаменитый французский моряк и океанограф; совершил несколько кругосветных путешествий.

С. 366 *Штуцер* — ружье с нарезным стволом, винтовка.

С. 368 *...а главное* — посердитее.— Приводим по рукописи опущенный в печати эпизод, который следовал далее:

«— Поверяет ли он, по крайней мере, друзьям тайны своих подвигов?

— В том-то и сила, что редко, ежели не никогда. О подвигах его долетают до нас слухи случайно. Например, в запрошлом году я заметил на груди полковника розетку Почетного легиона. Зная, как трудно получить во Франции офицерский знак этого ордена, я поздравил графа и с любопытством спросил о подвиге, доставившем ему, иностранцу, это лестное отличие; он улыбнулся, спрятал розетку в карман и отделался от меня какою-то шуткой, не помню. А в самом деле оказалось, что полковник, отказавшись обнажить саблю противу арапов, которых он не имел причины считать врагами, делал целую экспедицию волонтером и с сигарою во рту водил иностранный легион в атаки, находясь впереди всех и всегда. В одном из артиллерийских дел он отбил захваченную врасплох целую батарею и получил из рук герцога д'Исли крест, о котором я говорил вам. Вот характер этого человека; да и говорить всего, что слышишь о нем, не перескажешь, а и перескажешь, так многие не поверят». В приведенном отрывке речь идет о действиях французских войск в Алжире. Упомянутый здесь герцог д'Исли — маршал Бюжо, получивший этот титул в 1844 г.

С. 369 *Лапландец* — здесь: житель дальнего Севера.

С. 372 *Готенбург* — имеется в виду шведский город Гётеборг.

С. 379 *Ротонда* — круглое помещение с куполообразным потолком.

С. 382 *Бона* (Бон) — город-порт на северо-востоке Алжира (ныне Аннаба).

Константина — крупный алжирский город, центр одноименной области.

Французская миля — 1 949 метров.

...Гельма — город на северо-востоке Алжира.

С. 383 *Старасская дорога* (правильнее: Стораская) — ведущая к Сторе, предместию города Филиппвиля.

...жалкий остаток римского величия...— Алжир был римской провинцией с I в. до н. э. по V в. н. э.

С. 384 *Жирар* (Жерар) Жюль (1817—1864) — французский офицер, прозванный за свои охотничьи подвиги «истребителем львов». О нем много писали во французской, а с 1845 года (см.: Иллюстрация, т.I, № 31, с 489) и в русской прессе. Подробное описание встреч Жерара со львами находится в книге Дюма-отца «Очерки варварийских владений» (ч. 4, М., 1853, с. 62—96). В воспоминаниях Н. В. Берга говорится, что Вонлярлярский «охотился с известным Жюлем Жераром на львов» (Русская старина, 1891, № 2, с. 258; ср.: Исторический вестник, 1893, № 3, с. 702). Вероятно, это известие получено от самого писателя, увлекавшегося охотой. Однако возможно, что Берг приписывает биографии Вонлярлярского события из жизни героя комментируемого рассказа.

С. 385 *Открытый лист* — здесь: разрешение на охоту.

С. 386 *Сейбузская долина* — долина реки Сейбуз около города Боны.

Турист

Впервые рассказ опубликован в 1852 г. в журнале «Отечественные записки» (№ 2). Автограф ранней редакции, озаглавленной «Два милорда» и датированной 1851 годом, находился в ПД (№ 9160). Как свиде-

тельствует надпись на л. 3, эта рукопись была 20 декабря 1854 г. подарена М. О. Микешину братом писателя Николаем Вонлярлярским.

Е. Н. Эдельсон отметил «очень живой и легкий слог» «Туриста» (Москвитянин, 1852, № 5, отд. 5, с. 34). Эту же похвалу повторил В. Р. Зотов, по мнению которого, однако, рассказ растянут ненужными подробностями (см.: Пантеон, 1852, № 3, отд. 8 с. 6).

С. 395 *Артист* — здесь: художник, живописец.

Корсо — центральная улица Рима.

Лаурино — улица в центральной части Рима.

Политехническая школа — привилегированное высшее учебное заведение во Франции.

С. 397 *...покуда не прибыл какой-то inspecteur des hautes écoles...* — Прибывший инспектор, очевидно, потребовал у Крозеля свидетельство о сдаче специального экзамена на звание домашнего учителя, введенного в 1834 г.

Галль Франц Иосиф (1758—1828) — австрийский врач, основатель френологии — учения, согласно которому внешнее строение черепа отражает особенности интеллекта и психики человека.

С. 398 *Монте-Пиннчи* — холм на северной окраине Рима, с разбитым на его вершине парком.

Вилла Боргезе — парк на северной окраине Рима.

Дворец Монте-Кавалло — имеется в виду Квиринальский дворец, бывший в описываемое время летней резиденцией папы.

Колонна Адриана — вероятно, имеется в виду увенчанный столбом с фигурой ангела мавзолей римского императора Адриана (76—138 н. э.) и его потомков (другое название: замок св. Ангела). Может быть, впрочем, писатель оговорился, имея в виду колонну римского императора Траяна (53—117 н. э.), воздвигнутую около 114 г.

Квириты — так в древности именовались полноправные римские граждане.

Фактор — профессиональный исполнитель разнообразных мелких поручений (ср. прим. к с. 236).

Испанская площадь расположена в северной части Рима. Здесь «и в прилегающих к ней улицах гнездятся приезжие иностранцы» (Греч Н. И. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии. Спб., 1843, т. 3, с. 21).

С. 399 *Висбаден* — крупный немецкий курорт.

С. 400 *Монте-Мария* (правильнее: Ма́рио) — возвышенность в северо-западной части Рима (от Монте Пинчио — на другом берегу Тибра).

Фуляр — легкая и мягкая шелковая ткань.

Пиастр — денежная единица, равнявшаяся в описываемое время 134,1 копейки серебром.

С. 401 *Карлино* (карлин) — монета, равная 40,2 копейки серебром.

Сребреник — древняя мелкая серебряная монета.

Жуковский табак — изготовленный на петербургской табачной фабрике В. Г. Жукова.

С. 405 *A la malcontent* — особая короткая стрижка (так стриглись члены партии «недовольных» во время религиозных войн во Франции XVI в.).

С. 407 Чирварские пещеры (точнее: Черварские) — пещеры искусственного происхождения неподалеку от Рима, место проводившегося в мае «Festa degli Artisti» («праздника художников»).

Сахарная бумага — плотная, обычно синяя, бумага для упаковки сахара.

С. 408 *...на... бале большой парижской оперы...* — Описание маскарада в «Гранд-опера» см. на первых страницах романа «Блеск и нищета куртизанок» (Бальзак О. де. Собр. соч.: В 24 т. М., 1960, т. 10, с. 5—22).

С. 409 *Плумпуддинг* — традиционное английское блюдо (правильнее: плампудинг).

С. 411 *Клико* — сорт шампанского.

Иоганнисберг — рейнское вино «Schloss-Johannisberger».

С. 412 *Сотгемптон* (Саутхемптон) — английский город-порт на берегу разделяющего Англию и Францию пролива Ла-Манш.

Содержание

Василий Александрович Вонлярлярский

БОЛЬШАЯ БАРЫНЯ

Роман, повесть, рассказы

Редактор
В. ДОЛЬНИКОВ
Художник
Б. ЛАВРОВ
Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ
Технический редактор
Н. ГАНИНА
Корректоры
В. ЛЫКОВА, И. ПОПОВА

ИБ № 4031

Сдано в набор 2.09.86. Подписано к печати 3.03.87 А07552. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 23,63. Усл. краск.-отт. 23,57. Уч.-изд. л. 26,35. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1216.

Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46



Вонлярлярский В. А.

В73 Большая барыня: Роман, повесть, рассказы/ Сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. А. А. Ильина-Томича.— М.: Современник, 1987.— 444 с., портр.— (Из наследия).

Василий Александрович Вонлярлярский (1814—1852) был одним из самых популярных русских прозаиков пятидесятых годов прошлого столетия. Современники, высоко ценившие в нем дар рассказчика, называли писателя «русским Дюма». В сборник вошли роман «Большая барыня», повесть «Ночь на 28-е сентября» и ряд наиболее значительных рассказов.

В $\frac{4702010100-129}{М106(03)-87}$ 17—87

ББК 84Р1
Р1

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62. Издательство «Современник».

2 р. 30 к.

•СОВРЕМЕННИК•


В.А. ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ